



Библиотека Пионера



Библиотека Пионера

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»





50 Л Е Т
ВСЕСОЮЗНОЙ
ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА

Библиотека пионера



ИЗБРАННЫЕ
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ
В 12 ТОМАХ

Том 10

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

1975

АНАТОЛИЙ СОБОЛЕВ

Трозовая степь

МИХАИЛ ФАРУТИН

*Ледоход
Медвяные росы
Четвертый Харитон*

ЛАЙМОНИС

ВАЦЗЕМНИЕК

*Ливсальские
мальчишкы*

Соболев А. П.

- С 54 «Грозовая степь». — М. Фарутин. «Ледоход. Медвяные росы. Четвертый Харитон». — Л. Вацземниек. «Ливсалские мальчишки». Пер. с латыш. А. Калнин. Оформл. Е. Савина. Рисунки К. Безбородова, Г. Епишина, Г. Никольского, А. Шадзевского. М., «Дет. лит.», 1975.

496 с. с ил. (Библиотека пионера. Избранные повести и рассказы, т. 10).

В 10-й том «Библиотеки пионера» вошли пять повестей А. Соболева «Грозовая степь» — о сельских пионерах первых лет Советской власти, помогающих взрослым строить новую жизнь; три повести М. Фарутина «Ледоход», «Медвяные росы» и «Четвертый Харитон» — об отважных делах пионеров и комсомольцев, борющихся за торжество Советской власти в вологодской деревне, Л. Вацземниек «Ливсалские мальчишки» — о пионерах острова Ливсала (Латвия), которые в нелегкой борьбе с врагами отстаивали право носить пионерские галстуки

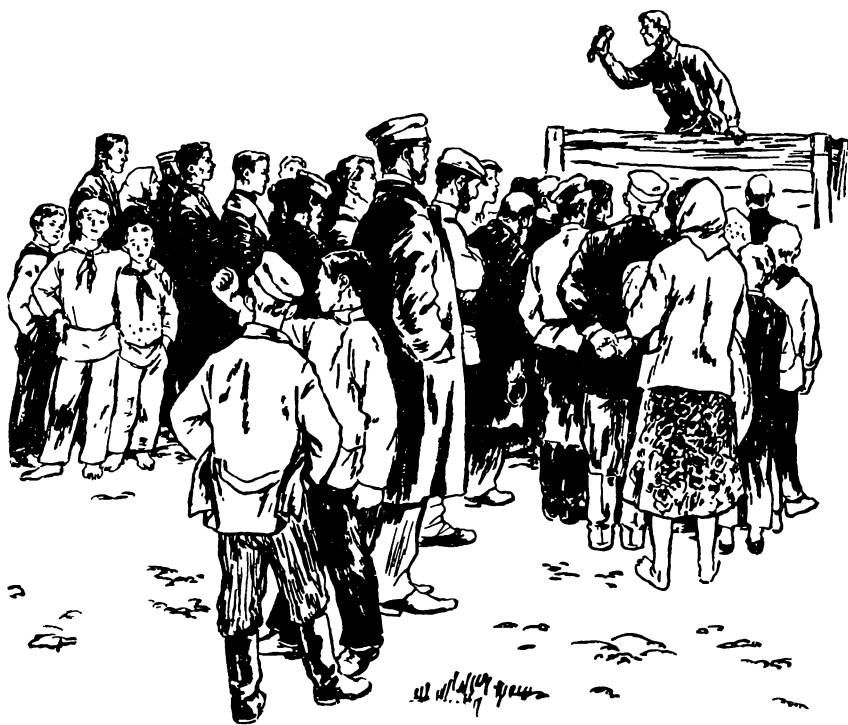
Сб2

С 70803—309
М101(03)75 — Подписное

© Послесловие. Состав
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1975 г.

А. СОБОЛЕВ

Грозная
стеня



Памяти отца-большевика

Едва расклюет грач зиму, едва появится первая проталинка на солнечном склоне увала, как ноги сами несут нас в степь.

Скинем надоевшие за зиму валенки и ну гонять босиком в догоняшки по оттаявшей полянке, играть в лапту, в бабки или выковыривать сломанными складешками кандык — первую сладкую травку!

Внятен дух просыхающей земли, талого снежка, прошлогодней травяной прели и еще чего-то отрадного сердцу, долгожданного, весеннего.

А кругом еще снег.

Но умолкли вьюги-подерухи, отступился трескун-мороз, и земля, дождавшись заветного часу, отходит.

С каждым днем сугробы съезживаются, оседают, отрываются друг от дружки. Издали — будто гуси-лебеди присели отдохнуть и вот-вот снимутся и улетят.

Не сегодня-завтра совсем улетят.

А как обогреет хорошенько весеннее солнышко, как сбросит земля остатки вездеходной снежной корки и дымчато подернется слабой зеленью, так уходим мы все дальше и дальше в степь.

Томительное и сладкое чувство манит нас, деревенских мальчишек, вдаль, чтобы видеть своими глазами, как убирает весна светлой клейкой зеленью березовые колки, как опускается легким сизым цветом красавица верба; слышать, как свистят суслики, стоя на задних лапках возле своих норешек, как звенят в поднебесье жаворонки; чувствовать, как торопко и буйно живет молодая степь...

Но вот проходит гелосистая весна и наетупает самая желанная, самая лучшая пора лета: ягодная. Поспел земляника, клубника, костяника... А там малина пошла, кислица, черемуха. Чем только не одарит нас степь!

День-деньской пропадаем мы на разнотравном приволье. Теперь здесь наше постоянное житье. Лица наши почернели, носы облупились, руки-ноги покрылись ссадинами и царапинами.

Дни стоят огромные, до краев налитые солнцем, медвяным ароматом буйно цветущих трав, беззаботной радостью и счастьем.

Окрест, куда ни кинь глаз, — степь, перерезанная лесными колками, а вдали в голубой дымке синеют горы.

Дрожит и струится над Приобской равниной знойное марево. А то вдруг потянет низом сильный ток воздуха, и расплывается в глубоком поклоне трава, и захлебнешься свежестью, и знобко пробегают по спине мурашки. А по небу уже растекается сизо-белесая хмарь.

Сейчас хлынет дождь!

Вон уже пробилась в мягкой дорожной пыли черные дырочки от ядреных и тяжелых, как дробь, первых капель.

Мы припускаем что есть духу. Где там! Не успеешь и оглянуться, как накроет тучка и над самой головой ахнет гром, да так, что невольно присядешь, и золотые молнии попададут в степь.

И обрушится ливень! Мгновенный, теплый, осиянный солнцем!

Мы сбиваемся на шаг. Чего уж! До нитки промочило. Приплясывая, орем во всю головушку:

Дождик, дождик, пуще! Дам тебе гущи.
Дождик, дождик, посильней! Чтобы было веселей.

Подставляем слинялые на солнце головы под тугой нахлест струй, чтобы волос рос густой и кудрявый.

Но вот пронеслась тучка-невеличка, волоча по земле длинный хвост.

И брызнуло солнце!

И закурилась земля в золотом пару!

Над степью вполнеба опрокинулась радуга. И сама степь переливает самоцветами, будто еще одна радуга упала на землю и рассыпалась в цветах.

Слома голову несемся по мокрой траве, поднимаем фонтаны сверкающих брызг, горланим и толкаемся от избытка чувств. И захватывает дух. И радостно стучит легкое сердце.

За горизонтом медленно затихает ленивый гром. Рассосалась густая синь, и снова безмятежно чисто небо, и не хватает глаз обнять умытую и посвежевшую землю.

После грозы пахнет напевшими арбузами, легко и сладко дышится. И сами мы легки и свободны, как птицы.

Мы идем всё дальше и дальше, навстречу неведанному, навстречу первочуду, навстречу диву дивному...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Первомай!

На мне чистая рубашка, вышитая по воротнику красными крестиками, и наглаженные штаны. В пионеры меня принимают сегодня.

В школьном саду нас встречает Надежда Федоровна, учительница наша. Поправит будто из золота кованную косу, уложенную на голове калачиком, и улыбнется. Каждому.

Степка, Федька и я чинно становимся в строй перед большущей кучей хвороста, из которого зажгут костер.

Друзья мои оказались с неожиданно чистыми лицами. Отбанились. У дылдистого белобрысого Степки даже конопушки проступили, будто мухи нос обсидели. Обычно их не видно.

Юркий, как вьюн, и горластый Федька тоже в новой рубашке, перешитой из старой материнской кофты, в синий горошек. Вечно торчащие смоляные вихры он пригладил ладошками, поплевав на них.

В саду подметено — мы вчера старались, — дорожки посыпаны песком и обложены галечками. Весело, по-весеннему шумят тополя. Белые легкие облачка вперегонки бегут по небу и тают в синеве, ясной и высокой.

Надежда Федоровна говорит:

— Сегодня лучшие ученики-ударники вступают в пионеры...

Федька громко сопит и топчется на месте. Он не ударник. У него сплошь «посы» в табеле. Он уже два раза толкал меня в бок и тоскливо шептал: «Передумают, не примут». А я и сам чувствую себя неуверенно. У меня тоже «посов» хватает. А ну и вправду передумают? У нас круглая ударница только Аленка-тихоня. У нее по всем предметам «оч. хор.».

— Пусть не все еще ребята ударники, — говорит Надежда Федоровна, — но и их тоже примем в пионеры, потому что верим, что и они станут ударниками в учебе и примерными пионерами.

Федька расплывается в улыбке до самых ушей и отчаянно кивает головой в знак согласия с учительницей. У меня тоже отлегло.

— Помните, что галстук цвета крови, которую пролили ваши отцы в революцию и в гражданскую войну. Это цвет нашего знамени, знамени Советской власти. Три конца галстука — это дружба трех поколений: большевиков, комсомольцев и пионеров. Берегите галстук и носите его с честью, потому что на груди у вас — флаг нашей Родины.

Зажгли костер. Ух, красиво! Потом мы даем пионерскую клятву: «Я, юный пионер, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь...»

Замирает в груди, и холодок теснит сердце от этих слов. Мы

даем клятву бороться за дело рабочего класса и трудового крестьянства!

Надежда Федоровна повязывает нам галстуки. Меня гладит по вихрам и загадочно улыбается. Меня это почему-то беспокоит.

Я давно замечаю, что она приглядывается ко мне. Особенно после того, как однажды, возвращаясь поздно вечером от Федьки, наткнулся я у калитки дома, где живет Надежда Федоровна, на нее и... отца.

По дороге домой отец сказал, что проводил Надежду Федоровну по пути и спрашивал у нее, как я учусь. Что про учебу спрашивал, это понятно. А вот как «по пути» на другой конец села попал, это непонятно. Ну, а в общем-то все ладно сошло. Отец даже не заметил, что уже ночь, а я по улицам мотаюсь...

Когда нас приняли в пионеры и всем повязали галстуки, мы хором запели:

Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы пионеры —
Дети рабочих.

Потом Федька с барабаном встал впереди колонны, а Степка и я — позади него, и пошли на митинг, на базарную площадь.

Близится эра
Светлых годов.
Клич пионера:
Всегда будь готов!

Барабанил Федька здорово, палочки так и мелькали. И когда успел научиться? По шее у него катил ядреный пот, а уши раскалились как угли. Раз он обернулся и показал язык.

Степка притворился, что не видит. Накануне они поспорили на Степкин складешок. Федька божился, что будет барабанить на митинге, а Степка сказал: «Облезешь, так тебе и дали». Теперь Степке придется распрощаться со складешком.

На базарной площади сделана дощатая трибуна, и на ней прибит кумачовый плакат: «Все — в колхоз!»

На трибуне отец стоит. А кругом народу! Все село высыпало. Пока мы строились возле трибуны и спорили, кому где стоять, отец заговорил, зажав фуражку в руке, как Ленин на картинке.

Самого начала я не слышал, потому что разнимал друзей. Они сцепились из-за того, что Федька опять показал язык, а Степке обидно, конечно. Небось не сладко со складенком расставаться.

— ...Международная гидра капитализма подымает голову, — говорил отец. — В Германии к власти лезут фашисты. У нас тоже враг подымает голову. Появились листки, в которых грозят тем, кто вступил в колхоз. Это дело кулацких рук, тех, кого еще не раскулачили. — Голос отца зазвенел. — Но нас не запугать! Партия большевиков, ВКП(б), не остановится на полпути!

Я смотрю на зареченских мальчишек, на их атамана Проньку Сусекова, кулацкого сына. Зимой я ему расквасил нос. Сейчас исподтишка он показывает мне кулак. Я тоже в долгу не остаюсь.

— ...В Катунском подожгли амбар с семенным фондом, — продолжал отец. — Это тоже дело кулацких рук. Они хотели оставить нас без семян, чтобы нечем было молодому колхозу сеять. Бьют прямо под дых. Но не выйдет!

Я смотрю на отца, и кулаки мои сжимаются вместе с его кулаками, его слова — это мои слова, и сердца наши стучат враз. Под дых — это они умеют. Пронька всегда под дых бьет...

После митинга с флагами и с революционными песнями прошли по главной улице села. А наш отряд пионеров пел песню про барабанщика:

Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо.
Вперед продвигались отряды
Спартакцев, смелых бойцов.

И тихо было, затаенно за глухими кулацкими занятиями.

Потом все разошлись по домам, а мы подались на Ключарку. Поиграли в лапту, «попекли блинов» на воде плоскими галечками, повалились на проклюнувшейся травке.

Федька с нами не играл. Он сидел на перевернутой лодке и пел:

...Погиб наш юный барабанищик,
Но песня о нем не умрет.

Жалостливо пел. Наверно, себя видел убитым.

Узким проулком возвращался я домой. Дорогу мне преградили зареченские. Впереди стоял мордастый Пронька Сусеков.

Он ловко выпустил сквозь зубы длинную струю слюны и медленно смерил меня неприветливым взглядом:

— Долг платежом красен.

Это я и без него понял. С зимы точит на меня зуб. Колотил тогда он Федьку, а я заступился. И хотя Пронька сильнее, я все же приловчился и расшиб ему нос. Теперь отыграется. Вон сколько их! Затосковало сердце.

Пронька не торопился. Знал: бежать мне некуда — позади речка.

— Гля, тряпку повесил, — сказал он своему дружку, длинному, как жердь, Ваське Лопуху. — Сморкаешься в нее, аль за место большевицкого креста?

Зареченские аж застонали от удовольствия и предвкушения расплаты, а Васька Лопух пошевелил ушами. Уши у него большие, как лопухи, и умеет он ими прядать, как лошадь.

Пронька дернул меня за галстук, лениво так дернул.

— Не цапай! — вырвал я галстук из его рук.

— Но, ты — мировая революция, — спокойно сказал Пронька. И это было самое страшное — его спокойствие. — Юшкой умоешься. Поджилки не трясутся?

— Трясутся, — признался я.

— То-то. — Довольная улыбка расплылась у Проньки по лицу. Голос его даже подобрел.

У меня на миг появилась мысль, что, может, все обойдется. Но я слишком хорошо знал Пронькину поговорку, чтобы верить своей надежде.

— Сейчас еще не так затрясутся.

— Ну и пускай! Только один на один у тебя кишка тонка!

— Но-но! — угрожающе предупредил Пронька и так дернул за галстук, что я едва устоял на ногах.

Я залепил ему затрещину.

— Ах, так! — удивленно лупнул глазами Пронька. — С тобой по-человечески, а ты драться! Ну, теперь держись! Хочешь?

— Хочу!

— На!

— Получай!

Мы обменялись оплеухами, молниеносными, как удары сабель.

И вдруг пропал у меня страх, перестали трястись коленки. Сколько на одного! А один на один любой потрусит! А главное, галстук у меня на груди. Он мне силы придавал. И этому губастому Проньке я все равно не поддамся! Пускай он больше меня и сильнее, а все равно не поддамся! И всем им не поддамся!

— Ордой на одного! — отчаянно крикнул я. — А ну тронь!

— И трону! — наступал Пронька.

— Тронь!!

— Трону!!

Дрался я отчаянно: и руками, и ногами, и зубами. Но зареченские здорово избили меня. До огненных брызг в глазах.

Отняла бабка Ликановна, что шла на речку полоскать белье.

— За чтой-то они тебя, касатик?

Я молча отмывал нос и боялся, как бы она не углядела моих слез. Ликановна ахала, вздыхала, сморкалась в фартук, будто нос расквасили ей, а не мне.

Галстук я все же отстоял, как ни старались его стянуть зареченские. Чуть не задушили. И никому и никогда не позволю хвататься за него! Я твердо запомнил слова Надежды Федоровны, что на галстук горит кровь рабочего класса и трудового крестьянства. Берегите галстук как зеницу ока и честно носите его на груди!

Теперь на нем была и из моего собственного носа кровь. Эх, кабы один на один!

Дома отец оценил синяки, которыми я разжился, и остановил взгляд на помятом галстук.

— В пионеры вступил, — пояснил я.

— Вижу. Дрался за что?

— За галстук.

— С кем?

— С Пронькой Сусековым. Еще Васька Лопух был и все зареченские.

— Та-ак, правильно. Запомни: кто не сбережет в детстве красный галстук, тот не сбережет взрослым партийный билет. А мы теперь с тобой оба партийные.

— Как это? — удивился я.

— А так. Ты — пионер, я — большевик, и цель у нас одна — коммунизм. Теперь ты не просто Ленька, а пионер Ленька.

Знаешь, что такое «пионер» обозначает? Это обозначает — первый. Я книжку читал: первых путешественников пионерами звали. Они в Америку первыми прибыли. И вообще всякий человек, который первым идет,— пионер. Так что будь теперь правофланговым во всем: и в учебе и... во всем. Сегодня у тебя, можно сказать, боевое крещение в классовой борьбе. За галстук дрался — значит, за Советскую власть дрался. Дерись за Советскую власть, не жалея волос! Понял?

— Понял.

Насчет драки я хорошо понял и позднее дрался на совесть.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С церкви снимали крест.

Мы прибежали туда ни свет ни заря. Упустить такое зрелище! Кроме того, среди мальчишек ходили упорные слухи, что крест из чистого золота, и мы надеялись отломить кусочек на грузила. Рыба, говорят, здорово берет, если грузило золотое.

Когда Федька, Степка и я примчались на площадь, перед церковными воротами уже толпился народ. Мы пробились сквозь тесные ряды и вынырнули возле самых воротин, сделанных из витых железных прутьев. На одной из них был прикреплен листок бумаги.

Продавец сельпо по складам читал написанное химическим карандашом:

— «Кто по-ле-полезет сни-ма-снимать кре-крест, то-му пу-пуля».

Толпа молчала.

Продавец вытер розовое, будто распаренное лицо большим платком. Я на миг встретил его юркие, с тревожным посверком глаза.

— Эхе-хе... — аккуратно сложил платок продавец. — Времечко пришло. Неуютствие.

— Богохульство это, — сказал кто-то в толпе. — Бог-то в душе, оттуль его не скинешь, аки крест.

В народе пробежал тревожный шепоток: «Воронок. Воронок



упреждает». Лишь одно имя этого бандита заставило кое-кого уйти с площади. От греха подальше.

Вдруг толпа смолкла и расступилась. К церкви шел Вася Проскурин, вожак сельских комсомольцев. Легкий на ногу, стройный, соломенноволосяй, шел он со своими друзьями-комсомольцами снимать крест. Улыбаясь, Вася подошел к воротам и остановился. Толпа выжидательно замерла.

Вася прочел бумажку, внимательно и неулыбчиво оглядел толпу, своих друзей-комсомольцев, нас, мальчишек. Сорвал бумажку. Медленно и аккуратно сложил ее и засунул в нагрудный карман ливялой красноармейской гимнастерки.

Толпа напряженно следила за каждым его движением. Вася упрямо мотнул светлой повитью чуба и, бросая кому-то вызов, сказал:

— Ладно, посмотрим! — и открыл тягуче заскрипевшие ворота.

Старухи завздыхали, закрестились: «Накажет господь-от,

огневается, милостивец». Кто-то на кого-то прицыкнул, кто-то всхлипнул, кто-то турнул по шее мальчишек.

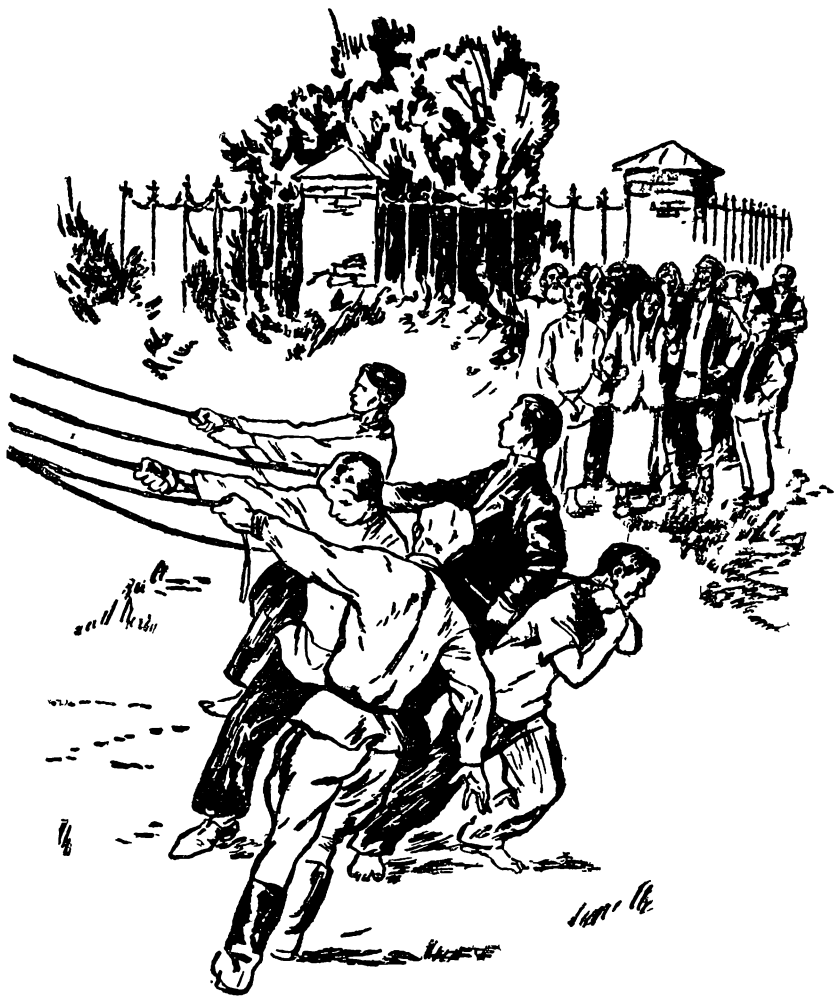
— Зерно будут хранить в божьем храме, — сказал продавец и снова вытер безбровое лицо. — От колхозного, значить, урожая.

В народе зашелестело:

— Свято место зорят. Хуже волков истварились.

— Э-э, да чего тут! В песне поют, что весь мир разрушат.

— Молоню пускай милостивец, молоню на анчихристов-



супостатов! — вещевала бабка Фатинья и иступленно трясла головой. Вся в черном, морщинистая и злая, она походила на монашку.

— Разные кары бывают, — отозвался продавец и зыркнул по толпе глазами.

Отдельной группкой стояли Сусеков, Жилин и еще кто побогаче. Они молчали, никак не выказывая своего отношения к происходящему.

Сусеков поглаживал козлиную свою бородку, поглаживал мягко, нежно, но в этой ласковости было что-то страшное, застенное.

Безбородый и румяный, несмотря на старость, Жилин тяжело оперся на костыль и, не моргая, уставился на комсомольцев. Уродистые, большие руки его занемели на костыле, вспухли фиолетовыми жилами.

Молчали старики, но почему-то именно они и были самыми страшными в толпе.

Комсомольцы тем временем приготовили веревку, чтобы завязать ее на макушке креста.

Если смотреть на колокольню снизу, то кажется, что острый шпиль с крестом плывет по небу среди облаков. Кружится голова от этого, даже если на земле стоишь. А Вася Проскурин лазил там и казался маленькой букашкой, прилепившейся на тусклой позолоте купола.

Веревку закрепили на кресте, и под дружную команду: «Раз, два, три!» — комсомольцы дернули ее. Крест медленно па-клонился. Постоял в таком положении, будто раздумывая, падать или не падать, и, кувыркаясь, полетел вниз, увеличиваясь в размерах и набирая скорость.

Крест рухнул в церковную ограду, и земля отозвалась долгим и тяжким гудом. Толпа качнулась, запричитала, закрестилась, с лютой ненавистью и страхом глядя на комсомольцев.

Какая-то патлатая кликуша ударила в голос:

— Конец свету пришел! Сатанинские слуги! В геенну огненную их!

Послышались угрозы. Комсомольцы подобрались, плотнее встали. Вася Проскурин щупал синими глазами-льдинками толпу.

— Несознательность проявляете, граждане! Наговоры слушаете.— Вася перевел глаза-льдинки на кулаков, голос его поднялся выше.— А в церкви — да! В церкви сделаем зернохранилище для нашего колхозного хлеба. И никто — слышите, никто — не остановит нас!

И такая сила прозвучала в этих словах, что толпа замолчала и по одному, по два начала растекаться. Остались одни пацаны.

Первым делом мы осмотрели крест и разочаровались. Он был совсем не золотой, а железный. Вдобавок — пустой внутри. Интерес к нему сразу пропал.

* * *

Вечером мы зорили воробьиные гнезда в амбарах, которые стояли на отлете от села, возле кладбища и церкви. Больше всех назорил Федька и сложил их себе за пазуху. Потом играли «в сыщики-разбойники» и кидались яйцами.

Доигрались до темноты.

И тут кто-то сказал, что сейчас любой струсит пойти на кладбище. Сейчас там мертвецы из могил поднимаются. Федька, который в этих делах разбирался лучше всех, уточнил, что мертвецы поднимаются после двенадцати и разгуливают до третьих петухов, а сейчас еще и одиннадцати нет. Но сам пойти на кладбище наотрез отказался.

— Значит, никогда не найти нам золотую молнию,— задумчиво сказал Степка.

Найти золотую молнию, что ударит из белой тучи,— было нашей мечтой. Эта молния особая — волшебная. Там, где упадет она, в одночасье расцветут жаркий, а под ними — клад. Кувшин. Но не злато-серебро будет в нем, а сладкий квас, какой в городе продают. И кто напьется этого квасу, тот станет мастером на все руки. И все-то у него будет ладиться, все-то он будет уметь, везде-то он будет нужен людям. Но падают такие молнии в самые страшные места: в болота, в дремучие леса, на кладбища. И искать надо ночью. И откроется она, эта молния, только трем смельчакам, трем друзьям, которые вместе, рука об руку, пройдут все испытания, что приготовят им колдовские силы, и не струсят, не отступят.

А что на наше кладбище упала такая молния, ходил слух. Будто кто-то видел ее.

— А ну, кто со мной? — спросил вдруг высоким звенящим голосом Степка. — Кто не сробеет? Ленька, айда!

— Айда, — почему-то сказал я, хотя совсем не собирался идти. — Идем! — позвал я тут же Федьку.

— А мертвецы? — шепотом спросил Федька и расширил глаза.

— Ты же сам говорил, что они после двенадцати, а сейчас только что на каланче пробило одиннадцать.

Федька мялся, пугливо озираясь на кладбище.

— Третий же нужен, — сказал Степка. — И чтоб друзья,





С неохотой Федька согласился, но заручился, что пойдет последним.

Мы подошли к церкви, за ней начиналось кладбище. На церковных воротах что-то белело. Это оказался листок. Едва различая буквы, мы прочли: «Ждите возмездия».

— Ой-ей-ей! — заскулил Федька, приседая. — Колдовство. Не пойду, живот закрутило.

У меня тоже заныло возле пупка.

— Айда, — упрямо сказал Степка дрогнувшим голосом.

— Айда, — лязгнул зубами я. Они стучали помимо моей воли.

— Ой-ей-ей, — ныл Федька, потихоньку пятясь назад.

— Не вякай! — пришикнул Степка. — Айда!

Мы двинулись в темноту кладбищенских деревьев и крестов.

Федькины пальцы намертво вцепились в мою руку и вздрагивали от страха. А у меня что-то неладное творилось с ногами: подкашивались.

Ко всему этому, бесшумно, по-волчьи, подкралась гроза. Не обычная, с дождем, а сухая, без воды и ветра.

Лопнуло над головой небо и огненным всполохом озарило кладбищенскую темь. Перед глазами вспыхнул большой прозрачно-оранжевый шар. Он висел на нашем пути и слегка покачивался, будто раздумывая, куда лететь. Потом шар вдруг начал кипеть и пузыриться. То один его край, то другой вздувались и лопались, выбрасывая голубые искры.

Дрожа всем телом, мы сгрудились в кучу, как овечки перед волком. Федька громко вызванивал зубами и норовил залезть в серединку.

— Го-го-господи, — заикался он. — М-ма-м-моньки мои!

Шар двинулся к часовенке, что стояла на краю кладбища. Удаляясь, он становился все гуще и из светло-оранжевого превращался в темно-оранжевый, и внутри него что-то чернело.

Шар приблизился к часовенке и вдруг исчез, как сквозь стенку прошел.

И в тот же миг из часовенки выскочил мертвец и, вскрикнув, бросился бежать. От жаркого ужаса у нас дыбом встали волосы.

Какое-то мгновение, оцепенев, мы стояли как пни. Потом с дикими воплями наддали прочь. На чем только сердце в паузе держалось?

Опомнились возле клуба.

Здесь играла гармошка и плясали девки. Мы затесались в кучу пацанов, что сидели на сваленных под окнами бревнах, и начали приходить в себя.

— Чуток сердце не умерло, — шепотом признался Федька.

Я и сам никак не мог отпыхаться. Что это такое мы видели? Неужто и впрямь ходят по ночам мертвецы?

Склонив чубатую голову набок, так что чуб касался мехов гармошки, Сенька Сусеков, старший брат Проньки, быстро и ловко перебирал пальцами по перламутровым пуговкам ладов.

В углу рта висела потухшая сигарка, а на голове чудом держался новенький картуз с лакированным козырьком.

— Их! Их! Их! — выкрикивала Лиза, дочь бабки Ликановны, высокая и красивая девка, выбивая пыль на утрамбованном «пяточке» и взмахивая над головой платочком.

Лизавета, Лизавета, я люблю тебя за это,
И за это и за то, что ты прошила пальто,—

гаркнул Митька Жилин, закадычный дружок Сеньки Сусекова, и вприсядку пошел вокруг Лизы.

Дробный перестук каблук. Свист. Веселье.

Мы стали оттаивать. Хорошо на народе! Не страшно.

Сенька Сусеков вдруг тряхнул чубом и ошарашил всех такой частушкой, что девки смутились, а парни откровенно заготали.

На крыльцо клуба вышел Вася Проскурин:

— Спой еще раз, Семен.

Сенька рыпнул мехами.

— Не мешай людям гулять, секлетарь.

— Я не мешаю, я говорю: спой еще раз эту частушку. Умная частушка. Долго, поди, сочинял?

Девки стыдливо прикрывались платочками, парни делали вид, что их это не касается, и отчаянно дымили самокрутками.

— Не сепети, секлетарь,— прищурил колючие глаза Сенька.— «Интернационал» петь не заставишь.

— Зачем «Интернационал»? Можно и просто русскую,— не обращая внимания на скрытую угрозу, ответил Вася Проскурин.— А ну, Лиза, подтягивай! — И высоким, вздрагивающим от сдержанного напряжения голосом Вася начал:

Степь да степь кругом...

Лиза, самая голосистая девка в нашем селе, вызывающе тряхнув головой, подтянула ему, и они ладно и смело повели песню. И это было так необычно и красиво, что все невольно заслушались.

Протяжные русские песни в нашем селе, как правило, пели под пьяную руку, а обычно по улицам молодежь горланила частушки, которые тут же сочиняла. Я затаил дыхание, позабыв обо всем. Но тут меня потянул за рукав Федька.

— Чего ты? — зашипел я на него.

— Айда на Ключарку... Видишь? В штаны потекло.

Когда мы драпали с кладбища, у Федьки за пазухой поколотились воробьиные яйца и сделалась яичница.

— Айдайте, а то боязно одному-то, — канючил он.

Мы пошли с ним.

На речке темно, и нам снова становится не по себе. Пугливо озираемся и теряемся в догадках: что такое видели на кладбище? Федька быстренько выполоскал рубашку, мы ее выкрутили сообща и припустили с речки.

— Черт это был, — заявил Федька, когда мы рысью подбежали к калитке его дома. — Бабка Фатинья, слыхали, говорила, что божья кара будет. Вот и есть. Сам он в середке сидел. Видали?

Я, например, не видел, но и спорить было трудно. Внутри шара и в самом деле что-то темнело.

— С рогами! — распалялся Федька, чувствуя себя возле дома в безопасности и начиная, по обычаю, придумывать. — И зубы! С хвостом!..

— Хватит брехать! — оборвал Степка. — Сам ты с хвостом. А еще пионер! — И, что-то прикинув в уме, раздумчиво сказал: — Это тот, кто листок прилепил на ворота.

— Что ты! Это же мертвец! — забожился Федька, испуганно озираясь.

— Как тресну по башке! — озлился Степка. — Мертвецы не курят.

Довод был веский. Когда ЭТО СТРАШНОЕ выскочило из часовенки, мы видели, как ОНО бросило окуроч. А даже Федька не слыхивал, чтобы мертвецы курили.

— А может, он все же из шара выскочил? — не унимался Федька.

— Ой, и дурак ты, Федька! — скривился с досады Степка. — Он сам шара испугался. Может, у него тоже со страху живот закрутило, как у тебя.

Федька обиженно засопел.

На этом мы и разошлись, договорившись на завтра, днем, сходить в часовенку и обследовать ее.

Дома я все рассказал отцу.

— Молния это,— сказал отец.— Шаровая. Видал я такие. Тут никакого чуда нет. А вот что это за человек встретился, это дело посерьезнее. Тут подумать надо. Н-да-а,— задумчиво мерил отец длинными ногами горницу.— Этих сусековых и жилиных не сразу сломишь. Жилистые.

Снял со стены саблю, погладил отполированный эфес и вытащил из ножен холодно мерцающий клинок.

— Записками страшают. Это враг голову подымает, Ленюка.— Посуrowел глазами.— Что ж, рубанем эту голову по самую ключицу, чтоб не отросла больше!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Живем мы втроем. Отец, дед и я. Мама у нас померла.

Висит на стенке фотокарточка, и с нее смотрят на меня жалостливые мамини глаза. В какой угол я ни зайду, все равно смотрят они на меня. Мама, когда живая была, говорила: «С тебя глаз спускать нельзя».

Померла от тифа. Два года назад. Так и остались мы втроем: отец, дед и я.

Если хорошенько разобраться, то живем мы с дедом вдвоем. Отец редко дома бывает, все по району мотается или целыми ночами в райкоме заседает. «У секретаря весь район на плечах,— говорит он.— Вот колхозы укрепим, кулачье под ногу — тогда отдохнем.— И, подумав, добавляет:— Пожалуй, тогда совсем спать не придется». Весело подмигивает озорными глазами, отчего корявое и бровастое лицо становится красивым. Говорит, что на его лице черти горох молотили, вот и рябое стало. Веселый у меня отец!

Молодой он, а виски как снегом забурило, и на плече у него синий рубец — карабином за гражданскую войну натер. И еще маленькая ямка есть на ноге от разрывной английской пули. Он у Буденного разведчиком был. И теперь, когда бывает в хорошем настроении, в свободную минуту напевает свою любимую:

Сотня юных бойцов
Из буденовских войск
На разведку в поля поскакала...

И смотрит куда-то вдаль, а глаза задумчивые-задумчивые. Наверно, видит, как воевал. «Шашки во-он! Марш, ма-арш!!» И летит конная лава в жестокую сечу с золотопогонниками за Советскую власть. Жутким блеском сверкают сабли, и впереди эскадрона несется мой отец, молодой, храбрый и красивый!

Фотокарточка у нас есть, пожелтела она и облезла, но отец здорово на ней получился! В буденовке со звездой на лбу, в шинели с красными полосами на груди, с маузером на боку и с саблей до пола!

Чего он сейчас так не одевается? Только шинель по-прежнему носит, но не ту, с красными полосами на груди, а другую, которую Эйхе подарил. Когда дядя Роберт приезжает к нам и они идут рядом, то со спины и не различишь, кто Эйхе, кто отец. Оба высокие, в длинных кавалерийских шинелях, и оба идут размашистым быстрым шагом. Только отец пошире в плечах и потяжелее на ногу.

Есть у отца подарок от дяди Роберта — браунинг. На рукоятке серебряная пластинка, а на ней гравировка: «т. Берестову от Эйхе в знак революционной дружбы». Браунинг этот отец бережет пуще глаза. «Первый секретарь Западно-Сибирского крайкома партии подарил,—говорит отец, поднимая палец.—Это тебе не шутка».

А еще имеется у него наган — тяжелый, большой, барабан щелкает, если покрутить. Наган этот отец всегда с собой носит, а маленький, как игрушечный, браунинг лежит дома в столе, куда мне строжайше запрещено лазить.

Иногда отец стреляет из нагана и браунинга. Поставит на ворота, что выходят в сторону реки, копейку и бьет по ней. И обязательно попадет. Мне бы так!

А сабля отцовская висит теперь без дела над кроватью. Иногда отец вытаскивает из ножен отливающий ледяным сколом клинок и проводит по жалю ногтем.

— Оружие у Советской власти всегда должно быть готовым, Ленька.

Взгляд его светлых глаз холодеет и становится острым, как

сама сабля. У меня жутко и радостно замирает сердце. Эх, война бы сейчас! Вот бы здорово! Р-раз, р-раз саблей направо и налево! У-ух!

Когда нет никого дома, я снимаю со стены тяжелую саблю и вижу себя на белом коне впереди сотни юных бойцов.

Наигравшись досыта, вешаю саблю обратно на стену, беру свою деревянную и иду кромсать крапиву у забора.

Дед дивится:

— И чего взъярился? Всю крапиву начисто извел. Ты бы лучше чурочек Ликановне наколот, обед сготовить.

Эх, дед, ничего-то он не понимает! Тут обида до слез, что опоздал воевать в гражданскую войну, а он — чурочек наколоть!

Вот отец, повезло же ему! Сколько он воевал! И где только не был! Его еще при царе в солдаты взяли, и воевал он с австрийцами. А потом во Францию отправили, чтобы они там за Францию воевали против немцев. «За снаряды продали,— говорил отец.— Русский солдат пушечным мясом был». А во Франции как узнали русские солдаты, что в России революция, так потребовали, чтобы их домой отправили: не хотят они больше за Францию воевать. А их арестовали и заставили работать тяжелую работу. Тогда отец подговорил товарищей, да и сбежали они домой. Полгода добирались до России, всю Европу прошли пешком. Чуть с голоду не померли. А как в Россию прибыл отец, так за Советскую власть стал воевать и в большевики поступил. Со всеми белыми генералами воевал. И стрелять метко научился.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Вставай! — разбудил меня дед. — Дружки вон томятся.

Под окном — разбойничий свист. Я вскочил, прилип носом к стеклу. Проморгался. Так и есть: Федька и Степка. Отчаянно машут руками.

— Сейчас! — крикнул я, натягивая на ходу штаны. Схватив горбушку хлеба, выскочил на улицу.

— Дрыхнешь? — зловеще спросил Федька и уставился на меня страшными глазами.

— Дрыхну,— сознался я.

— Дрыхнешь? — еще зловещее спросил Федька и еще больше вытаращил глаза.— А тут такое творится, такое творится!

— Что? — упало у меня сердце: ведь всякое могло стрястись, пока я спал.

А Федька каждой дыре гвоздь, он все знает. И Степка загадочно молчит. У меня от любопытства и нетерпения зачесались пятки.

— В Васю Проскурина лом бросали! — выпалил Федька и замолчал. Федька любил ошарашить. И теперь с любопытством наблюдал, как это на меня подействовало.— Вышел он вчера из клуба, стал замок навешивать, а с крыши — бух! Лом!

— Насмерть?! — ахнул я.

— Не-ет,— протянул Федька.— Только задело. По щеке. Вот! А ты дрыхнешь!

— Это... тот... с кладбища? — замирая, спросил я.

Федька как-то ошалело посмотрел на меня и догадливо заорал и замахал руками:

— Ну да, а кто же еще! Бабка Фатинья утром прибежала к мамке и говорит: «Вася Проскурин полез на крышу, а там никого». Ясно — привидение!..

— Опять ты брешешь,— перебил Степка.— Какое привидение! Где ты видел, чтобы привидение ломами кидалось?

— Бабка Фатинья...

— «Бабка Фатинья, бабка Фатинья»!.. Заладил! Видал ты таких, я спрашиваю?

— Ладно, пусть,— охотно согласился Федька.— А чертики летучие есть. Бабка Фатинья сама видела, как они над кладбищем летали. Махонькие, с крылышками, как летучие мыши, только с рожками.

— Пионер называется — в чертей верит! — возмутился Степка.

— А видали вчера...— оправдывался Федька.

— Ладно. Айда! — прервал его Степка.

Мы пришли на кладбище.

Тихо здесь. Между могилок козы пасутся. Федька подозрительно покосился на них, признал коз бабки Фатиньи и успокоился.

В углу кладбища кирпичная, давно не беленная, с облупленными стенами часовенка. На железном куполке покосившийся крест. Стоит часовенка загадочная, притаившаяся, поджидает. Мы остановились и мнемся.

— Ну, айда, — первым решился Степка. — Не век тут стоять.

Подожли ближе. Часовенка как часовенка, а жутко. День, солнце, а жутко. Опять заныло где-то возле пупка. Чего это такое? Как страшно, так возле пупка ноет.

— Где же молния стену прошла? — спросил Степка. — Следов нету.

— Правда-а, — лупнул глазами Федька, и они стали вылезать у него на лоб.

Над головой с писком прочертила косой след ласточка. Федька испуганно отшатнулся.

— Ты не пугайся, — подтолкнул его Степка. — И... нас не пугай.

Собрались с духом, открыли дверцу. Она таинственно заскрипела. Вошли в прохладную, с затхлым запахом воробьиных гнезд и плесени часовенку. Лицо щекотнула паутина.

Постояли на пороге, приглядываясь к полумраку. Федька чихнул, как из берданы выстрелил. И тут сверху что-то посыпалось, что-то просвистело мимо ушей — раз, другой, третий! Что-то маленькое, юркое и жуткое.

— Брысь! Нечистая сила! Чур-чуров! — завопил Федька и козлом сиганул к двери.

Мы шарахнулись за ним. В дверях застряли и суматошно толкались. Кучей вывалили из часовенки.

Опомнились за кладбищем.

— Чего орал? — спросил Степка, отпыхиваясь.

— Нн-ничего, а в-вы чего? — заикался Федька.

— Ты же первый.

— Нн-не-е, — заспорил Федька. — Это в-вы.

— Как — мы? — возмутился Степка. — Ты — первый. Чего орал?

— А чертики летели, крылатые.

— Какие чертики! — аж задохнулся от негодования Степка. — Разуй гляделки-то! Воробы это!

Федька оторопел. Стоял и зевал открытым ртом, как чебак, выброшенный на берег. Потом заплелся и забуйствовал:

— Черти воробы! Ух, аж сердце захолонуло!

Он прямо осатанел и требовал рогатку, чтобы извести всю воробынью породу.

Наконец пришел в себя и стал сосредоточенно обминать шишку на лбу, которой разбогател, стукнувшись о косяк часовой двери. Шишка у него взыграла с гусиное яйцо.

Отдышались, снова двинулись к часовенке.

Федька плелся сзади, прихрамывая и жалуясь на порезанную еще весной ногу. «Мухлюет,— догадался я.— Нога у него давно зажила».

Осмотрели часовенку и ничего подозрительного не обнаружили. Мусор, пыль, труха воробыных гнезд. Начихались досыта.

Нашли пуговицу. Перламутровую. Круглую, как горошина.

— Ну, я пошел,— разочарованно протянул Федька.— Нюрка болеет, водиться с ней надо. Леденцов бы купить,— вздохнул он и ушел.

Я и Степка подались на райкомовскую конюшню, к моему деду. Дед мой — конюх в райкоме. И мы частенько помогаем ему: гоняем лошадей на водопой, купаем, чистим их, сбрасываем с сеновала корм или водим к коновалу подковывать.

В конюшне сухая душистая прохлада. По стенам висят пучки засохших трав, и пахнет здесь степной полынью, конским потом и ременной сбруей.

У деда заготовлены травы против всяких лошадиных недугов. Чистотел — против чесотки и вздутия живота, чемерица — от власоеда и червивых ран; березовая кора, из которой дед выгоняет березовый деготь,— от загнивания ран, ивовая кора, идущая в отвар,— для промывания ран и остановки крови... И еще какие-то пучочки сохнут под потолком, заготовленные ранней весной, когда дед выходит на сбор трав.

Дед чинил сыромятным ремешком уздечку и слушал деда Черемуху — мозглявенького старикашку с большой черной, будто приклеенной бородой. Черемухой старика прозвали за то, что у него была любимая поговорка: «Мать-черемуха». Дед Черемуха всему завидовал и всем был недоволен.

— Как в начальники выбьется кто,— говорил он,— так, гля-

дишь, и размордел, гладкий стал. Ране так было, и теперь то же. Зачем вот райкому две пары лошадей? Не всяк кулак столь лошадей держит, а тут, гля-ко,— четыре! Секлетарю на кониках красоваться? Может, тебе и обидно, Петрович, о сыне такое слышать, но я правду-матку в глаза режу. Ить, погляди, Петрович,— мать-черемуха! — как власть, так пешком не ходит. Из края вон секлетарь Эйхев на машине-легковушке подкатывает, и энту машину-легковушку в речке купают, как ране губернаторскую кобылу, чтоб, значить, сияла. Ай неправду говорю?

Дед мой чинит уздечку и усмехается в сивый ус:

— Что ж, пешком по краю должен Эйхе ходить? Да и Пантелей мой тоже по району ноги пообобьет пешком-то.

— Пешком не пешком, а куды столь лошадей?

— Не один же он в райкоме, все ездят. Помотайся-ка по району, да еще в такое время. Воронок вон опять объявился.

— Да-а,— переключается дед Черемуха на другое.— Воронок не птица, а летает — и ГПУ не словит.

— Словят,— уверенно говорит мой дед.— Домой навернется, не может того быть. Словят.

— Кабы знать, когда навернется, а то ить как ветер в поле,— скручивает дед Черемуха козью ножку.— Олютел человек, подобие потерял. Судью убить — это же надо, мать-черемуха! Прискакал, сказывают, в Катунское прямо середь бела дня. Взошел в кабинет, стрелил из левольверта — и в окно. На конь — и след простыл! Жеребец у него чистых кровей. Падет на его, крикнет: «Грабют!» — и был таков. Куды это милиция смотрит? Сничтожить такого вызверка надо, ить он сколь крови пустил! И все партийных бьет, которые при должностях.

Мы слушаем затаив дыхание, догадываясь, что речь идет о Воронке, племяннике Сусековых, главаре банды, что скрывается где-то в окрестностях нашего села.

— Сводите-ка, помощнички, лошадей на водопой,— говорит нам дед и тут же строго предупреждает: — По улицам не гнать! Гнедко вон что-то засекаться стал.

Мы вывели лошадей из конюшни, с телеги попрыгали им на спины и, конечно, бешеным галопом проскакали по улицам, сопровождаемые захлебывающимся лаем спохватившихся собак.

— Ар-р-ря-а-а! Ар-р-ря-а-а! — гикаем мы и представляем, что несемся в атаку.

Рубахи наши пузырями надулись на спине.

К великому удивлению, на Ключарке мы встретили Федьку. Он стоял, разинув рот и прикрыв рукой глаза. А Пронька Сусеков и Васька Лопух упражнялись в меткости, кидая Федьке в рот пятак. На лице Федьки темнели синяки. Видать, сильно бросали Пронька и Лопух. Бросали и хохотали.

Мы ошолбенели. Что это?

Федька увидел нас и сказал:

— Не игров.

И стал обмывать побитое лицо.

— Проиграл, проиграл! — торжествующе заорал Пронька. — Уговор дороже денег. Ешь землю, проиграл!

Недолго думая мы со Степкой направили лошадей на Проньку и Лопуха.

— Но-но! — закричал Пронька, опасно поглядывая на морды лошадей. — Не очень! Коммуненки!

Они отбежали на порядочное расстояние и, не тая горклостью, заорали:

— Поквитаемся еще!

— Ладно, квит-наквит сделаем! — обещали и мы.

— Ты чего с ними якшаешься? — наступал я на Федьку.

— Пятак обещал, если ротом поймаю.

Вытащил из кармана галстук и стал надевать.

— Ты же пионер! — орал я. — А с кулацкими сынками играешь!

— Я же снял галстук, — оправдывался Федька. — Я же распионерился на это время.

От негодования я прямо задохнулся. Вот балда! Думает, если снял галстук, то он и не пионер.

— Ты что, белены объелся? А на ночь ты тоже распионериваешься?

— На ночь не считова. А Пронька пятак обещал, если ротом поймаю. Я же не за так играл. — В голосе Федьки просеклись слезы. — Нюрке леденцов думал купить. Хворает здорово. И муки два пуда мы должны, а Пронька грозил, что за мукой придет, если играть не буду.

Федька швыркал носом, горестно вздыхал.

— Мамка говорит: «Ты им поддавайся, ублажай, а то муку потребуют». Вот я и поддаюсь.

Нам стало жалко Федьку, и мы начали гадать, где раздобыть пятак на леденцы его младшей сестренке. Напоив лошадей, со свистом, вскачь, домчались до конюшни, и я у деда выклянчил пятак.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Среди ночи кто-то нещадно заколотил по раме:

— Берестовы! Берестовы!

Стекла жалобно звякали, готовые вот-вот рассыпаться.

Первое, что я увидел спросонья, — это пляшущие по стенам комнаты кровавые блики. В окне полыхало багровое пламя. Было светло как днем.

Мне почему-то послышалось, что с улицы кричат: «Война!»

«Наконец-то!» — в радостном испуге стукнуло сердце, и я полез было за отцовской саблей. Но в следующее мгновение наступило горькое разочарование — был пожар.

Я выскочил за ворота и тут только понял, что горит райком. Он был напротив, через проулок.

Я застыл на месте. Из окон отцовского кабинета валили дым и пламя. Около райкома растерянно бегал сторож и кричал:

— Господи, горит! Господи, горит!

Площадь перед райкомом была пуста: сторож да я.

Выскочил дед, крикнул мне:

— За домом гляди! — и побежал куда-то быстро, как молодой.

Вскоре приехали пожарные. В бочках не оказалось воды. Поскакали на Ключарку.

Потом качали помпы и жидко брызгали из брандспойтов. Распоряжался всем начмил, толстый, красный, с орденом в пунцовой розетке на гимнастерке. Его зычный голос повелительно господствовал над нестройным гулом толпы.

Из пламени время от времени с треском вырывались искры и осыпали всех. Одна искра, как жучок-светлячок, попала мне на руку, и я долго плясал, как от укуса пчелы.

Люди с баграми и ведрами сустились, толкались, кричали и мешали друг другу.

На Васю Проскурина накинули мокрую попону, и он бросился в огонь. Я замер. Вслед Васе направили струю из брандспойта. Вася залез в окно отцовского кабинета, и пламя поглотило его. Через некоторое время из окна полетели папки с бумагами. Потом высунулся Вася и крикнул:

— Давай еще кто на подмогу! Одному не поднять!

На помощь ему полез, тоже завернутый в облитую попону, молодой милиционер Мамочка. Его так и звали все, потому что фамилия его была Мамочкин. И его проглотил огонь. А если не вылезут? Нескончаемо долго потянулись минуты.

Но вот среди пламени что-то зачернело в окне, и через подоконник перевалился окованный железом купеческий сундук. Это отцовский сейф. В нем важные документы.

Едва смельчаки успели выскочить, как рухнул потолок. Огненные брызги тугой струей ударили вверх и в стороны. Стало еще ярче и жутче.

Васю Проскурина и Мамочку тут же, на площади, перевязывал доктор. Они дымились, как загнанные лошади, и болезненно морщились.

У Васи совсем не было бровей и ресниц, и он как-то беспомощно и удивленно хлопал голыми веками. У Мамочки от великоленного чуба остался жалкий порывевший клоч, висевший сосулькой. Мамочка время от времени хватался за него, и в глазах его было неподдельное горе. Чуб его был самым красивым на селе. Когда Мамочка шел по улице, он всегда победоносно встряхивал им. Я тоже мечтал завести себе такой чуб.

— Берестовы, Берестовы горят! — раздался крик.

Я страшно удивился, глянул на свой дом и ахнул. Наша крыша дымилась, как курится прорубь в сильные морозы. Кое-где поплясывали злые верткие огоньки, и, будто из решета, сыпались на крышу жучки-светлячки из огненных смерчей, что рождались в пламени райкома.

Стали тушить нашу крышу. Огоньки быстро попрятались, и крыша мокро почернела.

Райком сгорел.

Под утро прискакал отец. В эту ночь он был в Бийске.



Через подоконник перевалился окованный железом купеческий сундук.

— Документы как? — спросил он, не слезая с коня.

Гнедко загнанно ходил под ним взмыленными боками.

— Спасли, Пантелей Данилыч. Что смогли, спасли, — ответил дядя Митя — второй секретарь райкома. Теперь он был в штанах.

На пожар дядя Митя прибежал в одних подштанниках и выделялся как белая ворона среди черных.

— Вот только опись имущества раскулаченных погорела, — понизив голос, добавил дядя Митя.

— Та-ак, — протянул отец и тяжело перенес через седло ногу. Грузно спрыгнул с пошатнувшегося коня.

Постоял у пожарища, пнул смрадно дымящуюся головешку.

— Спаялись, гады, как ужи по осени. Ну нет, наша перетянет! — с силой хлестнул плеткой по голенищу и пошагал в ГПУ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Настал июнь, занятия в школе кончились, мы перешли в пятый класс.

Делать нам теперь нечего, и мы каждый день пропадаем в степи: то играть туда уйдем, то гнезда зорить, то сусликов ловить, а то и просто походить, поглазеть.

Собираемся обычно у Федькиной избы на краю села.

Но однажды Федька исчез. Как сквозь землю провалился. Три дня мы его не видели. Приходили к нему, мать говорила:

— Удирает куда-то, варнак, на целый день! Сама не доищусь.

Куда он удирает? И почему без нас? Это становилось загадкой.

На четвертый день мы были свидетелями того, как Федька слезал с вышки бани. Он был чумазый, будто ночевал в трубе, и какой-то очумелый, вроде белены объелся.

— «Таинственный остров» читал. Ух!..

Пустыми глазами посмотрел на нас. Он был где-то там, в непонятном для нас мире.

— Ух!.. — ошалело потряс он вечно не чесанной головой. — Ух!.. — в третий раз ухнул он.

— Чего ты разухался, как филин? — возмутился Степка. — Ты почему один читал? Друг называется.

— Шибко завлекательно. Силов не было до вас добежать.

— Ладно, мы тебе припомним, — пообещал я.

— Ух и люблю книжки читать, — сказал Федька, нисколько не обращая внимания на наше возмущение. — Заливисто читаю.

И посыпались из него слова, как грибы из лукошка: «Дункан», «пираты», «воздушный шар»...

— Эх, сесть бы на воздушный шар и полететь бы! — мечтательно закатил глаза Федька. — Лететь, лететь бы — и на остров прилететь! Там бы жили себе и пиратов бы ждали. Я бы главный был, этим... как его? Смитом. А ты бы, Ленька, — негром, а Степка бы — каторжником Айртоном.

— Чего это ты меня — каторжником! — возмутился Степка. — И почему это ты главный, а не я?

— Потому, что я книжку читал, — резонно ответил Федька, — а не ты. И не знаешь, что делать надо по книге.

— Все равно не хочу быть каторжником, — сказал Степка, — я Чапаевым хочу быть.

Мне тоже совсем не хотелось быть каким-то негром. Я тоже хотел быть Чапаевым или, на худой конец, Петькой-ординарцем. Так мы в тот раз и не договорились, кто кем будет, но мысль куда-нибудь полететь крепко засела в нас. Полететь не полететь, а вот пойти до гор, что синели на горизонте, стало просто невтерпёж. И однажды встали мы спозаранку, захватили по горбушке хлеба, нащипали луку на грядке, сольцы завернули в тряпочку и — айда! — пошагали.

Что там за синими горами, за широкими долами? Неведомые страны с индейцами, что носят орлиные перья в волосах? Океан-море? Острова с пальмами и обезьянами? Мир велик и удивителен! И все хочется видеть.

Мы уже порядком устали, съели на ходу и горбушки хлеба, и лук, а горы не придвинулись ни на капельку.

— Мерещатся они, — угрюмо говорит Федька. — До без конца-краю идти надо.

— Настоящие они, только идти больно долго, — отвечает Степка.

— Отдохнем тогда, — предлагает Федька и первым заваливается в траву на опушке березовой рощицы.

Лежим задрав ноги. Степка поглядывает на Федьку, и на губах его притаилась плутоватая улыбка. А Федька мечтательно уставился на небо и грызет длинную травяную былку:

— Федьк, а Федьк, — держит Степка в руках одуванчик, — закрой глаза, а рот открой — фокус-мокус покажу.

Федька подозрительно косит глазом, перестает грызть былку. Федька страсть как любит фокусы, но Степке он не доверяет. Однако желание узнать фокус настолько велико, что он забывает о предосторожности и до ушей растворяет рот, на совесть зажмурив глаза. Степка быстро сует в рот одуванчик. Федька плотно прихлопывает губы, а Степка медленно вытягивает уже оголенный стебелек. Федька ошалело хлопает глазами и начинает ругаться; изо рта летят мокрые парашютики от одуванчика.

— Я бы его целым вытащил, — говорит Степка. — А ты дверки-то захлопнул. Испортил фокус.

Федька лезет на Степку с кулаками, тот увертывается. Потом они сопят, стараясь свалить друг дружку, но никто не пересиливает.

— Погоди, еще закукарекаешь у меня, — обещает Федька, отдуваясь.

Мы знаем, чем он грозит. Гипнозом. Федька хочет стать гипнотизером. Для этого, утверждает он, надо не мигая просморгнуть час в одну точку. Глаза от этого станут пронзительные, и все подчиняться будут. Придешь, к примеру, в сельпо, глянешь на продавца и про себя скажешь: «Дай килограмм конфет». Он тебе и отвалит, в бумажках или леденцов в жестяных баночках. И не за деньги, а так просто, за здорово живешь. Он даже помнить не будет. Затмение найдет.

Мы все усердно упражняемся в гипнозе. Но через две-три минуты глаза начинают слезиться — и сморгнешь. А сморгнул — всё. Начинай сначала. Час не моргать надо.

Федька говорит: «Упертый я человек, сделаюсь гипнозом». Мне и Степке он говорит, что все равно ничего у нас не выйдет. Для гипноза надо иметь черные глаза. А у Степки глаза голубые, у меня — серые, и только у Федьки — черные. И вооб-

ще Федька черный, как грач, а Степка — белобрый, а я — какой-то средний, ни черный, ни белый.

— Заставлю без штанов в крапиве сидеть! — грозит Федька.

Но Степка уже занят другим. Он ободрал с прутика кору и воткнул его в муравьиную кучу. Прутик враз покрылся муравьями. Степка стряхнул их и с наслаждением стал слизывать с прутика капельки муравьиного сока. Мы тоже следуем его примеру и лакомимся кисленьким соком.

— А ударила бы сейчас золотая молния, — говорит Федька, — и мы бы нашли ее. Вот было бы здорово!

Да, хорошо бы такую молнию найти. Мы бы сразу мастерами на все руки стали, аэроплан бы сделали и летали бы на нем, а зареченские лопнули бы от зависти. А еще бы... еще бы что? Еще бы рогатки сделали, которые без промаха бьют — только камушек вложи и натяни, а там он сам полетит куда надо. Еще мост новый через Ключарку построили бы, как отец мечтает, и тракторов бы в колхоз наделали, и всех бы кулаков — под нож.

— Где это Воронок скрывается? — спрашивает Степка, глядя в глубь березовой рощицы.

Мысль о Воронке давно волнует каждого из нас, но мы не признаемся друг другу. Степка первым высказывает общее опасение. Федька даже бледнеет при упоминании этого имени, и глаза его испуганно округляются.

Где-то здесь, в степи, а вернее — вон в тех веселых островках леса скрывается со своей бандой Воронок. А ну как вынырнут из того вон овражка немытые бородатые бандюги и скажут: «Ага, попались! Вы за Советскую власть? Вяжи их!»

Нам не по себе от этой мысли, и горы уже кажутся не такими заманчивыми. Молчим, поглядываем по сторонам: не появятся ли верховые. Бандиты, конечно, на конях, с обрезам.

Первым сдается Федька.

— Я дальше не пойду, нога расхворалась.

Он морщит лицо и хватается за ногу, которая давным-давно зажила. Мы со Степкой переглядываемся, выжидаем, кто что скажет. Наконец Степка недовольно ворчит:

— Вечно с тобой так. Что-нибудь да стрясется.

Теперь уж и мне можно сделать вид, что уступаю.

Путешествие наше кончается тем, что неожиданно-негаданно подъезжает к нам мой отец в плетеном пестерьке, заложенном Гнедком, молодым ленивым жеребчиком. Отец натягивает волосяные вожжи, с веселым прищуром оглядывает нас из-под широких ежистых бровей.

— Садитесь, мигом домчу. Конь — зверь, поменять бы где. Мы лезем в пестерек.

— Куда ходили?

— В горы хотели, дядя Пантелей, — разбалтывается Федька. — Да забоялись. Воронка забоялась.

Отец хмурится.

— Без толку не шляйтесь по степи... Но! Но-о! — причмокивает на Гнедка.

Тот даже и ухом не ведет. Косит глазом хитро, высматривает, где кнут. Отец показывает, Гнедко мотает головой: ага, мол, вижу, и берет с места валкой рысцой.

— До гор я вас довезу, дайте вот только с коллективизацией управиться. Пионерский лагерь там откроем. Есть такая думка в райкоме... Но! Но-о! — прикрикивает на Гнедка, который под шумок уже пошел шагом.

Отец мотает махорчатым плетеным кнутом, Гнедко спотыкается.

— Заспотыкался, волчья сыть! Никудышный жеребчик. Обменять надо... Да-а, есть думка в райкоме: сделать для крестьянских ребятишек пионерский лагерь в самом красивом месте. В Белокурихе.

Отец смотрит на нас, что-то прикидывает.

— Не надоедает без толку болтаться? Делом бы занялись. Кругом такое, а вы в сторонке. Не к лицу пионерам это. Надо с вашей учительницей потолковать, к делу вас пристроить.

Он довозит нас до увала. Здесь мы слезаем.

Возвращаясь из разбойничьих набегов на степь, мы всегда отдыхаем на увале. Привольно здесь, ясно небо. Набегавшись вдосталь, лежим на зеленой бархатной мураве и бездумно глядим на мир, на степь, ровную-ровную, как туго натянутый цветистый полushалок, какие носят девки в нашем селе. По этому степному полushалку кое-где складки мелкошесы и березовых колков, куда весной бегаем мы пить кисло-сладкий березовый

сок. На горизонте вздыбилась голубая гряда Алтайских гор. Если прищуриться, то расплываются они водяными радужными кругами.

Внизу — село. Перед селом — речка. Тихая, светлая Ключарка.

Течет себе вилюшками по степи, поблескивает на солнце. По речке и село окрестили. Ключаркино наше село.

У самой околицы — мост, неподалеку от него на взлобке увала — камень. Говорят, что Чингисхан поставил, перед тем как на Русь двинуться. И сидел тут будто и гадал: останется голова на плечах или нет.

На этом камне теперь сидит огромный беркут, хищно щелкает железным клювом и гортанно клекочет. На нас он не обращает внимания, смотрит куда-то вдаль холодными глазами, и в клекоте его что-то тоскливое и древнее.

Стар беркут. Сидит нахохлившись, похожий на копешку почерневшего от дождей сена. О чем думает он? Может, тоскует, что не под силу уже подняться в поднебесье и зоркими глазами увидеть в степи зайца и упасть камнем из-под облаков и вкогтиться в бедного косого. Наверное, скоро он из последних сил поднимется к самому солнцу и, сложив крылья, упадет на землю и разобьется. Так умирают орлы.

Мы с почтением и страхом смотрим на птицу.

Выше камня, на сугреве, стоит дощатый памятник со звездой, вырезанной из консервной банки. Могильный холмик осел и густо порос сорной травой. На могилах почему-то всегда полынь растет, сурепка, лебеда.

На облезлой, шершавой, покрашенной в красный цвет тумбе можно разобрать выжженную корявую надпись: «Филимон Аренин. Убит кулацкой пулей за марксизм». А ниже приписка: «Спи, раб божия». Дальше совсем непонятное из Библии и крест.

Убит на этом месте и здесь же похоронен избач Филя. Это было год назад, весной, в день рождения Ленина. Возвращался тогда Филя из Бийска, торопился со свежей газетой, чтобы на комсомольском собрании о Ленине почитать. Тут его и встретили... Потом на мертвом Филе нашли спрятанную газету, залитую кровью, с портретом Ленина. Теперь этот портрет из газе-

ты в избе-читальне висит, и под ним в комсомол принимают парней нашего села. А кто убил, так и не нашли. А за что убили, все знают. Уж больно зло и смешно сочинял Филя частушки про кулаков, писал в газету и агитировал за колхоз. Теперь избачом Вася Проскурин.

Долго мы лежим на увале и говорим о всяких мальчишеских делах. Например, о том, где достать резины на рогатки. Желательно бы красной. Скорее бы приехал дядя Роберт Эйхе. У его шофера можно разжиться резиной. А так как Эйхе останавливается у нас, то меня и спрашивают друзья: скоро ли? А я почему знаю! Первый секретарь Запсибкрая не докладывает мне. А рогатки нужны позарез. Воробьи обнаглели, под носом летают.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Отец и правда потолковал с Надеждой Федоровной, и наш пионерский отряд ходит теперь на колхозное поле пропалывать свеклу.

Ходим туда строем, в галстуках, с барабаном и горном. Федька теперь бессменный барабанщик и стал даже задаваться. Но недолго ему пришлось гордиться перед нами, потому что Степка научился горнить на пионерском горне, и теперь они ходят рядышком.

Я тоже пытался научиться барабанить, но палочки у меня почему-то вертятся в руках, и получается не барабанная лихая дробь, а ерунда какая-то. Когда я убедился, что барабанщика из меня не выйдет, то попробовал играть на горне. Но и тут осечка. Пыжусь, пыжусь, а вместо звонких веселых звуков из горна вылетает какое-то шипение, будто гусак соседский шипит. Надежда Федоровна сказала: «Нет у тебя музыкальных способностей. Будешь знамя пионерское носить, руки у тебя сильные». Вот теперь мы и ходим втроем впереди отряда: Федька барабанит, Степка дудит, я знамя несу. Им, конечно, легче. Поиграют, поиграют да отдохнут, а я все несу да несу. А знамя тяжелое. Руки отмотает, пока до свеклы дойдем. Но вида я не подаю, и когда Надежда Федоровна спрашивает: «Устал? Подменить?» —

я упрямо мотаю головой: «Нет, не надо». Вот так в гражданскую войну знаменосцы шли впереди отрядов и под градом пуль несли знамена вперед, пока не падали сраженные. И я несу знамя под градом взглядов деревенских мальчишек и взрослых и очень хочу, чтобы кто-нибудь напал на нас. Я умер бы со знаменем в руках, но не отступил бы и не выпустил бы его из рук.

Свекольное поле, которое мы пололи, густо заросло осотом. Подергай его, колючего, голыми руками! Тут как в бою упорство нужно. Сначала будто ежа берешь. Потом приобвыкнешь, и только ладошки горят, словно печеную картошку из костра таскаешь.

Однажды Надежда Федоровна сказала:

— Сегодня проведем соревнование. Кто лучше работает.

Каждому из нас отвели делянку, мы встали в шеренгу и начали соревноваться. Рядом со мной по одну сторону была делянка Федьки, а по другую сторону — Аленки-тихони. Есть у нас такая девчонка в классе. Всегда тихая, а учится только на «оч. хор.».

Я сразу нажал. Федька, Степка и другие отстали, а Аленка-тихоня не отстает. Наравне идет. «Неужели обгонит? Девчонка!» Стараюсь изо всех сил, даже к ручью пить перестал бегать, и во рту пересохло. Взмок весь, не обращаю внимания на боль в руках и в спине, все дергаю, дергаю, дергаю! А Аленка все не отстает и пить бегаёт. Противная какая-то девчонка! Как я раньше этого не замечал? Упрел я, пока закончил свою делянку. Все же первым закончил. И Аленка тут же прямо за мной закончила свою и говорит:

— Леня, пойдем поможем Рите, а то вон она как отстала.

— Больно мне надо ей помогать, — отвечаю я и смотрю на свои бедные ладони. Эта Ритка там еле-еле шевелит руками, а я ей помогай.

— Эх, ты!.. — сказала Аленка и ушла.

Я, конечно, не пошел. Что я, дурак!

Вскоре все закончили работу, и Надежда Федоровна сказала:

— Лучшее всех работал Леня Берестов, он первый закончил свою делянку. И Алена очень хорошо работала и вторая закончила работу.

— Если бы захотела, я бы его перегнала,— вдруг сказала Аленка.

У меня прямо дух захватило от этих слов.

— Как бы не так! — заорал я.— Кишка тонка!

— Нет, не тонка, просто пожалела.

У меня язык от возмущения отнялся. Ах ты тихоня противная! «Пожалела»! Треснуть бы тебе по башке, узнала бы тогда!

А она опять свое:

— Он хоть и ударник, да только для себя. Рите не стал помогать.

— Еще не хватало! — опять заорал я.— Дали каждому деланку, ну и делай свое!

— Нет, ты неправ, Леня,— сказала Надежда Федоровна.— Так рассуждать могут только кулаки, а ты — пионер. И должен помогать товарищам, тем более что Рита слабее тебя, а ты вон какой здоровый.

— Нет уж, дудки! Не буду помогать девчонкам! — упрямо заявил я.

— Опять рассуждаешь не по-пионерски,— сказала Надежда Федоровна и холодно поглядела на меня.

Я замолчал, не стал больше спорить. А эта тихоня еще получит от меня! Собрался я ей кулак показать исподтишка, а она так на меня поглядела, что прямо куда-то в душу заглянула. Глаза у нее синие-синие, как Рябиновое озеро, где мы карасей ловим. И на носу конопушки мелкие, как на воробьином яйце. И что-то такое со мной сделалось: хотел пригрозить и не пригрозил. Никогда за мной такого не замечалось. Прямо удивительно. И целый день мне потом эти глаза виделись, синие-синие.

Дома мне еще отец добавил.

— Ну, брат, пришлось мне покраснеть за твое единоличное настроение,— сказал он вечером, едва переступив порог.

Это уж ему Надежда Федоровна доложила.

— Значит, свое только?

— Да какое же «свое»! — возмутился я.— Колхозное поле-то!

— Все равно. Кто товарищам не помогает, тот только себя любит.

Вот тебе раз! То говорит: будь везде первым, ты — пионер! А теперь все наоборот.

— Выходит, я буду работать, а другой прохлаждаться, как Ритка, а потом я же ей помогай? Я глотка воды не сделал, а она от ручья не отходила.

— А ты увлекли ее, объясни, покажи, как надо работать, — не унимался отец.

Я обиделся. Вот пристали. Сговорились, что ли?

— Ну ладно, — сказал отец. — Пей чай, не дуйся, а то лопнешь — чаем коленки оппаришь. Ты подумай только: когда вы вместе бываете — Федька, Степка и ты, — на вас зареченские не нападают. Потому что вы — сила. В работе тоже нельзя по одному, как лебедь, рак и щука. Ты вот возьми веник, попробуй сломать. Не получится. А по хворостинке очень просто переломаешь. Так и в работе надо, вместе чтобы. Один за всех, и все за одного. Сделал все, помоги товарищу. Для этого и колхозы делаем, для этого в коммунизм идем. Я вот тебе сейчас прочту, что Владимир Ильич пишет.

Отец достал с этажерки книжку в красном переплете, разобрался в закладках, которых было множество, и начал:

— Вот слушай, что такое коммунист. «Коммунист — слово латинское. Коммунис — значит общий. — Отец поднял палец, поглядел на меня. — Коммунистическое общество — значит все общее: земля, фабрики, общий труд — вот что такое коммунизм». Понял? Вот что пишет Ленин. Общий труд. — Отец закрыл книгу. — Ленин это говорит. Он сам в субботниках участвовал, бревна таскал, а ты Аленке не хотел помочь. Какой же ты после этого пионер?

«Не Аленке вовсе, а Ритке, — тоскливо подумал я и утешил себя другой мыслью: — Этой Аленке еще будет! Тихоня!»

— Да-а, — задумчиво сказал отец. — Вытравить из нас эту крестьянскую закваску нелегко. Рабочий класс тем и силен, что он сплочен, гуртом держится. А вот крестьяне никак еще понять не могут, что им дает колхоз, общий труд. И разбредаются, как овцы у плохого пастуха. Но ничего! — Голос отца затвердел. — Мы их сгуртуем! Поймут. Это попервости туго, а потом не растащишь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В избе-читальне организовали курсы по ликвидации безграмотности — ликбез. Заведовала этими курсами Надежда Федоровна, а мы у нее были помощниками. Мы — это Степка, Федька, я и Аленка-тихоня. Надежде Федоровне без нас, конечно, не управиться было бы со всеми неграмотными в нашем селе — не разорваться же ей одной на всех.

Открывать ликбез пришел отец. Он был побрит и от этого казался помолодевшим. Высокий, плечистый, в зеленой гимнастерке и синих галифе, обшитых кожей, он походил на красного командира, каким он и был когда-то.

Учиться на ликбез пришел народ пожилой, бородатый. Сидели за столами, смущенно покашливали в черные кулаки. Те, которые помоложе, толпились на крыльце, курили, натянуто похохатывали. Видно было, что волнуются и любопытно им как это учеба происходить будет. Я в первом классе тоже такой был.

Председательский стол покрыт красной сатиновой скатертью, на столе графин с водой и колокольчик. Над рамкой с портретом Ленина, на котором запекшаяся кровь Фили Арепина, прибит кумачовый плакат: «Долой неграмотность!»

Отец и Надежда Федоровна пошептались, и отец попросил всех занять свои места. Одернул гимнастерку, позвонил в колокольчик, подождал, когда стихнет гомон, и торжественно начал:

— Товарищи граждане нашего села! Сегодня мы открываем курсы ликбеза. От имени районного комитета ВКП(б) я приветствую вас, сознательных граждан нашего села, за то, что вы пришли сюда грызть гранит науки.— Взгляд отца задержался на беззубом деде Черемухе, отец досадливо крикнул и поправился: — Ну, грызть не грызть, а, в общем, уму-разуму набираться. Владимир Ильич Ленин говорил: «Учиться, учиться и учиться». А Владимир Ильич шибко грамотный человек был, он все языки знал: он мог по-германскому говорить, по-французскому, по-турецкому и по разному другому. Вот какой человек был наш Ильич. И то он все время учился. Я вот тоже обязуюсь немецкий язык изучить и за пять групп испытание сдать, потому как без грамоты теперь нельзя в нашей стране. Жизнь мы новую строим, а тут некоторые расписаться не умеют. Письмо

придет — бежим к соседу, чтобы прочитал. А теперь вы читать сами научитесь и сами писать письма будете своим дорогим сынам или любезным знакомым.

Отец передохнул и торжественным голосом объявил:

— Районный комитет ВКП(б) постановил ликвидировать безграмотность в нашем селе как родимое пятно капитализма! Нам не к лицу, товарищи, таскать на себе родимые пятна буржуазии! Мы теперь какую жизнь строим? — Отец оглядел всех и сам ответил: — Светлую жизнь строим! Да как же при этой нашей светлой жизни оставаться темным, неграмотным человеком?! Нельзя этого допустить! И Советская власть, и наша родная партия ВКП(б) не допустят! Вот вам мое твердое слово.

Отец поглядел на Надежду Федоровну и улыбнулся. Улыбка на угрюмом и корявом отцовском лице всегда была внезапна и ослепительна, как молния. И всегда хотелось тоже улыбнуться в ответ.

— Я вот тоже совсем неграмотный был до революции, академий я не кончал, я эти академии в гражданскую прошел. Парнем был, не знал, что дальше Бийска находится. Лес, думал, и все. Германская началась. Где, думаю, эта Германия находится? Гадал, гадал, так и не нагадал. За лесом, думаю, где-то за горами, не иначе. А теперь вот я изучаю географию, Надежда Федоровна меня учит, где какая; значит, страна находится. Правда, когда я из Франции бежал, то много стран прошагал пешком, а вот на карте, где они находятся, не показал бы. А учеба, она глаза открывает. Книжку или учебник прочтешь и вроде пошире глядеть стал. Вот, к примеру, по степи идешь — далеко видать, верно? А на бугорок взойдешь — еще подальше глянешь. Так и с книжкой. Ее прочтешь — будто на горку взобрался, видать подальше. А вся грамота начинается, сказать вам по правде, с первой буквы. Значит, давайте сознательно учиться и нашу светлую жизнь строить.

Потом говорила Надежда Федоровна и рассказала, как будет идти обучение.

Потом мы, ее помощники, раздали по столам чистые листки бумаги и карандаши. Надежда Федоровна вывела на доске большую печатную букву «А», и все начали ее срисовывать в свои листки. Мы стояли каждый около своего прикрепленного стари-



ка или старухи. Федьке достался его собственный отец. И Федька сразу заважничал. Поглядывал, как потеет над буквой его отец, и наставительно говорил:

— Не так, не туда палочку ставишь. Не так.

Федькин отец покорно хлопал глазами, а я вдруг вспомнил, как он выдрал Федьку за семечки.

Стоял у них в чулане мешок с семечками. Мы всей оравой паслись у этого мешка. Однажды пришли к Федьке и застали такую картину. Пьяный Федькин отец, пошатываясь над мешком, звал сына:

«Слышь, поди-ка сюда! Оглох?»

Федька, боязливо косясь на отца, делал вид, что идет, а сам только переступал на месте. На всякий случай плаксиво морщился.

«Не швыркай соплями-то! Иди сюда! Кто это семечки таскает?»

«Не я, тять», — захныкал Федька.

«Сейчас я их на замок закрою — не подлезешь, паршивец!»

Федькин отец покачнулся, собрал верх мешка в узел и замкнул его на тяжелый амбарный замок.

«Вот, козел вонючий!» — и огрел Федьку вожжами два раза, на всякий случай, на будущее.



Федька пошвыркал носом, размазал слезы, поглядел, далеко ли ушел отец, и закружил вокруг мешка, как кот возле горячей лапши.

«Фокус-мокус, — сказал он и снял замок с мешка через верх. Насыпал полные карманы семечек и снова продел узел мешка в дужку замка. Победоносно поглядел на нас и сказал: — Вот, козлы вонючие...»

А сейчас Федька стоит над отцом и с полным сознанием превосходства твердит свое:

— Не так... Не так, сюда вот закорючку надо, а ты куда?

Вконец расстроенный отец смотрит на сына и не знает, что делать. Кончается тем, что Надежда Федоровна замечает важничанье Федьки, отгоняет его от отца и сама показывает, как надо писать букву.

А мой отец ходит между столами, и с лица его, посветлевшего и какого-то растроганного, не сбегает улыбка. Видать, он очень доволен, что вот сидят взрослые люди и учатся писать. Иногда я вижу, как он переглядывается с Надеждой Федоровной, и глаза его становятся мягкими, а учительница вспыхивает и склоняется над очередным бородачом.

Мы тоже не без дела, тоже стараемся показать, как надо писать, как брать карандаш, и видим, как неумело держат их

узластые огрубевшие пальцы, привыкшие к вожжам, плугу и вилам, и как с трудом выводят они такие простые, на наш взгляд, палочки.

Отец позвонил в колокольчик на перемену и поздравил всех с окончанием первого урока, а нам сказал:

— Молодцы, ребята. Вот вы уже и пользу даете Советской власти. Сами выучились и других учите. Скоро мы с вами таких дел наделаем, что ни одной неграмотной старухи у нас не останется.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дед послал меня в сельпо купить муки. По дороге я увидел Федьку. Еще издали он засвистел мне и замахал руками.

— Чего ты?

— У-у! — таращит глаза Федька. — Знаешь, вчера понатужился и целый час не мигал. Гипноз теперь я!

Я прямо онемел. Вот так Федька! Вот что значит упорство!

— Айда в сельпо! — предлагаю я. — Гипнозом леденцов возьмем.

— Упертый я человек, — хвастает Федька, шагая рядом. — Сказал, сделаю — сделал.

Но чем ближе подходим мы к сельпо, тем меньше размахивает руками Федька и тише кричит.

Около сельпо стоит знакомый гусак и, вытянув змеиную шею, шипит. Мы его хорошо знаем — обязательно ущипнет.

— Давай гипноз! — ору я, едва успев увильнуть от клюва.

Но Федька уже на крыльце сельпо, на безопасной высоте.

— Чего же ты? — возмущаюсь я, взлетев, как на крыльях, к нему.

— Кабы он понимал, животное, — оправдывается Федька. — Бестолковый ведь и головой крутит, в глаза не заглянешь. — И заканчивает: — Ты, знаешь, сначала муки возьми, а потом я буду продавца гипнозом. Ладно?

В сельпо пахнет селедкой, мукой, керосином и хомутами. Продавец отмеривает какой-то бабке сахару и, брякнув на прилавок заржавленную селедку перед старухой, спрашивает нас:

— Чего вам?

Федька пятится.

— Муки,— говорю я.

Продавец обегает меня глазками.

— Берестов будешь?

— Берестов,— отвечаю я и думаю: «Как это Федька будет гипнотизировать такие юркие глаза? Их не уловишь».

— Муки тебе? — переспрашивает продавец.

— Муки.

Какая-то тень набегает на его лицо, а глаза снова ускользают. «Не получится у Федьки»,— с сожалением думаю я. Продавец идет в глубь магазина за мукой. Я подталкиваю Федьку:

— Давай!

Федька сопит и топчется на месте. Продавец приносит муку и, едва дотронув до весов, подает мне. Лицо его в сильном поту, на губах какая-то деревянная улыбка.

Федька, вылупив глаза, шепчет что-то осевшим голосом.

— Громче говори. Чего надо? — нетерпеливо спрашивает продавец.

— Лам-па-се,— с придыхом отвечает Федька, и тут я вижу, как у него лезут на лоб глаза.

Продавец нагибается к ящику с конфетами, а Федька так дергает меня, что я чуть не роняю мешочек с мукой.

— Бежим! — жарким шепотом выдыхает Федька.

— За конфетами полез,— упираюсь я, не понимая, что стряслось с другом.

— Ой-ей-ей, мамоньки мои! — скулит Федька и тянет меня к выходу.

Мы выскакиваем на улицу.

— Чего ты? — накидываюсь я на Федьку. — Чего ты не подождал? Не видал, за конфетами полез!

— Видал! — тащит меня дальше от сельно Федька. — А еще видал? Еще видал?

— Чего?

— Пуговицы у него нет на воротнике. Ниточки болтаются. Беленькие.

— Ну и что? — не понимаю я.

— А такую пуговку мы в часовенке нашли. Я как углядел, так сердце умерло.

У меня сам собою открывается рот, но я все же сомневаюсь:

— Мало ли пуговок таких.

— Мало. Нету в нашем селе. У кого ты видал?

И верно, ни у кого я таких не видал.

А в длинном ряду пуговичек продавца, похожих на синие капельки, не хватало одной. Это я тоже заметил, да только не обратил внимания. А Федька сообразил.

Мы отнесли муку и пошли искать Степку, самого умного из нас. Степка полонил грядку морковки на огороде. Федька вздохнул и стал рассказывать, что случилось с нами:

— Продавец ка-ак за нами кинется! А Ленка ка-ак выскочит из селы, а я за ним.

— Ух ты врун! — возмутился я. — Ты первый побежал!

— Не-ет, ты!

Вот всегда Федька такой, всегда на других сваливает.

— Стойте, не ежьте! — перебил Степка. — Тут все обмозговать надо. Это дело не шутейное.

И замолчал, нахмутив белые брови.

Обмозговывал он долго, а мы пропалывали за него морковку.

— Чего ты делаешь, балда! — вдруг закричал Степка на Федьку. — Ты же как раз саму морковку выдергиваешь!

— Молчал, молчал и заорал, — сказал Федька недовольно. — Поги сам тогда.

Но мы все же пропололи грядку, и Степан высказал обмозгованное решение.

— Надо следить. По всем правилам. Как сыщики выслеживают. — Он прицелился на Федьку: — Сначала будешь следить ты.

— Не-е! — протестовал Федька. — Лучше я потом.

— Как — потом? Случь чего, ты его гипнозом, — поддержал я Степку.

— Гипноз, может, и не действует. Я в темноте глядел в точку, а потом уснул. Может, я и не час глядел, — сознался Федька.

— У-у, вечно ты такой! — зашипел Степка.

Решено было, что сначала Степка, потом я, а потом Федька. Но когда мы снова пришли в селю, оно было закрыто. И в этот день так и не открылось.

В обед отец наелся пышек, что напекла Ликановна из муки, купленной мною, и, выйдя из-за стола, вдруг стал бледнеть. Потом упал и стал кататься по полу в жестоком приступе рвоты. Дед рвущимся голосом вызвал по телефону доктора.

Доктор, подвижной старичок с белевным клинышком бородки, прибежал вскоре.

— Что он ел? — спросил доктор.

Дед показал на пышки и чай. Доктор повертел пышку в руках, понюхал.

— Больше никто не ел?

— Не успели, — ответил дед.

— Откуда мука?

— Из сельпа.

— Осталась?

— Есть еще...

В муке нашли мышьяк.

Продавец как в воду канул.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ключарка до половины — воробью по колено, но под правым берегом омут. Там — с ручками. Там мы и купаемся. А греться вылезаем на левый берег, на мелкий желтый песок, плотно прибитый нашими телами.

На самой мелкоте у берега хлюпается мелюзга. Какой-то карапуз лежит наполовину в воде, наполовину на берегу и восторженно кричит таким же шпингалетам, как и он сам: «Идите сюда! Здесь мелкая глубочина!»

Мы со Степкой накупались до синих губ и отогреваемся на горячем песке рядом с «мелкой глубочиной». А Федьки все не видно. Наконец он пришел. Скучный. Сел рядом. Сопит.

— Ты чего? — спрашивает Степка, вглядываясь в грязные потеки на Федькином лице.

— Тятка выпорол, — тяжело вздыхает Федька.

— За что?

— За мед.

И Федька поведал нам горестную историю.

Был у них лагушок меду, который Федькина мать берегла пуще глаза к празднику, гостям особо важным. Летом Федька никогда не ел вместе с семьей и потому не знал, что мед не трогают. Думал, все едят, и сам ел потихоньку. Ел, ел да и слопал весь.

— Целый лагушок?! — ахаем мы и смотрим на Федькино пузо.

— Дык... я ж не враз. Кабы не Сусечиха... А то приперлась. А мамка перед ней рассыпалась. Муку у них занимали. Отдавать надо, а нечем. Вот мамка и вздумала усластить. Сунулась в лагушок, а там оскребушки. Тятка выпорол.

Федька горестно вздыхает, глядит на свои черные ноги сплошь в цыпках. Мы не утешаем его, не девчонки.

Наконец жара донимает нас, лезем в воду. Плаваем на спине, ныряем, достаем ракушки со дна.

Раздвигая воду сильным плечом, саженками подплывает Сенька Сусеков. Глухо сопнув, хватает меня за шею деревянно-твердыми пальцами и начинает окунать в воду:

— Курнись, курнись, коммуненок!

Я выбился из сил, уже захлебываюсь, а он все сует и сует меня под воду. Я пустил пузыри.

Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы Степка не выскочил на берег и не заорал благим матом о помощи.

Прибежали парни, что купались под мостом, на самом глубоком месте. Среди них Вася Проскурин. Сенька отпустил меня.

— Пошутковать нельзя... — осклабился он. — Чё я ему сделал, секлетарскому пащенку?

— На мальков? — спрашивает Вася Проскурин. Спрашивает спокойно, а на скулах вспухли желваки. — Ты меня курни.

Стоят друг против друга, разительно отличаясь. Сенька — коренастый, с тяжелыми свислыми плечами. Несмотря на молодость, он огруз и кажется старше своих лет. А Вася Проскурин — тонкий, стройный и весь светится. Будто березка против коряги. Такие березки гнутся в бурю, но стоят, а коряги хрупают пополам.

Злобно-весело глядит Вася на Сеньку, и нежно алеет рубец

на щеке от лома, что сбросили на него с крыши клуба. У Сеньки под тяжелым прищуром век холодно блестят белки.

На берегу тихо, даже мелюзга присмирела.

Сенька, кинув вокруг злобный взгляд, с придыхом обещает:

— Курнем, надо будет.

И идет прочь. Идет вразвалку, неторопливо, но мне почему-то кажется, что вот-вот он перейдет на трусливую рысь. Вася провожает его тягуче-долгим взглядом.

Меня стало рвать. Одной водой. Я бессильно лег на песок, и в голове все пошло кругом. Наверное, я долго так лежал, потому что, когда очнулся, Федька облегченно вздохнул:

— Думал, ты утоп. Дыхания у тебя не было.

У меня все еще кружится голова. Мы долго сидим молча.

— Ленък, — спрашивает Федька, — что такое классовая война? Это когда класс на класс? Как наш четвертый с пятым дрался?

— Ух и умная у тебя голова, — говорит вместо меня Степка, — только дураку досталась.

— Ты больно мудрый, — обижается Федька. — Я спрашиваю, а ты сразу...

Степка, видимо, чувствует угрызение совести и начинает объяснять:

— Это когда бедные на богатых. И не война, а борьба. Вот Сенька Леньку топил — это классовая борьба. В Васю лом кинули — это тоже. Или райком сгорел. Понял?

Федька молчит, что-то напряженно осмысливая.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Из Новосибирска приехала комиссия. Разбирать дело о пожаре райкома. Больной отец лежал дома, и комиссия пришла к нам.

— Ну натворил, Берестов! — начал с порога высокий бритоголовый дядька.

— Чего натворил? — слабым голосом спросил отец, чуть приподымая голову над подушкой.



— Как «чего»? Райком сжег, списки конфискованного имущества утратил да и с ликвидацией единоличных хозяйств тянешь. Не выполняешь процент.

— Может, я и мышьяку специально наглотался? — тихо спросил отец, но в голосе я уловил холодное бешенство, что предвещало близкую бурю.

— Это ты брось! — сказал бритоголовый, голенасто вышагивая по комнате. — Мышьяк тут ни при чем. Тебя о райкоме спрашивают. Почему сгорел?

— Пожар был.

— Юмор здесь не уместен. Где был секретарь райкома? — В голосе бритоголового послышались начальственные нотки.

— В тракторной школе, в Бийске. Вам это известно из докладной.

— Нам известно, что нет райкома.

— Райком есть,— твердо сказал отец, и брови его слились в одну линию, а над ними высыпал бисер пота.— Работники живы, и я — секретарь райкома.

— Не завидую тебе, секретарь,— с расстановкой, многозначительно сказал бритоголовый.

— Не пугайте,— ответил отец.

— Боюсь, с партбилетом придется расстаться.

— Это... за что? — медленно, страшно медленно спросил отец и приподнялся на кровати. Кровь отлила с его лица.— Какая-то сволочь подожгла райком, а я билет выложить?! Вы что... с ума посходили?

— Но-но, поосторожней выбирай выражения,— просипел другой дядька, толстый и молчавший до этого.

Воротник тугой петлей захлестнул его багровую, налитую кровью шею. Я подумал, как бы он ненароком не удушился.

— Тут истерикой не возьмешь,— сказал он.— И не сволочишься. Если у нас в каждом районе райкомы гореть будут, что же останется?

— Люди.

— Вон ты как! Значит, вины за собой не признаешь?

— Погодите, товарищи,— вмешался третий, длинноносый молодой мужчина.— Чего вы все удила закусили?

— Вину признаю,— слабо сказал отец.— За райком отвечу, но партбилет выкладывать — извините!

— А это у тебя спрашивать не будем,— махнул рукой бритоголовый.— Выложишь как миленький.

— Врешь! — Отец быстро сел на постели, бритоголовый отшатнулся. Но отец опять уже повалился на кровать, мучительно застонал и хрипло выдал: — Не ты мне его давал, не тебе и отбирать!

— Что это? — вдруг раздался властный, с легким нерусским выговором голос с порога.

Все разом оглянулись.

В дверях стоял Эйхе.

Никто и не заметил, как к нашему дому подкатила легковая машина и из нее вылез первый секретарь крайкома. Высокий, сухощавый, с маленькой бородкой и аккуратно подстриженными

усами, он походил на Дзержинского. Полувоенная форма — серая гимнастерка и синие галифе, заправленные в высокие хромовые сапоги, — добавляла это сходство.

— Что это? — повторил Эйхе и шагнул в комнату.

Мне показалось, что у нас стало светлее, вроде бы стены раздвинулись.

— Видите ли... — начал бритоголовый, и я поразился, как неузнаваемо переменился его голос, какой он стал мягкий.

— Вижу, — нахмурился Эйхе и начал чеканить: — Во-первых, почему у постели больного секретаря райкома нет врача? Во-вторых, почему разбор дела происходит на дому секретаря, а не на бюро райкома?

— Райкома нет, Роберт Индрикович, — вкрадчиво сказал бритоголовый и развел руками: мол, я тут ни при чем.

Мне показалось, он поклонился.

— Нет здания райкома, — сухо поправил Эйхе и снял фуражку военного покроя, — а члены бюро райкома живы и работают. Или я неправильно информирован?

Эйхе сел на стул и вытер со лба капельки пота. Высокий, чистый лоб дяди Роберта был разделен на две части: нижнюю — загорелую, и верхнюю — незагорелую, что скрывала фуражка. И от этого лоб казался еще выше. Дядя Роберт пригладил потные волосы, которые были у него разделены пробором, и обвел взглядом комнату.

— Что же, я неправильно информирован? — повторил он вопрос.

— Нет, правильно, Роберт Индрикович, — ответил бритоголовый. — Только мы почли за лучшее отправить врача от постели, ввиду того, что в вопросах, которые мы хотели выяснить, врач не компетентен.

Эйхе поморщился от этой длинной фразы. Дальше я не слушал. Теперь все в порядке: дядя Роберт здесь.

Я выскочил на улицу, и вовремя: Степка и Федька уже залезали в легковушку. Дядя Вася — шофер Эйхе — собирался ехать на Ключарку мыть машину.

Здорово все же, что дядя Роберт приехал! Во-первых, его привез дядя Вася, а у него можно разжиться резиной на рогатки, и не какой-нибудь черной, а красной резиной, как и положе-

но мальчишке, стоящему за Советскую власть. Это во-первых, как говорит дядя Роберт. Во-вторых, есть надежда прокатиться за увал. Дядя Роберт всегда катает нас на «эмке». В-третьих, приятно иметь знакомого настоящего революционера, который и в царских тюрьмах сидел, и в ссылке был, и революцию делал, и в гражданскую воевал. А уж дядя Роберт—настоящий старый революционер! У него даже кличка подпольная была: «Андрей».

На Ключарке мы рьяно помогаем дяде Васе мыть машину, и она начинает блестеть как новенькая. Потом купаемся сами, а потом, когда дядя Вася свертывает здоровенную самокрутку и закуривает, мы приступаем к главному.

— Воробьев у нас...— издалека начинает Федька и закатывает глаза,— страсть, дядя Вася!

— А-м-мм,— тянет дядя Вася, прищуривая от дыма один глаз.

— В огородах всё поклевали,— добавляет Степка.— Спасу нету.

— Пугало сделайте,— советует дядя Вася.

— Ой, дядь Вась, не боятся они их, на макушках сидят.

— М-м-мм.

— Бить их надо,— говорю я.— А руками разве накидаешься?

— Угу-м-мм.

Попыхивает себе самокруткой, блаженно щурится на речку, на плетни огородов, на дальние горы.

— Хорошо у вас здесь! Простор!

Разговор вроде бы подобрался к главному, и вот нá тебе — опять потух!

— Воробьев у нас!..— снова да ладом начинает Федька.

— М-м-мм.

Эта сказка про белого бычка тянется, пока дядя Вася не накурится.

— Говорите, руками не накидаешься? — спрашивает дядя Вася и тщательно тушит о подметку окурков.

— Не накидаешься, дядь Вась! — горячо убеждаем мы.

— Плохо. Ничем помочь не могу. У меня только красная.

— Красная! — вопит Федька и пускается в пляс.— Ура-а! Нам и надо красной.

— Красной? — удивленно спрашивает дядя Вася, а глаза его смеются. — Так бы и сказали сразу. Я думал, не возьмете. Думал, черная нужна.

Гора с плеч. Держитесь, зареченские!

На обсохшей машине подкатываем к нашему дому. Дядя Роберт уже на крыльце, за ним толчется комиссия. Дядя Роберт что-то говорит бритоголовому.

Мы вылезаем из легковушки и мнемся возле нее. Дядя Роберт переводит глаза с бритоголового на нас, и мы какое-то время чувствуем этот неломкий, жесткий взгляд. Но вот глаза чуть сузились, приобрели спокойный блеск, и в излучинах рта легла хитроватая улыбка.

— Мушкетеры уже здесь?

— Здесь! — орем мы хором, подтягивая штаны и выпячивая животы вместо груди.

— Прокатить до увала? — подмигивает совсем уже весело дядя Роберт.

— Прокатить! — орем мы и, не дожидаясь особого приглашения, толкаясь, лезем в легковушку, на заднее сиденье.

Чего-чего, а прокатываться — хлебом не корми. И хотя договариваемся только до увала, на самом деле спокойненько его проезжаем. Едем, пока дядя Роберт не спросит шофера:

— Проехали, нет, увал?

— Увал-то? — будто не зная, крутит головой дядя Вася. — Кто его знает. Надо у ребятишек спросить.

Мы вздыхаем:

— Проехали.

И чего так быстро его проезжаешь на машине? А пешком идешь, идешь!

— Ну что ж, прыгайте, зайчики, — смеется дядя Роберт, когда машина останавливается.

Мы горохом высыпаем из легковушки.

— Оружие есть? — спрашивает дядя Роберт.

— Есть! — показываем мы резину, уже разделенную и разрезанную на полосы для рогаток.

Дядя Роберт с самым серьезным видом осматривает резину.

— Это еще половина дела, — говорит он и вылезает из машины.

Гурьбой направляемся в березовый колок у дороги.

В березках тихо, солнце золотистой пряжей процеживается сквозь светло-зеленую листву и пятнами лежит на мягкой траве. Воздух здесь теплый, пахучий, настоящий на распаренном березовом листе.

— Вениками пахнет,— улыбается дядя Роберт, снимает фуражку и глубоко дышит всей грудью.

Он останавливается и, запрокинув голову, долго смотрит на верхушки берез, на белые легкие облачка в высоком небе и с грустинкой говорит:

— Хорошо же вам, мальчишки!

Конечно, хорошо. Кто говорит — плохо?

Мы выбираем рогульки и мастерим рогатки. Потом бьем по цели — по консервной банке. Мажем безбожно, а дядя Роберт попадает.

— Вот как надо! — смеется он. — Мазилы. Тренируйтесь. Красноармейцами станете — метко стрелять потребуется.

Рогатку, которую он сам сделал, отдает Федьке, и тот сияет, как начищенный самовар.

— Воробьев бейте,— наказывает на прощанье дядя Роберт. — Скворцов не трогайте. Скворец — полезная птица, а воробьи — плуты. Воришки мелкие.

Провожаем его до машины.

— Коммунистический привет! — машет он нам из легковушки.

— Привет! — откликаемся мы и долго стоим в облаке пыли. Потом версты четыре топаем назад.

Прокатились!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Через неделю на бюро райкома отцу вклеили выговор. Отец был еще болен, но уже ходил.

Вернулся с улыбкой на осунувшемся бледном лице, возбужденный.

— Пропарили, брат, меня! Сам Эйхе парил! А то — «партбилет на стол». Нет, шутишь! Выговор, конечно, по заслугам: ох-

рана райкома была плохо налажена. И продавца прохлопали. Птица, видать.

Отец сильно ослаб и подолгу лежал у окна. Было непривычно видеть его дома и таким беспомощным.

Правда, и до отравления он болел. С ним бывали приступы лихорадки, которую он подцепил на Кавказе в гражданскую войну. Когда начинался приступ, он бывал беспомощным и валился с ног, а мы с дедом тащили на него всё, что было у нас теплого: и пальто мое, и отцовский полушубок из собачин, и дедов тулуп, а ему все было холодно, и руки его были ледяные. Трясло его так, что он лязгал зубами, будто совсем голый лежит на снегу.

«Эскадро-о-он!» — хрипел он в беспамятстве и судорожно шарил рукой по боку, ища эфес шашки.

Когда лихорадка переставала трепать, холодный пот ручьями лил по его желтому, осунувшемуся лицу. Отец пил хину, плевался и вполголоса, чтобы не слышал я, ругался.

После приступа он вставал страшный и какой-то чужой. Его пошатывало. Вялыми движениями вздрагивающих рук, обычно сильных, как кузнечные клещи, он долго застегивал командирский ремень на гимнастерке. И только тогда, когда привычно проверял барабан нагана, руки вновь приобретали цепкость и силу.

«Погодил бы чуток», — говорил дед.

«Не время», — ворхнув нездорово-желтыми белками, отвечал отец, совал наган в карман и уходил в ночь. Раскулачивать.

А теперь вот уже давно лежит отец дома и никуда не ходит. Лежит и читает.

О той или иной книге он прямо и резко выражает свое мнение. Прочел «Тараса Бульбу», похвалил: «Вот это книжка! Всем книжкам книжка!» А когда я рассказал ему про «Айвенго», который потряс нас с Федькой своими рыцарскими подвигами, то отец охладил меня: «Шелуха. Короли там и прочие господа. И писать об них нечего. Вот Тарас Бульба — это да! За свою родину, за народ бился. Как это он на костре сказал, что, мол, нет товарищества крепче, чем русское, и силы нет сильнее. Вот!»

— Слушай, Ленька, — позвал он раз меня, — какие слова сказал немецкий поэт Гёте. Вот:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!

А?! Здорово? Вот черт. Каждый день идет за них на бой.
«Фауст» называется книжечка.

Отец повертел ее, полистал.

— Это мне Надежда Федоровна прочесть велела, карандашиком тут подчеркнула. По правде сказать, скучная книжка, не стал я ее читать. Чертовщина тут всякая, религия и прочая поповщина. А вот слова эти правильные.— И снова с удовольствием повторил:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!

Это ты запомни! Правильные слова. Книга, она многому научит. А писатели — народ башковитый. Я, знаешь, первый раз когда книжку прочитал, то подумал: «Как это он все подслушал, подглядел? Вот, думаю, проныра мужик».

Отец помолчал, потом улыбнулся, что-то вспомнив:

— Помнишь, ездил я в прошлый раз в Новосибирск, на пленум? Собрали нас всех, секретарей райкомов, ну и как-то раз после заседания Эйхе и спрашивает: «А как у вас, товарищи секретари, насчет общего образования? Не политического, а общего?» Ну, а какое у нас образование! У кого две, у кого три группы да коридор. Человека четыре только с гимназией нашлось. У большинства ликбез или курсы какие. Вот и вся грамота. Спрашивает Роберт Индрикович: «Например, литературой художественной интересуетесь?» — «Интересуемся, говорим, как же!» Бодро так отвечаем. «А кто, спрашивает, например, книгу «Чапаев» написал?» Тут секретарь Солонешинского района и выскочил. «Пушкин, кричит, написал! Александр Сергеевич!» И гордо так смотрит на всех. Вот какой, мол, я. Гляжу, Эйхе улыбнулся в усы и опять спрашивает: «А кто еще что скажет?» Грешным делом, я вылез. Промахнулся, думаю, солонешинский секретарь. Горький, поди, накатал эту книжку про Чапаева. Ну и ляпнул: «Максим Горький!» Посмотрел Эйхе на меня и говорит: «Ну вот это уже ближе к истине хотя бы по времени. Потому что Пушкина убили за пятьдесят лет до рож-

дения Чапаева, а Максим Горький все же современник Чапаева». В общем, я тоже пальцем в небо угадал. Оказывается, книжку про Чапаева написал Фурманов, комиссар чапаевский. Вот ведь и фамилию я эту слышал, когда Колчака били. Геройский комиссар был, скажу тебе!

Отец вздохнул, задумчиво погладил книжку.

— Придет время, все секретари академии пооканчивают. Полегче им будет работать, пошире глаз у них будет. А мы много еще не знаем. Одним глазом на мир глядим. А глаз этот на классовую борьбу заострен. Тут уж без промашки. Пускай не знаю я, кто «Чапаева» написал, зато точно знаю, что жилины, сусековы и мезенцевы — наши враги кровные. С завязанными глазами найду. По нюху. На том пленуме и приказал Эйхе всем учиться. Сам проверять будет. Вот и ходит поэтому к нам Надежда Федоровна, — закончил отец и почему-то внимательно поглядел на меня.

Во время болезни отца к нам и правда часто приходила Надежда Федоровна. Они занимались с отцом. Отец твердо выполнял решение осилить за пять классов. Каждый раз перед приходом учительницы отец брился, а однажды долго рассматривал свое лицо в зеркало, вздохнул и сказал:

— Корявый я. И худой, как загнанный мерин.

— Нет, — успокоил я его. — Ты красивый.

Отец как-то смущенно улыбнулся и грустно поглядел на мамину фотокарточку на стене.

— Для вас-то, может, и ничего, конечно... Только плохо у нас, Леонид. Ни постирать, ни обед сварить некому. Ты вон какой костистый — все на сухой корке. Женщину надо в дом. Дело это житейское, вырастешь — поймешь.

— Стирать я и сам могу, — сказал я. — А обед бабка Ликановна варит же.

Отец грустно улыбнулся:

— Стирать — дело тонкое. Не мужское дело. Колки на пальцах посшибаешь. А обед не век нам Ликановна варить будет. Если бы это своя бабка была...

— Подумаешь, можно и в грязном походить, — не сдавался я. — И обед сами сварим.

— Эх, ты... — потрепал мои вихры отец и надолго замолчал.

Учеба отцу давалась туго, особенно арифметика, — с дробями он никак не мог сладить.

— Легче в атаку сходить, чем с этими дробями, — огорчился он. — Вот наука! Поди, самая трудная, а?

Видя, как быстро справляюсь с дробями я, восхищался:

— Щелкаешь, как семечки. В детстве-то мозги помягче, на них быстрее отпечатывается.

Но, несмотря на трудности, отец упорно сидел за учебниками. Он даже немецкий язык стал учить.

— Перепутали немцы всё, — говорил отец. — «Да» по-ихнему будет «я», а наше «я» по-ихнему будет «их». Если приловчиться, то быстро можно запомнить. Только вот память у меня дырявая на это. А ты, Ленька, учись, образовывайся, обо всем узнавай.

Поощрял отец и мое увлечение рисованием, но и тут принимал не все. Когда я рисовал комиссаров, или Чапаева, или бой с белополяками, отец хотя и крикал при виде моей беспомощной мазни, но говорил: «Хорошо. Рисуй классовую борьбу». Одобрял и мои живописные наброски: поле, сенокос, нашу баню. Но однажды увидел, как я старательно перерисовываю с открытки «Явление отроку Варфоломею» Нестерова, сердито засопел:

— Место тут красивое нарисовано, а вот монах этот к чему? Опиум народа. Брось ты эту картинку!

Я сказал, что Надежда Федоровна называет такие картинки произведением искусства.

— Какое это искусство? — удивился отец. — Поповская пропаганда это. Кабы этого монаха расстрелять, тогда бы произведение искусства было. А так ты докатишься — царей рисовать начнешь.



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как-то под вечер мы с отцом пошли на кладбище, к маме. Затравевшая мамина могилка — в теплой тени от высокого тополя. Небольшой дощатый памятник, окрашенный в красный цвет, и деревянная звезда. Желтая сурепка на холмике, полынь. Все это пахнет удушливо и терпко.

Лежит здесь самый дорогой наш человек. Милая, добрая мама! Пышки вкусные пекла и всегда подсовывала мне самый сладкий кусок. И конфеты у нее были про запас.

— Эх,—вдохнул отец,— без присмотра могилка-то. Заросла.

Мы вырвали бурьян, сурепку, и на могилке вдруг ярко вспыхнул жарок — любимый мамин цветок.

— Цветов бы посадить,— сказал отец,— да оградку поставить, а то вон козы бродят.

Долго сидим молча.

Отец курит одну папиросу за другой, поглядывает на меня, что-то сказать хочет.

— Жизнь, она, Леонид, такая. Не все бывает, как хочешь. Вот видишь, мамки нету у нас и в доме плохо.

Без мамы, правда, в доме у нас стало как-то неуютно, все не хватает чего-то, тепла какого-то.

— Могилку подровнять надо, осела. И некогда все. Время сейчас такое: кто кого. Дорогу протаптываем. В других странах откроют потом книжечку, прочтут, как в России делали, и сами по этому пути пойдут. А тут всё передом да передом. А переднему всегда ветер в лицо.

Отец снова закурил. А я сижу и думаю совсем о другом и вдруг ляпаю то, что не дает мне покоя последние дни:

— Я знаю, на ком жениться хочешь,— на Надежде Федоровне.

— Ну-ну...— отозвался отец, пристально взглядываясь в облупленную часовенку.— Вон ты какой.

Что хотел он этим сказать, не знаю. Знал я одно: прощай свобода! Теперь чистые рубашки, чистые утирки, по полу грязными ногами не пройти...

Правда, Надежда Федоровна ласковая, но все же можно было и без нее обойтись.

Так мы сидели и думали — каждый о своем.

Домой возвратились поздно.

В тот же вечер события куда более поразительные отвлекли мое внимание от невеселых мыслей.

Мы ужинали, когда раздался телефонный звонок. Пржевывая на ходу кусок хлеба, отец взял телефонную трубку. И сразу синеватая бледность выбелила лицо.

— Что?! — крикнул он. — Алё! Алё!.. — Дунул в трубку. — Алё!..

Телефон молчал.

— Станция, станция, дайте Быстрый Исток! Что? Не отвечает? Та-ак, ясно! — скрипнул отец зубами. — Перерезали связь, гады!.. Станция, дайте милицию! Поняков? Берестов говорит. Сади милицию на коней! Быстрый Исток звонил, успели передать, что восстание кулаков и райком окружен. Звони в ГПУ, я в РИК позвоню. Подымай всех!

Отец сильно крутил телефонную ручку.

— Восстали, гады! Ну-у! Алё, дайте РИК!.. Председатель? Берестов говорит. Собирай коммунистов на подмогу Быстрому Истоку! Восстание. Звони в райфо, в райзо, я Васе Проскурину позвоню, пусть комсомолию подымают. Живей действуй, райком там окружили, гады!

Отец быстро поднял на ноги всех партийных работников. Рассовал по карманам запасные коробочки с патронами, четким, привычным движением покрутил барабан нагана, проверяя, полностью ли он заряжен, и наказал деду:

— Дома не ночуйте. Наше кулачье может подняться. Ну, бывайте!

И ушел. Меня трясло. Восстание! В воображении я видел горящие дома и людей, бегущих с косами и вилами к дому с колоннами. Такая картинка есть в учебнике по истории, под ней написано: «Восстание».

Дед набивал трубку. Желтые от махорки пальцы его вздрагивали.

Из окна было видно, как перед милицией собирались конные. Тут были и предрика, и заврайзо, и начмил, и начальник ГПУ, и комсомольцы. Конный отряд выстроился и, во главе с отцом, с места взял галопом. Только пыль взвилась.

Группа людей осталась. Подходили еще. Им что-то говорил начал.

— Эти тоже поедут? — спросил я.

Дед подумал, пыхнул трубкой, сказал:

— Нет, поди. Тут останутся — порядок соблюдать.

* * *

Всю ночь где-то за горизонтом глухо и тревожно погромыхивала гроза. Багровые отсветы тускло озаряли черную пустошь неба.

Всю ночь я пролежал в бурьяне за баней, не смыкая глаз. Одурающе пахло сухой полынью. Настороженная тишина железным обручем сдавило село.

Дед тенью ходил по двору, прислушиваясь к сонному бреду собак.

Всем своим существом я чувствовал, что коммунисты нашего села ускакали туда, где нужно отстоять Советскую власть. И что отец мой идет в первых рядах тех, кто не задумываясь отдаст жизнь за эту власть.

Впервые в жизни ясно понял я, что идет борьба между классами не на жизнь, а на смерть. И сердцем я был с ними. С большевиками. С моим отцом.

Под утро в серой хмурой пелене рассвета бацнул выстрел. Хрипло и дружно взлаяли цепные кобели. Где-то неподалеку хрястнул плетень, и кто-то испуганно-тонко закричал: «Стой! Сто-о-ой!» Хлобыстнул еще выстрел. По улице проскакал верховой, и стихло все. Но долго еще не могли утомониться взбулгаченные собаки.

Меня била знобкая дрожь.

Закрапал дождик, запахло отсыревшей пылью и укропом.

* * *

Утром из Бийска прошел отряд красноармейцев. Сзади, на подводе, стояли два пулемета. А еще позади пара лошадей тащила зеленую пушку. Замыкала отряд орава мальчишек. Среди них Степка и Федька.

Я присоединился к ним.

— В Быстрый Исток идут,— выдохнул Федька и поглядел испуганно-радостными глазами.— Эта пушка ка-ак бабахнет, ка-ак бабахнет, так от деревни один сон останется!

За околицей мы долго стояли, покада отряд не скрылся из виду. Потом весь день прислушивались: не бабахает ли пушка, не шьет ли тонкую строчку пулемет. И, хотя Федька не раз замирал, требуя тишины, все равно не бабахала пушка и не стрелял пулемет.

Ходили мы в этот день как в воду опущенные, потеряв ко всему интерес. Федька допытывался, когда у нас будет восстание. Я обозвал его дураком, а Степка дал ему увесистый подзатыльник.

В сумерки вернулся отряд наших коммунистов и комсомольцев.

Отец пришел домой осунувшийся и почерневший. Долго и с наслаждением умывался. Я лил ему на загривок ковшиком колодезную воду. Он кричал, хлопал себя по груди мокрыми ладонями, фыркал.

— Пап, стреляли там? — не вытерпел я.

— Пришлось... Уф-ф, как хорошо! Льни еще.

— А из пушки стреляли?

— Из пушки? Нет... Ах, хорошо! Плесни разок. Ничего, и без пушки разогнали воевод.— Отец подмигнул.— Ну, дайте поесть! Сутки во рту маковой росинки не было.

— У нас тоже стреляли.

— Знаю.

После ужина отец прочистил наган от кислой пороховой гари и снова зарядил его.

— Отдыхать не будешь? — спросил дед.

— Не время,— ответил отец, уходя.— В райкоме буду.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На следующий день через наше село двигался страшный обоз.

Несколько десятков подвод следовало друг за другом под охраной красноармейцев. На подводах сидели и лежали мужики, парни, старухи и ребяташки.

Восставшие! Вот они какие.

С замиранием сердца и жгучим любопытством глядели мы на них. Особенно запомнился молодой парень — черный, как цыган, и кучерявый. Повязка на голове его была в крови. Сам он не то пьяный, не то еще что, но все время орал и страшно ругался.

Проезжая мимо нашего дома, на крыльце которого стоял отец, парень глянул на него задымленным лютой ненавистью взглядом и крикнул:

— Всех комиссаров изведем!

Отцовское лицо испятили скупой румянец, побелевшие поздри бешено трепыхнулись, но он сдержался и только выдавил презрительно, разжав на время сурово спаянные губы:

— Вырвали жало — шипеть осталось.

Федька, Степка и я молча, с ужасом глядели на обоз и так же молча пошли на Ключарку, когда обоз проехал.

А на Ключарке мы стали свидетелями, может быть, еще более страшного, чем только что виденный обоз.

К речке примыкал огород Сусековых. У самого берега, за плетнем, дружно росли молодые березки.

Мы уже разделись купаться, когда одна из березок дрогнула и стала запрокидываться. И тут мы увидели, как за плетнем мечется старик Сусеков и с прикриком, с присядом опускает на тонконогие стволы холодную, сверкающую сталь топора. Березки судорожно вздрагивали, замирали от боли и с немым криком рушились наземь.

— Свихнулся! — испуганно зашептал Федька.

— Круши-и! Все едино! — срываясь на хриплый визг, кричал старик и, пригибаясь, опускал длинные руки ниже колен, перебегал от одного деревца к другому.

Обсмысленные злобой глаза, как лезвием, полоснули по нашим лицам. Мы так и присели. Но, пожалуй, он нас и не видел.

На помощь к нему подоспели Сенька и Пронька. Они быстро опустошали березовую семейку. Сенька рубил молча, сплеча, окаменело спаяв челюсти. Пронька ловко подрубал маленьким охотничьим топориком березки помельче и помоложе.

Скоро вместо сада образовалась пустошь, где, будто покойники в белых саванах, лежали березки.



Федька птицей перемахнул через плетень и встал, загородив березку.

Нас трясло как в лихорадке от увиденного.

Старик Сусеков и Сенька метнулись во двор, к пригонам, и что-то крушили там.

У плетня осталась одна-единственная кудрявая березка. К ней по-кошачьи мягко подкрадывался Пронька, удивительно похожий сейчас на своего отца. Березка вздрагивала всеми листьями, будто понимала, что сейчас ее сгубят.

Пронька занес топорик, и... тут случилось непредвиденное: Федька птицей перемахнул через плетень и встал, загородив березку. От неожиданности Пронька чуть не выронил топор. Но растерянность и испуг сменились наглостью, как только он разобрал, кто перед ним.

— Тебе чего тут? — ощерился он.

— Не трожь!

— Тю-ю! — присвистнул Пронька. — А ну, пошел отседова, а то по сопатке!

— Не трожь! — еще тише сказал Федька и поднял увесистую гальку.

Мы с перехваченным дыханием следили за поединком. Вид Федьки не предвещал ничего доброго. Пронька в нерешительности топтался на месте, воровато поглядывая по сторонам. А маленький и совсем голый Федька стоял перед ним, и мы чувствовали, что сейчас нет силы, которая сдвинула бы его с места.

— Попомнишь! — пригрозил Пронька, отступая.

— Запомню уж, — выдавил из белых губ Федька.

Уходя, Пронька трусливо кинул земляным комом. Федька даже не обратил внимания на этот ком.

Когда он перепрыгнул обратно, мы с уважением, молча пошли с ним рядом. Потом мы долго сидели на берегу и молчали, подавленные увиденным за этот день.

— Это — тоже классовая? — нарушил молчание Федька. — Это они, чтоб нам не досталось?

— Да, — сказал я.

Федька как-то по-новому, не по-детски серьезно глянул на меня.

— Вот теперь я понял, — сказал он. — У меня сейчас сердце какое-то холодное к ним стало.

И он долго и сурово глядел в сторону дома Сусековых.

Поздно вечером под окнами фыркнул мотор, хлопнула сени́ная дверь, и вошел Эйхе. Он быстро прошел к отцу в комнату, мельком и не улыбочиво взглянув на меня.

Дядя Роберт и отец долго сидели в комнате, а на кухне мы с дедом собирались на покос. Завтра на зорьке выезжать. Готовим буханки хлеба, лук, картошку, проверяем литовки и прочее снаряжение.

Наконец все готово, и я ложусь спать. Но не спится. События последних дней чередой проходят передо мной: исчезновение продавца, пожар райкома, восстание, рубка берез... Сквозь мысли прорывается разговор из соседней комнаты.

— Ослабили они революционную бдительность, — говорит дядя Роберт. — Это сейчас самое опасное. Есть сведения, что и в вашем селе существует кулацкая дружина.

— Да, — отвечал отец. — Сегодня ночью обезглавим ее. Арестуем верхушку: Сусековых, Жилиных, Мезенцевых... По степи Воронок шныряет, племян Сусековых. Продавец вот исчез. Из их компании. Каратель, оказывается, при Колчаке был. Его старик Черемуха признал. Есть тут у нас такой. И молчал, старый хрен. Спрашиваем: «Чего молчал? Взяли бы мы его». Отвечает: «Взяли бы не взяли, а мне какую. Пристращал он меня, а я еще пожить хочу». Чего с него возьмешь, старик трухлявый, рассыпается...

— Не задумывался, почему ваши кулаки не выступили в помощь Быстрому Истоку?

— Думал. В толк не возьму. Но Воронка в Быстром Истоке видели. Ушел от погони. Конь у него добрый.

— Держите партактив начеку. Дежурство установите. Милицию — на казарменное положение.

— Сделано уже, Роберт Индрикович. Сами-то почему без охраны ездите?

Эйхе отвечает не сразу.

— Скоро буду. Указание из Москвы есть. Признаться, не нравится мне эта затея с телохранителями. Появилась у нас какая-то боязнь нападения. Идет секретарь крайкома или даже райкома, а за ним взвод телохранителей, как за Наполеоном. И щупают всех подозрительными глазами. Этим народ отталки-

вают от себя. И дома их охраняют, простой смертный и подойти боится. Вспомни, как прост был Владимир Ильич. Меньше всего думал он о своей безопасности. А разве такое было время, да и сам он разве такой, как мы!..

Я засыпаю. Голос Эйхе становится глуше, невнятнее, удаляется. Последнее, что ясно разбираю,— слова:

— Прочешите местность.

Я проваливаюсь куда-то в мягкую вату, и снится мне, что за околицей чешут степь большим, как у Ликановны, гребнем.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Каждое лето мы с дедом уезжаем на покос.

Живем в шалаше, на опушке молодой березовой рощицы. Отсюда хорошо видна степь: ровная-ровная, докуда глаз хватает. А на горизонте маячат синие горы, будто нарисованные прозрачной акварелью. Небо здесь чистое-чистое и такое высокое, что голова кружится. Диковинно красивые места!

С одной стороны белоствольная лепетливая рощица на косогоре, с другой — беспредельная степь, по которой вилюжится сине-стеклянный поясик Ключарки да бугрятся островки березовых рощ. А вон вдалеке шагает длинными ногами дождь, и где ступит, там мокро блестит трава, искрятся перламутровыми каплями кусты, отражая солнце. Прогромыхнул на окраинах степи ленивый гром, как серая молния, рассек воздух кобчик. Может, и не кобчик это вовсе, а стрела каленая, и не дождевое облачко застит солнце, а туча стрел пернатых. И заржут кони, и грянет битва...

Встаем мы рано. Просыпаясь, я чувствую, что ждет меня что-то счастливое, большое и красивое, как радуга-семицветка. Знаю, будем косить, и будет сладкая усталость, будет солнце, будет звонкий говор берез, будет с шорохом никнуть трава под литовкой и за спиной оставаться валы пахучей свежей кошанины. А вечером, когда теплый закат обольет верхушки деревьев, я буду купаться в парной воде Ключарки. А потом будет вечер у костра и рассказы деда, от которых замирает сердце.

Ах, какой большой и сказочный день предстоит мне прожить!

Я выскакиваю из палаша и ёжусь от свежести. Над Ключаркой тихо, как во сне, ползет туман. Я вздохнул пью росный воздух и смотрю не посмотрюсь на утреннюю степь.

Солнце еще только всплывает, и нежаркие лучи приятно греют плечи. Воздух звенит от птичьего гама, а деревья шевелят листвою, шевелят лениво, будто потягиваются спросонок.

В этот щебетливый час мы идем по росистой траве, и за нами остается дымчато тающий след. Трава прямится, переливает самоцветами.

Зоркими светлыми глазами дед поглядывает на косогор, который будем косить вручную: сенокосилку тут не погонишь — круто.

Худой, по-журавлиному высокий, дед еще крепок и подвижен. На покосе он становится моложе, глаза ярче, походка легче.

— Почнем, что ль?

Дед крестится, плюет на загоревшие до черноты руки и, крикнув, делает первый взмах. Ш-ш-жжик!.. Начисто срезанная трава с шорохом ложится в высокий ряд. Сейчас, с утра, она мягкая, и косить ее легко. «Коси, коса, пока роса...»

Я тоже плюю на руки, крикаю, подражая деду, и взмахиваю своей маленькой литовкой, специально для меня сделанной дедом. Р-раз!.. И в густом разнотравье появляется неровный полукруг. Р-раз!.. И еще такой же.

Вскоре я вхожу в азарт. Высокая, остропикая трава — это уже не трава, а полчища татар, и я не двенадцатилетний мальчишка, а Илья Муромец в жестокой сече за Русь. И шумят обгоревшие в битвах знамена, колышутся копыя, летят каленые стрелы, а я булатным мечом прокладываю дорогу во вражеском стане.

Р-раз! — и нет ряда. Р-раз! — и нет второго.

— Отстань!

Это дед.

— Пятку срезал.

На моей литовке кровь. Ошалело смотрю на нее и не сразу соображаю, что это сок клубники.

Дед улыбается в густую проседь усов, ковыльные, нависшие брови шевелятся.

— Сколь ее тут! На жилу натокались. Ешь!

Клубники насыпано — ступить негде! Меч-коса в сторону, и я набиваю росной ягодой рот. Пахуча, прохладна, вкусна! Нет ничего прекраснее степной ягоды! А родится она у нас такой рясной, такой сплошной, будто кумачом покрыты целые лужайки.

Скоро руки наши, а у меня и колени покрываются красными пятнами. Эх, вот бы Федьку со Степкой сюда! Объелись бы!

— Ну, будя,— вытирает дед губы.— Не переешь ее.

Наметано-зорко щурится на мой прокос.

— Носок-то литовки приподымай. Пятой больше налегай, пятой... А то головы только и посшибал.

Мой прокос по сравнению с дедовым выглядит позорно плохо. У деда как выбрито, а мой — будто Федькина голова, подстриженная под «барана».

Дед довольно окидывает косогор.

— Трава поне! Медведь медведем!

Трава и вправду стоит стеной, густая, как овечья шерсть, и по пояс вышиной.

Дед точит брусом литовку и снова сильно шаркает по траве.

До обеда косим не передыхая. «Коси, коса, пока роса...»

Но вот роса обсохла, трава стала жестче, и косы зазвенели. Солнце обжигает. Пот заливает лицо, но вытирать некогда: надо догонять деда. Линялая рубаха его потемнела на лопатках, в морщинах коричневой шеи блестят капли, а он все так же легко и быстро, словно игрушечный, машет косой и все дальше и дальше уходит от меня.

Я уже не Илья Муромец, я думаю: «Скоро ли обед?» Руки стали чугунные — не поднять, и носок литовки все чаще и чаще зарывается в землю, будто гирику к нему привязали. И кочки откуда-то появились... Еще немного, и я сдам. Но, упрямо сжав зубы, иду за дедом, кошу, кошу и кошу. Посмотрим, чья возьмет!

Вот дед заканчивает прокос и пучком травы вытирает литовку.

— Приморился я, внучек. Ты-то, поди, нет? Молодой...

Глаза его чуть-чуть насмешливо прищурены. Я молчу и не-

заметно перевожу дух. Едва разжимаю занемевшие пальцы на державке.

— Сбегай-ка за водицей — полдневать станем. Эвон солнышко-то где!

Я спускаюсь к ручью, что тихонько журчит в кустах. В зарослях багульника и волчьей ягоды натыкаюсь на кислицу. У-у, сколько ее тут! Рубиновая, просвечивающая насквозь так, что видны мелкие семечки внутри, она освежающе прохладна.

Ем горстями, ем, пока не сводит скулы от кислоты. Набираю в кепку — деду. Потом раздвигаю чашу, и лицо опаживает свежей сыростью. Прямо передо мной насквозь светлое оконце. Невесть кем поставленный сруб до краев налит студеной прозрачной водой. В срубе по стенкам мотается мох, как борода лешего. Снизу бьет ключик, струйка его не доходит доверху, поднимает со дна песчинки, былинки, крутит их и устилает дно ровно и гладко. Едва заметная рябь видна на поверхности от неустанной работы ключика, да крутится на одном месте сморщенный листок.

Я наклоняюсь и пью сладкую стынъ, пью, пока не захватывает дух и не начинает ломить зубы. Окунаю голову и встаю. Вода сбегает по спине, попадает в штаны, и сразу пробирает озноб. Бр-р-р! Почерпываю воды в берестяной туесок и с удовольствием выбираюсь на солнышко.

Ого, сколько мы отмахали! Полкосогора!

Кошанина лежит ровными пышными рядами. В недвижимом нагретом воздухе крепко пахнет увядающими цветами и медом.

Я иду по кошанине, слушаю, как сердито гудят мохнатые золотистые шмели, звенят кузнечики, и собираю осыпанную клубнику.

* * *

После обеда дед спит под телегой, а я ухожу на луг, в полуденную соню.

Луг выткан малиновым клевером, крупными солнцеголовыми ромашками, луговой геранью, синими колокольчиками и еще какими-то цветами с неизвестными мне названиями. Слышен бой перепелов, скрип коростеля, чирканье стрепета и жужжание пчел... Степь полна жизни, не видимой для глаза.

Я хмелею от медвяного запаха трав, от простора, от синих далей... Бегу по лугу и падаю в высокую траву.

Лежу, закрыв глаза, вдыхаю пряный запах земли и меда, потом раздвигаю траву, и прямо передо мной круговинка рданных кисточек костяники. Кладу в рот прохладные, как леденцы, ягоды и смотрю на рощицу.

Каждое дерево имеет свое лицо. Вон те, маленькие, выбежали вперед — это девчонки. Озорные, они убежали из-под надзора матери и смеются — вздрагивают зелеными листочками. Смеются, что береза-мать, крепкая и высокая, не может их догнать. Тянется к ним руками-ветвями, хочет поймать, обнять и притворно-сердито встряхивает головой-верхушкой, журит дочек, а сама любитесь ими и тоже рада этому солнечному дню.

А вон стоит одиноко темная, согнутая береза с обломанной вершиной. Стоит задумчиво, тяжело вздыхая. Это — старуха. Потемнели рабочие руки-ветки, опустились бессильно. И не радуется ни яркий свет, ни тепло, ни медовые запахи.

А вон неизвестно откуда забрела сюда ель. Стоит с краю, как воин, — прямо, строго. Стоит и смотрит все вдаль да вдаль, настороженно выставив острые пики ветвей. Какого врага ждет?

Для каждого дерева можно придумать что-нибудь.

Я переворачиваюсь на спину и гляжу в небо.

В бездонной синеве, там, где скитаются ветры, проносятся легкие, как дым, облака. Я провожаю их долгим, неморгающим взглядом. Куда летят они? В какие страны?..

И не облака это вовсе, а паруса боевых кораблей, и голубизна неба — это лазурь Индийского океана. Корабли плывут к неведомым сказочным островам, и я — лихой марсовый — зорко гляжу в океан, чтобы, заметив туманную полосу берега, закричать: «Земля!» А кругом голубые волны, зной тропического лета, коралловые рифы...

— Ленька! Ленька!

Надо мной стоит дед.

— Эк, заснул! Еле нашел. Солнышком-то стукнуть может.

Запустив руку в сивую бороду, он довольно жмурится на солнце и вздыхает всей грудью:

— Экие воздуха-то тут, а! Благодать!

Подмигивает мне, молодо улыбается. На коричневом лбу его разглаживаются морщинки.

— Сенá нынешний год! Ложку меда добавь — сам ешь... Давай начинать, Леонид. Солнышко спадает: слышь, кузнечики застрекотали.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Через несколько дней к нам на покос приехали отец и Эйхе.

Еще издалека мы заметили легковушку, и дед заволновался.

— Никак, Роберт Индрикович? — вглядывался он из-под ладони в приближающуюся «эмку».

И точно, из машины вылезли дядя Роберт и отец.

— Ну как, работнички? — спросил отец, оглядывая покос. — Вот Роберт Индрикович настоял завернуть к вам.

— Здравствуйте, Данила Петрович, — протянул руку Эйхе.

— Доброго здоровьяца, Роберт Индрикович, — прокашлялся дед.

— Мушкетер здесь один. Растерял своих боевых соратников? — подмигнул мне Эйхе.

Я ответил улыбкой до ушей. Да и нельзя было не улыбаться, когда видишь все понимающий, с лукавинкой взгляд Эйхе, его открытое и красивое лицо, слышишь его добрый, с едва уловимым нерусским выговором голос. Всегда, когда я видел дядю Роберта, меня подмывало сделать для него что-нибудь хорошее, как-то выразить ему свою любовь. Всем своим сердцем чувствовал я, что это негнувшийся, сильный человек, честный и прямой. И если бы меня спросили, каким я хочу вырасти, я бы сказал: «Как Эйхе!»

А дядя Роберт тем временем говорил деду:

— Вот, Данила Петрович, поспорили с вашим сыном, кто лучше косит. Сейчас устроим соревнование, будьте судьей. — И, обращаясь к отцу, сказал: — Ну, секретарь, снимай свою гимнастерку!

Эйхе и отец скинули гимнастерки и какое-то время блаженно поводили незагорелыми плечами под лучами солнца. Высокие, сильные, они походили друг на друга, только дядя Роберт

был немножко поуже в плечах и потоньше в поясе. Да еще борода с усами, а отцовское корявое лицо было гладко выбрито. И все же они чем-то очень походили друг на друга.

Отец встал впереди.

— Ну, поспевайте, Роберт Индрикович! — задорно сказал он. — Не потеряйте меня из виду. В крайнем случае держитесь во-он на ту березку без вершинки.

— Ладно, ладно, — ответил Эйхе, пробуя, крепко ли прикреплён держак у литовки.

Широким взмахом отец выхватил огромный полукруг и с сухим шорохом бросил охапку кошанины в пышный ряд. И пошел, и пошел! Сильно, красиво, стремительно продвигаясь вперед. Каждое движение отца было полно уверенности и умения опытного косца. А дядя Роберт все стоял и, прищурясь, прикидывал расстояние до отца.

Я даже забеспокоился: «Чего он не начинает? Так никогда не догнать отца. Вон где уж отмахивает!»

Но вот отец, видимо, дошел до мысленно отмеченной Эйхе черты, и дядя Роберт двинулся. Я даже не понял сразу, что произошло. Вроде он и не взмахивал литовкой, а перед ним оказался гладко выбритый полукруг, не такой широкий, как у отца, но удивительно ровно скошенный.

И все так же легко и свободно дядя Роберт вдруг на глазах стал догонять отца. Казалось, он просто идет, а литовка в руках — это так, безделушка, и сами собой перед ним скапливаются круговины.

Отец оглянулся и нажал. Но Эйхе неумолимо наговял. До конца прокоса, до той самой березки без вершинки, осталось каких-нибудь шагов десять, когда дядя Роберт крикнул:

— Сторонись! Срежу!

И отец сошел с прокоса, уступив место.

Эйхе докосил до березы, спросил:

— Эта, что ль, березка-то?

— Эта, — засмеялся отец, вытирая с лица пот. — Ну и ну! Не ожидал!

Дядя Роберт улыбнулся.

— Не ожидал, говоришь? Старая батрацкая закваска. С отцом батрачили, вволю покосили.

— Да и я батрачил,— сказал отец.— Тоже навык имею, а вот так...

— На силу надеешься, а в косьбе это не главное. Главное — ритм сохранить и дыхание, как у спортсмена. А ты рывками идешь, быстро выдыхаешься.

Отец несколько сконфуженно и в то же время довольно покачивал головой, поглядывая на Эйхе.

— Ну чего же мы встали? — спросил дядя Роберт.— Давай косить!

И они опять встали в ряд, только теперь Эйхе первым. И пошли, и пошли! Любо-дорого посмотреть!

Луговину выпластали мигом.

— А что, Роберт Индрикович, не искупнуться ли нам? — предложил отец, когда они кончили косить.

— Можно,— согласился Эйхе и подмигнул мне: — Держись, мушкетер, утоплю.

— Его уже топили,— сказал отец.

— Как так?

— Да так. Сусекова сын, старший.

— Вон как,— обнял меня за плечи дядя Роберт.— И стреляют в нас, и топят, и травят, а мы всё стоим. Вот так мы!

После купания Эйхе и отец уехали. Мы с дедом опять одни.

Вечером разжигаем костер и долго сидим возле него. Дед мастерит туесок из бересты под ягоду. Любит он с туесками возиться. Под воду делает их, под ягоду, под пшено. На туеске немудреный узорчик каленым шильцем выжигает: петушков там, ромашку, ягодку-клубнику. Сидит мастерит, мне про рапешнее житье-бытье рассказывает:

— От зари до зари хрип гнули, потом умывались, а хозяйства одна кобыла — соломой глаз заткнут. Да и та сдохла. Совсем обезручила наша семья. Вот тогда-то и подались мы с Пантелеем в батраки. Хлеб с лебедой замешивали. Мерекаешь?

— Мерекаю.

— То-то. А потом такие, как Эйхе, революцию сделали. Он здесь, в Сибири-то, давно побывал. Пантелей сказывал, что в пятнадцатом году сослали Роберта Индриковича в Канский уезд на вечное поселение. За то, что против царя шел. А он оттуда убежал и в Иркутске в шестнадцатом году в подполье работал,

опять против царя народ подымал. Ну, а потом в Ригу-город перебрался, в родные места. И опять там в подполье работал. Потом революция произошла, и он все там работал на партийной работе. А когда германцы заняли Ригу, он опять в подполье ушел, пока его не арестовали. Но он и от немцев убежал, не больно они его и видели. А потом где он только не работал! И в Сибири опять с двадцать четвертого года пребывает. Всяких спекулянтов и бандитов ловил, когда в ревкоме работал, а теперь вот секретарь самый главный у нас.

Дед выхватил из костра уголек и, держа его в пальцах, раскурил трубку. Затянулся, задумчиво поглядел на огонь:

— Каких мытарств на его долю только не выпало! А не согнулся, все за народ шел. Он, Ленька, в большевики пятнадцати годов вступил, в девятьсот пятом году еще. А через два года его уже в тюрьму упрятали. А потом и началось: и тюрьмы, и ссылки, и за границей житье, до революции самой. А он как был нацеленный на революцию, так и остался. Железный человек, право слово! Тебе бы таким быть.

Я слушаю деда и думаю, что и я буду таким, как Эйхе, как отец, буду всю жизнь за Советскую власть стоять.

— Да-а, счастливая тебе жизнь выпала, Ленька. Вот кулаков к ногтю сведут, совсем жизнь настанет — помирать не надо. Школу пройдешь, глядишь, на учителя выучишься иль, скажем, на инженера, которые на фабриках работают.

— Летчиком буду.

Дед подумал, пыхнул трубкой.

— Тоже резон. Держава теперь вся на крыльях. А работа, она любая хороша, ежели честно к ней относиться. И человек по труду узнается, по рукам.

Я смотрю на дедовы узластые, раздавленные работой руки и думаю о том, что не знали они никогда покоя. И странно их видеть неподвижными, когда дед отдыхает, положив ладони на колени. Редко я их вижу такими.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Как-то раз послал меня дед за лошадьми. Спутанные, они паслись в роще, в холодке, подальше от злых слепней.

Роща стояла тихо-тихо, объятая полднейной дремой. Я брел среди березок, пронизанных ломкими солнечными лучиками, и прислушивался: не порскнет ли где лошадь, не звякнет ли ба-лабон. Но, кроме болтливости чечекания сороки, что перелетала с дерева на дерево за мной, ничего не было слышно. Запропастились куда-то, подумал я, как вдруг услышал какой-то непонятный звук.

Прислушался — тихо.

Я сломил было дудку, чтобы напиться из ручья, как снова донесся тот же звук. Теперь я понял, что это был крик. Сначала я подумал, что это дед меня кличет, но прислушался получше и разобрал, что крик доносится со стороны озера. Крик был протяжный и рвущийся. Кто-то звал на помощь.

По спине у меня побежали мурашки. На миг мне стало жутко, потом я бросился к озеру.

Озеро, заросшее в конский рост осокой и камышом, находилось по другую сторону рощи. Обдираясь о сучья и пни, я ломился напрямик. Когда выскочил из рощи, по сердцу резануло: «Тону-у!»

До озера рукой подать, но добраться до воды было не так-то просто.

Я продрался сквозь щетинистую непролазь прибрежных кустов и вывалился на мысок, поросший мелкой травкой-муравкой. И тут же увидел, как среди спутанных, взбаламученных кувшинок то показывается, то скрывается что-то черное. Не сразу понял, что это голова. Кто-то увяз в кувшинках.

Я заметался по берегу, не зная, что делать. Кидаться в кувшинки было опасно. Длинные, гибкие, как проволока, стебли цепко хватают под водой за ноги. В два счета можешь запутаться и потонуть.

— О-о-о-о! — доплеснулся хриплый, захлебывающийся крик и подтолкнул меня.

Теперь я разглядел, что тонул мальчишка. Смутно знакомое лицо на миг повернулось ко мне, и снова тяжелая зелень воды

сомкнулась над ним и разошлась пологой волной. Не раздумывая больше, я бросился в воду.

На счастье, попалась полузатопленная березовая коряга. Подталкивая ее впереди, я плыл к утопающему.

Вынырнув, он увидел меня и забарахтался еще сильнее. Я выбивался из сил: коряга оказалась тяжелой. Наконец я подтолкнул ее к мальчишке, но там, где только что торчала его голова, расходились круги по воде. «Потонул!» — ужаснулся я. Но вот медленно-медленно из глуби показалось трупно-белое лицо с вылезшими глазами, полными смертельного ужаса.

— Хватай! — крикнул я и сам захлебнулся.

Мальчишка схватился за корягу, рывком навалился на нее, а другой конец коряги двинул меня по голове. Брызнули искры, и вода сомкнулась надо мной. Погружаясь, я чувствовал, как цепко стреножат меня водоросли. Коричневая вязкая глубина всасывала. Ледяной холодок смял сердце. Отчаянно напрягая силы, я вынырнул и мертвой хваткой спаял пальцы на коряге. Судорожно хапнул воздуха и вместе с ним воды и зашелся в кашле.

Когда очухался, разглядел, что за другой конец коряги держится Пронька Сусеков. Налитые мутью страха глаза в упор вонзились в меня.

— Плыдем! — выплюнул я вместе с водой.

Пронька отчаянно замотал головой. Он боялся даже сдвинуться с места.

— Поплыли! Толкай корягу! — крикнул я, ничего не испытывая, кроме жгучего желания немедленно почувствовать под ногами твердую опору.

С огромным трудом добрались мы до берега. Пошатываясь, вылезли на сушу и упали, задыхаясь от пережитого и усталости. Чугунное сердце колотилось где-то в горле, в ушах звенело.

Обессиленные, лежали рядом, торопливо захлебывая в себя воздух. Пустое безразличие овладело мною, хотелось только лежать и ни о чем не думать.

Тяжко пахло тиной и сырьем.

Сквозь полуприжмуренные ресницы я вдруг увидел необыкновенно красивый цветок. Маленькое солнце было обрамлено



Пронька... настороженно следил за мной.

снежными лепестками, на которых, переливаясь, сверкала всеми цветами радуга. Маленькое солнце вздрагивало и тянулось ввысь. Присмотревшись, с удивлением понял, что солнце — это ромашка, и на ней брызги воды. Ни раньше, ни после я не встречал более сказочного цветка, чем в этот миг возвращения к жизни.

Проньку стало тошнить. Он корчился, выворачиваясь наружу. Мне тоже стало мутно. Пошатываясь, я встал и глянул на озеро. На том месте, где мы чуть не распрощались с жизнью, плавали измятые сорванные кувшинки и лепешистые листья. Место уже затягивалось ряской.

Шагнув, я наступил на что-то круглое. Это была бутылка, вывалившаяся из кошелки, которую я опрокинул, когда метался по берегу. Бумажная затычка откупорилась, и из полупустой бутылки резко пахло самогоном. Тут же лежало что-то сальное, завернутое в газету, рядом еще буханка хлеба и перья зеленого лука.

Сзади послышался шорох, я повернулся. Пронька стоял на ногах и настороженно следил за мной.

Мы долго и молча глядели друг на друга. Загнанным зверьком метался в его глазах испуг.

Трезвея от острого укола догадки, я понял, что Пронька кому-то нес еду. Пронька шел в лес! Кому он нес еду?

Мы смотрели друг другу в глаза и понимали, что мы враги. И не просто враги-мальчишки, которые через день-два помирятся, а враги по-взрослому, враги на всю жизнь, враги на-смерть. Всего несколько минут назад я кинулся его спасать, вместе выбирались из воды, а теперь мы снова враги.

Я пошел прочь. Шел и думал: если бы сразу знал, что тонет Пронька, если бы знал, что он несет еду в лес, стал бы я его спасать? Ломал голову и не мог найти ответа.

Лошадей я нашел забившимися в самую чащу от немилосердных в полдень слепней.

— Чего ты так долго? — спросил дед. — И мокрый.

— Сорвался в воду, — ответил я.

О Проньке ничего не сказал. Решил разгадать все сам.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Дни стоят изумительные. До краев налитые пряным запахом цветочного царства, пылают ранними зорями, а вечерами полны звона кузнечиков, свежести и покоя. Изредка величаво проплывет по небосводу тучка, вытряхнет дождь с молниями, и опять первозданно сияет высь.

Я хожу по пояс голый и стал черный, как негр. Руки болят. Дед говорит: силой наливаются. И мне приятна эта боль.

Раз в полдень, когда я собрался идти купаться, дед сказал: — Дождик будет: паук пряжу свою собирает.

Я не поверил дедову предсказанию — уж больно чисто было небо — и ушел на Ключарку.

Берега ее заросли черемухой, тальником, смородиной. Все это буйно переплетено цепкими плетями дикого хмеля и превратилось в непролазные чащи.

Я люблю эти дрёмы.

Продираюсь сквозь них и выхожу на облюбованный мной мысок. В тихой заводи отражаются стрекозы. По воде стремительно, как мальчишки на коньках, скользят жуки-водомеры. На недалеком перекате дремотно перешептываются солнечные струи.

Воздух здесь пропитан запахом воды и едва внятного аромата белых кувшинок. В камыше противоположного берега жируют утки. Слышно призывное покрякивание матки и пискотня выводка. Верхушки камыша вздрагивают — это утятя пробираются за маткой.

Захожу в воду и погружаюсь все глубже и глубже, а мне кажется, что иду в гору, и я невольно поднимаю при каждом шаге ногу выше. Так бывает, когда глядишь в воду в солнечный день.

Вода светлая-светлая, будто упал на землю осколок неба вместе с облаками, и я купаюсь среди этих облаков.

Потом валяюсь на песке, вдыхаю его горячий пресный запах и ни о чем не думаю.

Прискакала верхами ватага мальчишек. Врезались в тишь, раскололи глянec речки, зернистыми брызгами обдали меня. Кони фыркают и с удовольствием лезут в воду. Ребята как вьюны вертятся на лоснящихся конских спинах и орут по-сумасшедшему.

Сверкая белыми задками и черными пятками, мальчишки ныряют прямо с лошадей и достают грязь со дна в доказательство того, что донырнули.

— Айда на протоку! — кричит рыжий мальчишка, вихляясь на гнедом мерине.

— Там глыбоко! — откликается другой.

— Не-е! Не глыбоко! Тебе по пазушки, по шейку не будет. Мальчишек этих я не знаю и слежу за ними настороженно: не полезут ли драться.

— Эй!

Это мне.

— Айда с нами! Лошадь дадим.

Но мне скоро возвращаться к деду, и я отказываюсь. С криком, со свистом ускакали мальчишки на протоку.

И снова я один. И снова застойная дремотная тишина кругом. Смотрю, как по серебристо-сиреневому плесу пробегает легкая рябь, как стайка пескарей лениво шевелит плавниками в золотых лучах, пронизывающих воду, и кажется мне все это сказкой, зачарованным царством. Может, здесь по ночам выходят русалки и плетут венки из белых лилий.

И я не удивился, когда наяву увидел русалку.

Откуда она появилась, не заметил. Из воды, знать. Она возникла на песке и скинула красненькое платьице. У меня перехватило дух.

А русалка вся тянулась к солнцу и вдруг крикнула:

— Эге-ге-гей!

Крик скользнул по воде и исчез где-то в вышине, потом откуда-то вернулось эхо, будто кто окликнул:

«Э-эй!»

Окликнул грустно и призывно, как кричат журавли по осени.

У меня гулко заколотилось сердце. А русалка, смеясь и крича что-то, бросилась в воду и подняла сверкающие, как драгоценные камушки, брызги.

Я схватил штаны и потихоньку выбрался из кустов. И только порядочно отмахав по берегу, сообразил вдруг, что это же не русалка, а Аленка-тихоня! Ну конечно, она! Я встал, как на столб налетел. Сроду бы не поверил, что она такая... такая... Я никак не мог подобрать слова. И откуда она здесь? В голове

все у меня перепуталось: и русалка, и Аленка, и легенда, и правда. Какой-то хмель ударил в голову, и я вдруг ни с того ни с сего тоже вскинул руки к солнцу и закричал:

— Эге-ге-гей!

И откуда-то с выси откликнулось эхо. А мне вдруг захотелось заплакать. Может, оттого, что увидел русалку, может, от степных далей, от счастья, может, от смутного предчувствия, что скоро кончатся счастливые дни моего детства.

И только теперь я заметил, что из-за горизонта выползает иссиня-черная туча с фиолетовыми подпалинами и доносится сдержанное погромоухивание.

Степь выжидающе замерла. Я с удивлением ясно почувствовал тишину — настороженную, безмолвную...

Дохнуло ветром, по траве пробежала рябь, и вот уже волнами заходил кустарник, белея изнанкой листьев. Порыв ветра раздробил стеклянный покров Ключарки, вздыбил волны.

Громче и громче рокотал гром. Я пустился бежать. Догоняя, двигалась сверкающая на солнце стена водопада, окруженная облаком мелкого буса. Шум все нарастал и нарастал.

Первая капля крепко, как увесистая градина, стукнула в затылок. Потом другая, третья... и теплый июльский ливень тугом нахлестом косых струй обрушился на меня. Я пошел шагом. Все равно уж.

Молнии передергивали небо ослепительно синим огнем, гром встряхивал землю, но было не страшно: до того весела и озорна солнечная гроза! Дали размылись, краски полиняли, ничего не разобрать — кругом вода. У-у, вот это шпарит!

В шалаше, выжимая рубашку, спросил деда, откуда он знал, что будет дождь. Дед усмехнулся в усы.

— Птицы низко летали, и с утра пчел не видать было. И цветы пахли сильнее, и выюнок совсем закрылся. Да мало ли их, примет-то! Волосы мои, к примеру, тоже помягчали. К дождю.

Посмотрел, как я выкручиваю штаны, потом на степь, задержанную дождевой марью, и наставительно сказал:

— А ты примечай вокруг себя, не ходи полоротым. К примеру, ласточка возле человека вьется — быть дождю. Потому как мотыльки и букашки всякие в траву прячутся перед дождем. Вот она и ждет, когда человек спугнет их.

Много позже я узнал, что насекомые, покрытые пушком и ворсинками, задолго до начала дождя чувствуют увеличение влаги в воздухе. Ворсинки, поглощая влагу, тяжелеют и мешают летать. Насекомые опускаются ниже и забиваются в траву. А потому и птицы, которые питаются этими насекомыми, вынуждены летать низко.

Но это я узнал позже. А тогда, желая показать, что тоже не лыком шит, я брякнул:

— И кошки моются к дождю.

— Бабкины сказки,— сердито отрезал дед.— Мовет, еще в правом ухе свербит к теплу, а в левом — к ненастью? Моется, чтобы запаху от нее не было, чтобы мыши не чуяли ее.

— А черная корова тоже к дождю?

— Какая черная корова?

— Ну, если черная корова впереди стада идет — это к дождю?

— Придумают же! — удивленно крутит головой дед.

Спрашивается, чего мы тогда каждый раз, когда впереди стада шла черная корова, гнали ее назад? Это Федька все откуда-то берет. Вечно он что-нибудь придумает.

Много знал дед, многое подмечал его зоркий, умный глаз.

Узнал я от него, что перед ненастьем и рыба выскакивает из воды, и пиявки всплывают, и кроты высокие кучки земли нарываю, а куры при коротком дожде укрываются в сухом месте, при затяжном — спокойно разгуливают под дождем...

Прошел ливень так же внезапно, как и начался, словно обрезало. Только слышно, как удаляется шум, будто конница уходит в атаку. Туча свалилась за горизонт. Гром еще ворчит, рокочет, но это уже где-то там, далеко. Пробрызнуло солнышко.

Над стенью нависла огромная радуга. Выстиранное, удивительно чистое небо стало еще выше, еще голубее. Птицы, опарашенные дождем, молчат. Лес набряк и полон шороха капель, будто кто возится там потихоньку. Омытая дождем, мокреет волчья ягода. Как красные бусы, переливает на солнце.

Чивикнула первая осмелевшая пташка, пискнула за ней вторая, подала голос третья, и вдруг огласилась роща звонким щебетанием. Залепетали и березки, стряхивая с зеленых кос дождевой бус.

Меня так и подмывает выскочить из шалаша и поноситься по траве. Наконец я не выдерживаю, выскакиваю и задеваю березку у шалаша. Целый ушат воды обрушивается на голову. У-у, вот это да!

Я кричу, сам не зная что, и несусь по мокрой граве, поднимая фонтаны зернистых, сверкающих на солнце брызг. Мне хочется совершить что-то необыкновенное, большое и радостное. Сейчас бы один скосил весь луг или залез бы на... радугу.

Необыкновенно легко и подмывающе радостно после грозы.

И я кричу изо всех сил:

— Эге-ге-ге-гей!

В промытом воздухе крик летит далеко-далеко, до самого горизонта.

Дед смеется:

— Очумел, Ленька?

Но и сам он довольно жмурится.

— Вот она — Сибирь-то! Сколь годов живу на свете, а красотой этой не нагляжусь.

В роще закуковала кукушка. Считаю, сколько же проживу? Птица скупо отпустила мне четыре года.

— Мало,— говорю я.

— Птица глупая, отколь ей знать, что ты считаешь? Это, поди, мне она отмерила.— Дед задумчиво смотрит вдаль, вздыхает.

Дымок от дедовой трубки зацепился за ветку березы и повис над нами тающей кисеей. Дед кивает на дерево:

— Вишь как заневестилась.

Тоненькую белоногую березку среди полянки забусило дождевыми каплями, словно фатой покрыло.

— Краше этой березки ничего не видывал я. Пальмы там всякие, лианы видал на островах тропических за службу свою матросскую, цветы диковинные, а тянуло меня в Сибирь. Так тянуло, аж сердце останавливалось. За степь вот эту все б отдал!

Голос деда дрогнул, он нахмурился и стал ожесточенно тянуть трубку. А я притих, пораженный его словами, и внимательно посмотрел вокруг.

Посмотрел на то, что видел много раз, посмотрел другими глазами. Быть может, именно тогда и понял я, почему отдают

жизнь за землю родную. И потом, в тяжкие годы юности моей военной, коченея в болотах Заполярья, в часы испытания на поле боя, видел я эту послегрозовую степь, осиянную солнцем, зеленую землю мою, и она давала мне силы, веру, мужество.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Луг мы выкосили.

Копанина сохнет на глазах, и мы сгребаем ее в валки. Работа эта легкая и идет споро. Под пластами сена находим не-срезанную прохладную ягоду.

Я все думаю: как выследить. А кого выследить, сам не знаю. Но кого-то надо выследить. Поэтому, когда дед заглянул в мешок и сказал: «Хлебушка-то на раз осталось», я обрадовался и с жаром стал доказывать, что ехать домой за едой должен он, а не я. А я останусь здесь, попасу лошадей, а он на Гнедке съездит.

Дед согласился и к вечеру уехал.

— За Савраской гляди! — крикнул он, выезжая с луга. — Развидняет — приеду, копнить начнем!

— Ладно, — отмахиваюсь я и с нетерпением жду, когда дед скроется из виду.

Напрямик направляюсь к озеру.

На том месте, где мы тонули с Пронькой, уже ничего не напоминало о случившемся. Только в траве я нашел кусочек бумажки — от затычки.

Я направился в осинник, что стоял отдельным островком у озера. Чем ближе подходил к нему, тем больше овладевала мною робость. А когда вступил в лесок с трепетно вздрагивающими листьями, то совсем растерял свою храбрость. За каждым деревцем мне чудился притаившийся человек. Над самой головой громко чокнул дрозд и, сорвавшись с дерева, наделал шуму. Сердце оборвалось, и меня обдало жаром.

Я не выдержал и повернул обратно.

На покос вернулся быстрее, чем шел с него, и только у своего шалаша вздохнул свободно.

Сводил лошадей на водопой. Они напились и долго глядели в степь. С черных бархатных губ, дробясь, падали в речку капли. Савраска ударил ногой по воде и тихонько заржал. А у меня от какой-то непонятной грусти сжалось сердце. Может, от красоты степной в этот час.

Пока солнце еще высоко, чувствую себя хорошо и собираю клубнику. Но вот упала от рощи фиолетовая, еще теплая тень, верхушки облило расплавленной медью, и меня охватывает чувство одиночества. Как-никак все же один в поле.

В траве яростно бьют перепела: «Спать пора! Спать пора!»

Я иду к шалашу.

Солнце село, но воздух еще светится, и все вокруг становится синё. Посинел лес, посинела степь, загустела синева небосвода, на краю которого тлела узкая полоска малиновой зари, словно кто провел ее кисточкой. Над Ключаркой забелел туман, потянуло прохладой.

Запахи унялись, стали едва внятны, только еще крепче наносит угарным багульником.

Затихло все. Изредка встрепенется в дремоте пташка, чивикнет себе в теплую запазушку, и опять тихо.

Взошла луна, яркая, будто только что умытая ключевой водой. На речку легла дрёма лунного света.

Я развел костер и сел у входа в шалаш. Свет от костра лежал красным мигающим пятном, за ним—непроглядная тьма. Все изменилось, увеличилось в размерах, стало таинственным и жутким. Завороженно-молчаливая роща пододвинулась ближе к огню.

Ночь. Луговая. Тишь.

Но тишина оказалась полна каких-то приглушенных шорохов, неясных звуков, и чудится, что из тьмы кто-то в упор глядит на тебя. В голову лезут всякие Аленушки и братцы Иванушки, кикиморы болотные. Мерещится крест, что покосился возле дороги в город. Говорят, на том месте убили лихие люди бийского купца. И сейчас есть такие люди. И кто-то скрывается в лесу. Кому нес еду Пронька?..

В кустах громко хрустнуло. Из темноты в свет костра выныривает безобразная рогатая морда со страшными большими глазами. Я обмираю, у меня отнимается язык, я хочу закричать и не могу. Наконец соображаю, что это просто корова. Она добро-

душно хлопает глазами и потихоньку мычит, знакомясь. Я чувствую, что взмок и промеж лопаток бежит холодный ручеек.

За коровой появляется мальчишка в длинной, выпущенной на штаны рубашке и с хворостиной в руке.

— Косари?

— А-а-га,— заикаюсь я и чувствую облегчение и неожиданную радость.

Мальчишка садится рядом. Он рыжий, прямо огненный, с облупленным носом и с крупными веснушками, будто брызнули на него дегтем. Это тот самый мальчишка, который звал меня на протоку купаться два дня назад.

— Один?

— Дед за хлебом поехал,— охотно поясняю я. Я расцеловал бы сейчас его, до того хорошо с ним среди ночи, полной всяких страстей-мордастей.

— Тебя как зовут? — спрашивает он.

— Ленька. А тебя?

— Рыжий.— И тут же спохватывается: — Яшка, по-настоящему-то.

Корова шумно вздыхает, уставясь на огонь. Яшка смотрит на нее и тоже вздыхает.

— Каждый раз ищу ее, ведьму. Силов нет никаких. Не корова, а председатель колхоза. Задерет башку и шастает по всем пашням. Одни репьи в хвосте вместо молока.

Корова лениво жует жвачку и невозмутимо слушает.

— У-у, брюхастая! — грозит Яшка и ковыряет хворостиной в костре.

Оттуда высовывается красная рука и схватывает его за чуб. Пахнет паленым. Яшка, охнув, отодвигается и вдруг ошарашивает меня вопросом:

— Ты в Африке был?

— Нет,— озадаченно отвечаю я.— А что?

— Крокодилов там много.

— Много. А что?

— Посмотреть. Разишь не интересно? Сказывали, в Катуне щуку поймали. Огрома-адную, как крокодил. На спине мох. Триста лет жила. Ребятки малых с берега стаскивала. Крокодилы — такие же.



*За коровой появляется мальчишка в длинной рубашке
и с хворостиной в руке.*

Яшка задумчиво щурится на огонь. И вправду интересно бы посмотреть на живого крокодила.

Яшка спохватывается, встает.

— Ну, прощевай.— Хлещет хворостиной корову.— Шагай, шатала!

Исчезают во тьме, будто их и не было никогда, будто при-
снились. Но через минуту Яшка возвращается.

— Вы кому косите?

— Лошадям.

— Знамо, не себе. Лошади чьи?

— Райкомовские.

Яшка о чем-то думает, шевеля рыжими бровями.

— Много еще?

— Все скосили!

— Ну-у! — радуется Яшка и лихо шмыгает носом.— Ло-
шадей дадите покосить? — Напористо стал объяснять: — Пони-
маешь, лошади у нас обезножели. Две. Косилки есть, а лошадей
нету. А у вас все равно они не у дела. Мы, понимаешь, напере-
гонки с другой бригадой косим. Соревнование называется. А тут
лошади... понимаешь? Я из колхоза «Красный партизан». Слы-
шал? Мы тут соседи, наши луга за Ключаркой. А? Как?

— Не знаю,— неуверенно тяну я.

— «Не знаю»! — передразнивает Яшка.— Личные частни-
ки вы, что ли? Сейчас все друг другу помогают. Колхозы,
слыхал?

Нет, я не «личный частник» и про колхозы знаю, помню
еще, как мне попало за то, что Ритке не помог, и даю Яшке сло-
во переговорить с дедом. Мало того, я обещаю, что лошади бу-
дут, хотя в душе шевелится червячок сомнения: хозяин лошадей
все же дед. Он райкомовский конюх, а не я.

— Ну вот,— довольно говорит Яшка и подтягивает спол-
зающие штаны,— давно бы так. Ну, прощевай!

Я снова один.

В безмерной пустоте мерцают звезды, вспыхивают на горн-
зопте хлебозоры: рожь наливается.

Подбрасываю в костер. Ветки сначала чернеют, шипят, брыз-
гают пеной, потом накаляются и превращаются в диковинные
заросли и огненные цветы. Чего только не увидишь, глядя на

костер! Потом ветки начинают сереть, покрываться хлопьями пепла и мягко рассыпаются от одного только взгляда.

Я люблю смотреть на костер, будь то ночное, или пионерский, или наш дикий, мальчишеский.

Вспоминаю ребят. Как они там, в селе? Озоруют? Вспомнил, как перед моим отъездом на покос мы перепугали бабку Фатинью.

Она все страдала, что скоро конец света, что видение ей было и что после того, как с церкви сбросили крест, нечистая сила свободно разгуливает по селу в белом саване покойника.

Мы взяли длинную нитку, ссучили потолще — целый тюрючок ниток ушло! — и прикололи ее к раме окна бабки Фатиньи. А возле иголки к нитке подвесили гайку. Другой конец нитки был у нас в руках. Если нитку подергать, то гайка будет стучать в окно. Мы примостились в канаве через дорогу и, как только в избе бабки Фатиньи затихло, стали потихоньку подергивать за нитку. Раздался осторожный стук по стеклу. В окно выглянула бабка Фатинья. Посмотрела-посмотрела — никого не видать. Легла, наверно. Мы опять подергали. Бабка опять выглянула. Опять никого нет. А на третий раз перед окном встал Степка, завернутый в белую простыню, которую я стащил дома. Бабка выглянула и, выпучив глаза, закрестилась. Потом заорала дурным голосом и, кажется, упала. Мы тоже перепугались и разбежались, позабыв нитки с гайкой. Утром бабка нашла наше приспособление и поняла, что это мальчишки. А кто — не знала. Поэтому кричала на всех подряд: «Напасти на вас нету, окаянные! Анчихристы проклятые!..»

Сырой ивовый прут лопнул в костре, как бомба, брызнули искры. Я вздрогнул. Костер затухал. Я подбросил веток и снова задумался, уставясь на огонь.

Уснул незаметно. Во сне видел, как Аленка-тихоня вышла из воды и вместо ног у нее был рыбий хвост, как у русалок. Подошла и говорит: «Если бы ты не дрался, я бы показала тебе, где Воронок и куда Пронька еду нес». — «Плывать», — ответил я и полез в Ключарку. — Буду я еще с тобой разговаривать, ябеда». Нырнул и вижу — русалки хоровод водят. Значит, правда все это, а не выдумки. Подплывает ко мне русалка и говорит: «Левко, найди среди нас Воронка». — «Чего это она? — думаю

я.— Ленкой меня зовут, и откуда здесь Воронок?» А тут вижу — не русалка это вовсе, а опять Алленка-тихоня. И говорит она мне: «Шагай, шатала! Все равно от тебя одни репы вместо молока». Я еще больше удивился и пошел-поплыл под водой. А вода ледяная, дрожь берет.

Проснулся от холода. Костер погас. Был знобкий предрасветный час. Я закутался поплотней в дедов полшубок и уставился на небо.

Сколько сидел в устоявшейся тишине, не знаю. Но ночь вдруг поблекла, и неизвестно откуда подкралось утро. Выцвела чернота неба, потухли звезды, откуда-то сверху, из-за тумана, просочился зыбкий свет. Небо озарилось чистой слабой синевой, стало еще холоднее.

По земле пробирался туман, скрадывая звуки. Поэтому, должно быть, и не слышал я, как подъехал дед. Только удивился, когда из тумана выплыл Гнедко без ног, а за ним — половина деда. Он сидел на телеге, опустив ноги в зыбкий туман, как в воду. Все это было как во сне. Заливистое ржание окончательно стряхнуло с меня дрему.

— Жив? — натянул дед вожжи. — Тпру-у, стой!

— Жив, — как можно равнодушнее ответил я. Мол, плевое дело провести ночь в поле одному.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Сено высохло, начинаем копнить. Дед серьезен и чем-то, видать, озабочен. Часто поглядывает на лесок за озером. А я поглядываю совсем в другую сторону, где работает бригада Яшки рыжего. Я не знаю, как подъехать к деду.

— Дедушка!

— А?

— Вон тоже косят.

— Вижу.

Из-под руки дед глядит в степь, где видны разноцветные пятна рубях и тихо стрекочут две сенокосилки. Две другие чернеют неподвижно, словно подбитые птицы.

— Лошадей у них не хватает: косилки стоят.

Дед смотрит на меня:

— Привыкай напрямик говорить.

— У нас лошади стоят, — напрямик говорю я, — а у них сенокосилки. Личные частники мы, что ли?

— Ишь ты «личные частники»! Это кто же тебя надоумил?

— Яшка приходил.

— Вона! Знакомство свел.

Я боюсь, что дед не согласится, и начинаю доказывать, что люди должны помогать друг другу. Дед слушает не перебивая. Когда я исчерпываю все доводы, он говорит:

— Всё? Эх, разъершился! Аж покраснел... Помочь можно, чего ж не помочь. Вот закончим сегодня копнить и поможем твоему Яшке.

К полудню к нам подъехал верхом Мамочка.

— Эй, косари, бог на помощь! — крикнул он, соскакивая с запыленного низкорослого конька. — Напиться не дадите?

Я притащил туесок с водой. Мамочка долго не отрывался от посудыны.

— Эх, хороша водица! — крикнул Мамочка, вытер губы и снова припал к туеску.

Вода ручейком сбегала по подбородку, по кадыку, сновавшему вверх-вниз, и убегала за ворот, оставляя светлую морщинку на запыленной коже.

Наконец он напился, и они с дедом закурили.

— Ну как, Данила Петрович, не примечал?

— Не приметно покуда, — ответил дед.

— А ты, парень, не видал тут случайно посторонних людей?

— Видал. Яшка приходил.

— Какой Яшка? — насторожился Мамочка.

Я пояснил.

— Какой же это посторонний? — сказал Мамочка. — Надо различать людей. Так ты и меня в посторонние запишешь. Во-первых, я о взрослых говорю, а во-вторых, о тех, кому здесь делать нечего. Понял? Таких видал?

— Видал. — И я рассказал все о Проньке и о своей разведке.

— Та-ак, — протянул Мамочка. — Значит, самогон нес, вызверок? Ясно. А ты, парень, уже большой, а того не меречаешь,

что в таком деле нельзя одному. И до се молчал. Это ты плохую услугу нам сделал. Опять как с продавцом. Понимать надо, голова — два уха.

Мамочка посмотрел на лес долгим, изучающим взглядом, будто хотел проглядеть его насквозь.

— Так мы и предполагали. Тут они. Не спугнул ли ты их вснароком своей разведкой? Ить это же надо такую мечту поимсть: самому выследить! Эх, парень, парень!..

Мамочка сел на конька и тронул поводья. Конек, ёкая селезенкой, взял с места рысью.

— Конек Воронку приходит, вчера под ним коня убили, — сказал дед, всаживая вилы в копешку. — Сколь веревочка не вейся, а конец будет.

* * *

Встретили нас сдержанно. Крестьяне бросили работу и глядели, как мы приближаемся. Я немного растерялся, поглядел на деда, но он невозмутимо правил лошадей на луг. Навстречу бежал рыжий Яшка, размахивал руками и горланил:

— Я говорил, что приедут, я говорил! Ура-а! Смерть золотопогонникам!

Он с размаху толкнул длинного черного, как грач, мальчишку, оба упали и долго пыхтели на кошанине.

Четким военным шагом подошел к нам худощавый парень в просоленной под мышками красноармейской гимнастерке с засученными рукавами.

— Ну, спасибо, — пожал он руку деду. — Спасибо, выручили, а то, как на грех, лошади обезножели. Я — бригадир.

— Чего там, — неожиданно сконфузился дед. — Дело соседское, начальство не взыщет.

— Признаться, я не верил, — прищурил белесые глаза бригадир. — Яшка говорит: приедут, а я в сомнении. Не обессудь, отец.

— Чего там, — снова сказал дед. — Куда направите-то?

Дед косит на сенокосилке, а я с ребятами, под предводительством Яшки, сгребаю валки хрустящего сена. Неожиданно узнаю в одной из девчонок Аленку-тихоню. Чего она здесь? Оказалось, что Яшка родня какая-то ей, двоюродный брат, что ли,

а бригадир — ее дядя. Вот она тут с ними и работает. Работа идет дружно, весело.

— Ого-го! — кричит Яшка и яростно орудует граблями.— Давай, давай!

«Давай, давай! — мысленно повторяю я, стараясь не отстать от ребят.— Давай, давай!»

Еще никогда я так не работал. Солнце, степь, воздух — все помогало нам. Кто-то запел. Все подхватили и, умываясь потом, пели песни, веселые и задорные, и работали легко и радостно.

День пролетел незаметно. Опомнился я, когда дед кликнул ехать восвояси.

— Много у вас тут мелюзги,— сказал дед на прощание бригадирю.

— Напросились, оглашенные,— улыбнулся бригадир и оглядел ораву мальчишек и девчонок.— Словно репьи нацеплялись. Любо им все это, в охотку. Да и то сказать, к работе приучка. По-нашему-то, по-челдонски, как? Кинь в мальчика шапкой. Ежели устоит — значит, гож на всякую работу.

Я распрощался с новыми друзьями и взобрался на телегу. Только теперь почувствовал усталость. Руки, ноги, спина налились чугунной тяжестью и ныли, ныли сладкой болью труда. И я был доволен этой болью.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Мы с дедом собираемся ужинать. Смеркается. В роще накапливается темнота. Поблекло небо над головой, на горизонте краски загустели. От деревьев упали длинные тени. Костер еще не набрал силы, но с каждой минутой разгорается все ярче и ярче, а вокруг все темнеет и темнеет.

Из рощи вышел человек. Дед перестал нарезать хлеб, гляделся.

— Господи, Воронок...— приглушенно выдохнул он.

У меня гулко сдвоило сердце. Воронок! Вот он какой! Я представлял его могучим, страховидным и почему-то чернобородым великаном. А он оказался низкорослым молодым парнем. С перехваченным дыханием следил я за ним из шалаша.

За Воронком вышли еще двое. В одном из них я признал продавца. По-волчьи, след в след, они шли к костру.

— Ленья, внучек... — жарко зашептал дед, не поворачивая ко мне головы и заслоняя спиной вход в шалаш. — Тебя они не видят. Выскользни из шалаша, обратай Серка да наметом к отцу! Спаси, владычица, пресвятая мать!

«Скорей!» — опалила меня мысль. Обдирая пальцы и не чувствуя боли, проделал я дыру в шалаше с противоположной стороны от входа и выскользнул из шалаша. На животе, как ящерица, заюлил в березняк, к лошадям.

Второпях никак не мог снять с шеи Серка балабон, и он позвякивал, а я холодел от мысли, что звон услышат бандиты. Серко беспокойно стриг ушами, упрямылся, по спине у него волною шла дрожь. Наконец я обратал Серка и, подведя к пеньку, влез на него. Логом выехал на проселочную неторную дорогу и пустил лошадь вскачь.

Быстро темнело.

Сколько бандитов скрывалось в лесу, никто толком не знал. А если их там сто! Или двести! Они могут устроить засаду по дороге. В каждом кусте мне мерещился притаившийся бандит, и я то и дело обмирал.

Я стер себе между ног и едва терпел. Но, сжав зубы, повторял: «Скорей, скорей!» Если я замешкаюсь, может стрястись беда. Что там сейчас с дедом?

Я гнал Серка шибкой рысью.

Опустилась ночь.

Из-под ног лошади шарахнулась какая-то птица и суматошно захлопала крыльями. Я чуть не свалился с Серка.

Въехал в березовый колок. Теперь самое страшное: проскочить этот колок. И вдруг леденящий душу хохот раздался сбочь дороги. «Бандиты!» — задохнулся я. Хохот смолк, и послышался плач, потом кто-то ухнул, и я, полумертвый от страха, наконец сообразил, что это филин. Заторопил Серка. Себе говорил: «Не трусь! Ты — пионер. Не трусь! А как в разведке на войне? «Сотни юных бойцов из буденовских войск!..»

Наконец я миновал колок и выехал в поле. В свете луны я отчетливо увидел отряд конников, движущихся мне навстречу. «Вот они! — остановилось сердце. — Бандиты!»



Из роуци вышел человек... за ним еще двое.

Я метнулся в сторону, но меня заметили тоже.

— Стой! — раздался крик.

Я отчаянно колотил пятками Серка и гнал его в сторону.

— Стой! — снова окликнули меня.

Хлобыстнул выстрел и громом прокатился в ночной тиши. Тягуче-тонко просвистело возле уха, и холодок коснулся щеки.

Припав головой к шее Серка, я гнал его наметом, сам не зная куда. Раздался еще выстрел, и на полном скаку Серко упал на передние ноги. Я пробороздил животом по жесткой гриве и со всего маха ударился оземь. Последнее, что почувствовал, это как обрывается от удара сердце, и в голову хлынула тяжелая черная пустота...

Отчулся оттого, что меня трясли за плечи.

— Сомлел парнишка, — говорил кто-то глухо, как сквозь вату.

— А никак, Берестова мальчонка, — сказал знакомый голос, и чье-то лицо наклонилось надо мной.

Я узнал Мамочку и, сам не зная почему, заплакал.

— Эх, паря, опять ты чего-то начудил, — сказал Мамочка. — Подстрелить могли бы. Куда скакал?

— Домой. Там Воронок.

— Где? Говори быстро.

Заикаясь, я рассказал.

— На коней! — крикнул начмил, и милиционеры повскакали на коней.

— Садись на своего! — приказал Мамочка. — Он просто споткнулся. Мы-то думали, подстрелили. Вот было бы делов!

Меня посадили на взопревшего Серка, и отряд машистой рысью взял с места. Рядом с Мамочкой я разглядел и Васю Проскурина, и еще знакомых мне комсомольцев.

На нашем покосе ярко горел костер. К великой моей радости, у костра стоял дед и вглядывался, как мы подъезжаем.

— Ускакали по дороге на Белокуриху, — сказал дед начмилу. — Коней забрали. Воронок был, и с ним двое. Продавец сельповский тут.

Отряд ускакал в погоню. Мы с дедом остались одни.

Всю ночь прислушивались к каждому звуку, по все было тихо. Дед все о чем-то думал. Потом сказал:

— Чего-то он меня не убил... Ай потяжелыше казнь придумал?

Под утро, когда занималась заря, к нам подъехали Мамочка и Вася Проскурин. В поводу у них были наши лошади. У Мамочки была завязана белой тряпкой голова. На повязке рдела кровь.

— Ушел Воронок, — сказал он. — А тех двоих положили.

Вздрагивающими пальцами свернул сигарку и стал жадно напиваться махорочным дымом. А дед вдруг обессиленно сел на пенё и закрыл лицо руками.

— Ты чего, Петрович? — удивленно спросил Мамочка.

Дед сказал глухо:

— Господи, будь милосерден! Отведи руку злодея от сына моего...

* * *

А наутро мы ставили сено.

Самое тяжелое на покосе — метать стога. «Вершить» их я не умею, и поэтому мне приходится подавать.

— Помене, помене подхватывай! — наказывает дед, утопая по пояс на стогу. — Надорвешься еще... И где это Пантелей? Сулил подсобить. Ах ты господи, лучший тебя задери!

С навильников сыплется сенная труха, прилипает к потному телу, колет, жжет. Сначала я отряхиваюсь, потом перестаю замечать. Поглубже нахлобучив кошку на глаза, я подаю, подаю и подаю. Ладони горят, больно ноют лопнувшие водяные мозоли. Горячий едучий пот заливает лицо, щиплет глаза, попадает в рот.

— Никак, погода портится? — озабоченно вертит головой дед. — Успеть бы до дождя. Повадилса не ко время.

Хмара затягивает горизонт. Раза два уже пробрызнул слепой дождичек.

Не успеть бы нам, как бы мы ни старались. Помог Яшка. Он привел с собой целую ораву ребят.

Работа закипела. Ребята подвозят на березовых волокушах копны, к деду на помощь залезли двое мальчишек, а мы с Яшкой и еще мальчишки подаем на стог. Усталость как рукой сняло. Опять я стал сильный и ловкий.

Вот уже дед «вывел» вершину стога:

— Обчешите-ка!

Мы обчесываем бока у стога граблями и подаем остатки сена наверх.

Дед связывает четыре тоненькие осинки крест-накрест и прикрывает вершину, чтобы не раздуло ветром еще не слежавшееся сено.

Съезжает на спине со стога.

— Приустали? Ну молодцы, молодцы. Пособили. Спасибо.

— Долг платежом красен,— солидно отвечает Яшка.

Дед лезет в карман за кисетом и довольно жмурится на нас.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Кончился покос.

Вот и отзвенели в росистой траве колокольчики, отыграли вполне закат, отцвели буйные травы, но луг не стал беднее. Он изумрудится молодой отавой, и сухо-зеленые стоят стога — наш труд.

Стога остаются одни.

Мне грустно покидать места, где я узнал каждый кустик, каждое гнездо, где познакомился с хорошими ребятами, где властью набегался по зеленой ласковой земле.

Я смотрю в далекие, открытые солнцу просторы, вдыхаю милый сердцу запах сена, конского пота, дегтя, и в груди сладко и горько щемит. Может, потому и щемит, что, еще не сознавая, чувствую, что где-то здесь, на покосе, в медовых травах заплуталось мое босоное детство.

Воз сена плывет по степи. Я лежу на нем, кусаю горькую былинку и гляжу, как высоко в небе величаво парит орел.

Лошади порскают, дед курит и тоже глядит в бескрайнюю, омытую грозами степь.

Верхом на Рыжке догоняет отец.

— Уехали уже? А я вот припозднился. Приехал, смотрю — стога. В бригаду Степкиного отца заезжал (отец бросил на меня взгляд), соревнование там организовали: кто лучше сработает. Кипит работа. Степка там копы подвозит.

Отец едет рядом с возом. В седле сидит как врытый. Понаторел у Буденного. Отец жадно тянет в себя пахучий степной воздух, поглядывает на меня, подмигивает веселым, бесстрашным глазом. Я тоже подмигиваю ему.

Красивый, хороший мой отец! Если бы я был девчонкой, я бы поцеловал твое корявое лицо.

Меня что-то тревожит, мне почему-то хочется прижаться к широкому отцовскому плечу и вдохнуть запах мужского сильного тела, табака и кожи толстого командирского ремня. Но я знаю — отец скуп на ласку и не любит нежностей.

— Искупнемся, — предлагает отец. — Давно я не купался. Да этим летом, почитай, совсем не купался, только тогда, с Эйхе.

— Давай, — соглашаюсь я.

— Ты, папаша, поезжай, — говорит отец деду. — А мы напрямик придем. Рыжку я привяжу к бастрыку.

Отец соскакивает с коня, привязывает его сзади воза, и мы идем к речке.

Накупались досыта. Отдышались на бережку после догоняшек в воде и пошли потихоньку в село. Жарко пахнет травами, горьковатый полынный ветер пахучими валами оmyвает нам лица. Мы еще не обсохли, и нам особенно приятно ощущать предвечернее тепло степи.

— Красота-то какая, а! — дышит всей грудью отец. — И все это наше!

Отец идет без фуражки. Мокрые, цвета вороньего крыла волосы гладко зачесаны назад. Корявое бровастое лицо его со знакомыми морщинками сейчас необыкновенно красиво и мужественно. Вдруг он запевает:

Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куюм мы к счастью ключи!

Я подхватываю эту набатную песню борцов революции, вплетаю свой петушиный тенорок в сильный, чуть хрипловатый голос отца и стараюсь идти с ним шаг в шаг. Грудь мою наполняет ликование и чувство большой подмывающей силы.

Мы светлый путь куюм народу,
Мы счастье родине куюм...

Четким военным шагом твердо ступаем мы по земле. А впереди спичкой торчит белая колокольня нашего села, желтеет ржаное поле, уходят вдаль степь и березовые рощи.

— Жизнь, она как степь вот эта — без края, — говорит отец. — Но и тут по дороге идти надо. Вроде и вся на виду, а заблудиться можно. А дорогу народ прокладывает, по ней не заблудишься. Один пройдет — след оставит, сто прошагают — тропинку пробьют, а народ двинет — дорога будет. Вот Ленин по жизни прошел — след проложил. Большевики по этому следу пошли — тропинку проторили. А как народ повалил за партией — вот тебе и дорога прямо в коммунизм! Счастливые мы с тобой люди, Ленька! При такой жизни живем!

Мы подходим к березовой роще. Над нами плавно кружит орел.

— Смотри, какой матерый. Эге-ге-гей! — кричит орлу отец и смеется.

Орел вольно и гордо продолжает нести на широких крыльях свое тугое, отливающее коричневым глянцем тело. Редко взмахивая метровыми крыльями, забирается кругами все выше и выше.

— Глянуть бы оттуда на землю нашу, — мечтательно говорит отец. — Эх, и велика она, красавица!

На небе одно-единственное первозданной белизны облачко. И вдруг из этого облачка падает молния золотая в степь.

— Смотри, смотри! — кричу я в восторге. — Молния из белой тучи!

Не откликаясь, отец широко шагнул вперед, схватился за грудь и стал падать, неловко подгибая ноги. Я, недоумевая, глядел на отца и вдруг, внутренне холодея, увидел, как сквозь пальцы его просачивается кровь... И только после я понял, что не гром слышал секунду назад, а выстрел. Кто-то выстрелил в отца из рощи! Страх сковал меня, отнял язык. Я неотрывно глядел на отца, а он, неловко запрокинув голову, мертвенно бледнел и старался что-то сказать, но вместо слов из горла тянулся хрип. На гимнастерке под судорожно сжимающимися пальцами мокрело расплзающееся пятно.

Тяжело расставался с жизнью отец. Медленно, неохотно покидала она его большое и сильное тело. Белые от боли глаза в упор глядели на меня в мучительной немоте о чем-то



Отец шагнул вперед, схватился за грудь и стал падать...

говорили, что-то требовали, а я стоял, мертвый от ужаса, и ничего не делал. Отец незнакомо бледной рукой судорожно все ласкал и ласкал зеленую землю свою...

Не раз я пытался шагнуть и не мог — и не понимал почему. В горле рос крик, и я задыхался от него.

Вдруг стремительно начали жухнуть краски летнего вечера, и кто-то накрыл солнечный мир черной душной шалью...

Потом, помню, бежал, и дряблые ноги мягко подвертывались, я падал, вставал, кричал и не слышал своего крика.

Потом помню деда. Он шел, хватая широко раскрытым ртом воздух, шел толчками, как против ветра, и не раз споткнулся на ровном месте.

Потом всхрапывал Гнедко и дико косил фиолетовым глазом назад, где в телеге лежал отец, по-чужому восковой и суровый.

Рядом с телегой шли какие-то люди, и кто-то крепко держал меня за плечо...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Память хранит отдельные, не связанные друг с другом детали: то красный гроб на охровой ноздреватой глине перед могилой, и начмил, сжав кулак, грозит кому-то невидимому в своей речи; то окаменелое почерневшее лицо деда, когда он поднял руку перекреститься и, не перекрестившись, сказал: «Не милосерден ты, господь. Отрекаюсь»; то деда Черемуху, который вел свою коровенку и, сдернув картуз, сказал мне: «В колхоз я вступаю, Леонид Пантелеевич»; то красное сукно на столе райкома комсомола и портрет Ленина с запекшейся кровью Фили, и Вася Проскурин говорит: «Хотя ты и не комсомолец, но даем мы тебе путевку в Бийск, в тракторную школу. Парень ты здоровый, не по годам, ничего, примут»; то я вижу свое лицо в зеркале и не узнаю себя в похудевшем и повзрослевшем подростке с большими запавшими глазами; то вижу Надежду Федоровну с измученным, поблекшим лицом и с глазами, полными невыплаканного горя, и она говорит: «Я приезжать к тебе буду. Ты не скучай там, учись».

Опомнился за околицей, с котомкой за плечами.

Дед смотрит на меня выцветшими за несколько дней глазами и не то спрашивает, не то укоряет:

— Уходишь, значица? — Задумчиво глядит вдаль, тяжело опираясь на костыль. — Слухай мой наказ, как отцов. Не кривляй по жизни, ходи прямоком. Не смейся, ежели не хочешь, и попусту не плачь. Ты теперь навроде партийного, так и держись за партию, как за материн подол. Она тебе дорогу укажет. И дай бог, хотя теперь я и не верю в его, дай бог тебе быть таким, как отец! — Дед гордо выпрямился. — Как сын мой, Пантелей, значица. — Голос его сорвался, он долго не мог перевести дыхания, наконец звонко, на высокой ноте сказал: — Ну, с богом! Шагай!

И я пошагал.

И сколько оглядывался, дед все стоял, прямой и гордый, и мне казалось, что я вижу его суровое и горькое лицо.

Неизвестно откуда по бокам появились Федька и Степка. Долго идем молча. Потом обнялись, и у меня перехватило дыхание. Федька, не стыдясь, плакал, а Степка угрюмо сопел, глядя в землю.

На прощание он сказал:

— А молнию золотую мы все равно найдем. Вот вернешься ты, и найдем. И всех кулаков... за отца твоего...

Они долго махали мне с увала, пока не стали маленькими, как букашки, а потом и совсем исчезли.

До покоса, где еще недавно, счастливый, косил я с дедом, было по пути, и какая-то неведомая сила заставила меня свернуть туда. Я пришел на луг, что покрылся густой и высокой отавой, и остановился у шалаша, уже осевшего и полуразрушенного. Отсюда я каждый день смотрел в степь, необъятную, зеленую, с гривами березовых колков.

Теперь она посизела, оттого что распушился ковыль, распушив по ветру серебристую проседь.

Предосенняя тоскливая дрёма обволакивала пустынную пугающе затихшую степь.

Я посидел на свилеватом пне и пошел на Ключарку.

В блеклой синеве неба пластались холодные, взбитые ветром облака, и такая глухая мертвая тишина стояла в этот час в сте-

пи, что сердце беспомощно сжалось от каменной горючей тоски, и я заплакал навзрыд.

Плакал долго, захлебываясь, как ревут маленькие. Облегченный, уснул, будто в яму провалился...

Проснулся я со свежими силами и ясной головой.

По мыску плеса бегал длинноногий чибис и тревожно спрашивал: «Чи вы? Чи вы?»

— Берестовы! — громко сказал я.

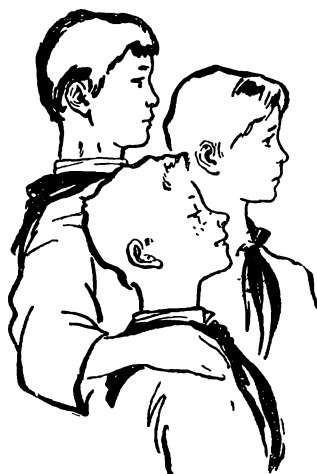
Чибис испуганно пискнул и улетел. А я посмотрел в степь, охваченную золотым пожаром надвигающейся осени, посмотрел в далекие и загадочные дали земли сибирской и почувствовал, как великая и грозная сила вливается в мое сердце, оттого что я стою на земле, за которую отдал жизнь мой отец, оттого что я тоже Берестов.

И здесь, в омытой грозами степи, я дал клятву, что пойду дорогой отца, дорогой большевиков.

Я вытер слезы, попил из ладоней студеной водицы и пошел в степь.

Кончилось мое детство. И не вернуться мне в него. Никто не возвращается в детство. Прощай, звонкое, дорогое, невозвратное.

Я уходил в жизнь.



М. Фарутин

Ледоход.
Медвяные
росы.
Четвертый
Харитон



ЛЕДОХОД

БАБКА И ДЕДКА

Бабушка худая, высокая. Лицо морщинистое-морщинистое. На голове — синий колпак. Весь день бабушка сидит у окошка и что-нибудь делает. То рукавицы вяжет, то носки, а то шарфик. Шарфики бабушка вяжет с каким-нибудь узором и обязательно с разноцветными кисточками на концах. А то возьмет прялку, привяжет к ней куделю и прядет нитки. Лево́й руко́й дергает куделю, а право́й веретено крутит. Веретено жужжит, а бабушка напевает какую-либо песню, только без слов. Напевы у бабушки грустные. Я слушаю и мне становится жалко бабушку.

Дедушка иногда почему-то не любит бабушкины песни: слушает, слушает да и ругнется.

Только он ругается так, без злости, и бабушка даже не сердится за это на дедушку, а вздохнет, немного помолчит и опять запоет.

Еще бабушка любит сказки рассказывать про города, которых она никогда не видала, про разбойников, которых нигде не встречала.

— А город больше нашей деревни? — спрашиваю я бабушку.

— Куда больше, — отвечает бабушка. — Вот коли взять наши Озерки, да еще Наволоки, да еще Кубинку, да дома друг на дружку поставить — вот какой город-то.

Я закрываю глаза и ставлю к нашей деревне Озерки еще такую же деревню Наволоки, но она не умещается в поле, и последние дома приходится ставить в реку. Пробую дом на дом поставить — дома разваливаются. Так и не получается город. Трудные бабушкины сказки.

Дедушка ростом меньше бабушки. По нашей округе он считается хорошим охотником. Один на медведя не раз хаживал. Птичьи разговоры понимает, а по следу любого зверя сыщет. Уйдет дедушка в лес и целую неделю где-то ходит. Придет — добычи пестерь полный: рябчики, белки, а часто глухарь, а то и два. Ягоды, травы разные да коренья.

— И где тебя носит! — ворчит обрадованная бабка. — Все глаза проглядела, ночи не спала, долго ли до беды — заблудиться али с медведем повстречаться, не ровен час!

— Гм! — смеется дед в свою густую седую бороду. — В лесу заблудиться! Придумаешь тоже, старая!

Из лесу дедушка всегда приходит веселый и все разные бывальщины да сказки рассказывает.

Дедушкины сказки простые, занятные.

Дедушка летом собирает разные травы и этими травами больных лечит.

У нас до фельдшера восемь верст идти надо, а до доктора и все шестьдесят.

Еще попа к больным вызывают, но это к тем, которые умирать собираются.

Поп у нас близко, за рекой.

До зимы еще далеко, а дед иногда вздохнет и скажет:

— Скоро опять зима. Как-то пережить ее?

И чего так боится дед зимы? Зимой хорошо. Как замерзнет река — мы все на лед. Бегаем по льду, катаемся, лед гнется под ногами, трещит, а не проваливается. Коньков у нас нет, да я и не видал их. Мы катаемся просто на ногах. Разбежимся с берега, прыг на лед — и катишься. Кто в валенках, тому хуже: в валенках далеко не уедешь. У меня валенок нет, лапти. В лаптях до половины реки несет, а то и дальше. А когда настоящая зима придет, тут мы на санках да на лыжах — с крутого берега. Дух захватывает!

На следующую осень дедушка обещает взять меня с собой на охоту в Остров да на Широкую. Это далеко. На ближние охоты он берет меня часто. Я уже стрелять научился. А вот птиц подманивать к себе не умею. Дедушка говорит, что выучусь, раз желание есть.

Сторона наша лесная, речная да озерная. Хоть день, хоть два иди — а лесам ни конца ни края. Темным островом окружили они нашу деревню и караулят. Человек в лесу — что иголка в стогу сена: заблудись — никто не сыщет тебя, коли сам не выйдешь.

Ушла в лес тетка Дарья за лошадью и сгинула. Две недели всей деревней искали, да так и не нашли.

Ели да сосны вдвоем не обхватишь. С одной березы на десять пар лаптей бересты сдирают. Осины без сучка и задоринки, челн выдолбят — четверых на воде подымает. Травы в лесу лошадей с головой скрывают. А зверя! А птицы! Кто знает лес да повадки дичи, без добычи домой не приходит.

В реках вода — на любой глубине дно видно, а в озерах — что чай заварной крепкий, настоящая на корнях да травах разных. Настоящая «живая вода», напьешься — силы прибавляется.

Как-то дедушка заболел и послал меня за водой на Дальний ключ. Напился он ключевой воды — наутро здоровым встал.

Рыбы столько, что, когда в погожее утро расплещется, реки и озера кипят.

В одном озере, недалеко от деревни, такая щука была, что житья от нее не стало. Всех гусей да уток поглотала. Собаки кругом озеро обегали, плыть боялись, потому как не одну из них тоже проглотила, проклятая.

Семиху Кривого, когда он купался, так за ногу схватила, что еле вырвался. Все лето, говорят, с палкой ходил — хромял на поврежденную ногу да год заикался с перепугу. Рыболовные сети, как воробей паутину, разрывала. Несколько раз молебны служили, чтобы издохла, а она жила и жила да все проказничала. Избавил от этой напасти всю деревню Федор Солдатов, мужик умный и смекалистый. Сковал он в кузнице стальной крюк, свил веревку конопляную в два пальца толщиной и привязал крюк на эту веревку. Вместо поплавка пятиведерную бочку приладил. Наживил крюк самым большим гусем и поставил удочку в озере. Ночью попалась щука на Солдатову снасть. Пять мужиков в лодке целый день она таскала по озеру, но к вечеру умаялась, и ее вытащили.

Какой величины была щука, я не видал, потому что, когда ее выловили, меня не было еще на белом свете, но позвонки этой щуки я видел, они в церкви на полу подле икон стояли. Когда церковный староста зажигал свечи на иконе, то становился на позвонок, как на стул...

Дедушка дома тоже без дела не сидит. То сбрую чинит, то ушаты или кадки делает, а то плетет из бересты корзины да лапти.

Как сейчас помню, он лапти плел да так увлекся своей работой, что весь день с места не сходил.

— Так ли плету, старая? — спрашивает бабушку дед, троя подошву с выворотом бересты по краю лаптя.

— Так-то так, да носить-то как? — отвечает она.

— В этих лаптях хоть в Москву иди, а крепость какая — на век хватит!

Дед закрепил последнюю заплету, поставил лапти на стол и любитесь своей работой.

— Носить-то как, спрашиваю я тебя! Из ума выжил, что ли? Ведь лапти-то на одну ногу сплел.

— Ах ты, ведьма, ах ты, баба-яга! Нет чтобы толком сказать, все сказками да прибаутками! Всю жизнь ты меня травишь! И когда этому конец будет?

Он бегал по избе и ругал ни в чем не повинную бабку.

Я лежал на печке, уткнувшись лицом в подушку и сдерживая себя от смеха, зная, что если дед услышит, то не миновать

«березовой каши». Чем бы все это кончилось, не знаю; на счастье, в это время к нам пришел сосед Ефим Балалайка, или его еще прозывают Ефим Веселый. Правда, его приходу дед был не особенно рад, так как, увидев в окно, он сердито проворчал:

— Этого еще несет нелегкая! Теперь растрезвонит по всей волости!

Но Ефим, войдя в избу, не обратил внимания на лапти, даже не глянул на них. Наскоро перекрестившись, он сел на лавку — и к дедушке:

— Выручай, Макарушка, мочи больше нет.

— Что такое? — встревожился дедушка.

— Душу сжало, как калеными клещами кто-то схватил ее, матушку, и никак не отпустит. Третьи сутки маюсь. Помогай.

Надо было посмотреть, с каким вниманием и серьезностью отбирал дедушка нужную сушеную траву: и понюхает ее, и пожует. Потом изрезал ее ножницами на мелкие кусочки, рассказывал, как ее настоять надо, когда и по сколько принимать.

— И вразумил же тебя господь бог, Макарушка, такой премудрости! — говорит растроганный Ефим.

— И тебя бог не обидел.

— Чем же?

— Голосом.

— Скажешь тоже!..

Дня через три, когда мы всей семьей завтракали, мимо нашего дома пронеслась подвода, скрипя полозьями, и в избу через двойные замерзшие рамы донесся знакомый голос Веселого:

— Эй, Савоська, грязный нос!

Дедушка заулыбался и с достоинством и радостью сказал:

— Выздоровел наш соловей.

— Что ему будет, взбалмошному! — проворчала бабушка.

Еще помню, как дедушка Семиху Кривого от ревматизма лечил. Семиха Кривой — это тоже мужик из нашей деревни. Кривым его прозвали потому, что у него был только один глаз, второй глаз ему выколол вилами его старший брат во время драки.

Посадил дедушка Семиху, раздетого догола, в бочку, в которой льняные головки были запарены, и накрыл овчинным одеялом.

— Сиди и терпи,— сказал дедушка.— Срок выйдет — открою.

— Жарко, дышать нечем! — глухо слышится из-под одеяла.

— Терпи! — повелительно говорит дедушка.

Семиха умолк.

— Ну, вот и обтерпелся...

Вдруг под одеялом забулькало, вода заплескалась. Дедушка стащил одеяло. Семиха сидел в бочке с опущенной в воду головой и пускал пузыри.

Вытащили больного из бочки и с трудом привели в чувство.

Отец сильно ругал дедушку и сказал, что больше не позволит ему заниматься лечением.

Помогло ли это лечение Семихе Кривому, не знаю, только больше он не приходил лечиться, а дедушка не вспоминал о нем.

Тяга к лечению больных у дедушки, наверное, еще с детства. Он рассказывал, что, еще когда в няньках жил и было тогда ему всего годов восемь, он ребенка лечил, с которым нянчился, от бессонницы да от плача. Нажевал головок зеленого мака, завернул в тряпку и дал пососать. Ребенок как уснул, так и спал двое суток, еле проснулся. Хозяева узнали об этом и выгнали дедушку из няnek.

Целебные травы находить да больных лечить от разных болезней учила его бабушка. Птичьи разговоры понимать у пастуха перенял, когда дедушка подпаском был. Охотой, как он говорит, «заразился» от хозяина, у которого в батраках жил.

Из рассказов бабушки о своем детстве у меня в памяти осталось то, что мать ее умерла, когда бабушке было восемь лет, что жила она потом со злой мачехой. Мачеха была ее и за дело и без дела. А один раз так за волосы таскала, что целый пук волос со всеми корнями вытащила, и на этом месте до сих пор волосы не растут. Говоря, она тыкала пальцем в темя:

— Вот погляди, так голое пятно и осталось!

Но, сколько я ни разбирал ее седые волосы, никакого голого пятна на голове не находил.

И еще шрам на ноге показывала:

— Это мачеха вилами распорала мне.

Если тут был дедушка, то он ругался и говорил, что ногу

она на сук наколола в лесу, когда вместе с ним за ягодами ходила. На что бабушка, не смущаясь, отвечала:

— Моя нога, и я больше знаю, на сук наскочила или вилами распоролась!

С тех пор я невзлюбил мачех: мне казалось, что все мачехи у своих неродных детей вытаскивают со всеми корнями волосы да прокалывают вилами ноги.

У дедушки с бабушкой, кроме моего отца, еще три сына было, да, как рассказывает бабушка, старший, Иван, на войне убит, второго, Степана, в Архангельске какой-то большой бочкой насмерть задавило, когда вагоны разгружали, а самый младший, Александр, в Питере от вина умер.

— А уж Александр-то такой весельчак был, такой весельчак — за день лапти исплясывал!.. Да как ушли в люди, так мы и не видывали их больше, и похоронить-то самим не пришлось...

Если это рассказывалось при дедушке, то он уходил из избы и занимался каким-нибудь делом то в сарае, то во дворе.

Бабушка и дедушка добрые, ласковые.

Я не знаю, почему отец называет бабушку бабкой, а дедушку — дедкой.

ОТЕЦ

Многие мужики нашей деревни еще осенью пришли с войны домой. А отца все нет. Осень прошла, зима прошла, весна на исходе, а его нет.

— Года не вышли. Молод еще, — рассуждает дед, — выйдут года, и Илья вернется, коли жив будет.

Думая о том дне, когда отец уходил на войну, я отчетливо вспомнить могу немного. Помню хорошо, что это было осенью. Шел мелкий холодный дождь, и, наверное, был сильный ветер, потому что ссунувшаяся тесина с крыши бани махала своим концом и скрипела, будто ее перепиливали тупой пилой.

Дедушка, бабушка, мать с Колюнькой на руках, моя сестренка Настя, державшаяся за юбку матери, и я стояли у крыльца нашей избы, что окнами к реке, и глядели, как от нас с бе-

лой котомкой на спине уходил отец. Вот он перелез через изгородь и по узенькой стежке огородами стал спускаться к реке: вместе с ним идут мои старшие братья Андрейка и Федя, им дедушка разрешил проводить отца до деревни Кубинки, дальше за этой деревней был лес. На переправе через реку по надводному мостику, что у нас называют лавами, уже шло много мужиков, тоже на войну, и нельзя было разглядеть, который из них мой отец. Перешли мужики через реку, вышли на крутой ее берег, повернулись лицом к нашей деревне, сняли шапки, поклонились чуть ли не до самой земли, что-то прокричали, чего я не мог разобрать, надели шапки и пошли по извилистой дорожке полем к деревне Кубинке. Скоро нельзя было различить, где мужики, где провожающие бабы и ребята, только белые котомки, как стая гусей, тянулись по полю и делались все меньше и меньше, а потом и совсем потерялись. И лицо тятки не помню. В чем он был одет, тоже не помню. А маленькие, всегда смеющиеся глаза вижу все время. Кажется, что отец так давно ушел на войну, будто век прошел, а дедушка говорит, что отец воюет четвертый год.

А чаще всего, когда я думаю о нем, то вижу только белую котомку, которая, покачиваясь, плывет от нашего дома по огородам над стежкой к реке Уржурге.

С тех пор Андрейка и Федя тоже дома не живут. Летом — в подпасках у озера, где-то далеко за лесом, не в нашей деревне, а зимой на маслодельном заводе у кулака Бляхина коногами работают «за прокорм», как говорит дедушка.

Мать выйдет в огород, приложит руку ко лбу козырьком и долго глядит за реку на дорогу.

— Ты чего это опять уставилась? — спросит бабушка.

— Все гляжу, не идет ли Илья.

— Мимо дому не пройдет, — пробурчит она и сама тоже встанет и глядит, глядит на извилистую дорожку, что спускается по косогору к реке.

— Может быть, и ваш не с голыми руками придет, — скажет иногда соседка Власиха. — Гляди-ка, вон Александр-то Осокин сколько добра привез: на одну одежду дом какой вымахал, а обутки и деткам не сносить. Сказывают, буржуя какого-то обобрал дочиста да все домой и привез.

— Что он, вор какой или разбойник, Илья-то? — закричит дедушка.

— Да ить и Осокин не вор, а в хозяйстве все пригодится. Илья-то ваш тепёр в красных состоит да против своих воюет. У Масловых сказывали, что эти красные грабители из одних антихристов набраны. Да и прикончат их скоро. Убережет ли головушку ваш-то сынок? Царица небесная, прости его, грешного! — крестится Власиха.

— Я тебе покажу антихриста, змея подколодная!

Дедушка хватал веник и выгонял Власиху из избы..

В воскресенье весь вечер мы играли в «красных» и «белых». Первое время было играть трудно. «Красных» и «белых» было поровну, а иногда «белых» больше, чем «красных». Ох и доставалось нам от «беляков»! Поймают, заруют в снег да еще на тебе кучу малу сделают, а то разуют и пустят босиком, еле добежишь до дому, а потом как зайдутся пальцы на ногах, часа два прыгаешь по избе. Потом стало легче. Мало кто из ребят хотел быть «белым». Ну и давали мы им жару, «белякам»! Разбив последний отряд «белых», мы галопом разбежались по домам, условившись, что завтра, как стемнеет, опять начнем войну.

Я тихонечко пробрался в избу, чтоб не разбудить никого, сунулся на лавку и уснул.

Проснулся, как залаял Соболь. Соболь немного полаял и успокоился. А на крыльце в дверь: тук-тук-тук.

— Кто бы это? — спросил дед и заворочался на печке.

— Ой! Илья пришел! — вскрикнула мать и соскочила с лежанки.

— Принес-таки бог домой, — сквозь слезы заговорила бабушка.

Все трое заспешили открывать дверь...

Я думал, что отец придет с войны как настоящий солдат, такой, как на картинках в книжках — с винтовкой, с пашкой, с погонами на шинели и кофардой на фуражке, — а у него ничего этого не было. Зеленая гимнастерка с протертыми локтями, зеленые штаны с заплатами на коленках. Ни винтовки, ни пашки. Только красная звездочка на выцветшей фуражке с разо-

рваным козырьком. Согнутая в локте левая рука подвешена на грязной косынке к шее. Голова не поворачивается ни вправо, ни влево. Если падо на кого посмотреть, то отец вместе с головой поворачивает и туловище. По шее и нижней челюсти в разных направлениях легли еще не окрепшие, набухшие синеватые рубцы. На месте левого уха торчит сморщенный кусочек белесоватой кожи.

Мать и бабушка никак не могут успокоиться и плачут на всю избу.

Мы сидим с раскрытыми ртами и слушаем рассказы отца о войне.

— Ну, а это-то,— дедушка показал кивком головы на лицо отца,— ножом, что ли, так изуродовали?

— Шашкой,— ответил отец и улыбнулся.

— Англичане аль хранцуды?

— Белые.

— Господи, пресвятая богородица! — закричала в слезах бабушка и повалилась на лавку.

— Да уймись ты, будь ты неладна! — деловито заметил дед.— С войны же человек пришел... Стало быть, свои?

— Какие же они свои, коли иноземцам продались?

— Я в том смысле, что русские,— поправился дед.

— Русские, да,— подтвердил отец.

Мать поставила на стол самовар, глянула на бабушку.

— Уж так живем, так живем! — завопила бабушка.— Родное дитя покормить нечем: ни хлеба, ни чаю, а сахар — забыли, какой и на вкус он!

— Всем тяжело сейчас, не одним нам.

— Всем, да не всем,— возразила бабушка.

Отец жевал лепешку, испеченную из соломенной муки пополам с картошкой, и запивал горячим кипятком.

— Вот поправлюсь немножко — да к озеру подамся: сапоги рыбакам шить, и с хлебом будем.

— Только что так, а то ведь сейчас хлеб никто не продает и взаймы не дают,— подтвердил дед.

— Ну, а землю-то получили?

— Получить-то получили, да что толку-то в ней? Засеять семян не было, вот и пустует.

— Весной засеем.

— Дай-то бог.

Отец больше всего хотел приласкать самого младшего из нас, Колюньку, но он, как увидел отца, так перепугался, что не отходил от матери и все время держался, ухватившись за ее сарафан.

— А у нас тут как узнали, что ты в красных ходишь, житья не стало. Говорят, красные-то все антихристы. Правда ли? — не вытерпев, спросила бабушка.

— Бога пока не забыл. — И, не желая обидеть бабушку, отец встал из-за стола и перекрестился на передний угол.

Бабушка заулыбалась. Дедушка повеселел и подмигнул бабушке.

— Значит, Андрейка и Федя опять в подпасках? — переспросил отец.

— С никола у озера. Хоть прокормятся. Двумя ртами меньше. Нам больше достанется. — Дед хотел пошутить и последние слова проговорил со смехом, но, увидев серьезное лицо отца, умолк.

— А корова сразу насмерть закололась?

— Насмерть, — вздохнул дедушка. — На четвертые сутки только и нашли-то ее. Кожей и то не пришлось воспользоваться — попрела.

— Телочка-то вылитая Пеструха. Уж такая ладная! Зимой, сохранит бог, свое молоко будет, — мечтательно заговорила мать.

Дедушка, всю жизнь считавший почему-то себя виноватым перед семьей в нашей бедности, не любил говорить об этом и перевел разговор на другое:

— А чего ж, Илюша, сразу-то после революции не пришел домой? По многодетности многих отпускали.

— Сам не схотел.

— Как так — сам не схотел? — удивился дедушка.

— Пона́чаду-то хотел. Ой как хотел домой! — продолжал отец. — Ночи не спал, все думки только и были что о доме. А потом остался.

— С чего бы это?

— Помню, собрался я домой. Вещички свои в солдатский мешок уложил, с товарищами прощаться стал. И вот подходит

ко мне один солдат, Иваном Васильевичем его звали, из нашей же роты, и спрашивает меня: «Домой, Макарыч?»

«Домой,— говорю, не помня себя от радости,— домой. Там дети, жена, мать, отец, землю получили, только работай знай! Заживем!»

«Эх, лапоть ты, лапоть, Илюша, ничего ты не понимаешь! Голова-то твоя навозом набита, не иначе. «Жена, дети»! А у меня, думаешь, щенки дома остались? «Землю получили»! Эту землю еще защищать надо, а то не придется тебе пахать-то ее!»

У меня так руки и опустились.

«Как так,— говорю,— не придется пахать? Царя спихнули, Временное правительство тоже спихнули, свою власть установили, как же так?»

«А так, что не конец на этом,— говорит он,— еще войной пойдут на нас капиталисты да помещики, кулаки да генералы царские, чтобы отнять у нас власть да опять царя какого-нибудь поставить. Вот и не видать тебе земли как своих ушей. Понял?»

«Понял,— отвечаю,— только не совсем».

Он из рабочих был, этот Иван Васильевич, вот я его и спроси:

«Ну, допустим, я останусь за землю воевать, а ты-то за что воевать будешь?»

Он возьми да и скажи мне:

«За заводы, да за фабрики, да за детей своих, чтобы лучше их доля была, да за тебя, лапоть, вот за что. Чтобы тебе, навозной голове, больше не пришлось свой синий пуп у кулака надирать».

Как сказал он это, меня так за живое взяло, что я снял с плеч мешок и остался... Иван Васильевич Ленина не раз слушал.

— А тебе, часом, не довелось видеть Ленина?— спросил дедушка.

— Не довелось.

— Ну, а жив он, Иван-то Васильевич?

— На моих глазах беляки насмерть зарубили.

— Это при каком же случае?

— В разведку ходили. Я у него под началом служил. В чем сплеховали, до сей поры не пойму. Только попали мы в плен к

белым. А было нас ни много ни мало восемь человек. Трое суток пытали, есть, пить не давали, помполами били, все хотели нужные сведения об отряде выпытать. А мы все, как один, будто воды в рот набрали — ни слова. На четвертые сутки утром на расстрел вывели. Могилу заставили себе вырыть. Вырыли. Потом руки связали каждому за спиной да к могиле-то и поставили. А впереди отделение солдат с винтовками. «Жизнь ваша в ваших руках, братцы,— говорит один из офицеров, а их было трое.— Скажите, где ваш отряд, помилюю», — а сам пистолет из руки в руку перекидывает. А какая жизнь, коли взял ты ее предательством?

— Само собой,— подтвердил дедушка.

— Мы молчим, будто и не замечаем их. Тогда этот поручик (офицер в чине поручика был) говорит своим подчиненным: «Господа офицеры, я думаю, не стоит на эту красную нечисть пули тратить. Испробуйте, не затупились ли ваши пашки» — и рукой махнул...

Отец замолчал. Наверное, тяжело ему было рассказывать. Мать уткнулась головой в колени бабушки, бабушка обхватила руками ее голову, и обе плакали навзрыд. Дедушка не плакал, но с его бороды на стол одна за другой две крупные слезы: кап... кап...

— Что было дальше, не помню,— продолжал отец.— Очнулся я под вечер. Рядом со мной лежит Иван Васильевич с зарубленной головой и тут же остальные, тоже зарубленные. Встать бы — силы нет. А пить так хотелось, что за один глоток воды все бы отдал... Вскоре наши подошли, подобрали...

— Знать, правду говорил тебе, сынок, Иван-то Васильевич: как воронье, четырнадцать держав налетели на Россию-матушку, да и белые к тому ж... Устойм ли?

— Устойм! — уверенно ответил отец.

Еще бабы коров не выгоняли на пастбище, а вся деревня знала, что тятка вернулся с войны. Весь день в избе не закрывалась дверь: то одни придут, то другие. Бабы охают, ахают да крестятся, глядя на изуродованное его лицо.

Соседка Власиха, первая сплетница в нашей округе, пустила слух, что он целый короб добра привез, да только бабы оплевали ее за это.

К вечеру все ребята вырезали кто из бумаги, а больше из лоскутков красные звездочки и прицепили себе на фуражки. Мы до утра играли в войну, только «белыми» в этот раз никто не захотел быть. Командиром теперь у нас Вася Антонов. Ох и командует здорово! Мы всю ночь разыскивали тех офицеров, что изрубили отца. Завтра найдем.

Дома тятка стал быстро поправляться и так за работу принялся, что дедушка нарадоваться не мог.

— Часу без дела не сидит, весь в меня! — говорил он. — Только вот в церковь не ходит.

На что бабушка всегда возражала:

— Уж ежели говорить, в кого Илья удался, то только не в тебя. Что с лица, что по ловкости в работе — вылитая я.

Порой долго они спорят, на кого он больше похож. А тятка пе похож был ни на дедушку, ни на бабушку, а похож был сам на себя.

* * *

Летом к нам Дубов приехал, рабочий из города, чтобы комитет бедноты создать. Три дня с утра до вечера проходил сход. Шуму да крику было на всю деревню.

— Для чего этот самый комитет создавать? — хитро и вкрадчиво говорит кулак Маслов. — Мы супротив власти не стоим. Какой излишек хлебушка был, весь государству сдали. Да и откуда излишек у мужика? Самим бы с голоду не умереть, и то слава те господи.

— Правду Кузьмич говорит, правду! — раздалось сразу несколько голосов.

Кузьмич оживился:

— Тут приезжий говорил, что кулаки хотят голодом задуть Советскую власть. Так у нас нет кулаков, у нас все равные! Землю-то разделили по едокам, стало быть, и достаток у всех одинаковый. А что касасемо того, что комитеты опорой власти в деревне будут, то в этом тоже резону нету: мы всем обществом подпираем власть, чтобы она крепче держалась...

Маслов еще что-то хотел говорить, но его перебил Ефим Веселый:

— А скажи, Степан Кузьмич, у скольких ты мужичков

исполу запахал землю в этом году? Ну, скажи, чего молчишь? А у скольких солдаток скупил всю пахоту? Тоже молчишь?.. Так чего же ты говоришь, что достаток у всех одинаковый? А государству сколько сдал хлеба?

— Сколько и ты! — выкрикнул Маслов.

Сход загудел, зашумел. Наперебой друг другу кричали мужики и бабы...

К вечеру выбрали комитет бедноты — опору Советской власти в деревне. Одним словом, этот комитет назывался «комбед».

В комбед выбрали тятку, Ефима Веселого да Михайла Косого, про которого дедушка говорит, что «глазами кос, да душой прям».

Ефим Веселый — высокий, стройный старик, самый высокий из всех мужиков нашей деревни. Зимой и летом ходит без шапки, а как появятся первые проталины, он скинет лапти — и босиком до белых мух.

Прозвали Ефима «Веселым» за то, что он любит песни петь да шутки шутить. Дома ли, в поле или в лесу — весь день слышен его голос. Песни поет такие, что за душу берет не только пожилых людей, а и ребят малых.

У нас с ним рядом покосы были. Бывало, косит, косит, потом выпрямится, возьмет косу в левую руку, правой рукой забросит назад седые курчавые волосы, оправит длинную седую бороду с коричнево-желтым пятном на подбородке да как запоет:

Эх, да не леса кругом —
Океан-море...

Песня перекатами с холма на холм, над покосами летит и летит и где-то теряется в лесу, отдаваясь эхом. Песня все громче и громче, а косы смолкают и смолкают. Мужики и бабы, опершись на косы, слушают песню, и каждый думает свою думу.

«И дал же господь такой голос!» — тяжело вздохнув, скажет дедушка.

А песня льется и льется. Умолкли птицы, умолк темный лес. И будто бы река присмирела, зачарованная грустной и в то же время удальской мелодией:

Жизнь на радость нам дана,
Не на горе...

Закончив песню, Ефим с минуту стоит в торжественном молчании, а потом как крикнет свою любимую поговорку:

«Эй, Савоська, грязный нос!»

«Дьявол бы тебя взял, аж в слезу прошибло!» — засмеется мать, вытирая концом платка покрасневшие глаза.

И опять звенят косы: «Коси, коса, пока роса...»

Вот за песни да за веселый нрав дедушка и уважает Ефима. И не только дедушка — вся деревня любит его. Умри Ефим, и, казалось, осиротела бы наша деревня, притихла, присмирела, загрустила бы. Праздник ли, свадьба — Ефим тут как тут. Где Ефим, там смех, пляски да песни до утра. А иногда такое придумает, что не один год всей волостью вспоминают...

Для меня это лето было такое нехорошее, что и придумать хуже нельзя. В самое жаркое время, перед сенокосом, когда обмелеет наша река Уржурга и когда мы с ребятами целый день ловим полусонных налимов под корягами да под камнями, я заболел корью. Как заболел, меня в тот же день закрыли в темном чулане и держали две недели. У нас всех ребят от кори так лечили: как заболит кто, так его на две недели в темный чулан.

Бабушка говорила, что корь в темноте приходит, в темноте и уходит. И вот из-за кори пропала ловля налимов. Я любил ловить налимов. Бывало, бродишь по реке с утра до вечера. Вечером мать выйдет на берег реки и кричит: «Игнатка-а-а! Игнатка-а-а! Иди домой, рассаду поливать надо-о-о!»

УТРО В ДОМЕ

Летом не так заметно нашу большую семью — кто в поле, кто на реке, кто в лесу, ночью спать разойдемся по разным углам: в сарай на сено, на чердак, — а зимой как соберемся в избу, то и места всем не хватает, особенно когда ложиться спать. Бабушка и дедушка заберутся на печку, отец — на лежанку, мы все на полу вповалку под большое овчинное одеяло. Под головы нам клали длинную красную подушку без верхней наволочки — так было принято. Где и когда спала мать, я так и не знаю: мы

засыпали, она еще что-то делала, а утром проснемся — она опять на ногах.

Как сейчас, вижу одно зимнее утро. Большая и в то же время тесная крестьянская изба. В избе душно и сыро. Почти четверть избы занимает русская печь с лежанкой. Сбоку, между печкой и стеной избы, — курятник. Кричит петух, хотя во дворе еще совсем темно.

Сзади, из-за печки, перекинув через скамейку голову, мычит теленок. На полу под овчинным одеялом мы спим вповалку.

Пламя печи освещает замерзшие окна. У печки, опершись на ухват, стоит мать. Босиком, в распоясанной рубахе по избе мечется отец.

— Не напасешься на вас! — кричит отец. — Неделя как смолот мешок ржи, а уже съели! За стол девять человек, а на работе я один.

— Почему один? — спокойно возражает мать. — Все работаем сколько можем.

— «Сколько можем»?! — в злобе закричал отец, схватил полено, замахнулся и... бросил полено к двери.

Мать покачнулась, но не проронила ни единого слова.

Овчинное одеяло зашевелилось, и мы начали выползать из-под него с криком и воем...

На печке заворчал дед и закашляла бабка... Так начиналось утро.

Слово «хлеб», наверное, было самым первым словом, которое я услышал и выучился говорить. Весь день с утра до вечера только и слышно: «Где взять хлеб?», «Опять хлеба нет!», «Ох, кабы хлебушка было вволю!», «Какой-то уродится хлеб...»

Со словом «хлеб» повторялось слово «земля»: «Была бы земля, был бы и хлеб. Что мы, хуже Масловых работать можем?», «Всю землю Маслята захватили, где его посеешь, хлебушко-то?»

— Тять, — спрашиваю я, — а чего вы с дедушкой мало земли захватили?

— Ты еще мал, Игнатка, — отвечает отец, — подрастешь — узнаешь. Земля-то сотни лет поливалась слезами вдовьими да сиротскими, да потом, да кровью нашей.

И мне опять непонятно, как можно полить землю потом да кровью.

Степан Маслов, по прозвищу Масляк, — мужик нашей деревни. Хитрый и злой, небольшого роста, с длинной густой рыжей бородой и рыжими глазами. Торгует скотом и имеет небольшой кожевенный завод. Держит двух батраков и двух батрачек. В отличие от всех мужиков, не только по праздникам, но и в будние дни ходит в сапогах и в матерчатых, а не в домотканых штанах.

Как рассказывает дедушка, Степан Маслов при отделе старшего сына в драке зарубил его топором, а всю вину на младшего свалил.

Теперь ходит в церковь да свои грехи замаливает за убитого Александра и умершего в тюрьме Андрея. И еще дедушка говорит, что этот Степан не одну семью в деревне по миру пустил.

Как-то наша собака Дамка забежала к Маслову во двор. А собаки любят по чужим дворам бегать, к нам тоже чужие собаки часто забегают. Забежит собака, отец или дед скажут: «Ну-ка, Игнатка, пугани ее!»

Я выбегаю во двор, хватаю что попадет под руку и с силой бросаю в изгородь или в стену, да еще присвиствую, чтобы напугать ее.

А вот Маслов Дамку не напугал, а так топором тяпнул, что у нее кишки из живота вылезли. Три дня мучилась и подохла.

В прошлом году осенью, когда по декрету Советской власти всю землю мужики между собой по едокам делили, то Маслов бегал по деревне и кричал: «Горьким хлебушко вам будет с моей земли!», «Подавитесь моим хлебушком!», «Вот наши придут, мы вам покажем, лодырям!..»

Вот так я лежу на печке и вспоминаю то, что сам видел и слышал и что рассказывали мне взрослые.

К рассвету отец приехал с мельницы. Он уже не ругается, а виновато-зайскивающе говорит:

— Ну вот, опять мешок смолот. Может быть, на недельку хватит, а там видно будет... Бабка, дедка, вставайте! Ребята, подымайтесь, время завтракать!

Он у нас, как говорит мать, горячий, да отходчивый: вскипит, на шумит-на шумит, а через пять минут отойдет и как ни в чем не бывало.

Мать поставила на стол чугунок вареной картошки в мунди-

рах да положила всем по куску хлеба. Наскоро поевши, отец, как всегда, первый вышел из-за стола. Глядя на него, прекратили есть и остальные.

— Не дашь никому поесть-то! — сердито сказала мать. — Не успеешь сесть за стол, как и выскочишь!

Я так и не понял, то ли отец действительно быстро наедался, то ли он это делал для того, чтобы мы лишнего не съели.

Утренняя ссора отца с матерью тяжелым, неприятным грузом легла каждому на сердце. За завтраком все молчали, потупив глаза в стол, так же молча разошлись из-за стола кто куда.

Дед оделся и, несмотря на мороз, отправился в лес проверять капканы. Сквозь замерзшее окно не видно веревочки, которой привязаны лыжи к кушаку, и кажется, будто они сами бегут за дедом.

Андрейка и Федя, мои старшие братья, пилят во дворе дрова. Мне, сестренке Насе и младшему брату Колюньюке сидеть в избе до весны — валенок нет, а в лаптях выходить во двор мать не разрешает: «Без ног останетесь, а потом и мучайся с вами...»

Бабка уселась за прялку. Мать управилась с печкой и разговаривает с Власихой.

Отец сидит, облокотившись о стол, задумался. Русые спутанные волосы отдельными прядями спустились на лоб, закрыли уши. Маленькие, всегда смеющиеся серые глаза грустны. Худое, с коротко стриженной рыжей бородой лицо вытянулось. Зеленая солдатская гимнастерка как-то нескладно сидит на его худых плечах. На руках, будто веревки, выступают толстые, извилистые жилы.

О чем он думает? О том ли, как прокормить семью, о том ли, как он три года воевал, или о том, чем засеять весной землю?

Но вот он тряхнул головой, встал. Грусть и задумчивость исчезли, обветренное лицо повеселело, маленькие глаза засмеялись.

— Не отдадим, Игнатка, землю, не отдадим! — и похлопал меня по спине.

— А разве и вправду опять землю Маслята заберут? А я-то думал, насовсем мы ее взяли.

— Насовсем, Игнатка, — твердым голосом ответил отец. —

Маслятам теперь крылья подрезаны, только Форс остался один.

Во дворе мороз как хватит, как хватит по стене колотушкой — изба дрожит. Тусклое красное солнце подслеповато шурится сквозь морозную пыль и чуть розовит кружева на замерзших стеклах.

— Пока холода стоят, тараканов бы надо поморозить. Не пустите ли нас пожить на недельку? — просит Власиха.

В самый сильный мороз всей семьей переселяется Власиха к кому-либо из соседей на неделю, а свою избу оставляет с настежь открытой дверью и не топит печь. В избе делается так же холодно, как и во дворе, и прусаки замерзают...

Дня через три-четыре идет Власиха с ребятами в избу. Она веником сметает замерзших тараканов с потолка, со стен, с печки, а ребята целыми ведрами выносят их на огород и высыпают в снег.

Морозные половицы в коридоре: скрип... скрип, по примерзшей к косякам двери глухо, но сильно: трах, трах. Дверь открылась, холодный воздух густым, толстым облаком хлынул в избу. В овчинном полушубке, в валенках и в заячьей шапке-ушанке вошел Дубов.

У нас зимой так примерзает дверь к косякам, что, не ударив по ней изо всей силы ногой, не откроешь.

Первый раз я видел Дубова летом, когда в нашей деревне комитет бедноты выбирали. Я не люблю его. Как только он вошел в избу, я прыг — и на печку. Это он предложил на сходе мужикам, чтобы отца в комитет выбрали, а после схода мне от ребят житья не стало. Как только выйду на улицу, то все меня дразнят: «конбед», «конбед».

Вслед за Дубовым пришли Михайло Косой и Ефим Веселый. Вначале Дубов читал газету. Почитает немного, а потом начинает пересказывать то, что прочитал, да еще что-то сам придумывал и говорил. Мужики или кивали головами в знак того, что поняли, или возмущенно высказывали:

- Ишь, дьяволы, куда лезут!
- Попробуют — обожгутся.
- Правда свое возьмет.

— Старое вернуть — не выйдет!

Потом Дубов разостлал газету на столе, сделал на ней круг карандашом.

Мужики усталились в газету.

— Глядите, что получается: англичане, французы да американцы заняли Мурманск, Архангельск, Кемь, Онегу; германские войска заняли Украину, Белоруссию, Крым; японские войска — на Дальнем Востоке; в Сибири — Колчак; на Дону — генерал Краснов; деникинская армия на Кубань наступает. — Дубов говорил и водил карандашом по кругу на газете.

— Вроде оклада сделали, — сказал Ефим.

— Оклад и есть, — подтвердил Михайло Косой.

— Красная Армия да партизаны с этими войсками бьются, — продолжал Дубов, — бóльшая половина коммунистов да комсомольцев на фронт ушла, а кулак хочет голодом заморить, не дает хлеб, хочет заморить голодом Красную Армию, рабочих, партизан...

Они еще долго вели серьезные разговоры, а потом их смешил Ефим Веселый, рассказывая разные небылицы.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

За полночь. Вторые петухи умолкли. Вывездило — хоть книгу читай. Мороз. Плюнешь — слюна ледяшкой катится по дороге. На одном конце деревни шагнул — на другом скрип слышен. На реке лед трещит — что снаряды рвутся.

В белом балахоне поверх полушубка, чтоб не так приметно было, у гумна на выезде из деревни дежурит отец. Будто часовой у порохового погреба, только без винтовки. Смена — заря утренняя.

По ночам кулаки хлеб вывозят в лес, в дальние деревни. Комитет бедноты пост выставил.

Когда отец уходил, сказал:

— Голос дам — Соболя пустите...

Дымит березовая лучина. Желтоватое пламя медленно движется к светильнику, оставляя за собой длинный искрящийся



уголь. Уголь скручивается винтом и падает в корыто с водой, подставленное под светильником.

За рекой в болоте воют волки. Заунывный вой знобит душу. Дедушка плетет из бересты пестерь — заплочный охотничий мешок. На минуту остановившись, прислушивается к волчьему вою.

— Ишь развылись! Знают, что у меня пороху нет, вот и дразнят. А был бы порох...— Дедушка засмеялся и погрозил кулаком в сторону болота. — А ты, Игнатка, ждешь отца? Не скоро он придет, у него сейчас, может быть, самый важный час. Гляди, какая посудина получилась! — И дед подбросил на руках новый пестерь. — В эту посуду что хошь ложи: дичь так дичь, рыбу так рыбу. Воды не боится, и жара нипочем.

— Дедушка, а зачем богачи хлеб вывозят?

— Чтобы подальше спрятать.

— А зачем прятать?

— Прятать-то? А затем, чтобы новой власти не сдавать.

В это время за окном заскрипели полозья и послышались голоса.

— Тпру!.. Приехали! Сваливай мешки! — сердито крикнул отец.

— Что ты, Илья Макарыч, христом-богом прошу, не губи! — пискливым голосом умоляет отца толстый злой мужик по прозвищу Масляк.

— Сваливай, говорят тебе!

— Илья Макарыч, возьми себе мешок, и концы в воду: ты меня не видел и я тебя не видел. Ночь свидетельница одна...

— Нет, мы не продаемся, не продажные! — сердито сказал отец и бросил в сени последний мешок с зерном. — Теперь уезжай домой, а завтра в Совете разговоры вести будем! — И отец шумно вошел в избу.

Масляк круто развернул лошадь и, грозя кнутовищем, прокричал:

— Весь комбед под корень вырежем!..

Бабка крестится. Мать тяжело вздыхает. Из-под овчинного одеяла в углу избы испуганно смотрят проснувшиеся братья.

Отец обмывает под рукомойником окровавленную руку.

— Да неужто до драки дошло? — И мать кинулась искать тряпку.

— Чуть не зарубил, проклятый! Топором по голове норovil, но промахнулся, а зубами, как волк, в пальцы впился...

На крыльце топот ног, стук в дверь и голоса:

— Открывай, Илья!

— Открывай подобру!

— Отдай хлеб!

Голоса знакомые: Масляк и его приятели.

Мы из-под одеяла — на печку. Мать в слезы, хватается за голову. Дед никак не вставит лучину в светильник, руки трясутся. Отец открыл дверь в сени. Из сеней был слышен его голос:

— Расходитесь по домам! Чего ребят пугаете? О хлебе завтра поговорим.

— Открывай, а то рамы хлестать начнем...

Тяжелым поленом ударили в дверь. Стягом вышибли раму. Осколки обмерзших стекол рассыпались по избе.

Дед схватил со стены берданку. Я соскочил с печки и крикнул во весь голос:

— Соболь, вперед!

Соболь с ревом вымахнул в окно. Я за ним. Отец с топором в руках выскочил на крыльцо.

— Спасите, убивают!— кричал Масляк, лежавший на спине в сугробе снега.

А над ним, упершись передними лапами в грудь, с оскаленными зубами и вздыбленной шерстью хрипел Соболь.

— Пакостливы, как кошки, а трусливы, как зайцы! Пойдем, Соболь, не пачкайся,— сказал дедушка и закинул за спину берданку.

При лунном свете было хорошо видно, как по улице трусливо, с оглядкой убегали три мужика...

До утра не спала вся наша семья.

Когда немного поуспокоились, я шепнул дедушке на ухо:

— Дедушка, а ведь ружье-то не заряжено было. У тебя и пороку нет.

— Ружье так, для острастки взял,— засмеялся дедушка.— Я еще, Игнатка, ежели меня за живое возьмет, с тремя мужиками справлюсь.

Соболь тоже не спал всю ночь, он даже не пошел в избу, остался на улице и до утра лаял, бегая вокруг дома.

У нас в семье не разрешалось вмешиваться в разговоры взрослых, но, поскольку всю ночь толки шли о Масляке, я попросил дедушку рассказать, как Масляк пускает людей по миру. В другой раз он бы сказал, что это не моего ума дело, но в ту ночь только спросил:

— Поймешь ли?

— Пойму,— ответил я.

— Михайлу Косому в ту пору годов двадцать было, когда у него пала лошадь,— начал дедушка,— а нет хуже этой беды для мужика. Без лошади мужик как без рук. Лошадь каждый день в хозяйстве нужна. Землю вспахать, хлеб с поля перевезти, за дровами ли съездить, в извозе какую копейку заработать — все лошадь. Лишился лошади — стало хозяйство. Другую купить достатка нет. Из жеребеночка вырастить — три года ждать надо. Ох и тяжелы эти годы бывают — будто век тянутся! Рады бы помочь мужики Михайлу, да как поможешь? У каждого лошадь из хомута не вылезит: то то, то другое. Да к тому чужая беда близко к сердцу не льнет. Вот и взмолился он

Масляку. Как ворон на падаль, Масляк на чужое-то горе. А у него в ту пору три лошади было.

«Все под богом ходим, Мишенька, — говорит Масляк, — от беды не уйдешь, не уедешь. Креста на мне нету, что ли? Бери в любое время лошадку для всякой надобности. А плата? Какая с тебя плата? За день работы лошади тринадцать деньков будешь отрабатывать у меня или сам, или баба».

Обрадовался Михайло. Поначалу-то и невдомек ему было, сколько стóит лошадь, да и выхода иного не было, а только после первой весны попал он в кабалу к Масляку.

— В какую кабалу? — не понял я.

— В какую кабалу? — переспросил дедушка. — В самую простую, в самую тяжелую. Вот смекай, ты ведь не маленький. Лошадь день работает, а Михайло за это тринадцать ден должен у Масляка отработать. За весну-то и набралось больше ста ден. Свою работу пришлось откладывать, а с долгами рассчитывать. Настало лето — опять лошадь нужна, осенью да зимой и говорить не приходится. Вот так и разорил его. Хорошо, что переворот приключился, а то бы ходить Михайлу по миру.

После этой ночи я возненавидел Масляка.

САМОСУД

1

В субботу, в середине дня, у продавца в сельской лавке пропала дневная выручка денег.

Продавец, маленький, с острым носом и черными глазами, говорил собравшимся мужикам:

— Я в кладовую за товаром вышел, а Васька Антонов тут в лавке был. Прихожу — Васьки нет и денег нет. А он гужи хотел купить, да не на что.

— От голытьбы всего ждать можно, да я нехристь к тому! — ехидно и зло сказал Масляк и вышел из лавки.

— Васька взял, кому больше! — закричал Семиха Журавель, мужик горячий и свирепый.

— Не пойманный — не вор,— робко и добродушно заметил Назар.— Да и как такой грех на душу взять.

«Васька вор! Вор Васька! Деньги украл Васька Антонов!» — несло по деревне, а у лавки все росла и росла толпа народа.

От слова «вор» вздрогнула деревня Озерки. Не по душе такое слово. Сотни лет стоит деревня, но ни одна изба в глаза не видала замка. Коромысло, поставленное у двери наискосок,— замок и сторож.

2

Посреди деревни с опущенной головой, привязанный к столбу, стоит пятнадцатилетний парень Вася Антонов.

За снежные тучи спряталось солнце. Ветер гонит поземку и морозной пылью обсыпает поникшего головой Васю. Рядом с ним — мать, худая и длинная, в рваном полупубке. Она уже не плачет, не кричит и не просит. А вокруг ревет и гогочет обезумевшая толпа народа трех деревень.

Толпа решает, какое вынести наказание вору. И, как только Семиха Журавель, зачинатель самосуда, мужик с кошачьиими глазами и козлиной бородой, прокричал утром на всю деревню: «Го-го-го-го-го... го...», вдова Левониха вывела своего сына Васю из дому на веревке, как собаку, и привязала к столбу под свист и улюлюканье толпы...

— Обвешать его деньгами-то да водить по всем деревням с гармонией! — кричал довольный своей выдумкой Гриха Васин.

— Верно, верно! — подхватили голоса.

— Негоже, граждане. А деньги кто даст?..

— Босиком его по деревням провести! — пробиваясь вперед, орет маленький мужичонка по прозвищу Чикитка.

— Не выдержит, мороз ноги отхватит...

— А к чему ему ноги? Воровать не станет...

— Негоже, негоже, мороз лютый...

— Го-го-го-го-го! — раздался зловещий голос Журавля, и толпа стихла. — Я думаю, выпороть вора здесь, при всем честном народе, березовыми прутьями. А чтоб порола сама Левониха.

— Выпороть, выпороть! Ловко придумано!..

— А коли худо пороть будет, то и ее рядом положить и тоже выпороть,— продолжал Семиха Журавель.

— Пороть, пороть вора!..

3

— Опять снег с валенок не обмел!— заворчал дед.— Кто там тебя, чего плачешь?

— Дедушка, помоги,— прошу я,— заступись!

— Да что случилось, говори толком! Перестань плакать, слезами делу не поможешь.

— Ваську Антонова вором сделали, а он не воровал. Там вся деревня собралась, убьют Ваську.

Немного успокоившись, я рассказал деду все, что слышал и видел.

— Так ты говоришь, Маслов сказал, что от голытьбы да от нехристи всего ждать можно?

— Да, сказал и ушел. Я знаю, почему Ваську вором делают,— говорю я,— потому что он бедный да и заступиться за него некому. А Васька не брал никаких денег, только разговаривал с приказчиком, что гужи купить бы надо, да не на что.

— Нет таких законов, чтоб самоуправством заниматься!— сердито сказал дед. И тут же, сожалеючи:— Вот телефону нет в нашей волости. Взял бы телефон — дрынъ, и готово. Так, мол, и так, товарищ милиционер, самоуправством занимаются... И милиционер тут как тут... Да и Илья на заработках...

Про телефон я часто слышал от деда. Сидим на охоте в шалаше, взгрустнется деду — и он про телефон: «Вот был бы, Игнатка, телефон, сейчас бы дрынъ — и говори с бабушкой. В городах-то они на домах поразвешаны, ну, а мы бы здесь у себя на елки да на сосны повесили. Дрынъ — и говори с кем хочешь».

— А то что ж, без телефону-то,— продолжал дед,— пешим день клади до волости. Разве на Рыжке?

— На Рыжке, дедушка. Сейчас запряжем — и в волость.

Дед запряг лошадь, сунул в розвальни под сено берданку и подал два патрона с крупной картечью:

— Это на случай, коли волка повстречаешь.

Застоявшийся рыжий мерин галопом понес по деревне. У сельской лавки из толпы выбежал Масляк и, ловко ухватившись за вожжи, на всем скаку остановил лошадь. Конь вздыбился, а потом присел на задние ноги.

— Ты куда это, голодранец, на ночь глядячи?— не выпуская вожжи из рук, зло спросил он.

— За фершалом, дед занемог, чуть живой, животом мается,— соврал я.

— А тут у тебя что?— Он выпустил из рук вожжи и начал разрывать сено в розвальнях.

Я подхватил вожжи, взмахнул кнутом, мерин с места рванул галопом. Поручнем розвальней Масляка отбросило на обочину дороги...

Милицонера в волисполкоме в тот вечер не было. Секретарь партийной ячейки Дубов, внимательно выслушав меня, вызвал к себе председателя волисполкома Морозова и секретаря комсомольской ячейки волости Кремнева.

— Слышали, что в Озерках делается?— спросил их Дубов.— Надо сейчас же выехать и разобраться с этой историей.— И ко мне:— Ну, а тебе жалко приятеля?

— Еще бы не жалко!— ответил я.

— А как по-твоему, Игнатка, мог Вася взять деньги или пет?

— Что ты! Он попросить не попросит, не то что украсть.

— Товарищ Кремнев, когда Антонов подал заявление в комсомол?

— Неделю назад.

— Вот что, товарищ Кремнев, поезжайте и разберитесь с этой кражей.

4

Бешено вьется поземка, посыпая окровавленную спину Васи. Согнувшись, хлещет Левониха сына по голой спине березовым прутком.

— Сильней, сильней, а то тебя положим.



Застоявшийся конь галопом понес по деревне.

— Го-го-го-го-го! — как коршун, мечется в толпе и кричит Журавель.

С пригорка к деревне, будто играя упряжкой, размашистой рысью бежал Рыжко. В розвальнях рядом со мной в солдатской шинели и в племе со звездочкой стоял Кремнев.

— Го... — и подавился своим языком Журавель, увидев красноармейца.

«Вот тебе фершал», — подумал я, увидев Масляка, бросившегося навстречу подводе.

— А я уж тут жду не дождусь. «Поезжай, говорю, скорее, Игнатушка, да вези кого-нибудь из волости». Глядите, как осрамили парня наши мужики по своей необразованности, — лепетал Масляк, извиваясь, как у́ж, около розвальней.

— Крещеные, крещеные! — расталкивая народ локтями, визжала Власиха. — Напраслина получилась: ить деньги-то нашли, за прилавком под ящиком с махоркой были спрятаны...

— Как — на-пра-сли-на? — будто буря, вырвалось из груди толпы.

— Черт попутал, крещеные, нас! — визжал Масляк. — Прощения просить у бога всем миром надо.

— Черт! — кричал Михайло Косой, схватив за грудь Масляка. — Не заслоняйся богом да чертом, душегуб проклятый, это ты взбаламутил народ!..

Мужики били Семиху Журавля: таскали за бороду, пинали ногами и топтали в снегу. Разом несколько колов выломали из изгороди... Не будь Кремнева, убийства не миновать. Запываясь и спотыкаясь, с высоко поднятыми головами, не видя стезжи, шли по снегу к своей избушке мать с сыном.

ПЕРВЫЕ КОМСОМОЛЫЦЫ

Три дня Вася Антонов не выходил из дому. А Левониха так захворала, что две недели с печки не слезала.

Как только тятка вернулся с заработка, Вася пришел к нам. Как он изменился! Лицо осунулось, побледнело. Глаза стали как у волчопка — сердитые, пугливые. Со мной он даже разго-

варивать не стал. А тятка его встретил как взрослого — руку подал.

— Что, брат Вася, окрестили? — спросил отец.

— Все Семиха Журавель да приказчик.

— Семиха? — улыбнулся отец.

— А кто же? Семиха да приказчик. Вот я им покажу!

Отец положил руку на плечо Васи:

— Не в Семихе дело.

— А в ком же?

— Тут, брат, в корень дела глядеть надо. Прочуял Масляк, что ты в комсомол записываться хочешь, вот и решил ослабить тебя. Кто такой Масляк? Масляк — это тот же белогвардеец, даже хуже: беляки в открытую против нас идут, а кулаки скрытно. Для него комсомолец — как бомба или орудья какая.

— Да неужто с умыслом было сделано? — спросил дедушка и покачал головой.

— С умыслом, — ответил тятка. — Да улики прямых нет. Понял теперь? А то, что выпороли тебя, не беда, впрок пойдет. Гляди, как меня разукрасили беляки. — И отец провел рукой по белесоватым шрамам лица.

Вася с жадностью слушал каждое его слово...

Через неделю Васю приняли в комсомол. Но он, как и прежде, играл с нами в войну, катался с крутого берега на лыжах. Как-то играли мы в лапту. К нам подошел Семиха Кривой, долго глядел на нашу игру, а потом спросил:

— Сказывают, что ты, Васька, в комсомол записался?

— Записался, — ответил Вася. — А что?

— А скажи мне, кто эти комсомольцы?

Вася покраснел, не ждал такого вопроса, да и не так было просто ответить. Помявшись немного, он сказал:

— Комсомольцы — это такие ребята...

— Бойцы за Советскую власть, — выпалил Колька Пузырь.

— Бойцы! Бойцы на фронте, парень, а тут что-то другое.

Неудовлетворенный ответами, пошел мужик от нас, повторяя:

— Комсомольцы... комсомольцы... И слово-то какое мудреное придумали, не выговоришь!

Последнее время тятка все чаще стал уходить в волость. Уйдет и дня три живет там, а то и неделю. Как-то за обедом сказал:

— Отряд комсомольцев собрали. Вот подучим немного — и на фронт. Хорошие парни, один к одному. Жаль, что рука еще плохо слушается меня, а то бы с ними тоже махнул.

— Вот оно что, — многозначительно произнес дед.

— Сиди как сидишь дома-то. Живой вернулся, и слава богу, хватит, навоевался, без тебя обойдутся, — с укором заговорила мать. — Вон их сколько за столом-то сидит, — и показала рукой на нас, — кормить надо...

На масляной неделе в морозный солнечный день через нашу деревню шел отряд комсомольцев на фронт. Впереди — Кремнев, как командир. В первом ряду — Вася Антонов.

Провожать комсомольцев вся деревня вышла.

— Гляди, какая сила, — говорит тятка бабушке. — С такими не пропадешь!

А отряд шел и шел. Вот он поднялся на сугорок, скоро из виду скроется. В морозном воздухе впервые в наших Озерках зазвучала с юношеским задором боевая песня:

...Смело мы в бой пойдем
За власть Советов...

РАЗВЕДКА ГЛУХАРИНЫХ ТОКОВ

Ох и зима была лютая! Морозы, метели, а снегу навалило до крыши нашей бани.

А теперь солнце с утра и до вечера. Зима куда-то ушла от нас далеко, может быть, в Архангельск, а то и дальше. Ночью морозит. Оттаявший снег так замерзает, что по насту можно ходить, ездить — дорога не нужна.

Дедушка обрадовался весне не меньше, чем я. Сегодня поднял меня еще до рассвета, и по насту пошли мы с ним на разведку глухариных токов.

— Еще неделька-другая, — говорит он, — и такие тока нач-



нутя, что лес зашумит. На тока походим, а вода сойдет — рыбой займемся. Весна — не зима. Весна радость человеку приносит и силы прибавляет.

Дедушка идет не спеша, уверенно. Я приустал: слабоват еще, да и сноровки мало. Нет-нет да и споткнусь и упаду, краснею от стыда. А дед спрячет в усы улыбку, спросит:

— Что, Игнатка, иль нашел что-нибудь?

— За сук зашнулся, — виновато признаюсь ему.

— А я думал, что нашел что-нибудь...

Когда проходили через бурелом, у выскыря сваленной бурей сосны Соболь взъерошился, насторожился, тут же опустил шерсть и шмыг под выскырь.

— Старая медвежья берлога, — сказал дед и закинул ружье за спину.

С одной стороны берлогу защищали корни вывернутой сосны, с другой — густая вершина сломанной ели, сверху — толстый ствол.

— Вот он какой, медвежий-то домик! Видал, Игнатка?

— Нет, дедушка, не видал, — испуганно прижался я к деду.

— Ну, тогда поглядп, не бойся.

Соболь, как бы желая показать, что в берлоге никого нет, еще раз шмыгнул в нее, все обнюхал, вылез и лизнул мне руку. После этого я расхрабрился: на четвереньках влез в медвежий домик и лег в нем, высунув наружу голову.

— Дедушка, а здесь хорошо!

— Еще бы худо,— отвечает дед.

— Только скучно здесь медведю одному целую зиму лежать, ведь правда?

— А чего ему скучно? Медведю зима — одна ночь, как в народе говорят.

— Дедушка, расскажи про медвежью ночь.

— Нашел время рассказывать!

Не терпится мне:

— Дедушка, пока отдыхаешь — и расскажи.

Дед снял заплечный пестерь, сел на ствол сосны, потрепал меня по торчавшей из медвежьего домика голове:

— Ишь ты у меня какой настойчивый!..

И начал рассказывать мне про медвежью ночь...

Дедушка рассказал, как сделал медведь себе берлогу, как завалился спать, как занесло снегом медвежий домик, а медведь ничего этого не слышал и не видел, только спал да лапу сосал. Даже какие сны снились медведю, дедушка рассказал. И откуда все он знает? Дедушка рассказывает, а я слушаю да по сторонам поглядываю. Страшно! А ну как медведь выскочит из-за дерева да рывкнет: «Это кто в мой домик забрался, а?» Поджилки дрожат.

— Проснулся медведь,— продолжал дедушка,— когда солнышко пригрело,— ни снега, ни мороза, вся зима ему была одна ночь... Вот и вся сказка. Вылезай-ка, Игнатенок-медвежонок, да потопаем, пока наст держит.

— Дедушка!

— Что? — встрепенулся он.

— А хорошо бы, и люди так.

— Как?

— А как медведи: завалились бы осенью да и спали до самой весны. Ни хлеба им не надо, ни обуви.

— Вот ты о чем,— рассмеялся дедушка.— Куда бы лучше.—

А потом, подумав, сказал: — Нет, Игнатка, так не годится. Радость к жизни пропадет. А что касаясь хлеба, то не век же так будем жить. Хлеб будет, раз земля есть...

Утром на опушке мохового болота мы нашли место глухариного тока. К этому месту дедушка близко подходить не стал, чтоб не потревожить птиц. Он только мне показал на поклеванную бруснику на оттаявшей кочке да на следы глухаря по насту, которых, как я ни смотрел, не мог увидеть.

— Через недельку сюда придем, — шепотом сказал дедушка и таинственно подмигнул мне.

ВЕСНА

Дружна северная весна. Солнце ошалелое, горячее — за неделю пала дорога. На высоком берегу, где стоит наша деревня, землю видать. Подснежные ручьи тоже ошалели. Да сколько их, откуда взялись!

Выпустили кур из-под русских печек и запечных углов. Обрадовались: «ко-ко-ко», «ку-ка-ре-ку», крыльями хлопают.

Из окошечек хлебов вытащили соломенные снопы, коровы высовывают в крохотные отверстия морды, шумно и жадно вытягивают в широкие ноздри весенний воздух.

И жаворонки ошалели: они как будто вырвались из-под снежных сугробов и звенят, звенят.

Хвойный лес ошалел и шумит темным островком, наполняя воздух запахами смолы. Вдохнешь и опьянеешь.

А деревня наша трудная, тяжелая. А солнышко для всех светит ласково. Захлопотали бабы: моют прокопченные за зиму лучиной избы. Повеселели мужики: с утра до вечера стучат их топоры и звенят пилы. А у ручьев — ватаги ребят. Они ставят мельницы, пускают корабли.

Вечером теплый дождь прошел. Ночью и заморозка не было. В полдень ниже порога вода на льду появилась. Потом то тут, то там один за другим глухие взрывы, и вода с шумом ушла под треснувший лед. Лед вздрогнул и нехотя оторвался от берегов...

— Лед! Лед пошел!.. — раздалися голоса. — Лед пошел!..

На берег реки вся деревня высыпала с баграми, с наметками: может, поживятся кто бревном, кто рыбой.

Я стою босиком на оттаявшей ступеньке крыльца и с завистью смотрю на ребят, провожающих лед.

Из дому выбегает отец, на ходу надевая полубашмак. Но вот он остановился, как-то виновато посмотрел на мои посиневшие ноги и, ласково улыбаясь, потрепал меня по голове:

— Ничего, Игнатка, вот поправимся и тебе сошьем сапоги, а сейчас отсюда посмотрим.

А на берегу взрослые и дети, махая в воздухе шапками и платками, кричали вслед уходящему по реке льду:

— Прощай, ледок, на весь годок! Тебя не будет, нас прибудет...

— Прощай, ледок!..

Еще снег лежит возле изгородей с северной стороны, в кустах и низинах, еще до пахоты дней десять пройдет, а отец с утра до вечера ходит по полям и полянкам, измеряя шагами свои узенькие полоски. Одна забота у отца — как бы засеять полученную землю.

Зажиточные мужики за пуд семенного зерна три пуда отборочного по осени требуют. Невыгодно. Неизвестно, как уродит земля...

Только сегодня утром отец ломал голову над тем, где бы заработать рубля два-три, чтобы купить недостающего зерна для посева, как вдруг «подвалило» счастье. Скотопромышленник Арсений Торопов заказал сшить вытяжные болотные сапоги.

Отец весел и разговорчив. Он разложил на лавке сапожный инструмент, расправил на правилах вытяжки. Работает ловко, быстро.

— Шутка ли, — говорит он матери, — теперь всю землю засею, а тогда, гляди, того хлеба-то на весь год хватит.

Я в это время сидел за столом и рисовал собаку. Нарисованную собаку мне захотелось вырезать. Когда отец вышел из дому, я взял его острый сапожный нож, положил бумагу с нарисованной собакой на вытяжку для сапог и что было силы обвел контур рисунка...

Как сейчас, помню лицо отца: страх, злоба, тоска — все

смешалось вместе. Он молча взял в руки ремень и защемил мою голову между своих ног...

В себя я пришел только на второй день.

У лежанки стоял отец и гладил меня шершавой рукой по голове:

— Гляди-ка, Игнатка, и я на втором голенище такую же собаку вырезал да белой кожи изнутри подтачал. Теперь сапоги получились с рисунком, вроде расписных.

— А что скажет Арсенья?

— Приходил, глядел. Очень понравилось. Торопил шить. Говорит: «Полтинник за работу накину, раз с росписью»...

С тех пор прошло сорок лет, но, как увижу кожаные вытяжные сапоги, у меня начинает холодеть спина...

Завтра выезжать в поле. Земля прогрелась. Отец заканчивает последние приготовления. Погрузил на телегу соху, борону. В который раз подбегает к мешкам с семенами, пересыпает зерно из руки в руку, пробует на зуб. Веселый. Я давно не видел его таким: не ругается, со всеми разговаривает, смеется.

— Ты, матка,— говорит он матери,— завтра не торопись. Мы-то с Игнаткой со светом уедем, а ты приходи, когда управись с печкой да со скотиной. Полоса большая, пока вспашу ее. А придешь и засеешь.

У нас сеяла всегда мать. Наденет она на левую руку большую берестяную корзину с семенами и идет по полосе ровным шагом, правой рукой разбрасывая зерно. Всходы всегда были хорошие. Отцу эта работа не давалась. Ходил он быстро, зерно бросал далеко. Всходы были неровные — где густо, где пусто.

— Тять,— спрашиваю я,— и мне дашь попахать?

— Что ты, Игнатка, ты еще мал, соху не удержишь,— смеется отец.— Боротись будешь, это легко. Сядешь на Рыжка, и пошел. А пахать тяжело, тут, брат, сила нужна. Вырастешь — напашешься. Да к тому времени, может быть, и плуг заведем.

Мать тоже веселая, она даже помолодела. Весь день хлопчет вместе с отцом. Покряхтывая, ходит по пятам отца дел. Он как будто не доверяет отцу: то соху подергает за оглобли, то на бороне проверит прочность переплетов.

Начало темнеть. Дед и мать ушли в избу. От реки потянуло холодком. Голоса на деревне стали стихать.

— Пойдем, Игнатка, дадим Рыжку сена, да и спать. А то ведь завтра рано разбужу.

Отец подошел к мерину, похлопал его рукой по крупу, огладил бока, почесал под гривой.

— Ну вот, Рыжко,— говорит отец,— и дожили. Завтра пахать поедем. Тяжеленько тебе придется, но ничего, помаленьку. Соху я новую сделал, борону перебрал, хомут поправил. Надо бы тебя овсом накормить сегодня, да нет овса-то. Ты думаешь, дуралей, что мне жалко тебе овса дать? Нет, не жалко. Нет его. Прошлую весну не засеяли землю-то, семян не было, вот и овса нет. Потерпи, теперь семена есть. В кооперативе в кредит взял. Сколько взял, столько по осени требовали, вот и остались мы с тобой без хлеба. Потерпи, в этом году я тебя не обижу.

Мерин слушает отца, положив ему голову на плечо. А отец говорит и чешет шею лошади под гривой.

— На вот, за обедом не съел, тебе оставил.— И отец подал Рыжку кусок хлеба.

Рыжко от удовольствия машет хвостом и тянется своими мягкими губами в карман отца.

— А покончим с пахотой, тогда пуцу тебя в лес, и гуляй все лето, пока снопы убирать будем. А травы сам знаешь в нашем лесу какие, не хуже овса...

* * *

В зимней избе кулака Маслова, что окнами в огород, полумрак. За столом — Масляк, приятель и сват Масляка кулак Анюшкин и батрак Федька.

— Так, чего доброго, сватушка, по миру пустят нас эти голодранцы,— рассуждает Масляк.— Прошлый год землю им дали. Теперича семенами снабдили через кредит — пуд за пуд.

— И пустят,— пробурчал Анюшкин.

— А главное, народ мутят. Деревню супротив нас ставят.

— И все Илюха,— стукнув кулаком по столу, выкрикнул Анюшкин.

— Так что вот, Феденька,— заискивающе говорит Масляк,— надо не дать Илюхе засеять землю.

— Как же, не дашь! — ухмыльнулся Федька. — Я сегодня был у Ильи, у него все как полагается: соха, борона, семян на весь отсев хватит и лошадь своя. Не дать! Скажешь тоже!

— А вот и не дать! На-ка первачка. — И Маслов налил Федьке стакан самогону. — Мы со сватом на твою помощь рассчитываем.

— Сегодня ночью, как все уgomонятся, залезешь во двор к Илье, и вот, — Анюшкин вынул из-за полы длинный тонкий нож, — под левую лопатку сунешь мерину.

— Вот и отпахался на этом Илюша, хи-хи-хи! — захихикал Масляк.

— Не пойду, не пойду, нету в этом вам моей помощи. Чем лошадь виновата, чтобы резать ее? — закричал Федька и выско-чил из-за стола.

— А ты не горячись, Федя, припомни-ка, кто прошлую осень гумно с хлебом спалил у члена Совета, а?

— Так вы же научили!

— Мало что научили, этому свидетелей нет, а вот ежели мы заявим, то годиков десять в тюрьме отсидишь...

Утро погожее, теплое. Кричат куры. Поют петухи. На скворечне перед домом скворец, помогая крыльями, выводит колена своей незамысловатой песни.

Отец вынес из коридора хомут. Взял оброть и, напевая вполголоса: «Бывало, вспашешь пашенку, лошадушку берешь...» — пошел во двор за Рыжком.

— Ну-ка, Рыжанушка, иди сюда, да поедем, — говорит отец, открывая дверь двора. — Рыжко, Рыжко, иди сюда... Да, никак, ты спишь? Чего бы это? — и пошел к загородке. — Матка, матка! — закричал не своим голосом отец. — Иди скорее сюда! За-резали, зарезали звери Рыжка-то!..

У дома стоит телега, на телеге — соха, борона. У оглобли на земле лежит хомут.

...Вот почему в зимней избе Масляка за полночь тускло горел огонь...

Вечером приехал Дубов из волости и еще несколько человек, которых я не знаю. Сход собрали. На сход вся деревня высыпала, от мала до велика.

Дубов красивый, сердитый и спокойный. Такого шумного схода давно не было. Вот-вот подерутся мужики.

— ..Сколько веревочка ни вейся — придет веревочке конец! — закончил свое выступление Дубов и бросил взгляд на Масляка.

— Креста на том человеке нет, товарищ Дубов, коли рука поднялась на тварь невинную! — говорит Масляк, вытирая рукавом покрасневшие глаза.

— Вестимо, нет, — перекрестившись, поддержал Анюшкин.

На круг вышел Ефим Веселый.

— У кого лошадь зарезали, а? У кого? — Ефим обвел глазами всех мужиков. — У того, кто кровь свою пролил за нас, за землю, за власть Советскую. Ну, что молчите? Выходите на круг в открытую, чем ночью по дворам втихаря лазить. Что, кишка тонка? Поджилки дрожат? Задушить нас хотите — не выйдет! Мелко плаваετε. А Илью в беде не оставим. Так ли я говорю, мужики?

— Так, так!

— Правильно...

На другой день семь мужиков сами, без зова, вспахали нам землю...

* * *

Время переправу делать, а река никак не успокоится. В густом лесу снегу еще по колено, а то и выше. Снег тает, река вздувается, в солнечные дни из берегов выходит. За рекой — поле, пахать надо. Ждать некогда.

Вечером сход собрали. На сходе решили с утра плоты ставить. С каждого дома по мужику, где нет мужика — баба или подросток. Каждый мужик сваю к переправе принесет, а баба — жердь или кол для поручней.

Так каждый год. Плоты зимой на берег вытаскивают, свап оставляют во льду. Легче новые сделать, чем на старые время да силу тратить.

Утром начнут — к вечеру переправа готова.

Переправа немудрая: двадцать плотов один за одним, конец в конец, на воду положить с берега до берега, чтоб водой не сносило, да чтоб плот с плотом держались, сваями укрепить,

Замысел простой, а сила, сноровка да смелость, как в бою, нужны. Река злится, что волчица голодная...

— Лучшего случая и придумать нельзя,— поучает Маслов своего сына, рыжего здорового парня, по прозвищу Бык,— в воду его, и только. А то кончится наша жисть, чует мое сердце. Ночами не сплю, мучаюсь. Да и кто поперек дороги встал? Наш же батрак Федька. Землю получил, свое хозяйство заводит. В волость зачастил. В комсомол, чужал, записываться хочет. Не сегодня-завтра донос на нас сделает: и про гумно, что спалили у члена Совета, и про лошадь, что зарезали у комбеда. Сердце черной кровью обливается у меня, сынок, только подумаю!

— На себя, что ли, донос будет делать? Он поджог делал, он и лошадь заколол,— возражает сын.

— Он-то он, да по нашей указке. Ему-то простят, а нас — в тюрьму. Сегодня встретил его, спрашиваю, чтоб мысли его узнать: «Не поможешь ли, говорю, Феденька, в пашню-то?», а он: «Хватит, говорит, попил ты мою кровь, вот еще душу очистить надо». Ишь куда гнет!

— А как же при народе в воду столкнуть? Ответ держать придется.

— С хитростью надо, чтобы без ответа было. Федька-то отчаянный. Он, как и в те годы, опять плоты скреплять будет, стало быть, на коленках на плоту будет стоять. Вот тут-то и надо схитрить. Как дойдет до середины реки, где коловорот да глубины, тут ты сплеча сваю ему на голову, будто ненароком. Вроде как поскользнулся, да тоже ноги-то в воду, а животом на плоту лежи. А Федька-то, оглушенный, как топор ко дну. И конец на этом. Весь ответ тут.

...Середина реки. Федька, стоя на коленях, согнувшись, крепит плот к плоту.

На берегу реки — вся деревня. Делом занято мужиков десять — пятнадцать.

По наведенным плотам с тяжелой еловой сваей на плече идет Бык.

«Дай-то бог», — шепчет про себя Масляк, наблюдая с берега за сыном.

Тяжелый свинцовый комель сваи ударил по сложенной Федькиной голове. Комом ссунулся Федька в бурлящую воду.

— Прости господи! — прошептал Масляк и бросился на переправу: — Спасайте, спасайте, мужики! Утонет парень-то! Багры! Лодки!

Отец, не раздеваясь, бросился в разъяренную реку спасать Федьку...

Долго откачивали Федьку на берегу реки, может быть, ведро воды из него вылилось. Но вот он вздохнул и закашлялся.

— Выживет ли, бабоньки, парень-то? — всхлипывали женщины.

— Выживу! — И Федька открыл глаза.

НА ШИРОКОЙ

Неделя до сенокоса.

Дни стоят жаркие, длинные. Ночи короткие, светлые.

— Сходим-ка на Широкую, — говорит дедушка, — трав пособираем да выводки глухарей поищем. После сенокоса на охоту махнем, чтоб знать куда.

Мне бабушка по секрету сказала, что дед всю жизнь ищет «счастливую траву», да вот найти ее никак не может. Коли б найти ту траву, то мы зажили б любо-дорого.

— А есть такая трава? — спрашиваю я.

— Коли б не было, то не искал бы...

К вечеру мы с дедом Макаром пришли на речку Широкую.

— Такая узенькая Широкая? — удивился я.

— Да, не широка наша Широкая. Ежели разбежаться, то и перепрыгнуть можно, — ухмыльнулся дед.

— А почему она называется Широкой?

— Широкой она, Игнатка, зовется потому, что эта речка шире других, которые проходят через наш лес. К примеру, Хоревку ты перешагнуть можешь, Новую — я перешагну, ежели подпужусь, ну, а тут, гляди, разве что с разбегу...

— И с разбегу не перепрыгнешь... — вздохнул я. — А черемухи-то здесь сколько!

— Ты, внучек, пройдишь вон туда, по бережку, там должно

быть много красной смородины, насобирай-ка к чаю. Да не бойся, возьми с собой Соболя, а я тем временем костер разожгу...

Хорошо горит на костре сухой сосновый валежник, освещая вход в односкатный охотничий шалаш. Впереди шалаша в темноте что-то свое лепечет речка. Соболев жмется ближе к костру, спасаясь от назойливых комаров. Мы с дедушкой пьем чай с красной смородиной.

— А когда ты, дедушка, один здесь живешь, тебе не страшно? — спрашиваю я.

— Кого бояться-то? Здесь бояться некого. Правда, когда филин ночью кричит, то как-то не по себе становится. И чудно как-то: знаешь, что это птица, а не по себе, да и только. Ну, да это не часто бывает.

Неуклюже шаркаясь крылами о ветви деревьев, над головами пролетела какая-то птица. Я вздрогнул и уронил из рук кружку с чаем.

— Это сова, — спокойно замечает дед. — Налетела на свет и ослепла. Занятная птица: ночью видит, а днем нет. Да еще красавицей себя считает, а ведь и на птицу-то мало похожа.

— Дедушка, а и вправду у совы некрасивые дети?

— Хуже не видывал, особенно в ту пору, когда еще пером не обросли. Смотреть на них тошно.

За речкой, в болоте, бухнула выпь раз и другой: «Бух, бух!»

— А это кто? — дрожащим голосом спрашиваю я.

— Это выпь, или ее еще зовут «водяной бык». Ох, и не люблю я эту птицу!

— А почему птицу называют водяным быком? Разве она похожа на быка?

— Нет, Игнатка, на быка она не похожа, она похожа на цаплю. Завтра я ее покажу тебе. А водяным быком ее прозвали за ее голосище. Надоело выпи одной на болоте жить. Увидела она как-то быка и говорит ему: «Бык, а бык, давай вместе жить». Поглядел бык на выпь, промычал насмешливо: «Вот когда ты научишься кричать, как я, так, чтобы на всю округу было слышно, тогда и станем вместе жить». С тех пор и учится выпь кричать по-бычьему. За это ее и прозвали водяным быком.

— Дедушка, расскажи еще что-нибудь, — прошу я.

— Погоди маленько. Вот подумаю, вспомню и расскажу.



— Дедушка, а ты про все, про все знаешь?

— Нет, Игнатка, про все я не знаю.

— А про иван-чай?

— Про иван-чай? Знаю. И про болиголов тоже... Покорми-ка Соболя, а я травы поразбираю.

Я накормил Соболя, подошел к берегу освещенной костром речки и сорвал белый цветок вместе с ветвистым бороздчатым стеблем с красными пятнами.

— Дедушка, как этот цветок называется?.. А как он нехорошо пахнет!

— Ты разотри-ка листок его между пальцами.

Растер я перистый лист травы, и неприятный мышиный запах распространился у костра.

— Это и есть болиголов,— сказал дед.— Брось-ка его подалее да вымой руки. Дурная трава, не в пример иван-чаю. Иван-чай красавец. Будто богатырь, на утешение всем растет в наших лесах: заболит человек, нарвет листьев иван-чая, по-

пьет горячего отвару и поправится; пчелам меду даст, птицам — семечек. Выгорит лес, глянуть на это место тошно — когда еще новый вырастет? — а иван-чай тут как тут, с весны и прикроет гарь. Летом расцветет — глаз радует и на душе легче. Болиголов не то. От корней и до цветов весь ядом пропитан. Уж лучше бы и не было этой травы. Да и растет больше по сорным местам.

— Дедушка, а чего он мышами пахнет?

— Мышам-то? Тут, брат Игнатка, целая история, — смеется дед. — Погрыз как-то крот корней болиголова, зачах и умер; поел зайчик листьев болиголова, закружилась у зайчишки голова, и он как пьяный ходил по лесу три дня и три ночи; поклевали птички-синички семечек — еле живы остались. Собрались птицы и звери: что делать, как быть? Шуму да гаму было на весь лес: кричат, свистят, щебечут... А тут выскочила мышка-лесушка. «Я, говорит, расправляюсь с этой негодной травой!» Пропищала и убежала. Нашла болиголов да и поплевала на него. Вот с тех пор и пахнет болиголов мышами, и никто не хочет даже дотронуться до него.

— Никто-никто не ест эту траву?

— Ну, а кто ж будет есть, коли она ядовитая и мышами пахнет?

Я подошел к речке и еще раз вымыл руки в холодной лесной воде.

— Дедушка, а болиголов — как Масляк, ведь правда?

— Не лучше, — засмеялся дедушка. — И придумаешь же ты, Игнатка!

— А иван-чай — как Михайло Косой.

— Михайло красотой не удался, а что касемо доброты, то другого и искать не надо, — подтвердил он.

Утром, когда мы перешли через речку, дедушка поманил меня пальцем:

— Гляди! — и показал на зеленые наброды по белесоватой от росы траве. — Глухарка с цыплятами пасется.

Соболь ткнулся в один бродок, потом в другой и фыркнул, будто продувая нос. Дедушка погрозил ему кулаком. Поджав хвост, он нехотя пошел сзади нас.

Из-под маленькой болотной сосенки шумно, с квокотом взле-

тела крупная рябая птица и тут же, как срезанная выстрелом, блеснув серебристыми подкрылками, тяжело шлепнулась на спину в густую траву, забив крыльями. Я бросился к птице, но она, волоча по траве одно крыло и чуть взмахивая другим, проворно убегала от меня. Спотыкаясь и падая, я гонялся за ней по болоту. В какое-то мгновение, с треском взмахнув крыльями, птица взмыла вверх и ловко полетела над лесом, не оглядываясь на нас.

Дедушка смеялся, схватившись руками за живот. Соболь крутился около дедушки с высунутым языком, закинув на спину в баранку закрученный хвост.

— Что, не поймал? — спрашивает дед. — А здорово тебя глухарка одурачила, а?

— Соболя надо было пустить.

— А я его и не удерживал, он ведь не такой дуралей, как ты: знает, что это мать от своих детей отводит и прикидывается подстреленной. Глянь, как он смеется над тобой!..

Потом мы еще нашли два выводка, и дедушка сказал, что после сенокоса сюда придем на охоту.

ФЕДЬКА

В воскресенье вечером под окнами Ефима Веселого шумно и весело. Разряженные парни и девушки под гармонь пляшут кадрили. Парни, не жалея сил, друг перед другом выделяюг ногами самые замысловатые колена.

На гармонии играет Федька. Он мастер. Заглушая гармонику, люются веселые шуточные частушки. Вот, притопнув ногой и лихо закинув голову, смеясь голубыми глазами, парень поет:

Ты беги, беги, кобыла,
Белолапая, беги...

Другой, с черными, как у цыгана, волосами, бросив на землю фуражку и высоко вскинув руки, вторит ему:

Приворачивай, кобыла,
Где горячи пироги...—

и пошел, пошел впрысядку вокруг девушки. Пыль столбом.

Девушки по кругу ходят плавно, часто перебирая ногами, на голову кринку с молоком поставь — не расплещут. Не выдержал хозяин дома Ефим, кубарем скатился с крылечка, притворяясь пьяным, — и в круг. Любит старик повеселить и подзадорить молодежь. Прошел по кругу раз, другой, а потом, взяв свою бороду в рот, начал мычать и гоняться за нами, ребяташками, представляя глухонемого...

Пришли на молодежь посмотреть мужики, бабы, и тятка тоже пришел.

Зимой и ранней весной Федька часто приходил к нам. В нашем доме, как пришел отец с войны, стало людно. Приходят по вечерам не только бедняки, но и середняки. Засиживаются за полночь. Последнее время Федька перестал заходить, даже встречи с отцом избегает. Часто пьяным на народе появляется. А что случилось, люди в толк не возьмут. Вот и сейчас он играет на гармонии, а веселье не трогает его. На пьяном лице отпечатались безразличие и тоска.

Из обшитого тесом двухэтажного дома, что посреди деревни стоит, вышли пьяные Масляк с сыном и их сват Анюшкин.

В кумачовых, с расстегнутыми воротами рубахах, в черных матерчатых штанах, в вытяжных сапогах, обняв друг друга и горланя песни, они подошли к кругу.

— Раз-зойди-и-сь! — орет Масляк. — Я с сыном плясать буду! Пляши, Евлаха!

Девушки и парни отступили, памятуя из рода в род передаваемую пословицу «От пьяного подальше — греха меньше».

Евлаха, сын Масляка, по прозвищу Бык, неуклюже топчется на кругу.

— Пляши, сынок, бей, режь! Кого зарежешь, заплатим! — кричит Масляк, хлопая рукой по карману. — Федька, играй под драку, а то гармонь заберу. Уважишь — еще куплю...

Из-за угла дома, запыхавшись, выскочил сын солдатки Ольги, мой приятель Колька Пузырь, — и ко мне.

— Скорее, Игнатка, сюда! — оттащил он меня за рукав в сторону.

— Что? — недовольно спрашиваю я. — Говори.

— Сам слышал, своими ушами, только что.

— Да говори же, ну!

— Отца твоего сейчас убивать будут.

— Кто? — спросил я, и у меня закружилась голова.

— Масляк говорил, что мы шум поднимем, а Федька Илюху ножом пырнет.

Мне было некогда расспрашивать, где и когда это слышал Колька да и правду ли говорит он. Я бросился к отцу.

— Тять,— говорю я,— иди скорее, мамка зачем-то зовет.

Отец, не раздумывая, быстро пошел домой.

Федька развел мехи гармони, минуту задержался на высокой ноте, а потом вскочил с места, сорвал гармонь с плеча и с криком: «Подавился ты, живодер, своей гармонью!» — бросил ее на землю и начал топтать ногами.

Как колом вышибло хмель из головы Масляка.

— Да ты что, ума рехнулся, Феденька? — завизжал Масляк.— Опомнись!

— Давно опомнился! — закричал не своим голосом Федька, подступая с кулаками к Масляку.— Все, все расскажу, душегуб проклятый!..

* * *

Утром рано, когда мать корову доила, хмурый после бессонной ночи, пришел Федька.

— Пришел,— заикаясь, произнес Федька,— сам пришел. Убейте меня, Илья Макарыч, пропащий я человек, убейте!.. — и, зарыдав, повалился отцу в ноги.

Отец, будто не понимая, зачем пришел Федька, поднял его с полу и усадил на лавку.

— Сгубили меня Масляк с Анюшкиным, сгубили! Разбойник я, судите меня! — не унимался Федька.

— Догадывались,— спокойно сказал отец,— да верить не хотелось.

— Я поджег гумно у члена Совета, я зарезал вашего мерина вот этим ножом...

Дедушка выронил кистет из дрожащих рук.

— И этим ножом должен был зарезать тебя! — Федька бросил нож на середину избы.— Илья Макарыч, дед Макар, убейте меня...

Дедушка как мешок ссунулся на подоконник, ухватившись руками за грудь.

— Дорого платили? — сухо спросил отец и сжал кулаки.

— За мерина гармонь получил, за тебя лошадь обещали...

— Дешево проданся. Я думал, ты большего им стоил.— Успокоившись и полностью взяв себя в руки, тятка продолжал: — А ко мне ты, Федор, пришел напрасно, иди в Совет. Что заслужил, то по закону и получишь, мы самоуправством не занимаемся...

К вечеру кулаков Маслова и Анюшкина да батрака Федьку милиционер с двумя понятыми увез в волость.

ЛЕТО

Лето сухое и жаркое. Каждый день ведро. Первая неделя сенокоса. Работать бы да песни петь, а тут работа валится из рук. Люди неразговорчивые, сердитые. Две недели как нет в доме соли, да нет ее и во всей деревне. Если у кого есть немного, то держат это в секрете. А без соли не лучше, чем без хлеба: пища в рот не идет, работать силы нет. Но вот отца осенила счастливая мысль. Он изрубил на мелкие куски бочку, где хранилась соль. Соленые куски дерева совсем как конфеты. Мать варит суп и в суп кладет вместо соли стружку соленой бочки.

В каждой избе застучали топоры: начали рубить бочки изпод соли, соленого мяса, капусты, грибов...

К вечеру мужики косы отбивать стали, а на деревне были слышны детские веселые голоса...

— На сход идите! — вместе с ударом палки по стене избы раздался за окном мальчишеский голос. — На сход!

— Ладно, чую, — ответил отец, по пояс высунувшись из окна.

— Зачем бы это? Неужели и вправду скотину переписывать? — недовольным, испуганным голосом спрашивает мать. — Да гляди там вперед-то не суйся, делай как люди, а то опять проходу не будет от народа. Прикуси язык-то да и молчи, — напутствует мать отца...

За полночь затянулся деревенский сход. Вторые петухи пропели. Вот-вот займется утренняя заря, а уполномоченный сельского Совета еще не успел опросить и половины мужиков деревни, хотя на собрании всего сорок два хозяина. Да и вопрос был простой: нужно было записать, сколько у кого имеется скота.

Перед сходом кто-то пустил слух, что у кого много скота, отбирать будут. Вопрос простой, да важный.

К этому времени в наших Озерках многие бедняки середняками стали. Хлеб свой, коров завели. О старой власти, чтоб она вернулась, и слышать не хотели. От солнца дотемна работают на своей земле. Придут домой — в избе молоком пахнет. О пах мясных подумывать начали. А тут скотину отбирать?

Не спит кулак, а если уснет, то и во сне видит, как он этой власти Советской, будто курице, топором со всего размаха голову отрубит — р-раз, и готово. Вот и сегодня кто-то из них пустил слух, да какой, за самое живое мужика взяло. Задумались мужики, потупились, друг другу в глаза не смотрят.

— Александр Сорокин, — спрашивает уполномоченный, — сколько у тебя коров?

— Пшши — одна.

— Как же одна? Я сам сегодня видел, как твоя хозяйка двух коров со двора выгоняла!

— Плохо глядел.

— Значит, одна?

— Одна.

— Ну, тогда иди распишись.

— А чего мне расписываться? Ты записываешь, ты и расписывайся...

Роспись была простая — каждый против своей фамилии с усердием и сопя ставил крестик. Но если наш мужик поставит крестик — будто присягу даст: голову режь, не откажется. Два-три мужика знали начальные буквы своей фамилии. Этим мужикам завидовали остальные.

— Василий Волков! — вызывает уполномоченный следующего крестьянина. — У тебя сколько коров?

— Нет у меня коров! — сердито отвечает Волков.

— А куда же делись твои четыре коровы?

— А были, да сплыли...

Утром новая сплетня облетела деревню: будто ночью сам председатель сельсовета будет ходить по дворам и переписывать скот.

Загрустили мужики, застрекотали, как сороки, бабы: как быть?

Кто-то предложил задержать на пастбище утаенных коров.

Вечером началось «сражение» с возвращающимся в деревню стадом. Недоумевающие коровы с диким ревом, задрав хвосты и вытаращив глаза, мечутся по пастбищу, стараясь прорваться в деревню.

Очумелые мужики и бабы с руганью и криком, а мы со свистом и улюлюканьем бегаем по лугам и кустам за коровами.

— Гляди, какая спектакля получается,— говорит моему отцу председатель сельсовета.— Ребят-то втянули в это грязное дело. Надо бы узнать, кто эти слухи пускает. Да вот возьми-ка газету, почитай: наши Юденича громят...

С трудом вернули утаенных коров в лес и загнали на паровую поляну, что выше старой мельницы. Мычат коровы. Подняв головы, ходят друг за другом возле изгороди — высока, не перескочишь.

На ночь охранять скотину остались бабы да ребята. И я остался, хотя и не было тут нашей коровы. Интересно, будто в ночном, когда лошадей пасут. Мы даже костер разожгли.

И вот, только темнеть стало, как за изгородью в лесу: тресь... тресь... будто кто сук сломал у дерева. Мы переглянулись. Смолкли и тараторившие бабы. Немного погода опять: тресь... тресь. Мы повскакивали со своих мест. Побледнели и насторожились бабы. Страшно! Не медведь ли? Расхрабрилась Лиза Сорокина, наша соседка:

— Будет, доброход, пугать баб да ребят малых! Иди сюда, к огню, погрейся да посидим вместе.

Но никто не отозвался. Тихо.

И вдруг: топ... топ... топ... топ... да как вскинет на изгородь передние лапы, да заревет, да свистнет. «Ой, медведь! — крикнули все в один голос.— Караул!» — и кто куда. Бежим, ноги подламываются, дух сжимает в груди. Бабы визжат, воют, но не отстают от нас. За нами коровы бегут, а нам кажется, что это за каждым из нас медведь гонится.

Впереди коров бабы влетели в деревню, откуда прыть взялась... На деревне шум, будто на пожаре. А немного погодя в вывернутой наизнанку шубе Ефим Веселый из лесу пришел.

— Ну как, будете еще кулацкие сказки слушать? — смеясь, спрашивает он. — Не так напугаю.

Бабы к нему:

— Ох ты, пдол!..

— Ох ты, балалайка проклятая!..

— Да нешто можно так?..

После этой ночи Лиза Сорокина все лето животом маялась, а бабу Феонику перестала слушаться правая нога. Теперь, когда она идет, эту ногу в сторону забрасывает.

«Коси, коса, пока роса...»

Старшие братья завидуют мне. Я еще не кошу, а только помогаю загребать сено.

— На будущий год, — говорит отец, — и тебе косу сделаю, не маленький, восьмой год пошел.

На лугах по берегам реки сенокос. Народу много: вся деревня целыми семьями, каждая семья на своем клочке — чище.

Джик... джик!.. — шумят косы, и разноцветие трав пестрыми валами ложится на скошенный луг.

...Уржурга — таежная река. То медленно и молчаливо проходит в берегах, то останавливается и подолгу кружит в омутах и заводях, а потом спешит по перекатам, стараясь наверстать упущенное время.

Солнце прорвалось через гущу соснового леса, река стала нежно-розовой. Поведешь глазами левее — она золотая, а глянешь правее — она перламутровая, а подойдешь ближе — она голубая. Отразившиеся кучевые облака обездонили реку. Попробуй теперь разберись, где небо, а где река.

Появилась над рекой стрекоза и недоуменно повисла в воздухе, затем быстро упала вниз и забила на воде, хотела подняться, но поздно: всплеск воды — и она исчезла. В тихой заводи окунь режет воду прямыми линиями в разных направлениях; щука разогналась за добычей, но не рассчитала, промахнулась и выбросилась на песчаную отмель.

— Андрейка! Федя! — кричу я своим братьям. — Бегите сюда, глядите, что здесь делается!

— Куда? — крикнул на них отец.

— Щука на берег выскочила, скорее!

— Щука? Где щука? — И, бросив косу, отец бежит к берегу.

Обрадованные братья тоже бросили косы — и к реке.

Я держу в руках большую щуку. Она открыла рот с частоколом острых зубов и, казалось, ждет случая, чтоб схватить меня за нос.

— Ну вот и уха! — смеется отец. — Походи-ка по берегу, может быть, еще какая рыба из воды выскочит. А вы, Андрейка, Федя, — за дело. Вона солнце-то где, а у нас еще косить и косить.

— Глянь-ка, тятка, — кричу я, — сколько рыбок здесь маленьких плавает!

Отец усмехнулся:

— Что ты, Игнатка, до рыбок ли мне! В небо глянуть и то некогда. — И опять за косу...

«Коси, коса, пока роса...»

Отец косит и все чаще и чаще поглядывает в сторону соседа, черного здорового мужика Егора. Егор раньше начал косить и сейчас подошел к меже. Черемуха разделяла наши чищи.

Не вытерпел отец, косу на плечо — и к Егору.

Подошел к черемухе — выругался.

Сосед не обращал внимания на подошедшего отца, косил и косил.

— Ты что это, сосед, опять наделал?

— Что? — не понял Егор.

— Как — что? Не видишь, что ли? Опять перекошил. Ведь каждый год тебе говорю: полдерева на твоей половине, полдерева — на моей. Сколько травы отмахнул!

— Свою отмахнул, не твою. На моей половине дерево-то растет.

— Как — на твоей? Всю жизнь дерево пополам делили! — И отец ступил лаптем; лапоть уместился на нарушенной границе. — Ишь куда заехал!

— По меже скосил, знать ничего не знаю!

— По меже! — закричал отец. — Вот тебе межа! — и начал косой отгребать в свою сторону скошенную траву.

— Не тронь, не тронь, моя трава! — И Егор упал, прикрыв собой траву.

— Моя! Отдай!

— Нет, моя! Не отдам.

— Моя!

«Коси, коса, пока роса...»

После обеда к костру, что горел под плакучей березой на крутом берегу реки, с охапкой травы, ослабив белые зубы, подошел Егор.

— На, Макарыч, возьми! — засмеялся сосед. — Не хочу грех на душу брать, я там, за кустами, тоже к тебе заехал. Бес пошутил, что ли. Прости, брат.

— Ну тебя! — смеясь, ответил отец. — Я тоже такого дурака сваял, что в глаза глянуть стыдно. Раскричался, как петух.

— Пустое. Чего между соседей не бывает! Дай-ка, Илья, закурить...

Когда Егор уходил, отец сказал:

— Завтра стоги метать вместе будем, а баб пораньше домой отпустим.

— Ладно, — обрадовался сосед.

— То-то, — улыбнулся отец и начал отбивать косу: тук... тук... тук... А за рекой в лесу эхо: «...ук... ук... ук... ук...»

В ЛЕСНОЙ ИЗБУШКЕ

Наконец-то сбылась моя мечта! Собираемся с дедушкой на глухариную охоту к лесной избушке. Это далеко. Про лесную избушку я много слышал. И знал, что если дедушка идет туда охотиться, то жди его через неделю, не раньше. Сборы простые. Взяли ружье, пороховницу с порохом, сделанную из коровьего рога, дробь, кожаный мешочек, пакли для пыжей, топор и в пестерь — каравай хлеба да соли солоник.

На ноги обули новые лапти. Дедушка говорит, что для охоты лучшей обуви и искать не надо: легко, вода в них не задер-

живается и ногу не повредишь. Правда, у дедушки есть сапоги, но надевает он их два раза в год: в пасху и в фролов день. Походит дед праздник в сапогах, а потом смажет их дегтем и опять отнесет в амбар. «Этим сапогам износу не будет», — восхищенно говорит дед, связывая их веревкой.

Ох и дорога трудная! Да и нет никакой дороги. Идем темным лесом. Чащобы, бурелом. Непроходимые топи. А трава по грудь, а то и выше.

— Дедушка, — спрашиваю я, — а что, если мы заблудимся?

— Не заблудимся, — отвечает дедушка, — тут мне каждое дерево знакомо. И ты примечай, учись. А к тому же в лесу что ни шаг, то примета. Все к свету да к теплу тянется. Муравейник — на южной стороне дерева, сучья на дереве гуще и длиннее опять на южной стороне, трава тоже к югу наклон имеет. Наша деревня на севере осталась, а мы на юг идем. — И дедушка показывает мне муравейники, приметные деревья. — Ежели затесок на дереве сделан, это не зря. Иди по затескам — на дорогу выйдешь...

К вечеру добрались до лесной избушки.

Я так устал, что еле переставляю ноги.

— Ну, вот и пришли, — смеется дедушка. — Теперь нам все нипочем, располагайся, Игнатка, как дома.

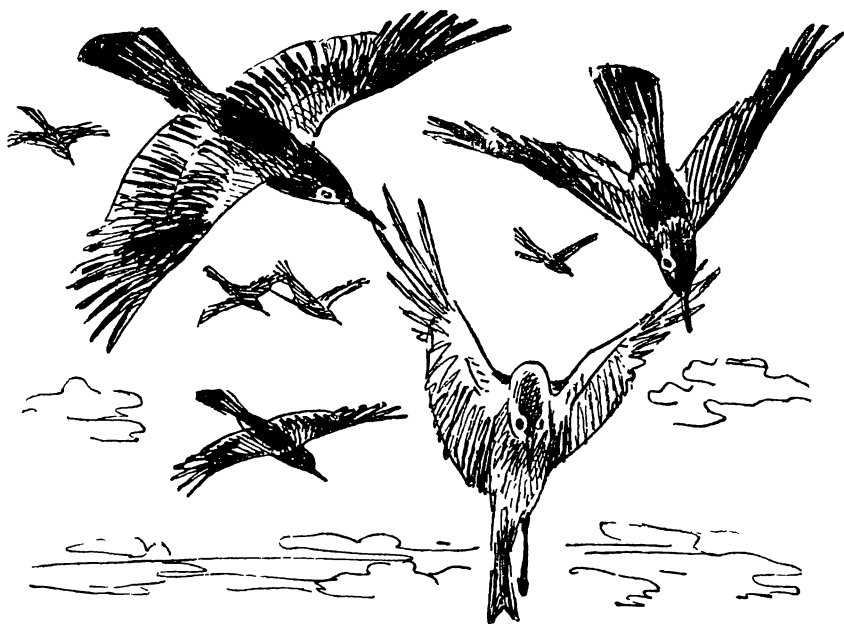
Густым малинником заросла лесная избушка. Односкатная дощатая крыша одета седым мхом. Кто и когда построил эту избушку, не знает даже дедушка Макар. Стоит она, наклонившись набок. Перекошенная дверь жалобно скрипит на ветру. Рядом стонет надломленная сосна. Страшно ночью в глухой тайге.

— Дедушка, — прошу я, — расскажи что-нибудь.

Бабушка говорит, что когда дедушка свои сказки рассказывает, то не перебивай его, а слушай, он в этих сказках свое горе забывает. А чего мне перебивать? Я люблю дедушкины сказки. Дедушкины сказки простые, занятные.

Пламя от печки освещает стены избушки, а на стенах поразвешаны в пучки связанные калина, кукушкин лен, корни дягили и еще какие-то травы, которых я не знаю.

— О чем же тебе рассказать? — поправляя ольховые дрова в печке, отвечает дедушка. — В лесу я родился, травами лечился, слаще редьки ничего не едал, ничего и не знаю, — смеется дед.



— А о том, как птицы и звери разговоры ведут про цветы, про травы. Расскажи, дедушка.

— Про то, как глухарь соловья лечил, я тебе, Игнатушка, сказывал?

— Не упомяну, дедушка.

— Тогда слушай, да не перебивай. Доктором у птиц глухарь считается, самая древняя и мудрая птица. И вот как-то весной пел, пел соловей, да вдруг и умолк. Первой забеспокоилась сорока: тра-та-та-та на весь лес. Это значит: «Где соловей? Что с соловьем?» За сорокой закричали дрозды, за дроздами — дятлы, потом скворцы, зяблики, малиновки, синицы. Словом, всполошились все лесные птицы... Туда-сюда, а соловья нет. Даже к филину слетали всей стаей, думали — не съел ли он соловья. Нет, и филин не видал.

— Так и не нашли?

— Нашли. Сидит соловей на ольховой ветке и голову под крыло спрятал. У него, оказывается, три дня глаза болели, а на четвертый день видеть перестал. Подхватили птицы соло-

вья за крылышки и понесли его к своему доктору. Долго глухарь осматривал соловья, а потом сказал: «Кормите больного цветами калины да поите росой с заячьей капустой, и болезнь пройдет». Птицы делали все так, как велел доктор. Через несколько дней у соловья открылся один глаз, а потом и другой.

— Дедушка, а соловей совсем-совсем вылечился?

— Совсем.

— И все птицы теперь калиновыми цветами да росой с заячьей капустой летатся?

— Это уж что кому доктор-глухарь пропишет, тем и летатся.— Дедушка зевнул.— Засиделись мы с тобой, Игнатка, до полуночи, гляди, луна-то выше лесу поднялась. Давай-ка спать. Лучше завтра пораньше встанем да на Широкую за глухарями пойдем.

Дед укрыл меня своим пиджаком, пошевелил веткой жаркие угли в печке и прикрыл дверь.

Соболь, охотничья собака, улегся в ногах у меня, закрыл глаза и насторожил уши.

За избушкой тихо шумела густая тайга: ши-ши-ши — да стонала надломленная сосна: скри-а... скри-а. Где-то жалобно, по-кошачьи мяукал филин...

Второй день на глухариной охоте. Зашли так далеко, что даже к полудню не смогли вернуться в лесную избушку.

Отдыхаем с дедом на берегу таежной речки. У костра тепло. Дед связывает в пучки собранные им травы. Я рассматриваю краснобрового глухаря.

В этом году у меня самая счастливая осень: дедушка передал мне ружье.

«Я вроде как проводником теперь буду, — сказал он. — Стреляешь ты не хуже меня, а ноги куда легче моих».

А еще через несколько дней я пойду в школу. С этой осени в нашей деревне школу открыли.

Недавно к нам опять приезжал Дубов и подарил мне грифельную доску и грифель. «Вот, — говорит, — Игнатка, на этой доске будешь учиться писать, а азбуку в школе дадут».

Бабушка сказала: «Где б на то грамотный человек в доме был, а то все в люди да в люди...»

Жалко, тятки нет, он тоже говорил мне, что будет учиться читать и писать, да как только Деникин пошел летом на Москву, никакой силой не могли удержать отца дома — опять ушел в Красную Армию... Где-то он?

— Когда пойдем домой, — говорю я дедушке, — подстрелю рябчика и подарю бабушке.

— Это хорошо, — смеется дед, — только не забудь... Вот что, Игнатка, ты посиди-ка у костра, а я схожу поищу силки, где-то здесь недалеко в прошлую осень оставил. Целая сотня их, шутка ли. Да и пригодятся еще. А ты сиди, не бойся, я скоро приду.— И он ушел.

Я хотел тут же броситься за ним, но было стыдно признаться в трусости, и я остался...

Потянулись долгие, мучительные часы ожидания. За каждым деревом, за каждым выскырем мне казалось, что кто-то притаился, большой и страшный, и что вот-вот выйдет он, этот страшный, и мне конец.

Прошло, может быть, часа три-четыре, а дедушка все не возвращался. Солнце скрылось за лесом, от речки туман начал подниматься, а дедушки не было. Где он, что с ним?

Темнеть в лесу стало, а дедушки нет.

— Дедушка-а-а! — кричу я в отчаянии. — Дедушка-а-а!..

Но в лесу тихо. Только грустный разговор ведут между собой темные ели да о чем-то хлопочут неугомонные осины.

— Дедушка-а-а!..

Гоп... гоп! — слышалось где-то далеко в стороне.

— Эге-ге-е!..

Я от радости перескочил несколько раз через костер.

— Дедушка-а-а!..

Из темноты шумно выскочил запыхавшийся мокрый Соболь. Лизнул меня в лицо и начал ползать по земле у костра, переворачиваясь с боку на бок.

— Заблудился? — спрашиваю я, услышав шаги дедушки.

— Что ты! — смеется он. — Тут мне каждое дерево знакомо. А крюка такого дал, может, верст на десять, не меньше.. Напугался небось, страшно?

— Немножко,— ответил я.

— Бояться нечего. Раз я сказал, что приду, так приду. Я, брат, в лесу как дома...

За речкой в болоте бухнула выпь раз и другой: «Бух, бух!» А с темного неба упала яркая звездочка туда, где кричала птица.

СВЕТЛАЯ ОСЕНЬ

Всю осень не было дождей. А в конце октября в одну ночь такой мороз припел — земля каменной стала. По льду на реке ходить еще боязно: ступишь — трещит, а ползать можно.

После занятий в школе, не заходя домой, побежали на реку. Ползаем по льду над самыми глубокими местами. А как интересно! Прильнешь лицом ко льду, и что делается в реке, все видно. На песчаных местах да там, где мелкие камешки, проворно бегают крупные налимы — обрадовались холодной воде, ожили. Переливаясь золотистой чешуей, стайками проходят ерши, тараща большие оловянные глаза. Проворные уклейки с серебристыми боками и черными спинками в недоумении гычутся своими мордами в прозрачный лед. Хорошо! Мороз морозит и морозит, а мы ползаем и ползаем до самой темноты.

В первую неделю ноября зима пришла. Утро ясное, морозное.

Засыпанные снегом дома будто съезжились от холода и стали низенькими, маленькими. Деревня похожа на два ряда поздних грибов, торчащих из-под первого снега и вытянувшихся по высокому берегу Уржурги. Из каждого дома-гриба прямым голубоватым столбом поднимается дым и в морозном пыльном воздухе облаком стоит над деревней. На реке из маленьких прорубей, которые у нас называют «ледники», ребята и старики пьют лошадей. Лошади пьют студеною воду и часто вздрагивают. Напившись, некоторые из них ложатся на снег и долго валяются, переворачиваясь с боку на бок, а потом встанут, отряхнутся и галопом мчатся в гору, в деревню.

В широких квадратных прорубях женщины полощут белье.

Красные, как гусиные лапы, руки не чувствуют холода. У прорубей шумно и весело.

Я любил ходить на реку с дедушкой поить нашего Рыжка. Рыжко напьется ледяной воды, поведет боками, поднимет высоко голову и звонко фыркнет. Из широких поздрей вырвутся клубы пара.

— Ну-ка, согрей его, Игнатка! — крикнет весело дедушка.

А я, только этого и ждавший, с помощью деда взберусь на спину Рыжка, крепко ухвачусь за поводья, и... поминай как звали, только шапку держи.

Теперь у нас нет Рыжка. Его шкура висит на жердях в сарае. Иногда дедушка подойдет, потреплет шкуру за хвост, за гриву и, тяжело вздохнув, начнет вытирать рукавом покрасневшие глаза.

Дедушка говорит, что на будущий год, когда подрастет наша телочка, на нее выменяем жеребенка и у нас опять будет своя лошадь.

* * *

Ох и народу сегодня в нашей деревне — улица мала! На сход собрались из всех восьми деревень. Не только мужики да бабы, а и старики и старухи поприходили. А ребят сколько! Ни в какой праздник еще не было такого сборища.

Дедушка принес из амбара и надел свои сапоги.

— С чего бы это? Нешто праздник престольный? — спросила бабушка.

— Поразмять немного, чтоб не слежались, — ответил дедушка и пошел в сапогах на сход.

Посреди деревни стол поставили и красной материей застлали. За столом Дубов, Ефим Веселый, Михайло Косой, Левониха и еще много, которых я не знаю. Дубов перед всем народом речь говорил. Говорил долго. Всего я не упомяну. Он говорил и рукой показывал в разные стороны.

— Вот там, — он показал на восток, — Красная Армия весной Колчака громить начала, теперь очищены от беляков вся Сибирь и Урал.

Голоса в толпе:

— Так ему и надо, пусть не лезет!

— К нам бы попробовал нос сунуть!

— Старые порядки хотел установить, ха-ха-ха-ха-а! Землю отнять — не выйдет!..

Дубов продолжал:

— Летом под Питером Юденича разбили, и духу не осталось. А в прошлом месяце, в октябре, деникинские войска под Орлом да под Воронежем так тряхнули, что без оглядки бегут кто куда.

В толпе веселый шум, смех.

— Теперь разрешите, товарищи, письмо зачитать от наших земляков...

Народ притих, каждый думал: «От кого бы это?»

Дубов читал:

— «Поздравляем вас, старики, мужики и бабы, со вторым годом праздника Октября. Желаем вам всякого добра. Мы сейчас с корпусом Буденного орловские да воронежские земли начисто очищаем от деникинских войск. Они так, дьяволы, бегут, что за ними не угонишься. Еще раз кланяемся, ждите с победой. Красноармейцы Буденовского корпуса Илья Макарыч, Вася Антонов».

Народ опешил, с минуту молчал, не верилось. А потом вслед за Дубовым неумело хлопали в ладоши и кричали:

— Ура!.. Упр-а-а!..

...Давно это было, но стоит закрыть глаза, как я вижу Уржургу, мать на берегу реки, себя, мокрым до шеи, с налимом в руках, и слышу голос матери:

«Игнатка-а-а!»





МЕДВЯНЫЕ РОСЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

На дворе лютый мороз.

Стужа гулко рвет бревна построек. Кажется, что кто-то сильный со всего размаха бьет в стены изб пудовым молотом.

Снег так старательно укутал дома, надев на них пушистые шапки, что деревню увидишь, только подойдя вплотную к самой околице.

Глянешь с крыльца, с трудом открыв дверь, — и ух ты! Была деревня — и нет.

А утром из труб домов поднимается дым и розовым облаком висит над деревней. Есть деревня!

— Не люблю я зиму,— сказала Нина и зябко передернула плечами.

Мы идем с ней по первой зимней дороге. Она, доярка, идет на ферму, а я к себе в гараж, и нам с ней по пути.

— Чего это зимы страшишься? — спрашиваю.

— И холодно,— говорит,— и вьюжно. И день короче воробьиного носа: не успели пообедать, а глядишь, сумерки начинаются. Все больше с фонарями работаем.

— Скоро на порогах электростанцию построим,— говорю ей.

— Да я не жалуюсь,— отвечает Нина.— Работа мне нравится. За ней и зима не тянется.

Я понимаю ее. Зимой доярки работают больше нас, механизаторов. И правда, почти все с фонарями. Мне жалко Нину, хотя она мне и не нравится. Уж очень она какая-то простая, не песенная.

Возле фермы повстречалась бабка Марфа. Сгорбилась, тянет за собой санки с дровами. Зима ранняя, застала врасплох старуху. Трудно ей. Губы плотно сжаты, а из-под платка, по лбу, по щекам, пот катится.

Я отступил с дороги, чтобы дать ей проехать. А Нинка так посредине дороги и осталась.

— погоди, бабка Марфа. Передохни чуть-чуть.

Бабка ей не ответила. Попыталась было объехать ее. А та качнулась в сторону и снова заступила дорогу старухе.

— Пусти, некогда мне с вами тары-бары растабарывать! — сказала бабка сердито.— У меня печка с утра не топлена. А еще дров нарубить надо.

— Васька, бери веревку и вези бабкины санки! — приказала Нина.

Сначала меня взорвало. Жена, что ли, она мне — распоряжаться так!

— В гараж опаздываю,— говорю,— люди ждут.

А она будто и не слышала моих слов. Новое распоряжение мне дает:

— И дров наруби бабке там сколько надо.

Тут я и не возмущился даже. Наоборот, как-то неловко мне стало, что сошел с дороги, не остановил бабку.

Взял я веревку из рук бабки Марфы и повез санки в деревню. Не велик воз, а нелегко, должно быть, старой тащить его из леса.

Домик бабки Марфы — на краю деревни. На отшибе. Будто шел да споткнулся. Осел левым передним углом. Одно окно перекошено, а второе косяком вперед высунулось. Какое тепло в такой избе! Нелегко бабке, одинокой, живется. Сын героем погиб под Волховом. Моложе была — кое-как справилась с бедой, даже внука Гришу вырастила. Сноху-то Полинарью, мать Гриши, бык насмерть рогом заporол, вскорости как похоронную на отца получили. Бабка думала, внук вернется с военной службы и ей легче станет жить, но он отслужил срочную службу и поступил в военное училище, на офицера учиться. Долго бабке ждать Гришиной помощи.

— Иди, бабуса,— сказал я ей,— затапливай печку, а я дровишек топки на две заготовлю. В избе, наверно, как в сарае, холодно.

Вижу, как-то оттаивать она стала. Даже улыбнулась чуть-чуть. Сказала не жалуясь, так, мимоходом:

— Что говорить, похилилась избенка. Не держит тепла, как раньше. Теперь моя горница с улицей не спорница. На улице тепло, и в ней не холодно.

Сгоряча нарубил бабке дров и на сегодня, и на завтра. Помог принести их в сени, чтобы ей утром ближе взять было. Кинул топор на дрова, стал прощаться.

— Васенька, зайди на минутку в избу,— пригласила бабка,— молочком напою.

— Где мне тут молоко пить! Меня в гараже на чем свет стоит ругают, наверно.

— За что?

— На работе мне надо быть.

— Это из-за меня тебе нагоняй будет?

— Нет, бабка Марфа,— сказал я ей.— Нагоняй я не приму. Я их там всех краснеть заставлю, как сам краснел, когда вас на дороге с дровами встретил...

— Из-за меня-то с ребятами ссориться? Что ты!

Сказала это, а у самой глаза виноватые, будто кому больно сделала или словом обидела кого. А она, все знали, была стару-

ха тихая — лежащей коровы не спугнет. Увидел я ее виноватые глаза и свои не знаю куда от стыда спрятать.

Хотел утешить ее словами, а получилось совсем другое. Рванулся я из сеней на крыльцо, с крыльца на дорогу и бегом к гаражу.

II

Не пробежал и полдороги — парторг навстречу. Я хотел поздороваться на бегу — и дальше. А он хватъ за рукав.

— Погоди, что ж так бежишь, что ног не чуешь под собой?

— Опаздываю, Александр Владимирович, — сказал я и снова развернул плечо, чтобы побежать дальше.

— Не опаздываешь, а опоздал! — поправил он меня. — Больше часа ребята без тебя работают. Пойдем в правление, поговорить надо.

Разозлился я. Всю жизнь не любил выговоры слушать, даже от отца. Слова одни и те же: нудные, обкатались, круглые, как горох об стенку — летят и отскакивают, летят и отскакивают.

Не мог сдержаться, без почтения сказал:

— Я готов трое суток без отдыха отработать за прогул. Только я этот час не проплясал. Я на деле...

— Вот в правлении и расскажешь все, — перебил он меня. Взял за плечо и повернул назад.

В правлении было тепло. Александр Владимирович сразу же разделся и меня заставил раздеваться. Я было заартачился: на работу, дескать, надо. А он только смотрит и молчит. Молчит и Иван Афанасьевич — председатель колхоза; сидя за столом в переднем углу, он чуть кивнул головой на мое приветствие. Тоже откуда-то знает, что я опоздал.

Сразу стало понятно, что разговор будет долгий. И жарко мне тут от них будет, от двоих-то, как в бане. Вины я большой за собой не чувствовал и тоже решил поговорить. Пусть и председателю и парторгу от моего разговора жарко станет.

Парторг сел рядом с председателем, я — напротив. Молчим. Председатель, лысый, широкоплечий, все окно собой загородил. Оттого, что он сидит спиной к свету, мне плохо видно его лицо.

А на меня весь свет. И каждая моя жилка на лице председателя, наверно, хорошо видна.

Лицо у Ивана Афанасьевича ничем особенно не примечательно, обыкновенное крестьянское, хотя он двадцать лет прослужил в армии и к нам подполковником вернулся. И только левая бровь... Ни у кого такой брови нет. Уже в Берлине пуля по брови чиркнула и надвое ее развалила. В госпитале бровь сшили. А она на шве закудрявилась и веером в разные стороны растет. Ее бы подстригать, и ничего, красиво было бы. А Иван Афанасьевич не хочет. Так и ходит с кудрявой бровью.

Александр Владимирович все такой же, каким я помню его, когда первый раз в школу пришел. Сухощавый, поджарый, с добрыми карими глазами, он какой-то такой, каким и должен быть учитель.

Рассказал я им обо всем подробно и как мог спокойно. Про все сказал: и как с Ниной шли, и как бабка Марфа повстречалась, и как Нина приказала мне дрова отвезти.

— А повез бы без подсказки?— спросил председатель.

Я признался, что хотел уступить дорогу бабке,— в гараж, мол, торопился. А после слов Нины уже не смог отказаться.

— Стало быть, Нины послушался?

— Совести своей послушался,— огрызнулся я.— Или, думаете, у меня ее нет?

— Совестливые какие! — продолжал он меня корить.— А как вы могли допустить это?

— Что — допустить?— Я не понимал, что он от меня хочет.

— А то, что старуха на себе дрова таскает из леса!

Я рассмеялся. Несерьезно, конечно, смеяться при таком разговоре. Но что поделаешь, действительно смешно.

— Выходит, не вы, а мы за это в ответе?— спросил я.

И сижу жду, что Иван Афанасьевич устыдится своей неправоты и перестанет кипеть. А он все свое:

— А то не виноваты? На других все свалить хотите?

— А почему я должен на себя это брать? Мне только в прошлом году семнадцать лет исполнилось. Что я мог решать? Какой с меня ответ? И Нинка, и другие ребята тоже.

— А в комсомол ты когда вступил?— очень тихо и так задушевно спросил меня Александр Владимирович.

Вопрос мне показался простым, без подвоха, и я ответил, не задумываясь:

— В комсомол я вступил три года назад.

— Вот с того дня, как комсомольский билет получил, с того дня ты за многое в ответе,— сказал, будто отрубил, парторг.

Я хотел спросить: а они где были? Да не успел. Он сам об этом заговорил.

— На председателя хотел вину свалить. Так он же к вам года нет как пришел. Вы не только бабке Марфе не помогли! На выборном собрании он вас тоже просил — помогайте, один не справлюсь. А вы?..

Темно стало. А мы сидим в темноте, свет не зажигаем.

Долго они меня журили, а у меня и слов нет хоть чуть-чуть защититься. Потом сказали, что завтра надо срочно созвать комсомольский актив и поговорить о комсомольской ответственности.

Света так и не зажигали. Я бежал в гараж, а из-за леса надвигалась стылая ночь.

III

Собрание началось вечером, после работы. В президиуме сидели Иван Афанасьевич, Тоня, комсорг наш, и Николай, бригадир молодежной тракторной бригады. Тоня среднего роста, стройная и красивая девушка. Одевается чисто. А рыжая такая, что рыжее и не придумаешь. Брови и ресницы и те рыжие. Ее еще в детстве прозвали «Красное солнышко», да так и сейчас называют. А глаза будто васильки, что во ржи растут. С утра до вечера Тоня на ногах. Да и ношь не каждую поспать удастся. То к одному, то к другому больному вызовут. Попробуй-ка ночью в осеннюю грязь да темень — из деревни в деревню, или зимой в метель да в лютый мороз. И часто слышишь от колхозников: «Солнышко помогла, а то думала, помру», «Кабы не Солнышко, не знаю, выжил бы мой парень-то или нет», «Спасибо Солнышку»...

А мы гордимся, вот, мол, комсорг-то наш каков. Хорошо с

ней людям жить. И работа у нее такая человечная. Фельдшер она. Медицинским пунктом у нас заведует. И своя: в нашей деревне и выросла.

Но сегодня Солнышко светит, а тепла вроде нет. Первый раз ее такой видим. Похоже, что все наши промахи на себя взяла.

Николай сидит за столом спокойно. Характер у него ровный. Ни к какому делу он равнодушным не был, но считал, что человеку в любом положении не полагается суетиться...

Первым пришлось мне выступить. Просто рассказал все, как было. И про беседу с парторгом и председателем тоже. Когда говорил про это, председатель отвернулся в сторону, словно не с ним это было. Я подумал, что не одобряет, должно быть. Потом он говорил. Удивительное дело — его речь короче моей была. И про ответственность всех и за все сказал, и про то, чтоб ему помогали.

— Теперь все от вас зависит, — сказал в своем выступлении Александр Владимирович. — Вы главными строителями коммунизма становитесь. Какую жизнь создадите, в такой и жить будете. Только знайте, что коммунизм — это не мир веселого безделья. Я так понимаю, что это будет мир всеобщей заботы и всеобщей ответственности. Там нельзя сделать меньше и хуже других.

Потом я второй раз выступил. Рассказал, что бабке Марфе пужно серьезно помочь. Домик у нее совсем состарился, построить новый надо. Все согласились. Поддержал меня и Иван Афанасьевич. Решили через два-три дня поехать лес рубить.

Вдруг открывается дверь. Вошел заместитель председателя колхоза Камушкин и быстрыми шагами — в президиум. Сел на свободный стул. Положил портфель на стол.

Портфель у него редкостный. В журналах и в книгах пишут, что у сельских служащих портфели или брезентовые, или просто ученические. А у Камушкина не то. Такой он носить не станет. Положи его портфель рядом с министерским, потом и не узнаешь, какой — министра, а какой — Камушкина.

— Продолжайте, продолжайте, — небрежно кинул Камушкин.

В зале засмеялись.

Он не понял.

Вначале Камушкин слушал невнимательно. Потом вдруг поднял руку и сказал:

— Э-э... Так не пойдет, други-лошади.

Все с недоумением посмотрели на Камушкина.

— Молодые ребята у нас почти все механизаторы. Как же ты можешь разрешить снять их с ремонта? Слушай, Иван Афанасьевич, я не согласен вместе с тобой отвечать за это самоуправство! — вскипел Камушкин.

— Какое самоуправство? — побледнев, спросил председатель.

— Снимать людей с общественной работы на частное дело — это, по-твоему, не самоуправство?

Я думал, что Иван Афанасьевич сейчас такое скажет, что Камушкин или совсем сникнет, или взовьется до потолка. Но у председателя только на щеках желваки заходили, углы рта задергались. Он поднял руку к вороту.

«Вот рванет сейчас», — подумал я. А он так крепко сжал кулаки, что пальцы побелели.

Вижу, Иван Афанасьевич отходить стал. Отнял кулак от груди, и на нем еще два копеечных белых следа от пуговиц остались.

И сказал он совсем тихо, словно извинился за то, что погорячился:

— А разве вы, Матвей Александрович, только в правлении работаете? Придете домой и никаких забот у вас нет? В делах порядок и никаких упущений?

— Не пойму никак, на что ты намекаешь? — настороженно спросил Камушкин.

— А на то, что колхоз — наш большой дом. И мы в нем коллективный хозяин. И вот мы из-за больших хозяйственных дел кое-что проглядели. Матери погибшего фронтовика плохо живет. Это наш недогляд. И нам нужно сейчас же исправить это.

Нам неловко слушать спор двух взрослых людей, самых главных руководителей в колхозе. Только что ж поделать! Выхода другого нет. Так сложилось у нас в деревне. Старики да вот мы, кто год-два тому назад десятилетку кончили. А между нами и стариками мужиков по пальцам пересчитать можно. Кто на дорогах войны погиб, а кто потом по разным вербовкам на

большие стройки подался. Похоже, что мы выросли. И слушать, и решать нам теперь вместе со всеми, как взрослым, придется. Ничьей спиной не прикроешься.

А Камушкин слушал, багровел. Потом схватил со стола портфель.

— Я... я не согласен! — крикнул он как-то испуганно, словно над ним нависла гроза. — Я не буду отвечать вместе с вами! Я буду сигнализировать в район!

«А что? И просигнализирует. Сейчас же побежит звонить, — подумал я. — Он даже на своего собутыльника, старого председателя колхоза, не раз «сигнализировал».

Вижу, ребята тоже переглядываются. За Ивана Афанасьевича тревожатся. Только он, похоже, не робкий. И, будто ничего не было, сказал спокойно, словно отрезал:

— В среду всем ребятам — в лес. Бревна готовить.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Утро.

На реке из прорубей поят лошадей.

Конюх старательно пробивает лед на замерзших за ночь «ледниках» и расчищает уступы для копыт, отгоняя рукавицей нетерпеливых коней.

Я пошел туда. Даже в самую стужу люблю ходить на реку с конюхом, поить лошадей. У меня есть любимец — рыжий, с белой гривой и белым хвостом конь Резвый.

Напившись, кони стали ложиться на снег и кататься.

— Катаются, — сказал конюх. — К метели, должно быть.

— Метель нам ни к чему, — сказал я. — В лес надо ехать, лес рубить.

— Мало что надо. А метель будет.

Конюх верит в приметы. Должно быть, некоторые из них его никогда не подводили. Да и что такое приметы? Это многолетние наблюдения. И никакой тут мистики нет.

Резвый, обрадовавшись морозному утру, долго бегал по заснеженному льду и только последним подошел к «леднику». Напившись, вздрогнул.

— Эх, застоялся, бездельник! Ну-ка, согрей его! — крикнул мне конюх.

Я этого только и ждал. Один мах — и я на спине Резвого. Он секунду постоял, словно ждал, пока я плотней усядусь. А потом как рванул... и поминай как звали! Не успел я оглянуться, а мы уже у ворот конюшни.

Странно: тракторист я, а коней больше, чем машины, люблю. С трактором не поговоришь. Он тебе не ответит. А лошадь всегда на твое слово отзовется. И лаской большую дружбу заслужишь.

Мороз.

Вызвездило.

А в воздухе что-то тревожно. У крыльца Серко негромко скулит.

Я думал, что застыл на холоде, открыл ему дверь в сени, чтобы в избу шел. А он крутнул хвостом и — бух в снег. Катается в нем и повизгивает. Тоже, наверно, метель чувствует.

Дома сказал матери:

— Собаки в снег зарываются. К метели, что ли?

— К метели, — ответила мать. — С утра всем беспокойно.

И отец подтвердил:

— Переменится погода. Поясницу ломит. Места не нахожу. Ночью проснулся от завывания в трубе.

«Ну, началось, — подумал я. — Теперь несколько дней про лес и не думай».

Слышу, мать говорит отцу:

— Придется самой вывод трубы поправить, а то как ветер, хоть из дому беги.

— Ладно, поправлю, — отвечает отец. — Всё руки не доходят...

Утром ветер гнал поземку, вихрил снег у изгородей и на крышах изб. К середине дня размахалась ведьмиными метлами береза под окном, заскрипела ссунувшаяся тесина на крыше бани.

Потом пошел снег, все гуще и гуще... Ветер дул сильнее и сильнее. Не стало видно скотного двора. Из подворотни выскочил наш трехмастный большеголовый кот Барсик, побежал через дорогу. Ветер швырнул в него охапкой снега. Кот испуганно припал к земле, отфыркнулся, задрав хвост, опрометью бросился назад и шмыгнул в подворотню.

Держась за изгородь, по колено в снегу, гуськом пробираются к скотному двору доярки. Ветер треплет их полушубки и обсыпает снегом.

«Будто снежные королевы», — подумал я, глядя на них. Девушки идут плечом вперед. Так им легче преодолевать ветер. Это днем-то, а как же они утром, с фонарями шли?

И жалко мне девушек, что нельзя им отсидеться от метели в избах. И радостно за них, что вот идут наперекор ветру. И про Нину мне стало приятно думать. На деле человек всегда красивее кажется.

Подожел отец, глянул в окно:

— Разве это метель? Вот на Сахалине метет. Бывает, за ночь целые деревни заметает.

Отец любит рассказывать о своей военной службе на Сахалине. А мне эта пурга кажется самой великой в моей жизни. Наверно, и раньше такие были, только я их в детстве не замечал. Может, мал был. Скорей всего, что не мешали они мне. Заберешься на печку и отсидишься день-другой. А эта не просто метель. Она нашему делу поперек легла.

— Что задумался? — спрашивает отец.

— Дело у нас горит, — ответил я. — Сегодня должны быть все сборы закончены. А завтра — в лес.

— Завтра не выедете. Куда там!

— Надо хоть сходить посоветоваться с Борисом. Нам ведь это дело поручено.

— Сходи, — говорит отец, набрасывая полушубок, и выходит за дверь.

Вернулся минуты через три, весь белый.

— Жутко метет. Не хуже сахалинской, — сказал он и страхнул у порога целый воз снега.

К Борьке я не шел, а пробивался через сугробы, сквозь свежую круговерть.

По дороге чуть лоб не расшиб: наткнулся на дровни, занесенные снегом. А на дровнях бочка для воды, тоже засыпанная снегом. Ехал водовоз за водой и застрял. Даже с дороги не свернул, выпряг лошадь и ушел домой.

Нескладный этот мужик, водовоз Пафнутий. На какую только работу его не ставили: всякая работа из рук валится. Про него мужики говорят: «Век прожил, а только и умеет, что камень с места на место передвинуть». Это уж верно. Да и живет — собаку в дом заманить нечем.

Добрался до Борьки. Борька готовит лыжи, отец Борькин мастерит кадку, мать прядет.

— А, тетка, пришел, здравствуй! — приветствовал меня отец Борьки, Василий Васильевич. — А я вот связался с кадкой и никак во двор с утра не выйду. Как там? Метет?

— Метет. Дышать нечем.

— Ну и пусть метет, — насаживая последний обруч на кадку, засмеялся Василий Васильевич.

Насадил обруч, повернул кадку в руках, а из кадки выскочил солнечный зайчик и заходил по потолку избы. Поставил столяр кадку на стол, налил в нее воды, наклонил в одну сторону, в другую, по уторам рукой прошелся и заключил:

— Капля не канет — хочешь воду держи, хочешь грибы засаливай, хочешь бруснику замачивай. Принимай, Кузьминична! — обратился Василий Васильевич к жене и стряхнул с себя стружки. — Метет, говоришь? Ну и пусть метет. Это же не последняя метель в зиме. — И Василий Васильевич прильнул к окну. — Да, ничего себе гуляет.

II

Три дня буйствовала метель. Обессилела и затихла. Однако не успела промять дороги, расчистить у домов сугробы, и опять неладно. С севера напозла грузная серая туча. Она двигалась по небу медленно-медленно и, будто нехотя, тихо сеяла густые крупные хлопья снега.

К концу недели туча изредилась, изошла белым пухом.

Появилось солнце, глянуло на землю и, должно быть, не узнало ее. Кругом белым-бело. Даже колья изгородей не видно.

Сквозь сосновый лес веселые лучи солнца разбежались по белым снегам и позолотили их. А кругом ни дороги, ни следа! До самой каймы леса нетронутая снежная тундра!

Через неделю зима устоялась. Осел снег, накатались дороги.

Шла усиленная работа по ремонту машин. К обеду в мастерские пришел Иван Афанасьевич и Тоня Солнышко с Ниной. Председатель и Тоня — понятно, а вот Нина зачем тут, никак не пойму. Иван Афанасьевич обошел всех, осмотрел, кто что делает. Остался доволен.

Недовольной была Тоня.

— Что-то Солнышко затуманилось. Будет крепкий сейчас разговор, — пропел Борис.

— Будет разговор, — сказала Тоня. — Со всеми будет. А с тобой особенно.

— Напел себе на беду, — сказал Николай. — Только вот с кого она начнет? С тебя или меня?

— С себя начну! Уехала по бригадам. А вам напомнить забыла. Сколько времени прошло, а свое решение не выполняем.

— Точнее! — потребовал Борис.

— Можно и точнее. Это то самое решение, отвечать за которое прежде всего тебе поручено.

Обо мне не сказала. Но поручили и мне, с ним вместе. Поэтому я вмешался:

— А почему ты погоде выговор не делаешь? Метель же задержала выезд в лес.

— Метель не век гуляла. Просто успокоились, — продолжала пробирать нас Тоня. — Или хотите, чтобы Марфа Петровна и на будущий год в старой избе жила, в такие метели мерзла?

Это она, конечно, зря, вгорячах сказала. Кто у нас мог хотеть этого? Так разве, чуточку забылись. Потому и задержка.

— А ты с нами поедешь? — спросил я.

— Знаешь, Вася, одного такого спросили: «Почему ты, парень, не женишься?» А он говорит: «Так я еще маленький». Ему тут же другой вопрос задают: «А почему у тебя штаны короткие?» Он поглядел себе на ноги: правда, штаны коротко-

ваты. В таких ходить уже неудобно. «Так это же, говорит, не мои. Это батькины». И ты так. Все себя маленьким считаешь. Няньки нужны. Кто же в лесу больше понимает — я или вы, переросшие своих отцов?

Крепко так стеганула. Но я ничего, особенно не волнуюсь. Мельком глянул на Нину, а она вся пунцовая стоит. Не понимаю, чего ей так за меня краснеть.

— Впрочем, мы с Ниной договорились поехать с вами, — продолжала Тоня.

— Только вы с Ниной нам не нужны, — сказал я. — В няньках не нуждаемся. И в лес не первый раз едем. Топоры с детства в руках держать умеем.

После долгого спора Солнышко уступила. Ни она, ни Нина не поедут. Председатель тоже согласился с нами.

— А когда выезжать? — поинтересовался Борис.

— Завтра! — разом ответили мы. — Выезжать так выезжать, тянуть нечего.

Утро началось дымчато-розовое, тихое, без ветерка. А в деревне людно. Резвый застоялся, нетерпеливо переминается с ноги на ногу, беспокойно грызет удила, рвет копытом снег и вскидывает голову выше дуги. Я крепко держу вожжи. Борька укладывает на дровни пилы, веревки. Пилы поют на морозе, как струны гитары. Колька Махов уложил сено.

Подбежала Тоня, в белой пубке и черных валенках. Края теплого клетчатого платка запушило белым инеем.

— Ребята, мельник заболел, подвезите до мельницы.

— Садись, — ответил я и шевельнул вожжами.

— Трогай! — важно приказал Колька, небрежно садясь на сено. Спустив с дровней правую ногу и заломив шапку, вдруг начал читать Есенина:

...Эх, бывало, заломить шапку,
Да заложить в оглобли коня,
Да приляжешь на сена охапку,
Вспоминай лишь, как звали меня...

Заламывать шапку Коля умел. Очень картинно это делал. Борис говорит, что в нашем бригадире пропадает хороший артист. Ходят слухи, что он пишет стихи. Только стихов он не

пишет. Это точно. Но все поэты ему друзья. Маяковского знает чуть ли не всего наизусть.

— Ладно! Распелся, соловей! — прикрикнула Тоня.

Я дал вожжи, и Резвый, чуть присев на задние ноги, прядая ушами, с места бросился в галоп.

— Рысью! Рысью!.. — кричу Резвому, и мерин, вскинув голову, пошел размашистой рысью, екая селезенкой.

Комья снега летят из-под копыт в передок дровней. Мелькают дома один за другим, и мы вылетаем из деревни в поле. Укатанная дорога голубым блестящим желобом вьется по полю, среди глубокого, рыхлого, как пух, снега, потом спускается на реку, на лед.

— Газ, газ давай! — кричит Колька.

— Ветер! Ветер! — кричу Резвому, и мерин, закусив удила, стелется по дороге, стараясь показать, на что он способен.

У старой мельницы дорога свернула с реки. Резвый галопом вынес нас на крутой берег, и мы въехали в лес.

III

Лес открылся перед нами большой вырубкой по глубокому оврагу. По краям вырубки стоял вековой хвойный лес, усыпанный снегом. Толстый слой снега похоронил пни вырубки.

Молодые елочки, сосенки, кусты малины еще выглядывают из снега. Но он все же закутал их в тонкое узорочье вологодских кружев, придал им самые замысловатые фигуры.

Особенно красиво выглядит гибкое мелкоколосье.

Глянешь — ребята в лапу играют. Глянешь — медведь в белом балахоне лапу сосет. Или великан какой-то уставился на зарю в островерхом шеломе. А над ним молодая береза согнулась под тяжестью снега и искрится радугой-дугой над великаном.

Ветки ольшаника и березняка — каждый сучок, каждая почка — держат снежные пушистые комочки и, будто яблони в цвету, украсили вырубку.

Мы шагом едем по крутому берегу оврага. Вот свежая жи-



ровка зайца — изглоданная осина. А наплясал сколько, будто их сотня была ночью — и не меньше. А вот под елкой посорка лепестками шишки: белка завтракала, не иначе...

Солнце поднялось выше, и лес стал еще красивее.

Но ударит Колька кнутом по великану — и нет великана.

Ударит по радуге-дуге — и березка встрепенется, чуть порасправится, качаясь на ветру.

Ударит по ольшанику — и белой пылью осыпается «яблоневый цвет».

Вот какой колдун Колька.

— Стой! — кричит Колька.

Я привстал в санях, глянул вперед. Дорогу нам преградила в дугу согнувшаяся под тяжестью снега тонкая береза.

— Открыть шлагбаум! — озуя, отдал себе команду Колька. Соскочил с дровней и с силой потряхнул дугу-березку. Комья снега и лед полетели с дерева, и береза высоко взметнула свою красоту.

Мы въехали в густой хвойный лес. Ели так усыпаны снегом, что больше похожи на снежные пирамиды, чем на деревья.

— Приехали,— говорит Борька.— Это ваша деланка.

Свернув с дороги в сторону, я остановил Резвого, отпустил чересседельник, рассупонил хомут, вынул изо рта Резвого удила, потрепал его по шее и дал охапку сена.

Резвый расставил передние ноги, принял к охапке и начал подбирать мягкими, шелковистыми губами зеленое, пахнущее летом сено.

Через некоторое время прикатил на лыжах запыхавшийся Шурка:

— Думал, раньше вас успею, напрямик шел.

Расстегнул полушубок, снял шапку. От него шел пар, как от загнанного лося. Сунул лыжи на дровни, хитро щурясь, стал рассказывать:

— На волка наткнулся. Километра три за ним гнался. Он по полянам. Я за ним. Чуть догоню, он оглянется да в чащобы. Прорвусь сквозь чащобу, а от волка один хвост виден. На чистом месте я опять догоняю. Много мы поколесили с ним. Он, конечно, уставать стал. Чуть не догнал я его, да про вас вспомнил. Вроде не время волков гонять. Работа ждет.

Мы с Колькой посмеялись над Шуркиной выдумкой, а Борька загорелся доверчивыми глазами охотника...

Разобрали топоры, пилы. Пошли к деревьям. Под ними сумрачно и тихо.

Николай уже шагнул к высокой ели, обмял снег вокруг, сильно ударил обухом топора по стволу. Гулко загудело в ответ дерево, вздрогнуло каждой веткой, до самой вершины. Густой метелью посыпался с нее снег.

— Хороший лес, спелый!— со знанием дела определил Николай.— Замечательные бревна будут. Славный дом построим матери старшины Митрохина.

— Храбрый человек был старшина,— сказал Борис.— За один год шесть наград получил.

Это не понравилось Николаю. Осмотрел Бориса с ног до головы, безнадежно развел руками:

— Ой, недоростки! И как только вас таких из школы выпу-

стили! Можно подумать, что он и на войну за орденами пошел. И погиб за них.

— Так никто не думает! — раскипятился Борис.

— Конечно, не думает. А ты своими легкомысленными разговорами заставляешь думать. Максим Митрохин храбрый человек и погиб героем.

— У нас в Озерках все храбрые, — заметил Шурка.

— Конечно, все храбрые, — согласились мы.

Оно, может, и не все. Но так хочется, чтобы среди нас были все храбрые и ни одного труса.

...Работали в охотку, и дело спорилось. Заметно изрядился густой еловый бор. В снегу, и тут и там, желтели окоренные бревна. Когда валили деревья, я старался думать не о лесе, а о новой избе Марфы Митрохиной.

Через три часа Борис всадил топор в бревно.

— Перекур! — крикнул он зычно.

«Пе-ре-ку-ур!» — гулко отозвалось эхо.

Все засмеялись. Не тому, что непривычно было слышать эхо зимой, и не тому, что оно было таким чистым.

Смеялись тому, что объявлен перекур, а у нас ни одного курящего.

Шура Романов сокрушенно стал сетовать:

— Сейчас бы супа горячего поесть.

— Проголодался? — удивленно спросил Николай.

— А что ж, время обеденное.

— Не станешь больше гонять волков с утра. Вот как он тебя вымотал.

Никакого волка Шурка не гонял. Для смеха сочинил. Но он парень сильный, на мизинце двухпудовую гирию выше головы подымет. Так и смотрит, где бы силу свою приложить. Поработал во всю мочь, вот и вымотался раньше других.

Но и сам Николай Махов заметно устал; чтобы продлить минуты отдыха, затеял разговор.

— Вот выросли мы, механизаторами стали. И заниматься бы своим делом. А кругом глядишь — упущений разных тьма. То дом старушке вовремя построить прозевали. То без дров нуждающихся оставили. Словом, только поворачивайся.

— Еще одно дело ты упустил, — сказал я.

— Какое?

— Камушкина на ноги поставить. Совсем спился человек. Ни одной своей мысли в голове нет, одни инструкции.

— Это первостепенное дело,— согласился со мной Шурка.

— На выборах его надо прокатить,— предложил Борис.

Одним движением руки Николай отвел его предложение.

— Долго ждать. Да и не в этом дело. Прокатить большого труда не стоит. На ноги поставить куда труднее.

— А на его место — кого-нибудь из молодых,— предложил Шурка.

Николай не согласился и с ним:

— Зачем же — из молодых? Работа заместителя председателя колхоза, кроме знаний, опыта требует.

Отдохнули и опять взялись за пилы и топоры. Колька негромко запел:

Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету других забот.

Мы подхватили:

И снег, и ветер...

И опять с треском и свистом валятся подпиленные ели до земли, разметая снег густыми кронами...

— Эй, эй! Берегись! Пошла, пошла! Берегись!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Воскресенье. Проснулся, а солнце всю избу залило. Ни матери, ни отца дома нет. Встал, глянул в окно и сам удивился. Время-то к обеду. Правда, в клубе был до вторых петухов, но проспать полдня — досадно. Жди опять этого воскресенья.

Оделся, наскоро поел — и на реку. По дороге приятно глянуть на левый конец деревни. Там желтеет стенами сруб строящегося дома для Марфы Петровны.

Лед еще стоял, но был синий, взбухший. Вдоль берега про-

тянулись черные закраины. Вот-вот жди ледохода. На крутом берегу манит к себе просохший пригорок. Это уже кусочек лета. Здесь можно плясать, играть в лапту, в волейбол. И, конечно, петь песни. Хорошо поют наши девушки. Особенно приятно поется по тихим весенним зорям.

На берегу веселый галдеж стоит. Значит, все ребята там. По дороге сунул руку в карман. Рука наткнулась на какую-то бумагу вроде конверта. Что это такое? Никаких бумаг в карман не клал. Вынул... Письмо. Настоящее письмо и конверт с каким-то цветочком.

На конверте написано: «Васе Орлову». И почерк незнакомый с наклоном в обратную сторону. Такого почерка ни у кого из наших девчат и ребят нет. Надорвал конверт, а там написано: «Вася, подстриги волосы. Или косы отпускаешь?» Черт знает что написано. И на такую мудрость конверт портить.

Все праздничное настроение как ветром сдунуло. Кто же это за мной наблюдает? Перебрал всех девчат. Тоня? Нет, она, кажется, за Колькой присматривает. Оля? Тоже нет. У них с Шуркой настоящий роман. Нинка? Этого еще не хватало. Но все же потрогал рукой волосы: действительно, хоть косы заплетай. Сдвинул кепку на затылок. Идти или не идти? Пошел. Но кто же написал эту записку?

Девчата с ребятами танцуют танго и фокстроты, а какое танго на чуть просохшей лужайке! Для этих танцев нужен деревянный пол, да еще и гладкий. Кадриль — другое дело. Кадриль можно плясать и на лужайке. А удали сколько в этой пляске! Не зря старики ее в молодости любили.

Но вот как-то забыли кадриль сейчас, и мало кто умеет плясать ее. Мы поклялись с Борькой возродить кадриль. И, конечно, своего добьемся. Жаль, что сегодня не было его на берегу.

Я немного пофокстротил с Тоней. Сразу почувствовал, танцует она со мной без интереса. Пригляделся я, а она глазами словно ищет кого-то. Отпустил я ее.

Пошел разыскивать Борьку. Но по дороге передумал и зашел к нашему учителю по русскому языку Александру Владимировичу. Мы поздравили друг друга с весной, а он поздравил меня еще с дипломом механизатора.

— Молодец,— сказал Александр Владимирович,— я так и знал, что из тебя человек выйдет!

— Как будто я без курсов механизаторов человеком не был,— сказал я с огорчением.

Александр Владимирович похлопал меня по плечу, чего раньше никогда не делал:

— Зря обижаешься. Раньше ты был человечек... А теперь настоящий человек. Сам себя кормишь. И людям без тебя не обойтись.

К Александру Владимировичу у меня всего было два вопроса.

Первый вопрос: стоит ли возродить русскую кадрили, и второй вопрос: о газете «Комсомольская правда». Дело в том, что последнее время в «Комсомолке» очень много печатается материала о деревне под общим заголовком: «Полюби свой колхоз, как березку у дома родного».

Этот-то общий заголовок, по-моему, неправильный. Он заставляет полюбить. А заставить любить что угодно и кого угодно невозможно. Говорите мне, чтобы я полюбил Нинку Нефедову, хоть с утра до ночи, все равно не полюблю.

Гораздо лучше писать так: «Я люблю свой колхоз, как березку у дома родного». И романтика тут и поэзия. А главное, любовь-то уже есть. Она существует. Твоя, неподсказанная.

Александр Владимирович сказал, что я прав и в первом и во втором случае.

— Если бы мне было сорок лет, а не шестьдесят, я бы так сплясал, что чертям стало тошно! Земля гудела бы под ногами. Во как! И насчет газеты хорошо,—продолжал учитель.— «Я люблю свой колхоз, как березку у дома родного». Смысл совсем другой. И как-то за сердце хватает. Напиши-ка им в редакцию...

Я был рад такой поддержке своего учителя.

Вечером в клубе была самодеятельность. Мы играли небольшие сатирические сценки из жизни нашего колхоза. Эти сценки написала Оля. Она теперь, как настоящий драматург, пишет пьесу в трех действиях, а какую — не говорит. Режиссер — Коля, и он же ведущий артист. Художественный руководитель нашего театра Иван Афанасьевич.

Вся программа сегодняшнего вечера была посвящена

высмеиванию пьяниц. А надо сказать, их в нашем колхозе развелось у-ю-ю-ю сколько!

Народу набилось в клуб полным-полно. Проходы и те все заняты. Камушкин, как всегда, в первом ряду. С ним рядом сторож Ковча. Такой культурник стал этот Ковча — ни одного вечера в клубе не пропустит.

Все шло хорошо. Публика довольна. Где смеются, где в ладоши хлопают. Подошли к последней сценке. Она простая, коротенькая и даже без слов, но... Эта сценка была о нашем Камушкине.

Он стал самым горьким пьяницей нашего колхоза. Заберется к самогоннице и пьянствует у нее целый день. А его пес Казбек лежит около избы, охраняет хозяина. Два выговора получил Камушкин по партийной линии. Не помогает. Теперь мы решили за него взяться.

Мы сделали из фанеры избу, точь-в-точь как изба нашей самогонницы, и поставили посреди сцены. У входа в избу должен был лежать пес Казбек. Больших трудов стоило приучить Казбека лежать на сцене минут десять — пятнадцать. Но этого я добился. Сманил пса сырой печенкой. На генеральной репетиции Казбек с полчаса лежал и даже с места не сдвинулся.

Пора было открывать занавес. Подбегает Нинка и тайноспрашивает:

— Может, отложим?

— Почему? — заволновались мы.

— Сам Камушкин в первом ряду сидит.

— Подумаешь, испугалась! Открывайте занавес! — потребовал Николай.

— Не надо, — говорит Шура. — Отложим.

Я тоже было растерялся, да вспомнил, как сам в лесу зимой о Камушкине говорил, и поддержал Николая:

— Открывайте занавес.

А публика волнуется, кричит, номер требует. Только хотели открыть занавес, глядь, а Казбека и след простыл. Я печенку в руку — и на улицу. Хорошо, что Казбек около клуба крутился. Заманил я его на сцену и положил около избы. Колька быстро открыл занавес. И тут такое начало твориться, что описать нельзя. Кричали, свистели, в ладоши хлопали.

Казбек испугался, вскочил и ну лаять на публику. А люди еще пуще хохочут.

Это было наше первое открытое комсомольское наступление на Камушкина.

II

Под вечер следующего дня в гараж прибежала Тоня и сказала, чтобы заканчивали работу и шли в правление колхоза.

Всех комсомольцев вызывает Камушкин.

Теперь время весеннее, и через реку по зимней дороге, по льду, не ходят, а переходят реку по лавам, как и летом. Лавы до сих пор не сняли, дождутся, что опять их унесет. Тогда попробуй заново делать — сколько тесу потребуется!

Не велика наша комсомольская гвардия: Коля Махов, Шура Романов, Боря Липинцев, Нина Нефедова, телятница Оля Фролова.

«Куда бы лучше, — подумал я, — если бы весь наш десятый класс сейчас вот тут стоял, на берегу. Но ничего не поделаешь, пятнадцать комсомольцев по разным причинам покинули наши деревни». А, собственно, что я расхныкался, семь комсомольцев в одной бригаде — это тоже сила, да еще какая!

До чего же хорош денек! И солнечный, и голубой. А воды, воды сколько! Бурными мутными потоками шумят переполненные ручьи — и все в реку. Снег только остался в глубоких оврагах да под крутым берегом, и то грязный, ноздреватый. Загляни туда солнце — и он бы в минуту растаял.

Жаворонки будто со всего света слетелись к нам. С утра до ночи висят над полями. Скворцы у скворечен за день испелись до хрипоты и теперь кричат не то галками, не то молодыми воронятами.

На другом берегу, за березовой рощей, на пригорке, стоит наша школа. Окна блестят на солнце и слепят глаза. Вот уже год, как я покинул ее стены, но как гляну, то какая-то приятная грусть охватит меня и защемит сердце.

— Ребята, посмотрите, — крикнул я, — березы-то сегодня будто сирень!

— И вправду как сирень,— задумчиво подтвердила Оля.

— И верно. Надо же так. Сирень, да и только!— удивился Шурка.

— Ну чего уставились, пошли! — торопила нас Тоня.

Но в это время будто далекий глухой орудийный гул прошел по реке, лед застонал, затрещал и оторвался от берегов. Голубая вода с шумом пошла под лед. Казалось, что это громадное чудовище проснулось, чуть повернулось и сделало после долгой спячки свой первый жадный вздох.

— Назад!— закричал Коля.— Назад! Сейчас лед тронется. Ребята, лавы спасать!

Как спасали лавы, рассказывать не буду. Ничего в этом интересного не было. Лед тронулся раньше, чем мы думали. С последнего пролета так и не убрали теса. Боря еле успел выскочить на берег.

Мы обрадовались, что ледоход отрезал нас от зампреда. Теперь переправа через реку будет недели через две, а за две недели много воды утечет.

«Привет тебе, Камушкин».

«Лед! Лед пошел!»— понеслось по деревне.

Мужики, бабы, подростки и даже дети, кто на ногах, все побежали к реке.

Прощай, ледок, на весь годок!
Тебя не будет, нас прибудет! —

кричали взволнованные люди.

Прощай, ледок...

Так у нас всегда встречали ледоход.

Лед идет сплошной шумной лавиной, льдины лезут друг на друга, встают голыми глыбами, будто хотят глянуть, что делается впереди. С шумом падают в образовавшиеся окна или, сжатые со всех сторон, рассыпаются бисером. Река вздувается и вздувается. Там, где она вышла из берегов, выталкивает на мель косяки льда.

Вот пронесит почерневшую зимнюю дорогу с елочкамповехами. А вот прорубь с ледяными ступами со всех четырех



сторон, и даже куча разноцветного белья на краю проруби. Замечталась какая-нибудь девушка, полоща белье, а спохватилась — было поздно, не до белья, лишь бы ноги унести.

Из-за поворота, по середине реки, среди месива бушующего льда, показался дом, и даже с людьми на крыше.

— Дом! Дом несет! — закричали все.

Вода хлынула в вымерзшую, обмелевшую за зиму курью. На глазах старица стала что озеро. Одинокие льдины кружатся в заливе, не желая уходить в реку. Кто с наметками, все бросились на берега курьи. Верная удача. Перепуганная ледоворотом рыба ищет тихого пристанища...

У всех рыболовов в наметках блестит чеканным серебром плотва. Кое у кого золотым боком перевернется в сетке щука или неуклюже покажет белый живот налиим.

Крики, смех, охи, вздохи по всему берегу реки и курьи.

Колька когда-то успел сбежать за наметкой — в сумке у него трепещется красноглазая плотва и красноперые окуни.

— Почему не ловите? — спрашивает Колька.



— Ночью пойдем,— отвечает Борька.— Ночью вся рыба к берегу подойдет.

Колька опять начал закидывать наметку: то выгнется грудью вперед, кладя на длинном шесте наметку на воду, то согнется до земли вперед, прижимая шестом наметку по дну реки, и пятится, вытаскивая снасть на берег.

Но вот лед затормозил ход. Уже не единичные, а десятки и сотни льдин встают на дыбы, крошатся бисером или стоят «попами». Лезут друг под друга, вползают с шумом на берег. Ледоход остановился.

— Залом! Залом!

— На порогах залом! Залом на порогах!— забеспокоились люди.

— А вода! Вода-то как прибывает!

— Бани! Бани унесет!..

Наполовину в воде стоят бани, что ближе к реке. А вода все выше и выше. Вот она подошла к верхнему порядку бань и хлынула в предбанники.

— Ка-рр-ра-ул! Спасите! — донесся откуда-то глухой женский голос.

Пока соображали, что где, распахнулась дверь бани тетки Дарьи и на пороге показалась голая хозяйка, по пояс в воде, прикрывая грудь шайкой.

— Спа-си-те!.. Спа-си-те!.. — кричала она, боясь тронуться с места.

— Бабоньки, Дарья-то — в чем мать родила!

— Уй-ю-ю! Ха-ха-ха! — заулюлюкали люди.

— Не леший тебя понес в такое время мыться!

— Выброди, дьявол! Утонешь!

Нифонт и Павел — два здоровых мужика — бросились на помощь Дарье.

— Куда, куда вы, бесстыжие? — закричала тетка Дарья и, бросив шайку, поплыла к берегу. Выскочив из воды, она, не оглядываясь, понеслась к дому.

За ней, бросив наметку, бежал ее муж Степан.

— Что рысаки, — засмеялись мы, — откуда прыть взялась!

А вода все выше и выше. Скоро подойдет к гумнам.

— Еще часа два продержится залом, и гараж затопит, пойдемте уберем кое-что, — сказал Николай.

— Не затопит, — заверил дед Ковча, — какие заломы на моем веку были, а где гараж, туда вода ни разу не доходила.

Часа через два, может быть, меньше, а может быть, и больше — в этой кутерьме за временем не уследишь, — лед вздрогнул и зашевелился. Потом опять вздрогнул, снова зашевелился и пошел по реке, набирая скорость.

Опять проносит зимнюю дорогу с вехами-елочками по краям, опять прорубь с ледяными ступами со всех четырех сторон. А вот на дороге стоит воз сена на санях, а на возу лежит полушубок. Круто пришлось мужику: успел распрячь лошадь, а выбрался ли на берег — неизвестно.

Две бани нашей деревни долго чернели крышами среди льда, а потом скрылись из виду.

Из-за поворота приближался дом, что с людьми на крыше.

— Дом! Дом несет! — опять закричали все.

— Мельницу чью-то сорвало. Мельницу несет!

Недалеко от берега проплыла мимо нас мельница соседнего колхоза. На крыше сидели три знакомых нам парня.

— Счастливого плавания! Не робейте! На порогах держитесь.

— На порогах перевернет, утонут...

— Не перевернет, вода высокая, — опять утешает всех старый охотник Ковча. — Такая вода не первый раз на моем веку. Где такую домину перевернуть, по пояс в воде мельница-то, не перевернет...

Вечером мы с Борькой ходили с наметками. Мне попался хороший налим с черными пятнами. Сейчас я ужинаю, а налим плещется в корыте с водой...

Под окнами, уставясь на луну, воет пес Серко. Воет протяжно, с завыванием. Мать не любит, когда воет собака.

— Иди уйми его, проклятого, а то всю душу вымотает этот Очковтиратель. Не к добру развылся...

С недавних пор, за пустобрехство, мать прозвала Серко Очковтирателем. А он, дурак, не знает, что это означает, и даже отзывается на новое прозвище.

Я вышел на крыльцо. Молодой месяц висел над нашей округой и то прятался за жиденькие облака, то выплывал снова. Месяц осветил крыши изб, поля и перекинул серебристый мост через реку Уржургу. Так и хочется по этому мосту перебежать на другой берег. На реке ни одной льдинки, наверно, теперь уже где-то выше, в порогах, залом.

— Эй ты, Очковтиратель! Чего развылся?

Пес нехотя обернулся ко мне, чуть вильнул баранкой, не отрываясь от земли, и тут же, закинув голову с прижатыми ушами, опять завыл. Говорят, собака воет или к пожару, или к покойнику. Если собака воет, задрав морду кверху, это к пожару, а если воет книзу, к земле, то к покойнику.

Я ни разу не видел, чтобы наши собаки выли книзу, к земле. Они всегда воют кверху, а пожаров ни в одной деревне вокруг лет двадцать не было.

Я подошел к псу, сел с ним рядом на корточки.

— Давай, собачья душа, повоем вместе, — и завыл тоже, протяжно, жалобно, передразнивая Серко. Думал, он поймет это и сам бросит.

Серко глянул удивленно на меня, привстал, отошел на несколько шагов, сел — и опять выть.

Я еще повыл вместе с ним. А он никакого внимания. Плюнул я, взял пса за шиворот и затащил в коридор.

— Все от тебя ожидала, от дурака, — заворчала мать, — но чтобы собакой выть — ни в жизнь не ждала, — и закрылась с головой одеялом.

Отец погрозил мне с печки кулаком и велел тушить свет.

III

Под вечер пришел к нам на работу Ковча. Мы уже собирались домой уходить. Старик не спеша снял с плеча берданку, поставил к стене. Достал из кармана медную табакерку, открыл, взял щепотку табаку, потом огляделся и сел на чурбан. В левой руке держит табакерку, а в правой — щепотку табаку.

Мы уже знаем: вот так он будет сидеть и рассказывать и нюхать табак, когда кончит рассказывать. Мы тоже расселись кто где — приготовились. Любим слушать рассказы старого охотника Ковчи.

— За куницей, дед, ходил? — спросил Коля.

— За куницей? — Ковча прищурил добрые глаза. — Да ты в своем уме, гусиная твоя голова? Кто весной зверя промышляет! Зверь к линьке подготовился да деток выводит. И кто тебя бригадиром поставил, гусиная твоя голова!

Мы хором:

— Ха-ха-ха!

Коля красный, что рак в печке.

— Расскажи, дед, как ты Жар-птицу искал, — просил Шурка.

— Расскажу, дайте только на зарю полюбоваться. Гляньте — красота-то какая...

Дед сидит как замороженный.

На крутом повороте река вышла из берегов и затопила дуга.

Посередине на быстрой струе мчатся одинокие льдины. Не-

которые соскальзывают со струи и, тормозя свой разбег, покачиваясь, заходят в разлив на отдых. Одни из них с первым ветром опять двинутся в путь, дальше и дальше. Другие, что погрузнее, останутся в заливе, пока под весенним солнцем не рассыплются тающим сахаром.

На другом берегу реки — березовая роща.

Обогнув поле, она тянется на самый пригорок, где стоит наша школа.

От вечерней зари роща отликает то медью, то золотом.

— Ребята, гляньте! — крикнул Шура. — Вчера березы были будто сирень, а сегодня, что золото.

— Тише, — двинул бородой Ковча. — Умылись дождем — вот и стали золотыми. На то она береза и есть: пока не покроется листом, на день раз десять свой цвет меняет.

Из-за леса вышли белые кучевые облака, с розоватой оторочкой, остановились и загляделись в реку. Весь день бойко шумевший ручей тоже начал утихать, будто готовясь ко сну.

Над нами с шумом пронеслась стая уток, потом другая, а третья спикировала зад разливом, сделала круг и боком, всей ватагой, упала на плес, окропив гладь воды золотыми брызгами.

— Обрадовались родной-то сторонке, — расплывшись в улыбке, потер бороду Ковча, глядя на ныряющих, хлопающих по воде крыльями уток. — Ишь как прихорашиваются.

Мы сидели как зачарованные. Налюбовавшись зарей, дед начал рассказ о своих странствиях:

— Много дорог исходил да тропинок протоптал за своей Жар-птицей. А первая тропинка вот такая.

В ту пору мне четырнадцать лет минуло. А было это еще до первой мировой войны, как я остался один. Отец с матерью на одной неделе скончались. Много в наших Озерках тогда народу поумирало. Оспа черная ходила, в редкую избу не зашла, проклятая.

— Да ну? — удивился Коля. — А что это за болезнь? Как ею болеют?

— Вот вы, молодые, и не знаете. А нас она косой косила. Теперь, может, совсем нет такой болезни в нашем государстве. Только вот мы, старики, помним о ней, а прежде то тут, то там...

Остался я один как перст. Правда, в Питере дядя жил. Брат моего отца, Андрей. Но я его никогда не видел. Мужики посоветовали мне:

«Езжай-ка ты, Митька, к дяде, будешь там жить, как у Христа за пазухой, Андрей-то, наверно, как князь живет».

Послушался я их — и в Питер. Как ехал, не буду рассказывать, только добрался до города через месяц.

— Через месяц? И ехать-то одни сутки, — возразили мы.

— Потому и не рассказываю. Сутки — это кто при билете. За месяц добрался, и то хорошо.

Разыскал дядю Андрея, но на душе легче не стало. Жил он в маленькой комнатенке, в подвале. Темно, стены заплесневели, и будто роса на них пала... Семеро ребят, худая, высокая тетя Настя, да и сам дядя Андрей не богатырь.

— Вот так князь! — усмехнулся Боря.

— Куда уж!

— Не обрадовался, наверно, племяннику?

— Обрадовался не обрадовался, а сказал: «Ладно, живи, Митька. Где семеро, там восьмой не в счет».

На заводе работал с утра до ночи. Хоть лыко вяжи из него — так изматается за день. Через неделю я стал просить на работу меня устроить, потому как вижу — семья с воды на хлеб перебивается. А работу в ту пору нелегко было получить. К тому же я без паспорта, а это основная загвоздка, за паспорт-то двенадцать целковых клади. А где их возьмешь?

Собрал дядя двенадцать рублей среди своих рабочих — помогли, потому как дело серьезное, — и схлопотал мне паспорт. «Ну, думаю, теперь все в порядке», а не тут-то было...

— Что, и паспорт не помог?

— А вы не перебивайте. Потолкался я с паспортом туда-сюда — не берут на работу. От здоровых мужиков отбою нет, а меня зачем? Ростом не вышел да и лещеват чересчур.

Стал ходить по утрам на товарную станцию. Собиралось там нашего брата видимо-невидимо. Все с тем, чтобы хоть что-нибудь заработать на поденной работе. Вагоны ли разгружать, грузы переносить. Но и тут неладно. В иной день удается заработать на хлеб, а в другой — ни гроша.

Как-то подходит к нам молодой мужчина, так лет тридцати,

вроде подрядчика, в сапогах с лакированными голенищами, в фуражке тоже с лакированным козырьком. С усами, по облику на цыгана смахивает, и спрашивает нас с приятелем:

«Что, ребята, работы ищете?»

«Да, работы».

«А паспорта есть?»

«Есть», — отвечаем.

«Тогда пойдемте со мной, постоянную работу дам, шесть рублей в месяц. Согласны?»

«Согласны!» — обрадовались мы с Иваном.

Завел он нас в чайную, усадил за стол и по три двугривенных дал.

«Вот, — говорит, — позавтракайте здесь, а я тем временем оформлю вас. Давайте паспорта».

Отдали мы паспорта, сидим да чай с булкой попиваем. А уж радости сколько, и не говори. Шутка ли, работа, да еще с таким заработком!

Ждать-пождать, не появляется наш подрядчик. Мы струхнули. Тут уж не до смеху. Половой подошел, требует места освободить.

«Подрядчика, мол, ждем, паспорта у него».

«Какого подрядчика? Не того ли, что вас в чайную привел?»

«Того самого», — отвечаем.

«Не дождетесь! Это же Валетка-жулик. Ай-яй-яй! Как он вас облапошил! Ну ничего, вперед умнее будете».

Мы в слезы.

— Ишь ты, подлец какой! — выругался Боря. — На ребят руки поднялись.

— Вышли на улицу — и к городовому. Городовой выслушал и спрашивает: «А деньги-то, часом, не фальшивые? Ну-ка, дайте сюда!»

Подали мы городовому по два двугривенных, что от завтрака остались. Он перебросил их из руки в руку:

«Так и есть, фальшивые, — и в карман. — А вы, — говорит, — бегите отсюда, чтоб и духу вашего тут не было, а то сейчас в участок заберу».

— Ворюга! — опять выругался Боря. — Не лучше Валетки.

— На этом кончилась моя первая тропинка...

Ковча вправил щепотку табаку в нос, на минуту затаил дыхание, а потом негромко чихнул.

На за́стрех гумна сел скворец и, помогая крыльями, цыц-цыбикнул щеглом, щебетнул ласточкой, свистнул соловьем и полетел к нашему дому в скворечню.

Ковча ушел, а мы еще долго сидели и глядели на реку, на быстро проносившиеся одиночные розовые льдины и на купающихся уток в заливе...

— Слушаешь, и даже не верится,— прервал молчание Николай.

Вечером ходил к Александру Владимировичу и показал стихи, что написал Лиле.

Посылать ли? Да и до моих ли ей стихов! Жизнь есть жизнь. Чего душой кривить! Она уже заканчивает первый курс медицинского, через пять лет — врач. А я пока тракторист-механизатор.

Стихотворение небольшое. Но писал я его искренне, даже с душевным трепетом.

Очарован утренней рапью,
Кумачовой вязью зари,
Ты приснилась сегодня мне ланью,
Быстро скрывшейся вдали.
Проклинаю я эту даль,
Хотя очень она пригожая.

Из ума не выходит лань,
Что была на тебя похожая.

Стихи ему не очень понравились.

«Поэзии больше в стихах должно быть,— сказал мне Александр Владимирович.— А то порой читаешь — одна рифмовка, и только. Чтобы рифмовать, большого ума не надо».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Только что пришел с комсомольского собрания. До того договорились — голова кру́гом. Хотели обсудить всего один вопрос: о ходе подготовки техники к весенней посевной, а потом как пошли — и чего только не наговорили. Думал, до утра не кончим. После подготовки к посевной начали говорить о сенокосе, об уборке еще не выращенного урожая, о постройке нового гаража, о помощи строительству межколхозной ГЭС и еще о многом. Всего, пожалуй, и не упомнишь.

Тоня еще заранее развесила несколько объявлений: «В клубе колхоза в среду в 5 часов вечера состоится открытое комсомольское собрание. Повестка дня: доклад тов. Махова о ходе подготовки техники к весенней посевной. На собрание приглашается вся молодежь колхоза. После собрания — кино и танцы».

Скажу заранее, кино не состоялось. Киномеханик опять так напился, что даже в чувство его привести не смогли. Два ведра холодной воды на него вылили, а он — ни рукой, ни ногой.

— Ничего себе напился, хлюст! — сказал Борис. — Зачем он такой нужен?

— Придется заменить. А кем? Черт знает сколько людей туда-сюда надо. А где их взять? Приглядись-ка ты, Борис, к ребятам, что нынче десятый класс кончают.

— Ты что, в председатели метишь? — спросил меня Борис. — А меня, наверно, в заместители.

— С чего ты взял? Почему ты ересь такую говоришь?

— Да разве ж наша с тобой забота — кого на какое дело поставить!

— Комсомольцы ни от какого дела не должны в стороне стоять, — сказал я.

Борис задумался, почесал затылок. На редкость серьезно сказал:

— Ладно, пригляжусь к ребятам, раз так.

До последнего времени я только смеялся над пьяными, а теперь вижу, что водка режет человека под корень. Все полки

нашего магазина снизу доверху красными головками уставлены. И никаких перебоев с ее доставкой не бывает.

Работу механизаторов по подготовке техники к весенней посевной признали удовлетворительной.

Но Тоня предложила на деле испытать тракторы.

— На каком таком деле? — закричали ребята.

— На каком деле? — Тоня прикусила немного губу. — А вот на каком. Помните, как зимой Марфа Петровна на себе тащила дрова из леса? Нельзя допустить, чтобы и нынче так случилось. И я предлагаю: ребята, девчата, давайте нарубим дров, трактористы вывезут дрова из леса — вот вам и будет проверка и нас и машин.

— Правильно! Правильно! — закричали ребята.

— Как есть «Тимур и его команда», — передернув плечами, бросил реплику Матвей Александрович Камушкин.

— А что в этом плохого? — спросила Тоня.

На заднем ряду поднялся председатель колхоза — и к сцене.

— Насчет дров Тоня, пожалуй, дело говорит. Как вы смотрите, Матвей Александрович? — обратился Иван Афанасьевич к своему заместителю.

— Да ведь с нетопленной печкой никто еще не сидел... А посевная на носу, да и с горючим не жирно...

Не по душе новый председатель колхоза Камушкину. Бывшим председателем колхоза Огарковым Матвей Александрович командовал как хотел. Трудно было разобрать, кто председатель колхоза, Огарков или Камушкин. Вместе пили. Пили, не стесняясь народа. В праздник, в будний день — все равно.

За очковтирательство и развал колхозного хозяйства Огаркова сняли с должности председателя колхоза. Матвей Александрович отделался строгим выговором по партийной линии. На время он притих, даже недели две никто не видел его пьяным, но потом — опять за свое. Как говорят наши колхозники: «Каждой бочке гвоздь». Сует свой нос во всякое дело, что бы ни делалось в колхозе. Это не так и то не эдак. И опять посоловелые глаза и неуверенная походка.

Первая стычка Ивана Афанасьевича с Матвеем Александровичем, помню, была вот такая.

В нашем колхозе десятки лет не было единых выходных дней. Выходные дни люди устраивали сами себе, когда кому вздумается. А потому не было такого дня, чтобы все колхозники выходили на работу. Иной день половины недосчитаешься, а то и больше. Кто в бане моется, кто белье стирает. Другие за ягодами да за грибами в лес уйдут. Кадку сделать, корзинку сплести или просто отдохнуть: книгу, газету почитать, на реку сходить, по полям пройтись... Да мало ли желаний у человека есть! А нам — собраться, песни попеть, поплясать, кино посмотреть тоже хочется всем вместе...

На требования колхозников у председателя колхоза Огаркова и у Камушкина был один ответ: «Вот посеем, тогда отдохнем», «Вот закончим сенокос, тогда отдохнем», «Вот уберемса с поля, тогда отдохнем».

Подходила осень — западал снегом невырытый картофель, западали снегом нескошенные луга... На трудодень-то и получать нечего было...

Приглядывался Иван Афанасьевич к жизни колхоза месяца два, а потом, помню, пришел вместе с Александром Владимировичем к моему отцу.

— Как смотришь, Игнат Ильич, если в колхозе единый выходной день установить?

— Воля ваша. Как скажете, так и будет.

— Какая моя воля! — рассердился председатель. — Что я — князь какой, что ли! Не моя воля, а воля наша! Всех колхозников воля!

Отец поморгал, поморгал глазами, а потом говорит:

— С непривычки это, Иван Афанасьевич. Прости, брат. Со мной по таким вопросам еще никто не советовался. А что касается для дела, то выходной день людям нужен. Без этого люди больше прогуливают...

Потом отец рассказал, что обсудили этот вопрос на партийном бюро, на правлении колхоза обсудили, а на общем собрании колхоза постановили ввести единый выходной день — воскресенье. Не по душе пришлось такое решение Камушкину. Долго бегал Матвей Александрович из деревни в деревню, нервно передергивал плечами:

— Гуляют! А работа стоит.

— Жизнь покажет,— отвечал Иван Афанасьевич.

И жизнь показала. Сена накосили больше, с полями управились вовремя.

— Поменьше бы гуляли — еще больше заработали! — кричал Матвей Александрович.

— Знаем, как при твоём дружке зарабатывали! — отвечали ему колхозники.

И ещё, помню, была одна стычка. Тут даже дело до района дошло.

Не знаю, как в других краях, а у нас ещё каждый колхозник имеет свою корову. Ох и канители с этой коровой! Что с выпасом, что с кормом — просто беда. Подойдет лето, колхозные коровы пасутся в одном стаде, личные — в другом, отдельно. Как будто выпасов у нас мало или подерутся коровы между собой! А выпасов столько, что, кажется, на миллион коров и то хватит. У колхозных — пастух по найму или чаще за трудодни, личных коров пасут колхозники по очереди: сегодня один, завтра другой. За лето в сто пятьдесят человеко-дней обходятся эти коровы, а то и того больше. Опять же с заготовкой сена. Для личных коров разрешали косить, когда белые мухи полетят. И пойдет кутерьма. Косят пожелтевшую мокрую траву, носят её домой и сушат в сараях, на чердаках и даже на печках. Год за годом зарастали покосы кустарником, западали снегом.

«Сам не гам и людям не дам», — ворчали бабы.

Иван Афанасьевич с весны объединил стадо.

— Пусть вместе пасутся, — сказал он. — Не подерутся, а выпаса хватит, да и людей от дела отрывать невелик резон.

Опять, помню, кипятился Матвей Александрович, звонил в район.

Перед сенокосом прикинули, сколько потребуется сена для колхозного стада и сколько для личных коров. Оказалось, по силам накосить больше, если дружнее взяться. И впервые за много лет по утренней заре в лугах звенели косы. Раньше так рано никто косить не выходил.

Тут уж Камушкин совсем вышел из себя.

— Поощряете частную собственность! — кричал он на Ива-

на Афанасьевича и Александра Владимировича, учителя и парторга.

— При чем тут частная собственность? — отвечал Иван Афанасьевич. — Во-первых, это не частная, а личная собственность, а во-вторых, это просто принцип материальной заинтересованности в действии. Да и ненадолго это. Разбогатеет колхоз, и сами колхозники откажутся от такой обузы...

Осенью увеличили колхозное стадо, а когда в воздухе появились белые мухи, мы рубили лес для гаража, а бабы и девчата возились со льном...

Все это у меня за какую-то минуту пронеслось в голове, как только я глянул на Ивана Афанасьевича.

II

Поднялась Нина Нефёдова. Она у нас не часто выступает. Покраснела так, что и веснушек не стало видно.

— Стадо у нас выросло. Молодняк еще подымается. Нынче корма больше потребуется. Тоже подумать надо. Старых сенокосных площадей не хватит, пожалуй.

Ее, конечно, поддержали другие доярки.

Слово опять взял председатель.

— Да, действительно, — говорит он, — так дело продолжаться дальше не может. — С такой силой и сидеть без корма — позор. Надо найти какой-то выход из этого дурацкого положения. На то мы с вами и коммунисты...

Коммунистами назвал нас председатель. Это лестно. Смотрю, Коля выпрямился и расправил плечи. Шурка подмигнул мне: мол, не шути. Боря почесал затылок. Тоня вскинула копну рыжих волос и прикусила нижнюю губу. Оля и Нина потупились, покраснели. Все в зале притихли.

— Сами знаете, ребята, — продолжал председатель. — Сторона наша северная, суровая. Ждешь-ждешь лета, а оно придет и порой проскочит за две недели — и не увидишь его. А то дожди пойдут в самую сенокосную пору, вот и заготавливай корм.

«К чему,— думаю,— он все это говорит? Мы без него знаем, что лето короткое, народу в колхозе мало, что погоды нас не балуют».

— На сенокосы мы выходим, как наши прадеды и деды выходили, с одной косой,— это в век-то такой техники! Подумайте сами...

«А с чем же выйдешь еще в наши кочкарники да косогоры, не с косилкой же?»

— А сенокосилки стоят и ржавеют. Это до каких же пор они будут ржаветь?

— Куда с ними сунешься? — возразил Коля.

— Вот об этом-то я и хотел с вами посоветоваться сегодня.

Все молчат, и я тоже молчу. Ничего такого подходящего в голову не приходит.

— На поле Куземкино, лучшую землю нашего колхоза, вам не больно глядеть! Сам помню, какие рожь да пшеница на нем вырастали, а о горохе и говорить нечего: сноп-то, бывало, не поднимешь — стручок к стручку.

Все с удивлением уставились на председателя. Куземкино сохой пахали, плугом пахали, а с трактором туда и носу не показывай. На нем валуны. Да столько их — будто несметное стадо слонов шло и окаменело на этом поле. Земля действительно хорошая — супесок. Поле на пригорке, скатом к реке, навстречу солнцу. В дождливое лето посевы не вымокнут, а засухи в нашем крае вообще не бывает. Недаром отец часто говорит:

«Куземкино бы к жизни вернуть. Лучшая земля пропадает. На этой земле кукуруза и та вырастает, а тогда корму хоть завались, и не то что весной подвешивать коров, их бы на аркане не удержал...»

— Ну что же молчите? — спрашивает опять председатель.

— Надо подумать,— говорит Коля.— Дело нелегкое.

— Конечно, подумать! — закричали все.

— Думайте,— согласился председатель,— а денька через два заходите ко мне.

Вот как обернулось собрание. Был один вопрос о подготовке техники к посевной, а тут тебе и дрова, и покосы, и поле Куземкино.

После собрания мы с Борькой так русскую плясали, что

клуб дрожал. Не зря целую неделю на гумне репетировали. На гармошке играл Шурка. Ох и мастер играть! А вот кадрили не состоялась. Пробовали — не получается. Даже стыдно сказать, забыли, как плясать русскую кадрили. Скажи кому — не поверят. Перед стариками да старухами стыдно.

Перед концом вечера в клуб ввалился Сашка Сенин с пьяной компанией и сам пьяный, и ну в круг. Девчата, конечно, завизжали, закричали. А тут как поднялся наш бригадир да как крикнет:

— Этого еще не хватало!..

Мы, конечно, своего бригадира поддержали и всю эту компанию из клуба... Вот как сказать, и не знаю... Вывели? Нет, не вывели. Выгнали? Тоже нет, пожалуй. Просто вытолкали. Драки не было, но они еще долго кричали у крыльца. Однако войти в клуб не решились.

Домой шел с Нинкой. Спросил, почему она так извелась и чего сама не своя ходит.

— Эх, Вася, если бы ты знал, что только со мной делается... — сказала Нина.

«Значит, правда, — подумал я, — влюбилась в Кольку».

Но Нинка больше не проронила ни слова и свернула в свою калитку.

А что же действительно с ней делается? Надо узнать у Тони. Тоне-то, наверно, известно, с чего Нинка страдает...

Отец и мать на собрании, конечно, не были. А все уже знают, о чем мы там говорили.

— Давно бы пора, — говорит мать, — обеспечивать дровами всех организованно, а то глядеть тошно: бабы на себе дрова из лесу таскают! Да где это видано?

Отец свое:

— Поднять Куземкино решили — дело хорошее, да только осилите ли? Вот еще бы чищи привести в божеский вид, чтобы на них с косилками можно выехать, тогда бы зажили. Читал в газете, что по нашей области миллион гектаров лугов заросли кустарником?

— Миллион? — удивилась мать. — Уж больно много-то. Скажешь тоже.

— Миллион, — подтвердил я.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

— Завтра с утра на Шумиху, дрова заготавливать! — приказал председатель. — Все, кто свободен, — в лес.

— Что ж, затея наша, — сказал Борис. — Мы готовы. С удовольствием пойдем.

Председатель ушел. Все заговорили о завтрашней работе. Борис отвел меня в сторону и шепотом сказал:

— Что нам утра ждать. Пойдем сегодня на ночь.

— Нашел удовольствие в лесу почевать.

— А ты попробуй. Сейчас же в лесу такая красота! Тетеревиные тока начались...

Уговорил-таки меня, охотничья душа.

Перед вечером ружья за спину — и пошли вдвоем. Поднялись на гору. Перед нами как на ладони открылись и были видны все восемь деревень нашего колхоза, раскинувшихся по обоим берегам извилистой реки Уржурги.

Невольно остановились. Внизу — бушующая река... С двух сторон ее облегли деревни.

— Хорошо! — вздохнул Борька.

— Ты о чем? — спросил я.

— Да глянь, что в деревнях делается: в каждой деревне по пять-шесть новых крыш этой весной появилось.

Темно-зеленая густая озимь нежится под вечерним веселым солнцем. Мы идем по оттаявшей, с осени протоптанной тропинке, ноги скользят, а тропинке, кажется, ни конца ни краю. Кругом озимь, озимь и озимь...

За озимыми пошли луга с жухлой, прошлогодней травой, заросшие мелким кустарником. Чем дальше к лесу, тем все больше и больше кустарника.

«Вот он, миллион-то гектаров, о чем писали в газете», — подумал я.

Эти мысли занимали и Бориса.

— Ишь что делается, — кивнул он головой на кустарник. — Скоро с косой сюда и то не сунешься, не то что с косилкой. Лес наступает на наши деревни. Надо бой дать...

— Надо,— подтвердил я. И, еще не зная, какой дадим бой, представил себе, как второпях отступает кустарник.

Кусты срываются со своих мест и бегут в лес, на Шумиху. Луга без кустов и кочек на моих глазах превращаются в поле с шумящим лесом кукурузы, с зеленым, в белом цвету горохом. А мы с косилками или жатками спускаемся на сытых, лоснящихся на солнце, в мыльной пене лошадях...

Молчат березовые перелески, молчит хлопотливая, неугомонная летом и осенью осиновая опушка.

Но прислушаешься — шумит темный лесной остров Шумпха, что раскинулся на десятки и сотни километров в разные стороны от наших деревень...

Вышли на маленькую полянку, освещенную косыми вечерними лучами солнца.

— Пришли,— сказал Борька.— Надо шалаши ставить.

— Думаешь, успеем дотемна?

— Надо успеть.

Только принялись за дело, как в лесу будто сучок под ногой треснул — раз и другой.

— Слышишь? — спросил Борька.

Мелкий ельничек на опушке поляны качнулся. Из-за ельника шагнул Ковча. Лучатся теплым огоньком голубые выцветшие глаза, трясется от каждого слова седая борода.

«Что ему здесь надо, этому неугомонному старику? — подумал я.— Сидел бы себе дома».

— Шалаши ставил,— снимая с плеча берданку, сказал старик.— Один поставил в Пенниках, другой в Середовине. Хорошие токовища, до десятка пар собирается тетеревов на ток, не меньше. А тут не будет нынче тока. Нет.

— Что же делать? — спросил я Борьку, досадуя на старика, хотя он уберег нас от бесцельного сидения на этой поляне.

— Зорьку ждать,— опять смеется старик,— только не вечернюю, а утреннюю. Вечером тетерев не вылетит: видите, какая туча из Заозерья надвигается. Вечером на тяге постоит — вальдшнеп пойдет. А шалаши выбирайте, кому какой приглянется. Завтра с одним из вас и я пойду посижу, а потом всю весну охотьтесь как знаете...

— Верно? — разом спросили мы Ковчу.

— Верно. Только не думайте, что так, за здорово живешь. Выкуп положил я за шалаши. За каждый шалаш воз дров. Согласны?

— М... мы, дядя Митрич! — наперебой закричали мы с Борькой.— Да мы, Митрич, по два нарубим, нам-то это играючись...

— Ну так и играйтесь, мне-то теперь не до дров, силы нет, время ушло. Разводите костер,— с напускной серьезностью закончил Митрич.— А я за соком схожу.

Через несколько минут Митрич принес целый буртас березового соку.

— Земля ожила,— бережно ставя буртас, говорит Ковча.— Вона за день одна береза сколько соку дала.

«Земля ожила»,— думал я, глотая холодный, сладкий, веселый пахнущий сок земли.

II

На охоту вышли затемно. Я пошел с Ковчей в один шалаш, потому что никогда еще не охотился на тетеревов.

— Через большую вырубку пойдем,— говорит дед.— Теперь уже недалеко, а благодать-то какая! Тишина, все спит: и лес спит и птицы спят, только мы не спим. Вот ведь полуночники какие, а? — Он остановился, выпрямился и вздохнул полной грудью.— А аромату-то сколько в воздухе! Это оттуда тянет.— И дед показал рукой на хвойный лес.— Ну пошли, не опоздать бы...

Ковча идет крупным, размашистым шагом. Я еле успеваю за ним. Он бодр и весел, все время разговаривает и шутит со мной. И, как бы угадывая мои мысли, ласково говорит:

— Ты не унывай, что вдвоем в один шалаш идем. Я сам, когда был вот таким, как ты, тоже с одним охотником ходил, да еще и без ружья. Ходил целых три года... А выстрелить я тебе сегодня дам из своего ружья. Посмотрим, устоишь ли на ногах,— и смеется в свою рыжую бороду.— У меня ведь не ружье, а пушка.

В шалаш вошли на четвереньках; в нем тесно и темно.

— Усаживайся половчее, оглядись кругом и замри: ни звука, ни движения. Скоро начнется.

После этих слов Ковчи по всему телу пошла дрожь и застучали зубы.

— Спокойно, спокойно,— шепчет Ковча и слегка хлопает меня по плечу.— Это с каждым бывает...

Ждать пришлось недолго. Недалеко от шалаша раздался призывный звук тетерева. Ему ответил второй, третий... И ток начался.

— Начался праздник,— обжигая своим дыханием мое ухо, говорит дед и сжимает до боли колено своей, как медвежья лапа, рукой.— Смотри.

На поляне, вокруг шалаша, где еще непривычному глазу трудно было рассмотреть силуэты птиц, всюду мелькали, как белые салфетки, хвостовые подбои.

Позднее, как раз вместе с рассветом, к чуфыканью и хлопанью крыльев присоединились звонкие, тягучие, переливчатые, рокошующие звуки. Как будто один за другим, кругом нас, по всему лесу потекли весенние, бойкие, говорливые ручьи. Началось бормотанье тетеревов.

Молчавший ночью лес ожил и вместе с птицами пел песню весны, песню жизни. Приятно сидеть и слушать.

Рассвело. Лесной сумрак уполз в чащобы. Солнце еще не возшло, и на поляне еще нет теней. Поляну стало видно от шалаша до противоположного края. Вся она заполнена птицей. Одни с опущенными до наста крыльями, с раздутыми, вытянутыми вперед, слегка наклоненными шеями. Другие с поднятыми веером, распушенными хвостами с белым подбоем. Сразу взорвались, забушевали лесные красавцы.

На току было пар двадцать косачей и около десятка тетерок. Тетерки сидели на деревьях и нежились в утренних лучах солнца, изредка поквохтывая, глядя на разбушевавшихся петухов.

Старые петухи держались в центре тока. Молодые — поодаль. Некоторые кружились на месте, другие, подпрыгивая и подлетывая, сближались друг с другом, и начиналась жестокая драка. Бились крыльями, лапами, таскали друг друга, схватив один другого клювом за шею. Расходились и снова сталкива-

лись в схватке. На вырубке кружили разноцветные перья. Победженный с опущенными крыльями убегал или взлетал на дерево и приводил себя в порядок. Победитель звонко чуфыкал, вызывая на бой новых смельчаков, или нападал сам.

Один крупный черныш больше других занимал нас. За время тока он ни разу не был побежден. Его движения были ловчее и смелее других, а песня звонче и задорнее, с какой-то особой птичьей удалью.

— Ишь ты, басурман какой! — смеется Ковча. — Всех перебил! Знать, нет ему здесь равного по силе... А ну-ка, сыграем мы с ним шутку, Васька, посмотрим, чья возьмет! — Дед, стоя на коленях, с опущенными руками, выгнул шею и, став похожим на огромного косача, произнес призывный смелый звук: — Чуф-фффы...

Токовик насторожился, поднял голову, еще шире распустил крылья и дал ответное протяжное «чуф-фффы», как будто спрашивая: «А ну, кто тут нашелся такой храбрый, выходи!» А дед еще смелее: «Чуф-фффы!..» — и для зарности (как он потом говорил) ударил ладонями по полущубку, что сильно напоминало хлопанье крыльев. Этого токовик никак не мог перенести. Еще больше раздув шею и распустив крылья, подлетывая, бросился он к шалашу. Возможно, токовик остановился бы и осмотрелся для осторожности, так как не видел противника. Но Ковча еще сильнее произнес: «Чуф-фффы...» И хозяин тока опрометью бросился на шалаш.

В это самое время, как бы навстречу прыжку, дед высунул руку и ловко схватил его за ноги. Косач сильно забил крыльями, стараясь избавиться от такой напасти, а дед под неудержимый смех втащил его в шалаш. Остальные тетерева, услышав эту возню, в одно мгновение покинули ток.

— Ну, басурман, натоковался? Эх ты, дурило! — приговаривает дед, прижав тетерева к груди. — Зазнался и попался. Ну-ка, выйдем из шалаша да оглядим тебя получше.

От всего виденного и слышанного у меня кружилась голова. Апрельское солнце весело освещало большую вырубку, наст искрился золотыми звездочками.

— Ну вот, я же говорил, что не унывай, — без выстрела и с добычей.



Косач взмахнул крыльями, перевернулся в воздухе и, набирая высоту, понесся над вырубкой.

Я только ответил деду:

— Как здорово у вас получилось!

— Старик,— говорит Ковча, рассматривая тетерева.— Старик, а попался. Ну, вперед будет знать! — и подбросил косача вверх.

Косач взмахнул крыльями, перевернулся в воздухе и, набирая высоту, с криком, как ошпаренный понесся над вырубкой.

— Ишь ты, еще ругается,— засмеялся дед.

Борька пришел с охоты с хорошей добычей: на поясе у него висел краснобровый, с серебряными подкрылками черныш.

III

Пока солнце не спеша поднималось над лесом, мы подремали у костра, на пахучих еловых лапках. Разбудил нас недалекий шум тракторов. Однако тракторы не вышли на нашу поляну. Они прошли левее, прямо на Новую гарь. В прошлом году там был лесной пожар, и теперь много сухостоя. Его и решено рубить.

Мы тоже поспешили на Новую гарь. Народу в лес приехало много. Больше, чем рассчитывали. Николай и Шурка привели два тяжелых трактора с саями. Среди приехавших я увидел отца и мать.

Отец, заметив, подошел ко мне:

— Что-то добычи не вижу. Проспал, что ли, зарю?

Мне неловко было слушать такое, и я вслух обиделся:

— Что ты! Не за этим мы шли.

— Зачем шли, я понимаю. А вот что нашли, не видно. Стало быть, сплеховали.

— И вовсе нет,— доказывал я.— Ток был такой, о каком я не слышал ни разу. Даже старик Ковча удивился.

Отец насмешливо щурил глаза. У него было хорошее настроение. Да и как ему не быть в такое прекрасное утро. Я тоже не хочу, чтобы отец в такое утро не верил мне. А он почему-то не верил.

— Говоришь, птиц был целый табун?

— С тетерками штук тридцать было!

— И Ковча ни одного не убил?

— Поймали одного без выстрела. Самый сильный. Всех победил. Да Митрич отпустил его.

Чудачества Ковчи были известны всем, и отец поверил.

В это время к нам подошел председатель.

— Хорошее дело ты, Иван Афанасьевич, задумал,— сказал отец.

— И сам не пойму, дело или нет,— ответил председатель.— Гляди, сколько людей от других работ оторвал.

— Коли б не дело, народ не пришел.

— Ребят послушал, бес их возьми, а может быть, они и правы?

— Одна семья, одни и заботы.— Отец притушил цигарку и начал обрубать сучья с толстой сухой валежины.

Работу повели развернутым фронтом. Одни пилили деревья с корня. Другие обрубали сучья и распиливали деревья на равные кряжи. Часть наиболее сильных мужчин грузили кряжи на тракторные сани. Уже через час трактористы отправились в первый рейс.

Нам с Борисом пришлось работать на пару. Дело не очень привычное, но в коллективе этого не замечаешь. И спорится оно, и усталость меньше чувствуешь.

Шумят пилы, звенят топоры. Растут костры кряжей. Мы давно скинули пиджаки и работаем в одних рубашках. Пахнущие смолой опилки желтыми фонтанами обсыпают ноги и легкой порошей ложатся на оттаявшую землю. Пахнет весенней прелью, разогретой смолой и древесным спиртом.

Девушки раскряжевывают лесины. Им тоже жарко. Но и приятно работать. Они закатали рукава кофточек, покраснелись. Работа у них полегче. Они весело шутят.

Особенно приятно глядеть на Тоню. Она сегодня прямо сияет. Ее радость понятна: ведь это ее затея.

— Ты знаешь,— вытирая пот со лба, говорит Борька,— с сегодняшнего дня ни в одной бригаде нашего колхоза больше не увидишь ни мужика, ни бабы, которые тащат на себе дрова из лесу.

— Хорошо бы,— ответил я.

— Сомневаешься? Гляди, какие горы сушняка навалили. Славное это дело — дрова весной заготовливать.

Борька прав. Через неделю сеять начнем. А потом до самой зимы из работы не выскочишь.

Весь день в лесу не слышно было птичьего голоса. Пели пи-лы, стучали топоры, да девушки не умолкали с утра до вечера. Певучие они у нас. Заслушаешься, про работу забыть можно.

К полудню так разломило спину, выпрямиться сразу не могли. Слабоват я против Борьки. Но поддаваться не хочется. Так и доработал до вечера, даже виду не подал, что устал.

Вот где падо бы поглядеть, как работают люди. Без задания, без учетчика, на чистую совесть. Не работа, а песня. Надо учиться доверять человеку. Не за трудодни, не за деньги, а за что-то более дорогое, что не покупается и не продается.

Председатель снял танкистскую фуражку, блеснул широкой лысиной и с душевной улыбкой сказал:

— Спасибо, ребята, девчата. И вам, бабоньки и мужики, тоже спасибо:

— Да уж что там...

— Да уж чего там...— донеслось со всех сторон.

Прилетел скворец, сел на сухую ель. Посмотрел на народ, прислушался к разноголосому говору, а потом, помогая крыльями, цыц-цыбикнул щеглом, щебетнул ласточкой, свистнул соловьем и, торопливо набрав полный клюв седого мха, полетел в деревню.

Скоро уехали и мы. В наше место, в Новую гарь, пришла чуткая лесная тишина.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

На работу сегодня припоздал. Торопился как мог. Когда шел мимо почты, там распахнулось окно. Остроносенькая недоро-сток-письмоносец Ленка замахала рукой:

— Вася, зай-ди-и! Весточка тебе!

У меня в груди екнуло. Письмо от Лили. Конверт с затейливым рисунком какого-то крымского санатория.

Адрес написан аккуратно: ни тебе кривой буквы, ни помарочки. Старательная у меня Лилька. Приехала бы только скорей. Весна у нас. Деревья теперь не голыми ветками — листвой шумят. Мягкий этот шум, задушевный.

Спрятал письмо в карман и до вечера места себе не находил. Еле день скоротал. Хотелось знать, что пишет Лилия, но не хотелось читать при людях или украдкой.

Читал после работы, возле дома. Душевно писала Лилия:

«Здравствуй, Вася!

Сегодня получила твое письмо и так обрадовалась, что ты себе не можешь даже представить...»

Я покраснел до ушей, и опять что-то екнуло у меня в груди. Скучает там одна. Город, не свой край. Люди с другими характерами, не с каждым подружить можно. Как мне хочется быть с тобой рядом, Лилия! Поддержать, защитить, если надо...

Читаю дальше.

«Несколько раз перечитывала твое письмо. Даже не слушала лекции».

Я еще пуще покраснел. И дальше:

«А твои стихи я показывала однокурснику Генке, он прочитал и сказал...»

Плохо сказал тот Генка о моих стихах, да и обо мне, наверно, тоже. У меня дрогнули руки. Дальше письмо читал без интереса, с болью.

«Точка! — сказал сам себе. — Каждый сверчок знай свой шесток!»

Сказать-то сказал, а легче от этого не стало. Эх, Лилия, Лилия! Как же так? Вот взяла и открыла дверь в мою душу чужому человеку! Зачем ты сделала это? А я даже ребятам не говорил, что мы переписываемся, что стихи тебе одной пишу. Берегу свою любовь.

Генка прочитал... Генка сказал... А знает ли твой Генка про короткие летние ночи, про густые росы, глубокие снега, жгучие морозы? Стонут ли у него руки от тяжелой работы?..

Походил около сарая. Из подворотни выполз Серко. Отрях-

нул, подбежал ко мне и вскинул лапы на грудь, стараясь лизнуть горячим языком мою щеку. Я обнял его за шею:

— Скажи-ка мне, Очковтиратель, тебе заглядывал кто-нибудь в душу так, за здорово живешь?

Пес взвизгнул и дыхнул в лицо жаром.

Ясно, не понимает, но чувствует, что мне больно, и хочет помочь.

— Мне, Серко, заглянули в душу! И не только заглянули, а плюнули в нее, понимаешь ты это или нет? Плюнули в душу!

Серко скинулся на землю, вздыбил шерсть, подбежал к палисаднику, стал лаять на какого-то прохожего.

— Вася, иди ужинать, — позвала из окна мать.

Я отказался от ужина и пошел к Александру Владимировичу. В окнах его дома горел свет.

— А, механизатор! Хорошо, что зашел, — обрадовался учитель. — А я, брат, всю неделю ни шагу из дома. Гипертония замучила. Доктора говорят, что это благородная болезнь, а мне от ее благородства житья нет. Но оставим болезнь в покое, расскажи, как живешь, что нового? Слышал, на днях доброе дело сделали. Молодцы! Рад за вас. Ты понимаешь, Вася, это замечательно! — говорил Александр Владимирович.

А я никак не мог понять, о каком он говорит деле.

— Вместо того, — продолжал учитель, — чтобы перед этими нашими бабами шапки снимать да низко кланяться им за то, что их мужья и дети костями легли за жизнь нашу, мы порой их даже не замечаем. Глаза от стыда опустишь, когда видишь этих согбенных старух, которые тащат на себе из лесу дрова. Да если б мертвые голос имели, они бы проклинали нас, Вася!

— Прокляли бы, — согласился я.

— А сколько можно сделать людям хорошего! — Александр Владимирович откинулся на спинку кресла. — Как-то облегчить их страдания, утешить в горе: делом ли, словом ли или вот теми же дровами.

— Мы будем делать, Александр Владимирович, — заверил я учителя, — будем.

Мне стало очень жалко этого старого одинокого человека. Глянул на стену, где висели три портрета в черных рамках. Два сына, погибших на фронте, и их мать, жена Александра Владимировича — наша учительница Прасковья Васильевна.

— Мать от горя умерла, — сказал учитель. — Жили бы ребята, и она бы еще жила... Давай, Вася, чай пить. Вареньем тебя угощу, со своих кустов в прошлое лето ягод набрал...

Так ничего и не сказал я Александру Владимировичу про свою обиду. Очень мелкой показалась она мне по сравнению с горем учителя.

II

...Коммунизм

приходит низом,
низом

шахт,
серпов
и нив.

Я с высот поэзии

шагаю к коммунизму,

Потому что

нет мне без него любви...—

стоя на тракторе и размахивая концом толстого троса, декламировал Колька, перефразируя известные стихи поэта. — А ну, думайте все: для чего понадобился этот трос нашей бригаде? Целую неделю уговаривал сплавщиков, пока заполучил его. — И Колька лукаво посмотрел на нас.

Мы переглянулись: для чего же действительно понадобился такой трос?

— Ладно. — Колька соскочил на землю. — Надумал я, ребята, вот что. Слушайте: концы этого троса прикрепим за серьгу трактора, а петлю будем накидывать на камень, и трактором любого «слона», как на сковородку, на этот лист железа. Ну, а на листе, что на санях, к реке его — и в воду.

— Не получится, — вздохнул Шурка.

— Почему? — удивились мы.

— Трос не выдержит! — Шурка наступил на трос и, взяв конец в руки, начал пробовать его прочность. — Впрочем, пожалуй, выдержит. — Он бросил трос на землю и обескураженный отошел в сторону.

Мы покатались со смеху.

— А чего смеетесь? Когда Папанин на десятитонном самолете сел на льдину, первое, что он сделал, это ногой попробовал прочность льдины. Не верите? Сам читал.

Мы долго еще смеялись над Шуркой, а потом все хором одобрили затею нашего бригадира.

— И вот, ребята,— продолжал довольный Колька,— таким манером запросто мы очистим от камней поле Куземкино и потом всей бригадой туда с тракторами... Двадцать лет треть земли нашего колхоза пустовала, и на двадцать первом заколосится на ней пшеница или зацветет бело-розовым цветом горох.

— Лучше всего посеять пшеницу,— говорит Шурка.

— Горох лучше,— мечтательно сказал Борька.

— Да ты гороховое поле еще зеленым потопчешь!

Размечтались не на шутку, а на Куземкине угрожающе белеют «слоны» и «слонята».

Пришел председатель колхоза, за ним, откуда ни возьмись,— Ковча. Председатель хмурый, сердитый. Ковча веселый, довольный: в корзинке у Ковчи два налима.

— Наметкой? — спросил Борька.

— На живца,— подмигнул старик.

— О чем шумите? — спросил председатель.

— Затя есть,— загорелся Колька.

— За ту затею расхлебаться не могу, а вы опять с затеей,— дрогнул кудрявой бровью Иван Афанасьевич.— Ну, выкладывайте, что надумали.

Колька рассказал о своем нехитром приспособлении по борьбе с «остатками ледникового периода». И, по мере того как рассказывал Колька, лицо председателя все смягчалось и смягчалось. Наконец расплылось в довольной улыбке.

— Дело надумали,— окинул нас радостным взглядом председатель.— Только выдержит ли трос?

Иван Афанасьевич, как и Шурка, тоже взял конец в руки и, наступив ногой, начал пробовать прочность. Мы захохотали. Разогнувшись и бросив трос, захохотал и председатель.

Ковча, наверно, не понял, над чем мы смеемся, и тоже попробовал, прочен ли трос, и заключил, переводя дух:

— Выдержит...

Председатель обошел машины, завел трактор...

— Танкист...— Колька толкнул меня локтем в бок.— Пойду в армию — тоже буду танкистом. А ты?

— Конечно, танкистом, а кем же еще? — подтвердил я.— Механизаторы же.

— Ну что ж, все машины на ходу?

— Все, Иван Афанасьевич,— ответили мы.

— А кто-то сообщил в район, что мы занялись рубкой дров, а к посевной не готовы.

— Тьфу,— сплюнул Ковча и вынул табакерку.

— Пусть сообщают,— махнул Колька рукой.— Мы не прятались.

— Это верно, ребята, мы не прятались.— И председатель сел на пахнущий смолой штабель бревен.

Начавшая входить в берега Уржурга все еще бушует мутной водой. По ней изредка проносятся одиночные бревна, прясла изгородей, пустые кадки, а то проплывает плот или полузатопленная лодка. Высоко над рекой спешит запоздавшая стая гусей. Их гортанный говор падает к нам на землю.

— Ишь как на родину-то торопятся,— задрав кверху бороду, говорит чуть слышно старый Ковча и все смотрит бледно-синими глазами вслед улетающим птицам.— Лучше-то родной сторонки, поди, во всем свете края нет.

— Во всем свете нет,— вздохнул председатель и, подумав, усмехнулся.— Чудно как-то: где только не был за двадцать лет службы в армии, а как, бывало, закрою глаза, вижу нашу деревню, реку, быстриной камень... Мужиков, баб наших вижу и пегую кобылу Васи Степанова. Да, да, не смейтесь, пегую кобылу Васи Степанова из Назаровской!

— Еще бы не видеть,— не спуская глаз с удаляющегося гусяного косяка, говорит Ковча.— На свет-то белый в Озерках появился. А насчет кобылы тоже ничего мудреного нет. Такая лошадь, пожалуй, одна на всю волость только и была. Будто не по земле ходила, а по горячим уголькам, вот до чего шустра!

А нам смешно, что Иван Афанасьевич помнит какую-то пегую кобылу, и никак не можем удержаться, смеемся.

— Последнюю весну бушует наша Уржурга,— глянув на реку, говорит председатель.— Этим летом перекроем, и тебе ни быстриного камня, ни порогов. Тишина...

— Не переживу,— серьезно замечает Ковча.— Вся красота пропадет. Вершу ли ставишь, с удочкой ли сидишь — он поет тебе, разговаривает с тобой, порог-то. Посидишь на берегу — будто с хорошим человеком побеседуешь. Нет, не переживу...

— Лесопилку поставим, тесу напилим. Электричество во все деревни дадим,— продолжает председатель.— Птицу разведем. Нам много надо развести птицы.— Иван Афанасьевич вынул записную книжку и стал что-то записывать.

— На лавы встанешь,— вздыхает Ковча,— все-то тебе дно видать: камень каждый, колодинку каждую, рыба какая есть и ту видать. Купаться ли пойдешь — хочешь по колено, хочешь по пояс, а хочешь плыви... А тут глубина, тишина... Нет, не переживу...

Мы молчим, уставясь глазами в реку. Нам жалко старика Ковчу, жалко и порогов и быстриного камня, на котором греемся после купания. А он большой, этот камень, десять человек на него в ряд лягут, всем места хватает.

— Лодку моторную заведу,— говорит с напускной серьезностью Колька,— посажу деда Митрича — и на охоту...

— Что, что? — встрепенулся Ковча.

— Лодку моторную заведу, говорю я,— повторяет Колька,— посажу тебя, дед,— и на охоту: хочешь под Устье, хочешь на Хмелевые, хочешь на озеро... Я за моториста, ты, Митрич, за капитана, только командуй: «Право руля!», «Лево руля!», «Полный вперед!..»

— Только меня еще в командирах и не хватало,— усмехнулся Ковча.— И так командир на командире — председатель, бригадир, другой бригадир, учетчик, заведующий фермой и еще там разные, а вот простых-то гребцов мало...

— Правильно дед рассуждает.— Иван Афанасьевич положил записную книжку в карман и, обратившись ко всем сразу, добавил: — А затея ваша, ребята, пожалуй, подходящая, пробуйте: лиха беда начало...— и пошел, стройный, высокий, с седыми висками из-под танкистской фуражки.

— Дед Митрич, Расскажи, как ты свою Жар-птицу искал,— просит опять Шурка.

— Далась вам эта Жар-птица... Думаете, ее так легко найти?

— Расскажи, Митрич, Расскажи,— просим мы старика.

— Ладно, что с вами поделаешь, Расскажу.

III

Митрич достал табакерку, взял щепотку табаку; табакерка в левой руке, табак в правой руке.

— Прочуял, что в Сибири вольготно живут. Земли много, лесу тоже много, как и в нашей стороне; птицы, зверя столько, что и не снилось нам, о рыбе и говорить не приходится — подходи к реке и так ее голыми руками и бери. Главное, конечно, земля. А что в ту пору мужику, кроме земли, желать было? Ничего. Земля есть — ты житель, земли нет — спину гни на других. Вот за землей-то туда, в Сибирь, и тянулись люди. Про себя решил тогда так: «Приеду в эту Сибирь, наймусь к какому-нибудь богачу в работники, благо силы не занимать, работы не боюсь, проработаю года три-четыре, а потом и своим хозяйством обзаведусь». Две семьи из нашей деревни в начале лета тоже собрались ехать в Сибирь, и я решил с ними вместе. Да не получилось...

— Почему? — сочувственно перебил Шурка.

— Не получилось-то почему? По очень простой причине не получилось. В то время я был в работниках у Арсения Торопова. Я к нему:

«Рассчитай, мол, хозяин, деньги на дорогу нужны, в Сибирь еду».

А он говорит:

«Это кто же в самую рабочую пору расчет берет? Уберемся, тогда иди на все четыре стороны».

Не дал расчета. Вот и остался до осени. Осенью двинул в эту самую Сибирь. Но тут опять закавычка. На билет кое-как набралось денег, а на хлеб — ни копейки. Но подтянул пояс потуже и тю-тю...

Правда, хозяин дал на дорогу хлеба каравай, два пирога с рыбой и даже курицу зажаренную дал. Прикинул я в уме — несытно, но на пять-шесть дней хватит...

— А мне бы на день хватило, не больше,— сказал Борька.

Он у нас любитель поесть. О еде говорит часто и охотно.

— Не перебивай, Борька! — недовольно пробурчал Николай.

— К вечеру пришел на станцию,— продолжал дед.— Взял

билет до самого конца и присел на диванчик в вокзале. Время уже холодное было. Дожидаясь поезда, подрагиваю в своей плохонькой одежонке. И что бы вы думали, встреча! Подходит тот самый Валетка. Только у него уже ни лакированных сапог, ни фуражки с лакированным козырьком, а весь в лохмотьях и бородой зарос — бродяга, и все. Меня так в жар и бросило. Думаю: пронесло бы тебя, нечистого. А у него обратные намерения. Подсел ко мне и сует мне в руку что-то холодное.

«На, поддержи», — говорит, а сам к котомке моей. Я глянул, а в руке-то у меня часы, как сейчас помню, вороненные, с золотыми стрелками. А он уже успел развязать котомку и курицу вытащил.

«Есть будешь?» — спрашивает меня.

Моя курица, и он же меня спрашивает, буду ли я есть! Оторвал Валетка ногу у курицы и подает мне. Я, конечно, взял ногу, потому, вижу, все съест, проклятый. За курицей до пирогов добрался. Одним словом, угостил меня моей же едой.

— Слабак ты был, дед, — смеемся мы.

— Слабак не слабак, а оробел, что и слова ему сказать не мог. Поел этот самый Валетка и пошел.

«Часы возьми!» — говорю ему.

А он рукой махнул: «Я себе другие достану», — и ушел.

И вот будто огнем припекать стали меня эти часы. А ну как кто хватится, обыск — головы не сносить. Положил я эти часы рядом с собой и в сторону отвернулся, будто и не видал их никогда. А уйти боюсь, придет спросит: «Где часы?», что я ему скажу? Вот так и сижу ни жив ни мертв. Вдруг появляется этот жулик и показывает мне другие часы:

«Сказал: достану, и достал, а те на память тебе, носи, спасибо за хлеб-соль; прощай, деревня».

И только я его и видел.

Положил я эти часы опять на диванчик, а сам боком-боком из вокзала шмыг да в самый конец станции, там и просидел до прихода поезда.

— А Валетка? — спросили мы чуть не все сразу.

— Слава богу, больше его не видел, а то бы погубил, злодей, не пначе...

Ковча вправил щепотку табаку в нос, на минуту затаил ды-

хание, а потом так чихнул, что нам показалось, будто сноп искр посыпался из его глаз.

— Ну, а одного каравая надолго ли хватит, — отчихавшись, продолжал Ковча. — Когда стал подъезжать к Иркутску, у меня уже двое суток крошки во рту не было. Подвернись собака и ту бы с шерстью съел, во как проголодался! Попросить гордость не позволила. Вроде того, чтобы украсть, — это даже и в голову не приходило. Подъехали к Иркутску, мороз такой, что вагоны трещат. Вот тут-то один мужик и говорит мне:

«Хочешь, парень, каравай хлеба заработать?»

«Хочу, — отвечаю ему, — заработанное не грех принять, только какая работа в поезде?»

«Работа простая: беги босый кругом состава — и получай», — а сам смеется, бороду разглаживая.

Кто он такой был, не знаю: купец ли какой, кулак ли, но, видно, при деньгах, так как всю дорогу в еде себе не отказывал. «Эх, думаю, была не была, только бы дух не захватило от холода». Скинул я сапоги, выскочил из вагона — и только пятки за-сверкали.

— И обежали кругом состава босиком? — удивились мы.

— Обежал, — вздохнул старик. — Только уж мне было не до хлеба. Правая ступня будто снег побелела, а боли... рыком на весь вагон кричал. Терли и снегом, и шапкой овчинной, да не оттерли. А потом больница... а потом вот... — Ковча вынул из сапога культю. — Ступню-то в больнице и оттяпали. Вот и вторая моя тропинка за Жар-птицей.

Старик встал, надел на руку корзинку и не торопясь пошел к деревне.

Мы долго сидели молча... Не подымая головы, Колька тихо прочитал из Некрасова:

...Трудно свой хлеб
Добывал человек...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Обычно мы завтракаем молча. И дело это серьезное. Аккуратности требует. И времени на завтрак у нас немного.

Сегодня все нарушилось.

— Какая счастливая Вера Сенина...— с горечью сказала мать.

— Чем она счастливая? — спросил отец, недовольный тем, что завтрак теперь пойдет без привычной тишины.

— Сашка ее в люди вышел.

Я фыркнул и поперхнулся картошкой.

— В какие такие особые люди? — спросил отец. — А мы здесь не люди, что ли?

— Люди людям рознь. И года нет, как парень уехал, а погляди — и оделся, и обулся, и отпуск дали. Опять же среди хороших людей живет, не то что в нашей дыре, — и начала торопливо с места на место ухватом переставлять чугунки в печке.

— Мясником работает Сашка, — говорю я. — Сколько раз тебе объяснять надо!

— А хоть бы и мясником, худо, что ли?

— А трактористом чем плохо?

— Мясником, да в городе, — настаивает на своем мать.

Чем бы кончился разговор, не знаю, но тут, легок на помине, Сашка пришел.

— А, Саша! — приветливо встретил его отец. — Проходи, проходи, садись-ка с нами завтракать.

— Спасибо, не хочу, — отказался Сашка.

— Рассказывай, как там в городе поживаешь. Чай, отвык от деревни-то?

— Нет, дядя Игнат, не отвык.

— Ну, а к городу привык небось?

— И к городу не привык!

— Молодец, что душой не кривишь.

— А чего мне кривить? Сам в городе, а душа в деревне. И это у всех так первое время.

— По-моему, к хорошей жизни привыкать просто, — недо-

вольная Сашкиным ответом, говорит мать.— Живи, да и только.

— Не хлебом единым сыт человек, мать,— возразил отец.— Другой с воды на квас будет перебиваться, а попробуй-ка скосырни его с родного места. Да зачем далеко ходить, возьми, к примеру, нашего председателя Ивана Афанасьевича. В Ленинграде человек жил, квартиру отдельную на Невском имел, а ни куда-нибудь, к себе в Озерки по зову партии поднимать сельское хозяйство приехал. Думаешь, под Ленинградом ему не дали бы колхоз или совхоз?

Мы с Сашкой не стали слушать этой перебранки и ушли.

По меже через поле спустились к реке. Солнце режет глаза и золотит воду. Над быстрым камнем всплескивают вихрастые буруны. Скоро камень и сам покажется.

Перевозчик набрал полную лодку ребят и оттолкнулся от берега. Визжат, смеются, кричат, а через полчаса прозвенит звонок, и все будут тихо сидеть за партами. Вот так, десять весен подряд, на этой же лодке и я спешил на урок. Когда с охотой, когда без охоты, но спешил. И, кажется теперь, не было лучше этой заботы...

Глянул на Сашку, он тоже смотрит на переезжающих через реку ребят, на школу, что красуется на пригорке. Наверно, вспомнил свои весны.

— Уезжаешь? — спросил я Сашку.

— Сегодня.

— Надоело?

— Отпуск кончается.

— С охотой едешь?

— Мать жалко, одна остается.

— Что ты ни на один вопрос прямо ответить не можешь? — не выдержал я.— А все как-то боком, боком...

— А вы прямо со мной разговаривали? За две недели слова от всех вас хорошего не услышал, будто провинился в чем.

— Чего напился и в клуб пьяный пришел?

— Не так-то уж и напился, но была причина,— потушился Сашка.

— Причина? — удивился я.

— Да, причина! — Сашка уставился на меня влажными

глазами.— Восемнадцать лет в тот день исполнилось, как похоронную на отца получили... Поминки были...

— Саша! Саша! Обожди! — кричал я, но Саша, не оборачиваясь, бежал по тропинке к своему дому...

Сашка уехал, не попрощавшись с нами. Такая досада. А в чем он виноват? В том, что уехал в город? Так ведь это его личное дело, и нас силой никто не удерживал. Может быть, мы в этом виноваты больше, чем Сашка.

Когда он поехал сдавать экзамены в ветеринарный институт, мы, вместо того чтобы пожелать ему удачи, кричали:

«Трудностей испугался! Работать не хочется! Легкого хлеба захотел!»

А что в этом плохого? Одним ученым человеком стало бы больше в нашем колхозе. Я и сам не хочу ставить точку на десяти классах. Да и все наши ребята собираются дальше учиться. Только каждый по-своему. Не прошел Сашка по конкурсу — без производственного-то стажа не так просто — и приехал бы домой. А после тех проводов, какие мы ему устроили, не то что мясником, дворником пойдешь работать, а домой не вернешься. Опять же выпил Сашка, а мы только и сделали, что из клуба вытолкали. Подумаешь, героизм проявили. Стыдно. Самому себя стыдно...

Пошел к Ивану Афанасьевичу и все, что думал, выпалил ему.

— Жизнь очень сложная штука, — выслушав меня, говорит председатель. — Порой не так просто и разобраться, кто прав, кто виноват. А самое главное, она, эта жизнь-то, один раз человеку дается. Правильно Николай Островский писал. Если б сначала жизнь начинать, сколько бы ошибок избежать можно.

— И вы ошибались? — удивился я.

— А ты как думал? Ошибался, Вася! Недаром говорят: «Жизнь прожить — не поле перейти». А с Сашей я говорил, приходил ко мне. Славный парень. Настойчивый. В колхоз вернется не иначе как ветеринарным врачом. Это хорошо. Свой ветврач! Ведь что получается: один зоотехник уехал, другой сбежал, свой не сбежит. А Сенин говорил, что и сейчас тоскует по деревне. Может, и остался бы, не поехал в город, но тут вроде и вы виноваты.



— Жизнь очень сложная штука,— выслушав меня,
говорит председатель,

— Конечно, виноваты,— подтвердил я.— Теперь сам понимаю; что сами думаем и делаем, то считаем правильно. А что другие — понять не умеем.

— Ну, вот видишь, и вы ошиблись,— усмехнулся Иван Афанасьевич. А потом как пошел рассказывать, и передо мной картина за картиной...

Вот вижу я, как наши колхозники, а впереди мы, комсомольцы, взбираемся на крутой, будто гора, вал. Тяжело, не у всех хватает сил. Кто-то падает. Другие подхватывают этого падающего и тащат за собой. Крик, стон, песни... Опять падают: один, другой, третий. И снова их подхватывают, ведут всё выше и выше...

Загорелые, в поту, усталые, но веселые, мы наконец на вершине этого вала. А с вершины как на ладони: разлилась перекрытая, усмиренная Уржурга, на берегу у плотины небольшое здание электростанции, новые столбы друг за другом бегут от станции во все наши деревни. Бойко шумит шилорама и веером белых тесин выбрасывает из-под себя только что поданное ей бревно. Растут штабеля медом пахнущего теса. По канатной дороге к скотному двору груженные силосом и торфом, точно по щучьему велению, катятся вагонетки. Работает насос, и чистая студеная вода Уржурги заполняет поилки.

На плотине — сам колдун Шурка, то ли он инженер, то ли механик, и любит свою работу, осклабив в улыбке белые зубы. Стоит Шурке выключить рубильник — и смолкнет шилорама, остановится канатная дорога, утихнет насос. Вот какой колдун Шурка...

Я опять закрываю глаза и вижу, как мы все взбираемся на новый, еще более крутой вал. Впереди Тоня, Коля.

И будто слышу голос Тони:

«Вася, не отставай!»

«Этого еще не хватало», — думаю я и, собрав силы, обгоняю и Тоню и Колю и первым взбираюсь на вершину.

И отсюда опять как на ладони: в пойме реки пасется лоснящееся на солнце бесчисленное стадо коров ярославской породы, на бугре ведут о чем-то жаркий спор Саша Сенин и Нина. То ли они ветврачи, то ли зоотехники. Плесы Уржурги битком набиты белыми как снег стаями уток, а среди них пробивается на челне

Ковча и разносит их в пух и прах за то, что не дают старику выбраться на берег. На Куземкине наливается рожь.

Я иду этой рожью, медовый запах щекочет ноздри, вливается в грудь. Колосья бьют меня по лицу и липнут к щекам. Я срываю отяжелевший колос с медовыми каплями по нижнему краю, обсасываю мед и кричу на весь мир:

«На нашем поле медвяные росы!..»

— И это все должны мы сделать сами?

— А кто же за нас будет делать? Конечно, сами.

— Тяжело, Иван Афанасьевич,— вздохнул я.

— Нелегко,— подтверждает председатель.— А разве Советскую власть легко было установить? А фашизм разгромить легко? А целину поднять?.. К коммунизму нет легких дорог, Вася! — Иван Афанасьевич помолчал, а потом, двинув усами и хлопнув меня по плечу, добавил: — И обходных путей нет. Только вперед! Понял? Не жалея сил, вперед и вперед! Так испокон веков в наших Озерках было. Велики ли Озерки? Всего тридцать восемь дворов, а сколько героев дали!

— Героев? — удивился я, потому как знаю, что никаких героев нет в наших Озерках.

Иван Афанасьевич не менее удивленно посмотрел на меня и сказал:

— Приходите-ка вечером ко мне...

II

Хороши северные вечера в конце апреля, когда холодком тянет из хвойного леса, где еще в крепях лежит плотный ноздреватый снег, а полуоттаявшая земля полей, лугов и чащ, опьяненная за день весной, укрывается на ночь прозрачным голубоватым туманом; когда скопищами хлопотавшие от зари до зари крикливые грачи тихо сидят около своих гнезд на плакучих берегах, а неутомонные скворцы, то скроясь в скворечне, то опять взлетев на крышу своего домика, никак не могут смириться, что кончается день, и поют, и поют; когда от скотных дворов особенно веет парным молоком и навозом, а от конюшни — лошади-

ным потом и сбруей; когда где-то вдали тарахтит трактор или гудит мотор самосвала, а из-за реки, прорезав тишину, доносятся:

«Пе-ре-ве-зи-те-е... за ре-ку-у!..»

Когда солнце, не желая расставаться с нами, все еще цепляется красными пальцами за край земли, а серпик молодого месяца, смеясь, висит над темным притихшим лесом; когда отец и мать стоят на крыльце, опершись о перила, ведут тихий разговор, будто боясь нарушить вечернюю тишину, а у клуба на пригорке Шурка разведет мехи гармони и зазвонят песни девушек, тогда у меня распирает грудь какой-то непоборимой силой жизни. Хочется взять в объятия наши леса, поля, луга, шумящую Уржургу и даже нашего пса Серко и никогда не расставаться с ними. Хочется кричать на весь мир что-то хорошее...

— Шур-ка!.. Коль-ка!.. То-ня!..

— Ни-на-а! — кричу я. — Иван Афанасьевич зовет.

— ...По вашему приказанию прибыли, Иван Афанасьевич, — докладывает Колька, приложив руку к вихрастой голове.

— Устава не знаешь, товарищ Махов, — замечает Иван Афанасьевич. — К пустой голове руку не прикладывают.

— Какой ты нескладный, Колька, — смеется Матвей Александрович, — опять опростоволосился. Что с тобой делать, ума не приложу.

В пальто нараспашку, в серой фетровой шляпе, чисто выбритый, в белой рубашке, опираясь на трость, расплывшись в улыбке, подошел Александр Владимирович.

— Напрасно вы это сделали, — говорит Иван Афанасьевич, пожимая руку учителю. — Надо было еще лежать, гипертония покоя требует.

— Никакого самоуправства, — смеется учитель. — Тоня решила. Она сказала интересную вещь: «Не страшна болезнь, а страшно, когда человек в болезнь уходит». Так, что ли, Тоня?

Тоня покраснела и прикусила нижнюю губу. Все обернулись в ее сторону.

— А я хочу не уйти в болезнь, а выйти из болезни, — продолжал Александр Владимирович, здороваясь с каждым из нас за руку.

— Зачем собрали? — толкнул меня Шурка в бок.

— Прорабатывать, наверно, — фыркнул Борька.

«Что они замышляют, — подумал я, — на ночь глядя? Опять говорить о том, что дня через два-три выезжать в поле, так это мы уже не раз слышали, а кроме того, Иван Афанасьевич не любит много раз повторять одно и то же, да и по пятам за каждым не ходит. Понял, ну и делай, а как будешь делать, это твое дело».

— Дай-ка, Шурка.

Иван Афанасьевич взял у изумленного Шурки гармонь. И я удивился: зачем ему понадобилась гармонь?

— Стариной тряхнем, что ли, — добавил он, присаживаясь на ступеньку крыльца.

Гармонь в руках Ивана Афанасьевича раза два вздохнула, а потом перенесла нас туда, где мы никогда не бывали. Гармонь не играла, не пела, гармонь тихо и задумчиво рассказывала:

...Соловьи, соловьи,
Не тревожьте солдат...

Шурка сдвинул на лоб фуражку, покраснел. Своя гармонь Шурке показалась чужой и более послушной. Девчата раскрыли глаза и, не выдержав, подхватили:

Пусть солдаты немного поспят...

Иван Афанасьевич играет, а сам где-то далеко-далеко. Может быть, он перенесся в тот далекий прифронтовой лес, к танкистам-однополчанам, может быть, вспоминает и не может вспомнить всех тех, которые не вернулись после боя. А сколько было боев, сколько не вернулось! Матвей Александрович тоже своими думами ушел куда-то, нервно передернул плечами. Может быть, он сейчас на Днепровской переправе и опять ощутил жгучую боль в животе и ноге после пулеметной очереди. Александр Владимирович влажными растерянными глазами то посмотрит на школу, то на Крутой ручей: он до сих пор не может смириться с мыслью, что его два сына-танкиста сгорели в танке и горе свело Прасковью Васильевну к Крутому ручью...

— Ну, Шура, весели народ,— кончив играть, подал ему гармонь Иван Афанасьевич.

— Не забыл, не забыл! — восклицал Александр Владимирович.— Ох и позвенела твоя гармонь в свое время в нашей деревне!..

— Да уж просить не надо было, не ломался,— подтвердил Матвей Александрович.

— Молодость на то и молодость, правда, ребята? — обратился к нам председатель.— Пойте, гуляйте...

— Иван Афанасьевич,— обратилась к нему Тоня,— а правда, что вы были первый гармонист на весь район?

— Нет, Тоня, первым гармонистом у нас считался Иван Кузнецов. Куда мне до него было... Пал героем в эту войну.

— Это кто такой?.. Кто Иван Кузнецов?.. Из какой деревни? — начали мы спрашивать друг друга.

— Эх, ребята, ребята...— Иван Афанасьевич укоризненно посмотрел на нас, на своего заместителя, на учителя.— Плохо вы знаете свои Озерки. А ведь мы не Иваны не помянщиc родства.

Мы потупились: стыдно!

— Наша вина,— вздохнул Александр Владимирович.

— Чья же еще,— пожал плечами Матвей Александрович.

— Не будем разбирать, кто прав, кто виноват, а пройдемся из конца в конец деревни и помянем добрым словом наших героев. Ну, согласны?

III

Солнце спряталось за лес, но, не желая расставаться с нами, красными пальцами ухватилоcь за перистые облака, прибрежные луга начало затягивать прозрачным туманом. Где-то вдали тарахтел трактор и гудел самосвал. На плакучих берегах, около своих гнезд, сидели грачи и белыми клювами перебирали оттопыренные крылья. Прорезав тишину, из-за реки донеслось:

— Пе-ре-ве-зи-те-е!.. За ре-ку-у!..

— Вот где стоял до последней войны крайний дом нашей деревни,— начал рассказывать Иван Афанасьевич, когда мы остановились у небольшого пригорка с сухой прошлогодней крапивой.— Это остатки дворян героев Отечественной войны. Братья Кузнецовы здесь жили. Пять братьев, один к одному. Последний из них, младший, Иван, был первый гармонист на весь район. Все пятеро погибли на Ленинградском фронте, а старший из них, Василий,— даже с двумя сыновьями. Прикиньте, из одной семьи семь мужиков легли за землю нашу. Семь человек! Целиком вся под корень погибла семья Кузнецовых. За что? Чтобы стояла непокоренной Родина.

Несколько шагов, и опять пригорок с кучей битых кирпичей, торчащих из прошлогодней крапивы.

— А это дворяне братьев Марковых, героев гражданской войны. Афанасий и Михаил здесь жили. А их сыновья, Глеб и Изосим, в эту Отечественную тоже на Ленинградском фронте костыми легли.

Так от пригорка к пригорку, от дома к дому мы обошли Озерки. Многие узнали в этот вечер про нашу деревню, про людей наших.

Из тридцати восьми домов сорок пять мужиков ушли на фронт, а домой вернулись немногие.

«Вот так Озерки,— думал я.— Что ни дом, то и герой, а в каком и два и три героя. А гражданская война сколько народу унесла! А первая империалистическая? А русско-японская? А другие войны?.. Но пройдут годы, десятки, сотни лет, и не будет никаких войн, и люди с удивлением будут читать в книгах, что было время, когда народы миллионами уничтожали друг друга. И с гордостью будут повторять имя нашей страны, положившей конец всем войнам.

Поредели Озерки и людьми и домами, но опять в каждом порядке желтеют новые крыши изб, растут срубы на старых пепелищах...

Ночь. Где-то тарахтит трактор. Гудит самосвал. А из-за реки:

— Пе-ре-ве-зи-те-е... за ре-ку-у!

Одернув гимнастерку, ушел Иван Афанасьевич, ушли учитель и Матвей Александрович. Мы сели на бревна возле дома

тетки Марфы. Это первый дом, который мы, комсомольцы, сами построили для матери героя, старшины Максима Митрохина. Шурка одной рукой перебрал по клавишам гармонии, и гармонь тихо выговорила:

...Здесь живет семья
Российского солдата,
Грудью защитившего страну...

— Черт те что получается, — нарушила молчание Тоня. — Вот уж действительно Иваны не помнящие родства. Скоро сами себя и то забудем. Как-то нашла на чердаке старое «Поиминание», так там почти весь наш род вписан: и новорожденные, и новопреставленные, и убиенный воин Артем — это прадедушка наш, и какой-то утопший Авраам...

Борька засмеялся.

— Чего скалишь зубы? — Тоня уставилась на Борьку. — А что в этом плохого? Душа у стариков была шире да сердце больше. О наших людях книги надо писать... да вот некому...

— А ты возьми и напиши! — опять хмыкнул Борька.

— И напишу... Ты чего смеешься, я тебя спрашиваю?

— Я так. Имя больно смешное — Ав-ра-ам!

— Имен смешных нет, — рассердилась Тоня. — Теперь с именами лучше, что ли? Вокруг трех-четырех имен все пляшут: сплошные Юры да Вовы, Жени да Светланы, а где Федоры, Глебы, Тарасы, Трофимы, Марфы, Матрены, Акулины, Аграфены?..

— А ты назовешь своих детей так?

— Назову, будь спокоен. Сына Глебом назову, а дочку — Марфой.

И я подумал, что сына ее будут звать Глебом Николаевичем, а дочь Марфой Николаевной. Поглядел на Николая А у того глаза какие-то и теплые и гордые стали.

Разговор снова вернулся к нашим героям.

— Давайте в нашем клубе поставим мемориальную доску, — предложил Николай. — Сделаем ее большую, красивую. Вверху надпись золотыми буквами: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».

А потом всех наших погибших земляков впишем тоже золотыми буквами.

— А разрешат? — спросил Шурка.

— А у кого нам спрашивать? Кто такое запретить может? — сказала Тоня.

И мне почему-то подумалось, что это предложение они с Николаем обдумали вместе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Проснулся от громкого крика. Гляжу — с кровати соскочил отец и метнулся на кухню. Я тоже соскочил с кровати и побежал за ним. У дежки с тестом испуганно кричала мать.

— Что с тобой? — спросил отец.

— Испугалась я!..

— Чего можно в доме бояться?

— Рыб испугалась.

— Каких рыб?

— А вон глянь в дежку!

Вместе с отцом и я глянул в дежку. Там, на тесте, били хвостами, подпрыгивали краснолазые, красноперые плотицы.

— Твоя работа? — прозно спросил отец, готовый, казалось, дать мне взбучку.

— Моя, — сознался я. — Вчера принес. Пустил в кадуюшку с водой, а сказать забыл.

— Вот, вот, — стала досказывать мать. — Зачерпнула ковшиком воды из бочки — и в дежку. А они вдруг как заплещутся... Ох, господи...

На работу пошел расстроенный. Жалко, мать встревожил. Давно не вставал так рано, а хорошо. На небе ни облачка, ветерок не колыхнет, солнце, наверно, обрадовалось, что кончилась ночь, и, приподнявшись на цыпочки, из-за леса красным глазом заглянуло в нашу округу. На реке местами схватываются жидкие полосы тумана и тут же исчезают, на моих

глазах тает тонкий узорчатый лед на лужах, скворцы на скворечнях на разные голоса славят весну. По просохшей, чуть схваченной за ночь морозом тропинке иду к гаражу. Впереди меня — Серко с закинутой на спину баранкой и вываленным на сторону языком, бежит-бежит, оглянется на меня — и опять вперед.

Прихожу в гараж, а там уже и Колька, и Шурка, и Боря.

— Значит, так, товарищи механизаторы, — заявляет довольный, раскрасневшийся Колька, — даю последний инструктаж: петлю троса накидываем на «слопенка», я даю газ — и р-раз его на «сковородку», а на «сковородке» в реку и, как говорят, концы в воду. Расправимся со «слонями», «за слонов» возьмемся. Чтоб не краснеть нам перед отцами, дедами и прадедами нашими, которые топором да пилой, гляньте, какую округу у тайги отхватили, а нам с такой техникой... Да не будем мы озерскими, если не расчистим путь на Куземкино!

— Расчистим! — так же торжественно, в тон бригадиру, заявили мы. — Расчистим, душа из нас вон...

— По ма-ши-нам, орлы! — подал команду Колька и захохотал, а за ним и мы под хохот и лязг гусениц на двух тракторах двинулись на Куземкино...

Колька готовится в армию и поэтому при каждом удобном случае командует. Он еще в прошлом году должен был идти на службу, но по болезни дали отсрочку на год. Фронтит у Кольки. Целый год его лечила Тоня, и теперь Колька говорит, что никакого фронтита у него нет и он здоров как бык.

— Внимание! — опять командует Колька. — Приближаемся к полю боя...

И через открытый отвод мы въехали на Куземкино. Колька круто развернул трактор и остановил машину у громадного валуна.

Мне на минуту показалось, что эта каменная глыба ожила и упрямо уставилась на нас крутым, тупым лбом и еще крепче вросла в землю.

— У-ю-ю, сколько их тут! — удивился Шурка, будто впервые увидел эти камни. — Тут и за год не уберешь...

— В августе рожь будем сеять, — уверенно, как отрубил, сказал бригадир. — Приготовить агрегат.

Мы распутываем трос, снимаем с трактора «сковородку» — тяжелый, полсантиметровой толщины лист железа.

— Молодцы! — Колька обходит вокруг камень. — С него и начнем, — и похлопал по замшелому лбу «слопенка»...

Из-за ольшаника, будто из земли, вырос Матвей Александрович. Мы удивились и вразнобой:

— Здра... Здра... Здра... Матвей Александрович!

— Здравствуйте, — не глядя на нас, неохотно ответил заместитель и, помолчав, спросил: — Опять спектакль?

— Что, что? — не поняли мы.

— Опять спектакль собираетесь ставить? — зло блеснув глазами, переспросил Камушкин. — Что-то больно часто. Спектакль за спектаклем. На Шумихе «Тимура и его команду» сыграли, а здесь, на Куземкине, комедию, что ли, играть решили?..

От Камушкина сильно пахло самогоном. Он нетвердо держался на ногах.

Наш бригадир побелел от обиды... Сурово нахмурился Шурка. Я вспомнил наш разговор в лесу и не сдержал себя:

— Сидели бы вы лучше у шинкарки, допивали бы свои стопки. Какой сейчас от вас тут прок?

— Что такое? — по-начальнически грозно спросил Камушкин. — Как вы смеете! Я при исполнении служебных обязанностей!

— Мы тоже при исполнении своих трудовых обязанностей, — сквозь зубы сказал Николай. — При исполнении обязанностей не перед вами, а перед колхозниками, перед государством, перед своей совестью. А вы свои обязанности выполняйте в трезвом виде. Во хмелю какое там исполнение!

Это было уже второе наше активное выступление против Камушкина.

Привыкший в течение многих лет беспрекословно управлять всеми людьми колхоза, Камушкин от Колькиной реплики как-то весь передернулся, скривился, вытаращил глаза и, теряя самообладание, закричал:

— Молокососы! Меня учить! Неделя до посевной осталась, а вы машины хотите угробить! На чем же пахать будем?

Чем бы кончилось, не знаю. К счастью, председатель колхоза пришел.



— Чего шумите ни свет ни заря? — спросил он, забыв поздороваться.

— Да вот... — передернул плечами Камушкин. — Два дня до пашни, а они... Без тракторов оставят. И ты их поощряешь!

— Накликаешь ты беду в каждом деле на нас, Матвей Александрович, — хмурясь, сказал Иван Афанасьевич. — А она не слушается тебя, не приходит.

— Дело ваше! Я предупредил, а теперь как знаете, так и делайте.

— «Предупредил»! — процедил сквозь зубы Иван Афанасьевич. — Им не предупреждение, им поддержка нужна. Куземкино поле надо засеять этой весной. Нельзя ни дня давать гулять такой земле... «Предупредил»!..

Колька, забыв о Камушкине, подмигнул нам и почесал затылок:

— «Мой старый приказ отменяется. Не осенью засеивать Куземкино поле, а этой весной».

— Приступайте, ребята, — блеснув задумчивыми глазами, сказал Иван Афанасьевич.

Камушкин, красный от обиды, сердито отошел далеко в сторону.

Мы с Шуркой накинули петлю троса на каменную глыбу, укрепили конец за кольцо серьги.

— Готово? — спрашивает Колька сквозь гул мотора.

— Готово, давай трогай!

— Отойдите подальше, — предупредил Иван Афанасьевич. — Оборвись трос, и насмерть захлестнуть может.

Мы расступились в разные стороны.

— Трогай! — приказал Шурка.

Колька включил скорость. Две струи черной земли, как из брандспойта, полетели из-под гусениц и залепили крутой лоб глыбы. Трос натянулся как струна. Трактор осел в оттаявшую землю.

— Газ! Газ давай! — все командовал Шурка. — Газ!..

Колька прибавил газ. Густой сизый дым вырвался из-под трактора. Что-то просвистело около моего уха и шлепнулось сзади меня. Трактор рванулся вперед и, будто споткнувшись, заглох.

— Стой! Стой! Трос оборвался!..

Бригадир не слышал нас и все еще давал газ. Но не волен был Колька сдвинуть с места машину.

— Коленчатый вал полетел, — будто приговор объявил председатель колхоза, осмотрев трактор.

— Дойгались! Арти-исты! Я предупреждал, — злорадствуя, сказал Камушкин.

II

С самого утра из района в колхоз звонок за звонком.

— Посевную срываете!..

— Кто разрешил?!

— Привлечь к ответственности!..

— В РТС нет запасных частей, как хотите, так и делайте...

А тут еще в бригаде настоящий раскол. Шурка сказал: «Ну вас к лешему с этой затеей», его ноги больше не будет на Ку-

земкипе. По колхозу пустили слух, что Кольку с бригадиров снимут.

Вот какая кутерьма! А через неделю землю пахать надо...

Иван Афанасьевич осмотрел вал и сказал, что, скорее всего, это заводской брак. И еще сказал, что он говорил по телефону с инженером РТС. Тот посоветовал доставить вал к ним на станцию, а там они что-либо придумают.

А как доставить? Сейчас ни на машине, ни на тракторе, ни на подводе ехать нельзя — дороги раскисли.

— Понесем на себе, — предложил я Кольке.

— Это ж почти пятьдесят километров, — сказал он неуверенно.

— Будто не ходили мы туда.

— То было налегке, по сухой дороге. А тут еще вал. Не игрушка ведь. В нем сколько весу!

Все же доложили председателю колхоза. Он тоже и о расстоянии напомнил и о тяжести вала.

— Не так уж тяжелый. — Борис взвалил на плечо вал. Прошел немного, вернулся и легонько опустил вал на землю.

— Нести можно! — сказал сделавший то же самое Колька.

Попробовал и я. Поднял на плечо вал и пошатнулся. Вал мне показался очень тяжелым. Много ли с ним пройдешь! Но идти надо. И я сказал, как все:

— Донесем...

— Ладно, — согласился председатель колхоза. — Идите! Но чтобы завтра к вечеру тут были... Шуру возьмите. Он сильнее вас.

В домах начался переполох:

— По такой грязи налегке и то не дойдешь, а тут с такой ношей...

— Да кто это выдумал?..

— Плечи до костей сотрете...

Моя мать тоже:

— Говорю, в город уезжать надо. Не для того учился, чтобы железо на себе таскать. Ломай кости-то смолоду, что под старость делать будешь... Поневоле вспомнишь Сашу Сенина...

И пошла, и пошла. Ходит по избе сердитая и растерянная. И все свое:



Вот так прогулочка! Все в грязи с ног до головы.

— Кто поумней, в город стремится. А ты что — дурней всех?

— В город уехать ума не много надо,— вмешался отец.— Взял билет и поезжай. А вот хлеб вырастить на Куземкином поле — одной шапки мало. Тут голова еще нужна. Да и не какая-нибудь. А просторная. Не сбивай его с толку. Ничего с ним не сделается — крепче будет...

Хотели идти прямо через лес, где летом пешком ходят. Километров на двадцать этот путь короче, но Ковча рассоветовал:

— На пути два ручья сейчас там разлились, что ни плыть, ни ехать.

Пошли по большой дороге, на ней хоть мосты есть. Под утро дошли-таки до РТС. Она на замке. Еще рано. Вот так прогулочка! Все в грязи, с ног до головы. А устали — действительно ни рукой, ни ногой не шевельнуть. Вскрабкались на крыльцо и будто подкошенные — вповалку. У меня сразу сами закрылись глаза, пробовал раскрыть — ничего не получилось, хотел что-то сказать, но не мог пошевелить языком и будто провалился куда-то...

Проснулся я, когда уже солнце успело обсушить иней на крышах. Редкие из них, что постарее, курились легким паром. Да, собственно, и не проснулся, а растрясли меня Колька и Шурка под смех собравшихся около нас рабочих РТС.

— А, нарушители! Здравствуйте! Ну как спалось на нашей перине? — обратился к нам инженер РТС Петр Петрович, высокий, стройный мужчина в синем комбинезоне со сдержанной улыбкой на лице.— Который из вас главный зачинщик?

— Я,— нерешительно ответил Колька и опустил глаза.

— Вот ты какой! Значит, решил покончить с остатками ледникового периода.

— Мы все решили, не я один,— ответил Колька.

— И свернули шею трактору.

Колька молчит. И мы молчим...

— Вот что, нарушители,— улыбнулся Петр Петрович,— отнесите вал в цех, а сами приведите себя в порядок, сходите в чайную перекусите. Через час приходите ко мне. Деньги есть?

— Есть,— ответили мы.

— Ну, ступайте...

Почистили одежду, сапоги, умылись, и стало легче. А когда позавтракали и выпили горячего чаю, усталость вовсе пропала.

В РТС дали нам новый коленчатый вал.

— Счастье, что заводской брак в вашем валу был,— заявил Петр Петрович.— А то бы не поздоровилось вам... А насчет камней — не лучше ли их бульдозером выковыривать из земли, а?

— Конечно, лучше,— ответили мы.

— Денька через два-три просохнет дорога, и я к вам с бульдозером подскочу. Ждите.

Опять хотели впрягаться с этой непомерно тяжелой ношей в обратный путь, но тут выручил Борька.

— Не будь я рыбак-охотник, чтоб лодку не раздобыл, раз река Уржурга под боком,— заявил Борька.— Сядем в лодку — и вниз по течению, и к вечеру дома как пить дать.

Мы переглянулись: действительно, чего еще лучше...

— С кем беды не бывает,— рассудил незнакомый нам охотник Захар, выслушав нашу просьбу, и толкнул лодку на воду.— Только на порогах поосторожней, не перевернуло бы.

Мы погрузили свой драгоценный груз, сели в лодку и оттолкнулись от берега. Бойкая мутная струя еще не вошедшей в берега реки подхватила нас и понесла, только берега замелькали...

Борька на корме с рулевым веслом. Мы с Колькой небрежно развалились в лодке и весь путь горланили песни. Нам ли бояться порогов — с пеленок на воде...

Под вечер причалили к берегу в Озерках...

III

Сегодня опять получил письмо от Лили. Вскрывать не хочется — стыдно. В прошлый раз смалодушничал, разорвал письмо, не дочитав. Что теперь ей ответчу?

А все же Лилия есть Лилия. Не выходит она из головы у меня. Почему — и сам не пойму. То вижу ее голубые смеющиеся гла-

за, то русые завитки волос, то как она перебегает через улицу с портфелем в руках, а иногда даже слышу ее смех в девичьей толпе. Может быть, я люблю ее?..

Вынул письмо из конверта и, еще не читая, покраснел как рак. Конечно, я самого себя не видел, но чувствовал, как кровь хлынула к лицу, а когда кровь хлынет к лицу, любой человек становится что рак в печке.

Вот что писала Лиля:

«Здравствуй, Вася!

Ждала, ждала от тебя ответа на мое письмо, но ты как в воду канул. Может быть, ты не получил письмо или я тебя чем обидела, но в письме не было ни одного плохого слова, не то что еще чего. Я живу по-прежнему, как говорится, «грызу грапит науки». Времени свободного очень мало, и жду не дождусь, когда будут летние каникулы, чтобы скорее попасть в наши Озерки. Вот уж действительно красота земная наши Озерки. Большинство студентов из нашей группы собираются ехать во время каникул в Крым, на Кавказ, а я в Озерки. Они даже смеются надо мной, а я считаю, что ничего в этом смешного нет.

Я как-то сказала: «Если б вы знали, какие у нас в Озерках медвяные росы бывают, в поле ли, в рощах березовых, что дух захватывает и голова кругом ходит от этих рос», но они тоже на смех меня подняли.

А Генка, о котором я тебе писала, даже посмотрел на меня свысока и говорит: «Не медвяные, а медвежьи, наверно, от слова «медведь», а не «медвять». После этого я даже разговаривать с ним перестала...»

«Жаль, что меня там нет,— подумал я,— я бы тебе посмотрел на Лилю свысока!»

«...Большинство наших ребят и девчат — это хорошие, простые люди, но есть несколько типчиков: «маменькиных дочек» и «папиных сынков», таких, которые думают, что булки на деревьях растут. Это бы ничего, пусть себе думают что угодно, но они считают себя «цветом общества», вот это обидно...»

«С жиру бесятся,— подумал я,— не покормить бы недельку — другие бы песни запели! Слизняки, а ведь вот в институте, а Сашка в мясниках».

«...Напиши, ставите ли спектакли. Я до сих пор помню, как ты Любима Торцова играл. «Дорогу! Любим Торцов идет!» — говорил ты, и тебе это очень шло...»

Я покраснел, и в жар бросило. Как же мог я разорвать то письмо Лили!..

«...У вас теперь весна, и вы, наверно, каждый вечер на берегу реки. Очень хочется, хотя бы на денек, заглянуть к вам. Напиши обо всем, обо всем, что делается в Озерках. Про девчат и ребят наших все напиши. На этом кончаю письмо. Надо заниматься. Завтра зачет по анатомии, а это сплошная зубрежка: не вызубришь — не сдашь. Целыми вечерами сижу и твержу: мускулюс стерно-клейдо-мастоидеус, мускулюс плятиссимус дорзи, мускулюс сарториус, мускулюс солиус... а пх, этих мышц, не десятки, а сотни, вот и попробуй все упомянуть.

До свидания. Жду ответ. Лилия».

«Вот тебе и плятиссимус дорзи,— думал я, дочитав письмо,— какой я дурак».

Умылся и сел к столу писать письмо Лиле.

Взял бумагу, ручку, а как начать письмо — не знаю. Хотелось бы написать: «Здравствуй, моя дорогая, самая хорошая на свете Лилия». И еще хотелось бы написать: «Скучно мне без тебя, Лилия...» Или еще: «Я люблю тебя, Лилия, понимаешь, люблю...» Но тут я так покраснел, что мать спросила:

— Заболел, что ли, что тебя так в жар бросает?..

А может быть, написать так:

«Привет из Озерков.

Лилия! Тысячу раз прости, что задержался с ответом. А почему не писал — и сам не знаю. Вот сегодня, вот завтра, а время летит. Не потому не хотел писать, что лень или времени не было, а просто сам не знаю почему. Честно говоря, я бы тебе писал каждый день письма. Но вот, как говорит Ковча, получилась какая-то закавыка... и я задержался с ответом.

Но об этой закавыке расскажу тебе, когда приедешь.

Тебе запомнился спектакль «Бедность не порок», а я никак не могу забыть наш выпускной вечер. Помнишь, как мы с тобой простояли на лавах до самого утра? Под нами шумела неутомимая, беспокойная Уржурга, а мы мечтали. Ты была в белом легком платье, и, когда от реки начал подыматься туман, я наки-

пул тебе на плечи свой пиджак и ты сказала: «Хорошо бы всегда так, как станет холодно, чтобы кто-нибудь подошел и накинул на плечи пиджак...»

С тех пор прошел год. Много воды утекло в Уржурге, но когда ты приедешь, то мы опять пойдем на реку и будем стоять на лавах до утра, а как будет подыматься туман, я накину тебе на плечи пиджак».

И еще разные варианты придумывал, а написал вот как:
«Здравствуй, Лиля!

Прости, что задержался с ответом, но у нас тут такая кутерьма, что тоже времени в обрез. Сейчас весна, а знаешь, как приходит весна в деревне, кажется, и зиму не лежали на печке, а все работы свалились на весну. О работах я тебе писать не буду — приедешь, увидишь сама, что мы тут натворили. Мы тоже «грызем гранит», да так, что на этом граните на днях трактору шею свернули. Еле выпутались из этой катавасии. Однако об одном деле не могу умолчать. Я тебе писал, что мы дом строили для семьи Митрохиных, так вот этот дом построили. Понимаешь, Лиля, сами мы, комсомольцы, построили дом. Правда, Ковча был вроде прораба, но больше ни одного мужика не допустили до этой работы. Теперь это самый красивый дом в нашем колхозе. Стоит будто фонарик, тремя окнами на реку. Может быть, он нам кажется самым красивым потому, что мы его строили. Это вполне возможно. Но кто ни проходит мимо, обязательно остановится и посмотрит на дом.

А когда Колька прибил последнюю тесину на крыше дома и, стоя на коньке, запел:

...Здесь будет жить семья
Российского солдата,
Грудью защитившего страну,—

то бабка Марфа, мать старшины, обхватила угол дома, прижалась к нему морщинистой щекой и ну причитать... А потом кинулась нас обнимать, приговаривая: «Деточки мои... не оставили старуху... Ему-то, моему Максиму, теперь легче будет лежать в сырой земле на чужой сторонке... Деточки мои...»

На что у Кольки крепкие нервы и то кулаком глаза начал вытирать.

Теперь каждый вечер приходим мы к своему дому, посидим на бревнах, посумерничаем, а то спляшем или песни попоем.

Приедешь — посмотришь, какой мы дом отгрохали.

Спектакли мы ставим. Тем более, что у нас теперь свой драматург — Оля. Сейчас она заканчивает пьесу в трех действиях из нашей жизни. Летом будем ставить. Вот будет смеху. Я читал первое действие. Собственно, в ней и смех и горе. Оля мечтает поступить на литературный факультет университета, Александр Владимирович тоже советует Оле туда поступать. А вот Нинка хочет быть только зоотехником. Она говорит, что теперь ее с коровами водой не разольешь.

Колька готовится в армию. Тоня вылечила его фронтит, и он говорит, что теперь пройдет без сучка и задоринки. Танкистом хочет быть Колька. Борька хочет быть или агрономом, или лесничим, ни о чем другом и слушать не хочет. А меня после курсов механизаторов что-то к технике потянуло.

Шурка на электричестве помешался. Систему зажигания машин знает не хуже любого инженера. Теперь нам хорошо: чуть что не ладится с зажиганием, только Шурке скажи — сделает. На днях при одной затее оборвался трос, и Шурку так хватило концом троса по плетиссимум дорзи, что с поля пришлось уйти.

Вот, пожалуй, и все. Пиши. Жду на каникулы. Все мы тебя ждем. Вася».

Хотел подписать письмо не просто «Вася», а «Механизатор колхоза «Вешние воды» В. Орлов», да постеснялся.

Запечатал письмо и спрятал в карман. Завтра опущу в почтовый ящик.

Пришел Борька. Я быстро переоделся, ружье на плечо, и пошли с ним на вальдшнепиную тягу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

...Я знаю... сол-ны-шко-о...
Оно све-тит... ясно...—

ворвалась любимая Шуркина мелодия к нам в открытое окно голосами гармошки, и из-за угла правления колхоза показалась наша «молодая гвардия»: Колька, Шурка, Борька, Тоня, Оля, Нина и еще много ребят и девчат, и куча ребятишек за ними.

— А разделись будто городские,— говорит мать, высунувшись в окно.

— Работают, вот и разделись,— замечает отец и тоже высунулся в окно.

Вчера мы закончили последние приготовления к посевной. Тракторы на ходу, сеялки, бороны в исправности. Семена добрые. Контрольные всходы в ящиках на подоконниках склонились зеленой щетиной к свету.

Сегодня воскресенье. Погуляем как полагается, а завтра в поле. От зари до зари, как говорит Колька. И за неделю не вспаханной земли клочка не увидишь.

Я быстро оделся, покрутился перед зеркалом — и за ребятами на реку.

Уржурга вошла в берега. Показался быстряной камень. На крутом берегу на припеке распустились желтые бутоны мать-и-мачехи, по-нашему «слепушки».

Я сорвал несколько слепушек и приколот к лацкану пиджака.

— Разлуку, разлуку прицепил! — закричала Нинка, увидев желтые цветы на моем пиджаке.

Шурка уселся на въезд гумна и, прильнув ухом к гармону, все играл свое «Солнышко».

А народу на берегу все больше и больше. Поприходили бабы, мужики, Ковча и тот пришел.

— Кадриль! Будем плясать кадриль! — объявил Борька.— Девушки, кадриль плясать!..

Кто-то кричал: «Фокстрот!», кто-то требовал польку, вальс, но мы взяли с Борькой верх — начали плясать кадриль.

Мне пришлось встать в паре с Нинкой. Оля напротив нас в паре с Борькой, Колька, конечно, с Тоней и еще одна пара. У нас кадрили пляшут в четыре пары.

Шурка заиграл кадрили. Оля первой сделала выход. Не торопясь, плавно пересекая круг, Оля запела шуточную частушку:

Заговаривал Петров
За одно полено дров...

Другие девушки подхватили:

Какая, к лешему, любовь
За одно полено дров...

И... закружились. Сначала пошли «креста», потом «повторы», потом «перебор»...

Девушки шли плавно, с небольшим приплясом, мы выделяли ногами всевозможные вензеля и даже вприсядку. Народу собралось тьма-тьмушая. Сделав дробь в «повторе», Колька запел:

И что это за деревня,
И что это за народ...

Мы подхватили:

Как увидят девку с парнем,
И глядят разинув рот.

— Ха-ха-ха,— заливаются бабы,— надо же так... окаянные...

В последнем «переборе», когда девушка и парень одной пары встали лицом друг к другу, гармонист перестал играть. Меня так в жар и бросило: надо целовать Нинку. Пока каждая пара не поцелуется, гармонист играть не будет. Я глянул умоляюще на Шурку, а он скалит зубы, и только...

После кадрили подошел ко мне Ковча и сказал, что в «переборе» удали должно быть больше.

Чтобы ходуном с ног до головы все ходило. До головы — во как! Орлом!..

Старик вскинул кверху бороду, ойкнул, ухватился за поясницу и поковылял домой.

До позднего вечера гудел берег Уржурги. Я спохватился и не нашел ни Кольки, ни Тони. Стал разыскивать Шурку, и тот куда-то исчез с Олей. Домой шел с Ниной, думая о Лиле.

II

Солнце и то, кажется, сегодня встало раньше. Пока я добежал до гаража, оно вышло из-за леса и будто удивилось, что мы еще не выехали в поле.

У гаража все в сборе. Тут и Иван Афанасьевич, и механизаторы, и полеводы.

— Ты чего опаздываешь? — шепнул мне Колька на ухо и ткнул меня кулаком в бок.

А сам чуть раньше меня прибежал. Я видел, как он через огороды напрямик махал к гаражу.

Хорошо, что мать меня разбудила, а то бы до обеда проспал, так вчера уходился на гулянке. Пришел домой, сел на диван и начал расшнуровывать ботинки, а больше ничего и не помню.

Мать утром растрясла меня и смеется:

— Отец, глянь-ко, гуляка-то наш один ботинок снял, а в другом так и уснул... наказание мое!

А Колька спрашивает: чего опоздал? Опоздаешь...

— Выезжайте, — сказал Иван Афанасьевич.

— По маши-нам! — командует Колька.

Загудели моторы, сизый дым окутал тракторы, и вслед за Колькой мы двинулись в поле...

Подъехали к полосе, а ей ни конца ни краю.

Колька на мгновение остановил трактор, приподнялся с сиденья и кричит, стараясь перекричать гул мотора:

— Выбелим железо о сырую землю... Орлы, не отставать!.. — и пошли...

Черные толстые ремни сочной земли соскальзывают с лемехов и блестящими змеями ложатся за тракторами... За нами гонятся, подлетывая, прожорливые грачи и кокетки трясогузки.

Колька с Шуркой на гусеничном тракторе. Мы с Борькой на «горбунках» (так у нас называют трактор «Беларусь»), нам отвели участок посуше, с супеском.

— Не отставать, орлы! — кричит Колька, когда поравняется с нами.

Мы с Борькой делаем круг, два, три... десять. Вспаханная полоса ширится и ширится...

Ушел с поля Иван Афанасьевич, ушел отец в свою бригаду, а мы пашем и пашем. Уже не слышно Колькиного голоса, но когда он поравняется с нами, то грозит нам кулаком. Это, наверно, значит: «Орлы, не отставать!»

С непривычки ломит руки, ломит во всем теле, но, как гляну на вспаханную мной полосу, радость заглушает боль, заглушает усталость, и все вперед и вперед...

Еле вытерпел до обеда, так устал. Баранка из рук стала выскакивать.

Сначала Колька поругал нас за огрехи, а потом эдак важно говорит:

— Молодцы, не ожидал, для начала лучшего и желать нельзя.

И начал дурачиться. Кости, говорит, поразомнем. Схватил меня и ну со мной бороться, а где мне с Колькой справиться. Хорошо, что Борька помог, и мы своего бригадира сразу на обе лопатки. Тут Шурка вмешался, схватил нас обоих с Борькой в охапку, нам и податься некуда — вот медведь так медведь!..

Смотрю — из оврага поднимаются наши девчата с корзинами и бидонами в руках, разоделись, что на праздник.

«Это еще зачем? — подумал я. — Их только здесь и не хватало».

А девчата действительно вышли из оврага и свернули к нам.

— С чего бы это? — удивились ребята.

— А мы просо сеяли, сеяли... — не доходя до нас, запела Нинка.

— А мы просо веяли, веяли... — подхватили остальные девчата.

— С горячими пирогами и с холодным молоком, — кричит Оля, — принимаете или нет? Отвечайте! А то домой повернем...

Колька выскочил вперед к девчатам:

Эх, девушки, подруженьки,
Пожалуйста, хозяйюшки...

Солнце льет тепло. Курится легким паром вспаханная земля. Белоносые грачи перелетают от одного трактора к другому

и недовольно кричат: «Почему стоят тракторы?» Трясогузки ныряют в пахоте. То тут, то там показываются их серые грудки в черных передниках.

Мы уселись на меже в кружок, уплетаем теплые пироги и запиваем холодным молоком...

«С этой земли, что сегодня впервые полил потом,— думаю я,— никакая сила не скovyрнет меня никогда».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Светлынь, а часы полночь показывают. Сижу у раскрытого окна, и передо мной весь мир наш. Сразу за палисадником, впереди дома, большая дорога, за дорогой поле, склоном к реке. За рекой опять поле, а за полем темная зубчатая опушка леса.

Напротив через дорогу скотный двор. Белые ночи сбили с толку коров. Высунувшись головами в широкие окна, коровы не торопясь жуют жвачку. На скотном дворе слышны голоса доярок. Нинка с Настей грузят бидоны молока на телегу. Настя ругается, что сегодня надоили молока больше на два бидона, придется ей, Насте, два раза ехать на маслозавод, отвозить молоко, а это далеко. В один конец три километра. Четыре конца. А спать когда?

Ворча, Настя влезла на телегу, ударила вожжей по спине косолапую гнедую кобылу «Ведьму», и покатилась подвода, скрипя колесами, на завод...

Доярки закрыли дверь скотного двора, подперли ее колом и, брэнча пустыми ведрами, пошли домой.

— И дался тебе этот Васька,— слышу голос Верки,— извелась вся. Что, парня другого нет, что ли? Мне почтальонша говорила, он с Лилькой переписывается...

Я захлопнул окно. Вот так история! Неужели Нина в меня влюбилась?

Проходя мимо нашего дома, все девчата уставились в окна, Нина прошла, не подняв головы.

Я опять открыл окно. С часу на час должна приехать Ляля. Буду ждать.

Подпираясь черемуховым батогом, с корзинкой на руке, не спеша идет Ковча.

В корзинке доверху какие-то грибы.

— Пастуха не видел, Митрич? — кричит отец старику, высунувшись в окно.

— А колосовиков набрал, — не расслышав, отвечает Ковча, — на вырубке за ручьем. Дня два еще подержатся...

— Везде успеет, — бросила мать и начала завешивать окна темными занавесками.

Где-то загудела машина.

«Ну вот и едет», — подумал я.

Машина ближе и ближе. Врывается в деревню, проходит мимо нашего дома. На машине ни одного пассажира, только ящики какие-то. За ней другая машина, тоже с каким-то грузом.

— Спать не дают, — ворчит мать, — всю ночь гудят и гудят.

От реки по меже поднимаются Иван Афанасьевич и агроном колхоза Андрей Андреевич. Андрей Андреевич тоже наш, деревенский. Политруком в армии служил. После демобилизации закончил Сельскохозяйственную академию и приехал работать в свой колхоз. Пока вместо Камушкина поставили.

В деревню вошел небольшой табун лошадей. Отфыркиваясь, кони щиплют траву по канаве. Вороная кобыла с рыжим жеребенком тоже тут.

Жеребенок рыжий, с белой лысиной, белыми задними копытцами. У жеребенка торчмя торчит пушистая грива на короткой шее. Он широко расставляет длинные, тонкие ноги с толстыми коленками, силится сощипнуть травы, а достать не может.

Жеребенок, выгнув дугой шею и вскинув короткий курчавый хвост будто метелку, перебегает от одной лошади к другой. За ним по пятам бегают мой Резвый. Резвый пестуном у рыжего жеребенка.

Он с яростью набрасывается на любую лошадь, проявившую интерес к жеребенку. Хватает ее зубами, бьет задом.

Тарахтя пустыми бидонами, к скотному двору подъехала Настя. Настя отвезла телегу молока, сейчас повезет другую.

— Не спишь,— кричит мне Настя,— иди помоги молоко погрузить!

Погрузили молоко. Настя влезла на телегу,хватила вожжой по боку Ведьму и снова поехала на маслозавод.

Ругаясь и щелкая кнутом, пастух подогнал ко двору пеструю корову.

— Проклятая, никак стада не держится, которую ночь спать не дает. Еле нашел.— И пастух в сердцах еще раз вытянул корову кнутом.

Корова, избоченясь, прошла в приоткрытую дверь двора, зацепив копытом за подворотню.

— У мельницы,— говорит пастух, свертывая сигарку,— сейчас на моих глазах Резвый волка затоптал. К жеребенку, наверно, подкрадывался. Ох и озверел Резвый! Копытами бьет, зубами рвет. «Взбесился, думаю, мерин-то, что ли?» Подбегаю, а он волка, оказывается, затоптал. А ты думал, чего кони в деревню прибежали? Иди скажи отцу али Ковче, да сходите шкуру снимите. Что теленок волк-то... еще теплый...

За скотным двором, в кустах, раздался звонкий, протяжный призывный звук соловья, и полилась за душу берущая песня. Эти нежные, сильные, радостные, то непрерывающиеся, то отрывистые флейтовые звуки сразу наполнили всю округу. Пастух замер на месте и слушает, стараясь не пропустить ни одного звука.

— Слышишь, как заливается?

— Молодец!

— Тихе ты...— толкает меня в бок пастух, когда я переступил с ноги на ногу.

— Сейчас мы ему подпоем.

Он вынул из кармана небольшую дудочку, приложил к губам и щелкнул по-соловьиному. А певший соловей умолк на посвисте, издав несколько раз неприятное «рээ».

— Сердится! — засмеялся пастух.

— Однако вы на своей дудочке не уступаете соловью! — удивляюсь я.

— Все двадцать четыре колена могу дать.

— А сколько же колен в песне этого соловья, который поет?

— Восемнадцать,— ответил пастух.— Это из прошлогодних выводов, еще молодой.

Я попросил пастуха исполнить полную песню соловья.

— Полную, говоришь?

— Полную.

— Попробую.

Он снова приложил дудочку к губам, и из дудочки полилась соловьиная песня...

— Вы всем птицам подражать можете? — спрашиваю я.

— Нет, Вася, не всем,— ответил пастух,— ворону никак перенять не могу...

Еще идет грузовая машина. В кузове на мешках сидят трое пассажиров, а Лили нет.

— В Оглоблеве какая-то машина стоит, скат спустил, там человек десять едут!..

«Значит, на той машине Лилия»,— подумал я, и что-то екнуло в груди.

Где-то пропел петух, за ним другой, третий...

— Всех сбивают с толку белые ночи,— замечает пастух,— что человека, что животину какую, а петуха — нет.

Опять, тарахтя пустыми бидонами и скрипя колесами, подъехала Настя. Распрягла Ведьму, кинула сбрую в телегу и пошла домой:

— Прикорну на часок, а то скоро заново с молоком...

Не успела потухнуть вечерняя заря, как занялась утренняя.

— Пора побудку делать,— взялся пастух за трубу.

Труба у пастуха из липового дерева, с берестовым растробом. На этой трубе наш пастух кадрили может играть, а о песнях разных и говорить нечего.

Вскинул пастух трубу и заиграл:

...Вставай, девки, вставай, бабы,
Вставай, малые ребята!
Выгоняйте вы скотину
На широкую долину,
На широкую долину,
На зелену луговину...

Песня летит от края и до края нашей округи. Эхом отдается от деревни к деревне...

На пригорке на большой дороге показалась машина. Все ближе, ближе и будто влетела в деревню. И среди пассажиров — она.

— Лиля! Лилия! — кричу я.

— Вася! Здравствуй! — обернулась Лилия. — Приходи завтра к нам!..

II

Кончился весенний плач деревьев, когда надломишь сучок березы, подставишь раскрытый рот, и на язык тебе упадет прозрачная, как слеза, сладкая капля березового сока — «сока земли», за ней другая, третья... Глотишь и чувствуешь, как наливаешься непоборимой силой и срастаешься с землей, породившей тебя. Когда, облюбовав точеный ствол краснотала для расписной палочки, коснешься его ножом, из-под ножа брызнет мутновато-зеленый горько-сладкий сок — тоже сок земли. Когда нагнешь молодую сосенку и ухватишься за вторую мутовку, которая приглянулась тебе для дудочки, пальцы склеит янтарная душистая смола — и это сок земли...

С первым березовым листом кончилась пора весеннего плача; а когда черемуха — лесная модница — укрылась белыми полushалками, а потом, сбросив полushалки, разукрасила себя зелеными сережками и темно-зеленые ели вскинулись к солнцу рубиновыми шишками, тогда начались «медвяные росы».

Блестящими, сахаристыми пятнами лежит медвяная роса на листьях берез. Белыми сладкими комочками рассыпалась на иголках елок. Сочным медовым туманом покрыла лилово-пурпуровые, похожие на голову ласки, цветки жабрея, желтый пикульник. Лаком разлилась по белым лепесткам полевого лютика. Прозрачным нектаром залегла в чашечках синего шалфея, розового иван-чая и лазурного шлемника. Густыми медовыми каплями повисла на склонившихся колосьях ржи и пшеницы.



Я люблю медвяные росы. Воздух настоян на меде. Вдохнешь — голова кру́гом...

По меже, что ковровой дорожкой цветов пролегла через поле и затерялась в разноцветии гудящего пчелами луга, мы бежим с Лилей к реке. Лиля в желтом платье с крупным черным горохом и черной каймой по оборке, как махаон, порхает в цветах. Я еле успеваю за ней и, ошалевший от счастья, прыгаю на одной ноге, кувыркаюсь в траве, рву цветы и не букетами — охапками даю их Лиле.

Лиля сплела венок из белых ромашек с синими васильками, надела венок на голову и, крикнув: «Вася, догоняй!» — побежала к реке...

Запыхавшийся, стою рядом с Лилей, держу ее горячую руку в своей руке и боюсь отпустить. А что как и вправду вспорхнет она махаоном и улетит?

Лиля выдернула две ромашки из венка.

— Вася, давай погадаем. Загадывай, на кого. Я уже загадала. Любит — не любит, любит — не любит... — повторяет Лилия, отрывая один за другим белые лепестки от ромашкина солнышка. — Любит! — смеется довольная Лилия и заливается краской...

— Любит — не любит, любит — не любит, — отрываю я лепесток за лепестком... — Не любит... — И меркнет в моих глазах ромашкино солнышко... — Смотри, Лилия, — показываю я на дом Митрохиных, что тремя окнами загляделся в реку, — это мы сами построили. Ковча только вроде прораба был. Ведь правда красивый дом?

— Красивый, — соглашается Лилия. — А вчера Гриша в отпуск приехал, мы с ним на одной машине ехали, ты разве не видел?

— Нет, — отвечаю, — не видел. — Я и вправду не видел: только на Лилию смотрел, когда проходила машина.

— Такой важный! И так ему идет военная форма, через год офицером будет.

— Конечно, будет, — соглашаюсь я, — раз в военном училище учится. Каждый может быть офицером.

— Ну уж и каждый. Скажешь тоже, — недовольно заметила Лилия.

— Каждый — настаиваю я, — так же как и врачом, и инженером, и агрономом может быть каждый, надо только заочить тот или другой институт.

— На Дальний Восток, Гриша говорит, поедет, как закончит училище. Помнишь, он все мечтал о Дальнем Востоке еще тогда, когда вожатым нашего отряда был?

— Не помню, — неохотно ответил я. «И чего она привязалась с этим Гришей, — думаю я. — Он еще в школе за Лилей бегал, но тогда она не замечала его...» — А вот и наша пшеница, — говорю я Лиле, стараясь переменить разговор, когда мы подошли к пшеничному полю, что скатом к реке, — это наша с Борькой первая пшеница. Гляди, как она переливается белезовато-зелеными волнами. А колос какой наливной!

— Хорошая пшеница, — равнодушно заметила Лилия и о чем-то задумалась.

— Куземкино я тебе покажу, ты ахнешь, — говорю я Ли-

ле.— Ведь мы Куземкино очистили от камней и горохом засеяли. Сейчас все поле в цвету. Глаз не оторвешь.

— Мне мать писала об этом. Давай лучше посмотрим на реку, а на Куземкино как-нибудь в другой раз сходим,— ответила Лиля...

Уржурга — таежная река. То медленно и молчаливо проходит в берегах, то останавливается и подолгу кружит в омутах и заводях, а потом спешит по перекатам, стараясь наверстать упущенное время. Солнце прорвалось через гущу соснового леса, река стала нежно-розовой. Поведешь глазами — она золотая, а глянешь правее — она перламутровая, а подойдешь ближе — она голубая. Отразившиеся кучевые облака обезобразили реку. Попробуй теперь разберись, где небо, а где река.

На мелких, с быстринкой, местах она заросла шелком. Длинные густые пряди шелка переливаются под водой изумрудно-зелеными волнами. Как будто кто-то невидимой большой расческой все время расчесывает шелк, не давая ему покоя.

Табуны лошадей бродят по реке. Лошади торопливо выхватывают из воды шелк и долго и звучно жуют эту вкусную сочную траву.

Заводы реки покрыты желтыми кувшинками и белыми лилиями. Из-под куста, склонившегося до самой воды, шумно вылетела утка и упала на плес. Упала и замерла, как будто испугалась, что нарушила тишину. Потом осмотрелась и крикнула: «Кря-кря!» И из-под того же куста с писком, обгоняя друг друга по воде, взмахивая крылышками, выбежали пушистые утята и поплыли за матерью в камыши.

Над водой за синей стрекозой гоняется трясогузка. Стрекоза упала на воду, а птичка села на лист белой лилии, как на зеленую тарелочку. Села, посмотрела на уплывающую стрекозу и стала опрашивать клювом свой черный передник. Вдруг взбурлила вода, и на мгновение показалась страшная пасть большой щуки. Трясогузка с криком взметнулась в воздух. Щука промахнулась и вместо птички схватила белую лилию.

— Ой! — вскрикнула Лиля...

III

Так медленно движутся стрелки на часах — хоть подводи их, и солнце, будто кто колом подпер его, стоит на одном месте.

Чтобы скоротать время до вечера, пошел на Куземкино. Иду берегом реки. Сотни каменных глыб, что весной мы стащили с поля, в беспорядке лежат в воде, блестя на солнце серыми боками, — и впрямь будто слоны пришли на водопой, да так и остались, поленившись подняться на крутой берег.

Под боком одного «слона» в желтых кувшинках всплеснула крупная рыбина. Серко, поджав хвост, отскочил от реки, а потом, обернувшись, вздыбил шерсть и начал лаять. На другом берегу, перелетев с камня на камень, кланаясь, закричал куличок-перевозчик: «Пе-ре-вези-те за ре-ку... Пе-ре-вези-те за ре-ку...»

— Сам перелетишь, — смеясь, крикнул я куличку...

В желтых кувшинках опять перевернулась крупная рыбина, да так, что и я вздрогнул, а Серко как ошалелый с лаем бросился в воду. Куличок опять перелетел с камня на камень и, кланаясь, снова начал просить перевезти его за реку...

От реки и до березовой опушки в белом цвету с лиловыми парусами и пурпуровыми крыльями раскинулось поле Куземкино. Голубовато-зеленые лозящие стебли гороха переплелись между собой. Перистые листья ветвистыми усиками ухватились друг за дружку. Тронешь один стебель — ходуном ходит целая делянка. Поле гудит пчелами, шмелями. На гороховом поле особый, сердитый гуд. Сердятся пчелы, сердятся шмели, что не могут проникнуть в кладовую нектара — плотно сжаты упругие крылья цветка. Те, кто похитрее, прокусывают цветок. Прокусив, умолкают и, прижавшись к цветку, упиваются сладким густым соком...

Я срываю стебель гороха, прижимаю к лицу холодящие листья, вдыхаю аромат нежных упругих цветов. Серко сидит рядом со мной, вывалив изо рта длинный красный язык. Глядя на меня, он тоже срывает стебель за стеблем острыми клыками, срывает и жует.

— Скоро придет Лиля, понимаешь ты или нет? — говорю я псу, обняв его за шею. — Придет Лиля, и мы втроем обойдем



поле. Я расскажу Лиле все, как было. Расскажу, как «свернули шею трактору». Как оборвался трос и хлестнул по спине Шурку. Как Шурка с синяком во всю спину дни и ночи ворочал эти валуны. Как мы все: Колька, Шурка, Борька и я, до того изматывались за день, что падали с ног. Мы не ушли с поля до тех пор, пока не стащили к реке последнего «слона». Как Колька, взобравшись на спину последнего «слона», уже стронутого с места, кричал, перефразировав стихи Маяковского:

...Я знаю — поле будет,
Я знаю — полю цвести,
Коли в бригаде нашей,
Как Шурка, парни есть...

Расскажу, дорогой ты мой Очковитатель, как в одно утро мы всей бригадой ворвались сюда на тракторах и вспороли спину двадцатилетней залежи. Как вздохнула обрадованная земля. Как потом, после работы, каждый вечер приходили мы сюда — ждали первых всходов. И дождались, и радости было у нас столько, что и рассказать нельзя...

Обойдем поле, а как на реке будет схватываться белыми прядями туман, мы с Лилей пойдем на лавы, я накину ей на плечи свой пиджак, возьму ее за руку и скажу, да-да, скажу, честное слово, скажу: «Я люблю тебя, Лиля», — а потом будь что будет...

Пес зевнул, наверно, ему надоело слушать, еще раз зевнул и лизнул горячим языком мою щеку. Я крепче прижал его к себе...

Вечереет.

В лощинах появились облачка тумана, а Лили нет.

На реке закрылись белые лилии, а Лили нет.

В лугах закрылись желтые лютики, а Лили нет.

Раскрылась белая дрема и своим ароматом заглушила аромат всех других цветов, а Лили нет.

— В чем дело, Серко? — спрашиваю своего друга. — Почему не пришла Лиля?

В ответ пес щелкнул зубами, стараясь поймать надоедливое комара.

Но... что такое? Девичий смех на лавах? Не Лиля?.. Да, это смеется Лиля. Я различу ее смех среди смеха сотен девчат.

— Серко! Пошли, пришла Лиля! Только почему-то не сюда, как договорились, а на лавы. Перепутала, забыла, но это все равно. Пришла Лиля! Бежим.

Будто на крыльях пролетел через овраг, поднялся на бугор, обогнул ольховые заросли — и передо мной лавы, что десятью пролетами перекинулись через Уржургу с берега на берег. На лавах посреди реки вижу белое платье Лили и слышу раскатистый ее смех.

— Ли!... — и больше сказать ничего не смог.

Гляжу и не верю глазам своим. Рядом с Лилей — Гриша. На плечах у Лили Гришин китель. Они стоят, опершись о перила, спиной ко мне. Гриша что-то рассказывает, а Лиля залпывается смехом.

Пятясь, я зашел за ольшаник, чтоб они не видели меня, и, не оборачиваясь, пошел опять к гороховому полю.

— Видал, Очковтиратель, как обернулось дело? — говорю я псу. — Вот для кого я дом-то построил.

«Гав!» — ответил Серко.

— А что бы ты делал на моем месте?

«Гав... Гав!» — брехнул пес.

— Легко сказать: «Гав-гав», я видел, как ты расправляешься со своими соперниками. Ключья шерсти и рваные уши...

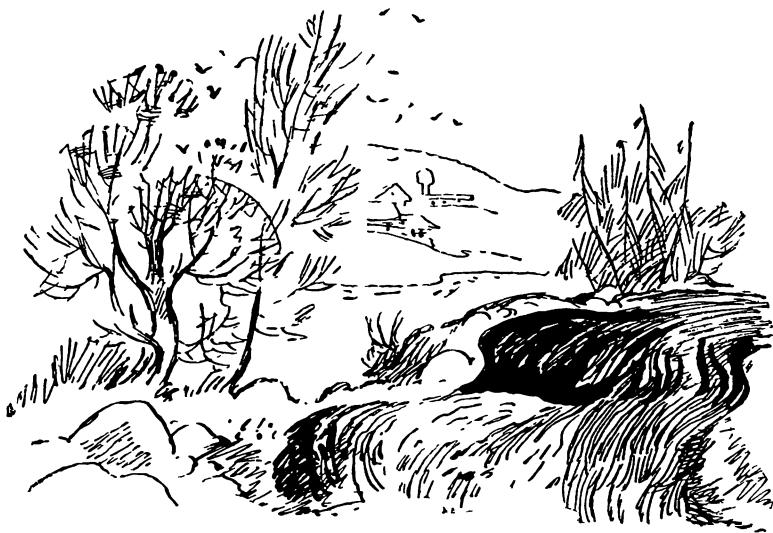
Из-за кустов вышла Нина.

— А ты чего здесь ходишь? — удивленно спросил я.

— А я каждый вечер сюда хожу, — смущенно ответила Нина. — Росой с гороховых листьев умываюсь... Говорят, что веснушки сойдут.

За рекой в болоте бухнула выпь — раз и другой: «бух... бух...», а с неба упала яркая звездочка на наше поле...





ЧЕТВЕРТЫЙ ХАРИТОН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Спал ли эту ночь председатель колхоза «Вешние воды» Харитон Харитонович Харитонов — или, как его называют Третий Харитон, так как и деда и отца его тоже звали Харитонами, — никто не знает. Как только солнце начало протирать свой заспанный красный глаз зубчатой опушкой леса, Харитон вышел на верхнее крыльцо. Вышел, потянулся, глянул на поле, что скатом к реке, — и тоже начал протирать глаза.

— Это что за оказия такая — никак, вспахана Овсяная полянка? — спросил самого себя председатель. Протер глаза, еще глянул. — Вспахана! Так и есть, вспахана! Харитон! Харитон! — закричал председатель сыну, которого тоже звать Харитоном, а по деревне просто Четвертый. — Подай бинокль!

Прибежал не успевший еще заснуть, прогулявший где-то до вторых петухов сын, Четвертый Харитон, с биноклем.

— Дай-ка сюда,— выхватил отец у сына бинокль.— Гляди, никак, вспахана Овсяная полянка?

— Конечно, вспахана,— недовольно ответил сын,— и без бинокля видно — вспахана.

— Вспахана! Так и есть, вспахана! — глядя в бинокль, удивился председатель.— А кто разрешил? Кто разрешил? Ведь я думал да и тебе толковал, что этот клин под картошку пойдет. Сию минуту ко мне трактористов. Слышишь?

— Такую рань, папа? Спят еще все люди.

— Какая рань, коли солнце встало! А ну-ка — одна нога здесь, другая там. Да живо!

II

Жил до сегодняшнего восхода солнца Харитон Харитонович, гвардии старшина запаса, кавалер трех орденов Славы, как живут и другие председатели колхозов района. Заботы те же, хлопоты те же. Радости и горести тоже те же, что и у всех председателей. И колхоз «Вешние воды» не на плохом счету в районе. Не впереди, но и не в хвосте, а так, крепко в середине держится. И председатель Харитон Харитонович в середняках ходит. Не часто хвалят, но еще меньше ругают — середняк.

И о военной службе, где прослужил пятнадцать лет старшиной роты, Харитон Харитонович вспоминал редко. Но армия есть армия, старшина роты есть старшина. Десять лет как снял погоны старшины, но всегда выбритый, подтянутый, в начищенных сапогах и белый подворотничок на гимнастёрке. Иногда по старой привычке звеньевых называл отделенными, бригадиров — взводными, а трактористов — командирами машин.

Спать ложился последним на весь колхоз. Вставал первым.

Речей не произносил — может быть, не умел, а может быть, и тут привычка военная: есть, будет сделано! И делает не хуже других председателей, но на Красной доске еще не бывал. А хочется. Да и кому не хочется на Красную доску попасть!

Старики да пожилые колхозники по имени-отчеству называют председателя, молодежь из уважения к боевой славе — по уставу: товарищ гвардии старшина.

Молодым нравятся. Председателю тоже: пригодится.

Молодых, неопрятно одетых, в кабинет не пускал, какое бы срочное дело у них ни было. Старики да пожилые из уважения к председателю сами не позволяли себе неопрятности что в одежде, что в обуви.

Правда, однажды крепко отчитали Харитона Харитоновича в районе. Даже сгоряча привесили ему ярлык лапотника, но потом извинились. А было так. В первое лето, когда Харитон Харитонович стал председателем, пришел он на покос. Глянул по привычке старшина на людей и ахнул: что бабы, что мужики, что девки, что парни — все в резиновых сапогах. А жара — лоб колет.

Не только портянки, брюки мокрые до колен увидел председатель. Три дня дал сроку в лапти обуть бригаду. Бригаду в лапти обули. Все довольны. Легко, не жарко, ноги не преют. Председателя в райком вызвали.

— ...Позор на всю область,— в заключение сказали в райкоме.

— А вы людей спросите,— не оправдываясь и не споря, ответил председатель.

Забытые лапти припили в каждый колхоз района на летнюю пору. Легко, не жарко, ноги не преют. Что на сук встал, что на камень острый — нога целехонька.

III

Три здоровых парня саженными шагами вприпрыжку бегут по деревне к дому председателя. В канаве около харитоновского палисадника до блеска натерли крапивой сапоги, подтянули пояса, одернули гимнастерки — и в дом.

— За мной! — скомандовал председатель.

Скрип, скрип, скрип — проскрипела ступеньками лестница под тяжестью четырех великанов. Под топотом ног взвизгнули половицы верхнего коридора.

— Это как называется, товарищи командиры машин?

— Что? — не поняли трактористы.

— Несмышлелышами прикидываетесь! А ну гляньте за реку.

— Тю-у! — удивились ребята, вытаращив глаза, — кто-то вспахал Овсяную полянку...

IV

— В гараж.

Топ, топ, топ — четыре пары ног по дороге. Шлеп, шлеп, шлеп — четыре пары ног по грязи. Плюх, плюх, плюх — четыре пары ног по лужам.

Слева четыре длинные тени то через канаву метнутся, то пробегут по окнам изб, по палисадникам прорябят — не отстают. Справа из-за леса солнышко глядит — удивляется: куда это такую рань председатель с трактористами шлепают?

Прибежали.

— Ну, товарищи командиры машин, — закрутил светлые, с проседью усы председатель, — в последний раз спрашиваю: кто из вас вспахал сегодня ночью Овсяную полянку?

Оглянулись все, и председатель тоже. Удивились.

Свежих следов выхода машин из гаража нет. Гараж открыли — ни пылинки, ни комочка глины на гусеницах. Спали ночью тракторы...

Топ, топ, топ... шлеп, шлеп, шлеп... плюх, плюх, плюх... Через луг, через поле, через реку — четыре пары ног к Овсяной полянке. Впереди председатель.

Со стороны глянуть — за зайцем скачут мужики, да пора не охотничья. Солице греет вспотевшие лица, рябит в глазах голубоватой испариной от оттаявшей земли. Из-под ног председателя взметнулась пара испуганных чибисов и, скособочась в развороте над головами мужиков, закричали: «Чьи вы, чьи вы...»

«Сам не знаю, чей я, да и я ли это?» — подумал председатель и сильно дернул себя за ус — не спит ли. В слезу прошибло от боли — нет, не спит. Полевой дороге топ, топ, топ...

— Тут не только вспахано, но и овсом засеяно,— удивились трактористы, глянув на пашню.

— И засеяно,— повторил председатель.— Докладывайте, чья работа.

— Не моя,— бойко ответил золотоволосый, с карими глазами и с вздернутым носом веснушчатый атлет тракторист Ефим Солдатов, а по колхозу и среди друзей — Рыжик.

— Вижу,— подтвердил Харитон Харитонович и глянул на другого тракториста.

— Никак нет. Не моя,— отпартовал сухопарый, жилистый, с голубыми глазами и белыми, будто седыми, волосами тракторист Иван Петухов, а по колхозу просто — Ваня-седой.

— Вижу,— сухо процедил сквозь зубы председатель.

— И не моя,— не дожидаясь вопроса председателя, сказал черный как цыган тракторист Павел Хомутов по прозвищу Жук.

Но Харитон Харитонович уже не слушал доклад третьего тракториста, а изумленно глядел на пашню, закручивая и без того закрученные усы.

— Эх, ребята, объехали нас на хромой кобыле!

— На какой кобыле? — не поняли трактористы.

— Да не видите, что ли, вспахано-то не трактором, а лошадю!

— Верно,— удивились трактористы,— следов трактора нет.

Но сколько ни ходили трактористы с председателем по пашне, лошадиных следов тоже не нашли. Были следы то ли от берестяных плетеных корзин, то ли от лаптей какого-то гиганта.

V

Опершись плечом о гранитный красный, отшлифованный ветрами валун, что величиной с русскую печь, стоит Харитон Харитонович. Ему отсюда, с горы, видны все деревни колхоза.

«Надо же так,— искоса глянув на вспаханную полянку, думает председатель,— теперь позор не только на район — на всю область, и виноватого нет. Во как сработано...»



*Были следы то ли от берестяных плетеных корзин,
то ли от лаптей какого-то гиганта.*

Овсяная полянка — это небольшой участок земли. На Заречном поле. Двум мужикам на лошадях день на вспашку надо. Нигде такой овес не растет, как на этой полянке. Потому-то и прозвали ее Овсяной. Рожь растет неплохая, пшеница растет, ячмень даже хороший иной год уродится, а овес всегда отменный. Выйдет на брунь — глаз не оторвешь. Склонится в летнюю сторону, ветру не в силу поднять тяжелые золотые кисти. В это лето председатель решил дать отдых земле от зерновых и засадить поляну картошкой. Потом такой овес вырастить, чтобы в Москве на выставке этот овес красовался. А сегодня ночью кто-то вспахал и засеял овсом полянку. Не перепахивать же.

— А молодцы, — усмехнулся председатель, — такую полянку за ночь управить. Узнать бы кто — премию дал. А как узнать, коли и следа не оставили...

На следы — будто от лаптей чудовища — Харитон Харитонович и глянуть не хочет: всплыл в памяти ярлык лапотника.

Но председатель есть председатель.

Принимай меры. Распорядись.

— Найду чертей полосатых. Найду, — сказал председатель. И опять дернул себя за ус: не сон ли? Нет, не сон.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

...И распорядился.

Трое трактористов: Седой, Жук и Рыжик тут же от полянки разыскивать пахаря кинулись.

Ни одной дороги, ни одной тропки не пропустить, въезды и выезды всех восьми деревень взад-вперед исходить, прочесать опушки лесные, овраги, ручьи обшарить, а пахаря добыть. Вот так распорядился председатель.

— Да держите язык за зубами, кто бы ни спрашивал, кого или чего ищите, — сказал в напутствие Харитон Харитонович трактористам.

...Стоит, прислонившись к красной гранитной глыбе, Харитон Харитонович, будто к танку после атаки,— думает.

Пролетавший болотный большой кулик кроншнеп шарахнулся вверх и в сторону, увидев человека у камня, и то ли с перепугу, то ли от радости, что близко болото, будто серебряным молоточком дробно ударил по серебряному блюдечку, огласив звонкой трелью окрестность.

Вздрогнул старшина.

— Тебе смешно, голоштанник горбоносый...— провожая птицу глазами, вздохнул председатель.

Опять на какое-то мгновение ушел в себя председатель, но вдруг из-за кустов Ковча с двумя туесами в руках вынырнул. В выцветшей зеленой стеганке, в выцветших и тоже зеленых штанах, в кирзовых сапогах и кожаной белесоватой фуражке, из-под которой торчали седые волосы, переходя от висков по щекам в серебряную курчавую бороду, чуть прихрамывая на правую ногу, старик не спеша шел по меже к председателю, щурясь от солнца.

«Ни сна, ни отдыха не знает,— подумал председатель,— а ведь за восемьдесят, вот кому позавидовать можно».

— С добрым утром, Митрич!

— С добрым утром, Харитон Харитонович,— подходя, ответил старик и, поставив туеса на межу, пожал председателю руку.

— Куда это ты ни свет ни заря успел сбегать?

— Да в Пегуши ходил, два туеска соку наточил.

— Али берез ближе нет?

— Береза березе рознь, Харитон Харитонович, в Пегушах чистка, с чистки сок слаще.

— Ботаник! — усмехнулся председатель.

— Что-что? — не понял Ковча. — Это уж так, у чистки лист-то будто лаком покрыт, чистый, блестит. Вот и сок чище, слаще. На-ка отведай. Сок земли.

— Хорошо,— ставя на землю туес, обтирая рот рукой, вздохнул председатель.

— А старуха что-то приболела, да и самому неможется, вот и решил за соком сходить. Схожу, думаю, пока береза лист не выкинула, а лист выкинет — сок остановится.



— Ботаник! — опять усмехнулся председатель.

— Что-что? — не понял старик.

— Да это я так, про себя.

— А скажи, Харитон Харитонович, чего полянку-то овсом засеял? Мне Харитонка рассказывал, вроде ты собирался картошкой засадить?

— Передумал.

— Да и когда успел! Вчера еще не пахана была.

— Ночью ребята вспахали. Решили машины испробовать.

— И го дело, — недоверчиво согласился Ковча.

II

Сучья под ногами по лесным опушкам тресь-хруп, тресь-хруп. Камни из-под ног с крутых берегов в воду бултых-бултых. Голый пружинистый молодняк березняк по распотевшим красным лицам зжик-зжик — что розгами. Ощетинившись колючками, можжевельник по коленкам, животам и плечам ежом колет.

Часа три трактористы в разведке. Седьмым потом исходят. От гимнастерок да брюк пар столбами валит.

Чешут затылки ребята.

На большой дороге, что в колхоз и из колхоза, — ни следа.
На дорогах из деревни в деревню — ни следа.

На полевых дорогах — ни следа.

Под крутоярами ручьев — ни телеги, ни плуга, ни бороны.

В зарослях оврагов — ни телеги, ни плуга, ни бороны.

На лесных опушках в чапыжнике — ни телеги, ни плуга, ни бороны.

Сквозь землю провалился пахарь — не иначе...

«Тоже мне разведчики!» — скажет старшина, выслушав такой доклад. А доложить больше нечего.

III

Ох и тяжела дорога сегодня от Заречного поля до деревни для Харитона Харитоновича! Под гору, а ноги не идут. Сердце вот-вот выскочит из груди. В атаки танк водил — легче было. В Тимирязевской академии на самый трудный зачет к самому строгому профессору вприпрыжку на третий этаж вбегал. А тут под гору ноги не слушаются. Вот беда-то...

Злая шутка вывела из строя председателя.

«Старшина, приведи себя в порядок, — усмехнулся Харитон Харитонович, — бес с ней, с этой полянкой».

Умылся студеной весенней водой бурлящей речки, сполоснул сапоги, подтянул пояс, застегнул воротник гимнастерки и четким, твердым, будто строевым, шагом вошел в деревню.

А шила в мешке не утаишь.

То у одной, то у другой избы по три, по четыре собрались и судачат да грают бабы, хватаясь за животы, а руками все на Овсяную поляну показывают.

— С первой бороздой, Харитон Харитонович! Ха-ха-ха-ха!

Махнул рукой председатель в ответ: «С баб много не спросишь», — дальше идет.

И мужики от баб не отстали — тоже кучками пособирались, чешут поясницы да затылки, дымят махоркой, зубы скалят, вытаращив глаза на Заречное поле, на полянку Овсяную. Как на солнышко красное.

Держись, председатель! Все в жизни бывает!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Не успел председатель правление собрать, в район вызвали.
— Совещание председателей колхозов по вопросу посевной.
Только что телефонограмма получена, — доложил секретарь.

«Эх, как некстати!» — подумал Харитон Харитонович, а ехать надо...

За рулем сам Харитон Харитонович. Шофер рядом — как пассажир. «Газик» медленно спустился к реке, еще медленнее пошел по мосту плотины электростанции. Председатель любит плотину, любит электростанцией. Вспоминает: были голоса, и не робкие, и не слабые:

«Пустая затея».

«А то не пустая!»

«Паводок быки сорвет, что корова языком слизнет!»

«А то не слизнет!»

«Лед напреет — и плотина, что мыльный пузырь, тресь, и нет ее».

«А то устоит!»

Пятый год звенят в трех колхозах пилорамы. Качают насосы воду из реки на скотные дворы. Пятый год заброшены в деревнях керосиновые лампы.

«Вот тебе мыльный пузырь», — улынулся председатель.

Мимо скотного двора, что построен из добротного леса, еще медленнее поехал председатель. Глянул, вздохнул: «Что дворец! В самый лютый мороз коровы вымя не подморозят».

И на гаражи глянул Харитон Харитонович. Тесовые, крытые дорожным тесом. Второй год ни одна машина под снегом да дождем не ржавеет.

А потом по обеим сторонам дороги поле с озимыми потянулось. Озимь густая, темно-зеленая.

— Удалась, — сказал председатель шоферу, кивком головы указав на поле. — Молодцы пахари.

— Еще бы, — подтвердил шофер.

За полями потянулись чижи. Сенокосные угодья тоже, как и поля, обгорожены косыми огородами от дороги, от поско-

тины. У одной чищи Харитон Харитонович вышел из машины, перескочил через канаву, подошел к изгороди, что очерилась косыми пряслами жердин, будто птицы распростертыми крыльями. Покачал вересовые колья, переплетенные еловыми вицами, — ни с места, что цементные. Попробовал сломать осиновую жердь — гнется, что стальная, со звоном вырываясь из рук, не трескается. Попробовал переплет еловой вицы ножом стругнуть — нож скользнул, что по кремню красному.

— Это работа! — улыбнулся председатель. А в машине шоферу сказал: — Вересовый кол, осиновая жердь да еловая вица — огород будет век стоять, так отец говорил. Этому огороду сорок лет минуло, как отец поставил. Любил все делать на века.

— Угу, — согласился шофер, а про себя подумал: «Ты от отца тоже не отстал, что ни сделаешь, все на века».

Кончились чищи, дорога лесом пошла, где через согру, где бором. В согре бородатые, поросшие седым зеленоватым мхом уродливые ели да густой ольшаник с дымящими сережками подступали к самым канavam дороги. В бору редкие, чудом уцелевшие от вырубki сосны так широко раскинулись зелеными пушистыми сучьями, будто хотят защитить пробивающуюся сквозь сплошной валежник, завалы сухих сучьев, коры, щепы и другого лесного хлама молодую поросль.

Председатель молчит. Задумался.

— Весь лес свели, — недовольно заметил шофер. — И кому нужна эта сплошная вырубка!

Председатель промолчал.

А шофер свое:

— Вот какая штука эта сплошная вырубка. Я не знаю, кому она нужна, с лесничим говорил — и лесничий не знает. Трудная задача эта сплошная вырубка — рубят все подчистую, а берут только «деловую древесину». А все остальное — недомерки по длине и толщине, сучья, вершины, кора, щепы, пни остаются на месте. Гниет, преет, сохнет, горит. Там, где стоял лес, остается страшная и жалкая пустыня. Холодный ветер без задержки летит от Архангельска до Вологды. Пересыхают ручьи, мельчают реки, зверь вывелся, птицы покинули наши края. Ни грибов, ни ягод.

Подъехали к речке Быстрице, которая стала не шире канавы, а воды в ней — курице по колено, хотя недавно закончился паводок.

— Харитон Харитонович, а правда, что когда-то Быстрица мельницу крутила?

— Круглый год мельница работала. Какая бы жара ни стояла, воды хватало.

— А может случиться так, что все наши реки пересохнут? — не унимался шофер.

— Нет, Вася, — ответил председатель, — этого не случится. Пройдут десятки лет, и лес вырастет, и реки водой нальются. Ну-ка, поднажми на педаль, не опоздать бы на совещание, — глянул на часы председатель. И замолчал.

— Ну, тогда ничего, — повеселел шофер и поднажал на педаль.

За Быстрицей начались владения соседнего колхоза: поскотина, потом сенокосы, а вплотную к деревням поля. На стыке двух деревень — Оглоблева и Крушенихи — возвышается двухэтажное здание школы. Большие окна играют на солнце цветами радуги.

— Харитон Харитонович, вы тоже в этой школе учились? — спросил шофер.

— Да, учился, — ответил председатель и опять замолчал.

Знает Вася-шофер всю жизнь Харитона Харитоновича, как свою. И что в этой школе учился когда-то председатель, знает и знает, как по этой дороге с котомкой за плечами убежал из деревни на фронт пятнадцатилетний Харитоша в тот же день, как пришли в их дом две похоронных сразу: похоронная на отца и другая похоронная — на старшего брата. И весь фронтовой путь старшины знает. Слышал не раз...

А спросил Вася председателя, учился ли он в этой школе, просто чтобы чем-то отвлечь его от той обиды, которую причинили в эту ночь Харитону Харитоновичу. О сплошной вырубке тоже для этого в рассуждения пустился...

Председатель молчит.

Машина идет. Шофер не унимается... Опять поля, опять перелески. Подъехали к речке Шалунье. Речка не речка, ручей не ручей. Чистая, прозрачная вода с веселым весенним роко-

том, переливаясь с камня на камень, бежит и бежит. В небольших заводях окружит хлопьями белой пены и дальше вперед. С берега этой речки видать крыши районного поселка Орзоги.

По заведенному председателем порядку Вася остановил машину, зачерпнул брезентовым ведром в речке воды и начал купать «газик». Председатель тоже вышел из машины, потянулся, одернул гимнастерку, глянул на поющую кругом весну и, как всегда, когда Вася закончил мыть машину, хотел подать свою любимую команду: «По ма-ши-нам! Заводи!» — но вспомнил Овсяную полянку и тихо сказал:

— Поехали.

Вася сел за руль, тронул машину и с досадой подумал: «Ишь, черти, как расстроили моего старшину!»

— А знаете, Харитон Харитонович...— начал опять разговор шофер.

— Знаю,— перебил его председатель.— Ты лучше скажи-ка, философ, кто вспахал Овсяную полянку.

— Честное слово, не знаю.

Председатель, прищурясь и слегка улыбнувшись, глянул на Васю.

— Честное комсомольское, Харитон Харитонович, не знаю. С вечера завалился спать и до утра без просыпу.

— Верю. А что с вечера до утра в постели валялся — нехорошо. Так всю жизнь проспять можно. Поднажми-ка на педаль...

На стоянку машин, что перед домом райисполкома, один за другим подкатывали, «по уши» в грязи, как разъяренные рысак, зеленоватые, с брезентовыми пологам «газики».

Вася влетел на площадку, круто развернулся, дал задний ход и поставил в строй машину.

«Лихой танкист будет»,— подумал старшина и с гордостью закрутил усы...

Совещание было коротким и свелось, в сущности, к напутствиям и пожеланиям. Харитон Харитонович даже не слышал, о чем шла речь, так был погружен в свои думы, и все об этой Овсяной полянке. Кто и за что так зло мог подсмеяться над ним? Вспахано не трактором, а лошадью или лошадьми, да за одну ночь. Это никак не укладывалось у него в голове.

После совещания секретарь райкома спросил мимоходом:

— Чего это, Харитон Харитонович, первую борозду да в потемках? Неприятно как-то ночью пахоту начинать.

— Да какая пахота,— ответил председатель,— просто машину одну проверили.— А про себя подумал: «Ну, теперь пошла писать губерния, до райкома дошло».

II

На обратном пути почти всю дорогу, несмотря на красноречие Васи и его наивные, подчас нелепые рассуждения и вопросы, Харитон Харитонович не обмолвился ни одним словом. И теперь он думал не о том, кто и зачем вспахал полянку, а как он мог неправду сказать утром Ковче, а сейчас такую же неправду сказал секретарю райкома.

«Да не сон ли это? Нет, не сон».

«Уж не заболел ли»,— думал Вася, поглядывая на старшину.

Подъехали к Быстрице. От Быстрицы до дому — рукой подать. Вася остановил машину, взял брезентовое ведро и за водой — «газик» купать. Председатель тоже вышел из машины.

Северное полуденное весеннее солнце яркое, веселое и жаркое. В чистом прозрачно-голубом небе повисли жаворонки и огласили окрестность чарующей задушевной песней. На припеке зеленой щетинкой с красноватыми стебельками тянется к солнцу молодая травка. Маленькими солнышками у всех на виду распустилась мать-и-мачеха. По берегам, у самой воды, кусты краснотала разукрасили себя бархатными сережками и просеребью обрамили Быстрицу. Над болотом, не умолкая, блеет бекас. В речке в бурунах воды тепло улыбается солнце. Улыбнулось оно и председателю — раз и другой. И потеплела, отошла душа Харитона Харитоновича. А когда Вася закончил мыть машину, председатель подал команду:

— По маши-нам! За-во-ди!

— Есть заводить, товарищ гвардии старшина! — крикнул обрадованный Вася и бросился в машину.

— Прямо по дороге! В колхоз «Вешние воды»... Вперед!

— Есть вперед прямо по дороге, товарищ гвардии старшина...

III

Ковча с ложкой в руке на шум мотора обернулся к окну и седой бородой, что веником, закрыл оконный переплет.

— Никак, председатель к нам приехал? С чего бы это?

— Он, кому больше, — приложив костлявую руку козырьком над глазами, высунувшись в другое окно острым, как клин, подбородком, что баба-яга, прошамкала жена Ковчи, бабушка Дарья.

— Хлеб да соль, — с порога приветствовал председатель хозяев.

— Просим, Харитон Харитонович, с нами за стол, — в один голос ответили на приветствие бабка и дед.

— Спасибо, дома с обедом ждут.

— Как хочешь. Потчевать можно, неволить грех. Проходи да рассказывай, что нового из района привез, — не отрываясь от еды, кивком головы указал дед на лавку.

— Извиниться, Митрич, к тебе пришел.

— За что? — удивился Ковча. — Ты мне ничего плохого не сделал.

— Утром неправду сказал. Не пахали мои трактористы Овсяную полянку. А кто такую шутку сыграл с нами — ума не приложу. Так что прости, Митрич.

— Вот она задача какая! — еще больше удивился старик.

IV

Три тракториста — Седой, Рыжик и Жук — с досадой на самих себя, но четко и задорно рапортуют председателю:

— На большой дороге, что в колхоз и из колхоза, — ни следа;

на дорогах из деревни в деревню — ни следа;
на полевых дорогах — ни следа;
под крутоярами ручьев — ни телеги, ни плуга, ни бороны;
в зарослях оврагов — ни телеги, ни плуга, ни бороны;
на лесных опушках в чапыжнике — ни телеги, ни плуга,
ни бороны.

Сквозь землю провалился пахарь — не иначе...

— Подать вертолет! Да живо!

— Есть подать вертолет! — в один голос повторили приказание трактористы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Небольшой одноместный вертолет «Сокол», сделанный механизаторами колхоза в зимние длинные вечера по конструкции и при непосредственном участии Харитона Харитоновича, поднялся в воздух.

Чешут затылки трактористы. Им тоже каждому хочется полетать на своем вертолете, но председатель заявил: «Пока не проверю окончательно машину, на метр от земли никому не позволю подняться» — и не позволяет. Завидуют ребята, но что поделаешь!

— Подождем.

И ждут.

И дождутся.

Слово председателя твердое, верное.

Радуются ребята. С вертолета глаз не спускают, задрав головы к небу.

— Ух, как здорово идет!

— У старшины в руках, да не шел бы.

— Наша работа.

А Харитон Харитонович, перелетев реку, крутит над Заречным полем, над лесными опушками, над оврагами. Шарит глазами по кустам, по мелкоколесью, по оврагам, но нигде ни телеги, ни плуга, ни бороны.



*А Харитон Харитонович, перелетев через реку,
крутит над Заречным полем, над лесными опушками.*

— Сквозь землю провалился пахарь, не иначе,— повторил председатель заключительные слова доклада трактористов,— придумают же, бесенята! А ведь сами, наверное, и сыграли эту шутку со мной, кому, кроме них...

Большой голубой стрекозой опустился «Сокол» у правления колхоза.

Вся деревня от мала до велика на площадь высыпала. Встречают председателя, будто марсианина какого. Ученики из школы всеми классами тоже на площади. Урок сорвали. Запрет учителей повис в воздухе. Да и из учителей никто не остался в школе, кроме заведующего. Самолет народу не в диковинку, настоящий вертолет не в диковинку. Но вертолет с мотоциклетным мотором, сделанный в своих мастерских своими людьми, всех за сердце хватил.

Харитон Харитонович трактором управляет, комбайном управляет, любой машиной управляет. Танки в бой водил, все знают, и это тоже не в диковинку, но когда он поднялся на самодельном вертолете и облетел всю округу — диковина.

— Вот это старшина!

— Настоящий танкист!

— Летчик так летчик!

— Кавалер,— заключил Ковча.

Овсяную полянку люди забыли — теперь разговоры про «свой» вертолет. Но не забыл Овсяную полянку председатель колхоза «Вешние воды» Харитон Харитонович Харитонов.

II

Всю ночь глаз не сомкнул председатель: просидел у открытого окна — думал. А как светать стало, на цыпочках, чтобы не разбудить жену, поднялся на верхний сарай, где на сене спал сын Харитон.

Спит сладко.

Будить жалко.

Не терпится...

— Харитоша, Харитоша,— тронул отец сына за плечо,— проснись. Дело есть. Да проснись же,— щекочет парню пятку.

— Все сделаем, дед Митрич, не беспокойтесь, де...— бормочет во сне Харитон.

— Какой тебе Митрич, это я, проснись, тебе говорят. Дело есть.

Харитон открыл глаза, глянул на отца, перевернулся на другой бок и с головой укрылся одеялом...

Не вытерпел председатель и не очень громко, но решительно и твердо подал команду:

— Гвардии рядовой Харитонов, тревога!

Испытанная шутка не подвела отца. Взметнулось в воздухе байковое клетчатое одеяло, и перед Третьим Харитоном предстал без тени сна в глазах и движениях Четвертый Харитон.

— Есть тревога, товарищ гвардии старшина! Ставьте задачу,— озорно отрапортовал сын отцу, быстро и ловко надевая на себя одежду.

«Молодец,— думает старшина, любясь голубыми глазами своего сына,— в меня пошел».

— А задача, Харитоша, то есть товарищ гвардии рядовой, вот какая: в прошлую ночь, как тебе известно, кто-то вспахал Овсяную полянку. Вспахал и следа не оставил. Позор на всю область. А еще больше позор, если мы не найдем этого пахаря. Трактористы день потратили — не нашли, я на «Соколе» облетел всю округу — и тоже ничего подозрительного не обнаружил, а найти надо. Душа из нас вон, а найти. Костями лечь, а найти. Иначе какие же мы вешневодцы? Задача ясна?

— Так точно, товарищ гвардии старшина!

— Выполняйте!

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

— Так вот, товарищи следопыты,— важно расхаживая перед строем отряда следопытов, торжественно и загадочно закончил свою речь председатель пионерской дружины Четвертый Харитон,— душа из нас вон, а пахаря найти. Костями лечь,



а пахаря найти. Иначе какие мы следопыты? Иначе какие мы будущие пограничники? Понятно?!

— Понятно, товарищ командир отряда! — в один голос отрапортовали следопыты с задорным огоньком в глазах.

— Не протекают ли следопытские сапоги? — спрашивает командир, глянув на ноги следопытов.

— Никак нет, товарищ командир, — ответил голубоглазый, бело-волосый, статный паренек Федя Востроглазов, а в школе, среди ребят просто Востроглаз.

— Прочно ли следопытское обмундирование? — осматрел с ног до головы строй командир.

— Так точно, товарищ командир, — бойко отрапортовал кареглазый, русоволосый Коля Тонкослухов, а попросту Тонкослух.

— Не тянет ли кому плечи следопытское снаряжение? — продолжал опрос Харитоша.

— Легче пуха с одной гагары наше снаряжение, товарищ командир, — неторопливо проговорил крепкий, будто из глины сбитый, коренастый горбоносый следопыт Андрей Силин, а попросту Сила.

— Отряд! Слушай мою команду! (Следопыты замерли по стойке «смирно».) Напра-во! За мной шагом ма-рш!

В резиновых сапогах с высокими голенищами, в зеленых, из па-

латочного полотна брюках и таких же телогрейках, с вещевыми мешками за плечами, четким шагом двинулись в поиск три шестиклассника — отряд следопытов во главе с лучшим следопытом школы — восьмиклассником Харитоном Харитоновым.

— До зоны поиска вольно, — подал команду командир, — запевай! Да тихо!

Чтобы выполнить приказ,
Следопыту нужна сила,
Следопыту нужна сметка,
Тонкий слух и острый глаз...—

вполголоса дружно запели ребята «Марш следопытов», сочиненный Харитоном Четвертым, и нарушили утреннюю тишину.

Бросив искать «жемчужное зерно», прохлопав крыльями, взлетел петух на забор крайней пзбы: перекинув рубиновый гребень-корону с одной стороны головы на другую, изогнув колесом шею в волнистых перьях чернью по серебру и закрыв глаза, во все горло прокричал «ку-ка-реку!» раз и другой — вот, мол, как надо петь. Из скворечни вынырнул скворец, торопливо уселся на полочку возле летка, оглянулся, цыц-цыбикнул щеглом, щебетнул ласточкой и, помогая крыльями, залился соловьиной трелью. Спешивший грач к своему гнезду с сухой веткой в белом клюве тоже решил «спеть» — каркнул, ветка выпала из клюва,



грач спикировал за веткой, но не рассчитал — шлепнулся на дорожку. На скотном дворе, гремя цепью, подал грозный голос племенной бык, великан Митрофан: «Бу-у-бу...» — и затараторили доярки, бренча бидонами и подойниками. Когда ревет Митрофан, у всех мужиков поджилки дрожат. Не любит бык мужиков, да и только. Не один побывал у него на тупых, будто булыжники, рогах, а потом по полгода отлеживались после такой передраги. Семиха-хромой как-то попался на глаза Митрофану. А куда Семихе бежать, коли лет двадцать хромает на правую ногу да с палкой ходит, после того как его в озере щукахватила за ногу и повредила сухожилие, что выше пятки. А тут бык. Взревел Митрофан, пригнувши голову с глазами, налитыми кровью, ковырнул землю передними ногами — земля из-под копыт выше телеграфного столба полетела! — и бросился за мужиком. Быть бы Семихе на рогах у быка, да, к счастью, гумно изладилось поблизости. Как кошка по углу гумна, взметнулся мужик на крышу, забыв о своей хромоте. С той поры Верхотазом прозвали Семиху-хромого, а быка Митрофана — Лекарем, потому как после такой встряски мужик хромать перестал и палку бросил.

Вот почему, услышав грозное «бу-у-бу» Митрофана, следопыты оборвали на полуслове свой марш и, с опаской оглядываясь, подошли к скотному двору.

— Обследовать все закоулки скотного двора, — подал команду Харитоша, — нет ли здесь следа нарушителя.

Скотный двор в колхозе «Вешние воды» прослыл на весь район. Просторный, из отборного леса, с большими окнами на реку.

Ребята вошли в доильный зал. Операторы доильного зала, вчерашние десятиклассники и пожилые заслуженные, важные колхозницы, одетые в белые халаты, готовились к утренней дойке. Проверяли доильные аппараты, бидоны, молокопроводы, цистерны.

Коровы-холмогорки, белые с черными крупными пятнами, огромные, что лоси, с круглыми добрыми глазами, ждали: поскорее бы освободиться от молока. Бросив жвачку, переминаясь с ноги на ногу, послушно подставляли переполненное вымя с набухшими сосками под струи восходящего душа. У каждой коровы свое стойло, своя поилка, своя кормушка, свой душ.

— По какому делу к нам пожаловали? — увидев ребят, спросила их старший оператор Валентина Васильевна.

— А мы, собственно, без всякого дела, Валентина Васильевна, — ответил за всех Харитоша, — мы просто хотели напиться парного молока, так как, сами видите, направляемся в очень и очень дальнюю дорогу. А попутно посмотреть, как живут ваши воспитанницы и нет ли жалоб на вас со стороны их, коров, значит.

— Ой, выдумщик, выдумщик! — засмеялась Валентина Васильевна. — Девчата, дайте им вечернего пожирнее, от Зорьки...

Обошли следопыты все закоулки скотного двора, заглянули в сеновал, в кухню-кормоварку, но никаких следов ночного пахари не обнаружили. Решили зайти к Митрофану, но только открыли дверь хлева, как бык так взревел да так ударил рога-тым лбом в бревенчатую загородку, что, как показалось ребятам, задрожал и закачался хлев и задрожал и закачался весь скотный двор. Следопыты со страху дали такого стрекача, что в мгновение ока очутились возле конюшни на другом конце деревни...

— Так вот, товарищи следопыты, — начал отдышавшийся Харитон, — из только что происшедшего эпизода делаю вывод: во-первых, мы, оказывается, неплохие бегуны, а во-вторых, раз Митрофан с нами разделаться хотел, это значит, что мы уже мужи-ки! Ясно? А коли мужики, то бежать от быка стыдно!.. Что скажем в свое оправдание?

— Я, конечно, хотел помериться силами с Митрофаном, — говорит Сила, — и еще неизвестно, кто бы кого победил, но вижу, командир бежит, не видя свету, и я побежал, решив, что это какой-то тактический маневр.

— Ты что скажешь, Тонкослух?

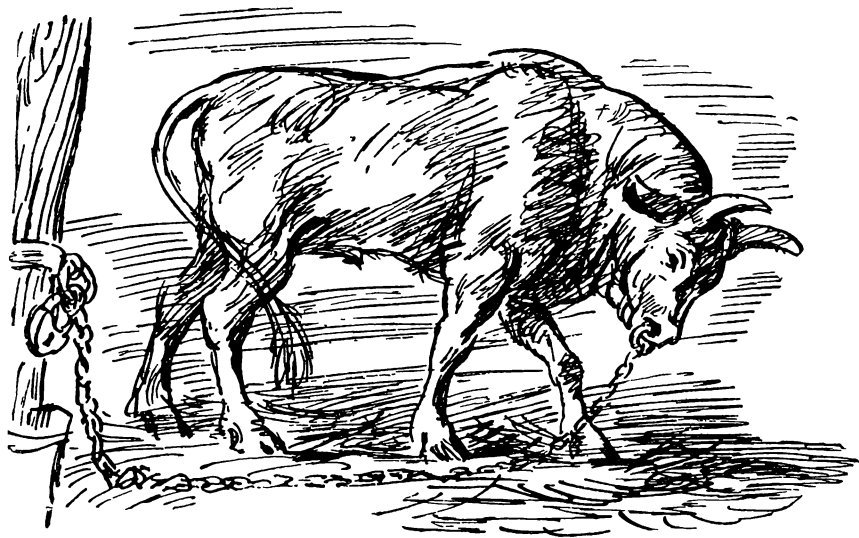
— Я услышал в голосе Митрофана такие решительные злоеющие нотки, что считаю маневр нашего командира совершенно правильным.

— Что скажет Востроглаз?

— Я глянул одним глазом на Митрофана, другим на этот край деревни и решил, что за секунды, пока бык разобьет загородку и дверь хлева и примется за нас, мы можем хорошим

броском избавиться от напасти. Командир принял правильное решение.

— Учитывая, что еще потребуется много силы и времени для выполнения нашего задания, нам не было надобности в более близком знакомстве с Митрофаном, и я принял решение дать стрелкача. Но при первой возможности мы с быком познакомимся поближе. Для переговоров о дружеской встрече пошлем к Митрофану следопыта Силу. А сейчас осмотрим это конное заведение, то есть конюшню и все ее службы, может быть, здесь удастся обнаружить инвентарь, коим была вспахана Овсяная полянка, и тягловую силу в лице тяжеловоза Черта, так как только Черту под силу перевернуть за одну ночь землю Овсяной полянки, если действительно, как утверждает председатель и наши уважаемые трактористы, земля вспахана на лошади. Может возникнуть вопрос, и вполне обоснованный: почему мы начали поиск не с места происшествия? Да потому, что скотный двор и конюшня — места менее подозрительные и, стало быть, более вероятные, где нарушители могли укрыть пахотный инвентарь, а к тому же эти объекты нам по пути. (Ребята переглянулись.) Итак, к делу...





У коновязей перед конюшней стройными рядами стояли рыжие с белой лысиной, белогривые, с белыми волнистыми хвостами кони вешневодской породы.

Утреннюю уборку лошадей проводили их хозяева, ученики девятых и десятых классов. Сколько шуму было первое время, когда председатель колхоза Харитон Харитонович дал лошадей ребятам, перешедшим в девятый класс, в полное их распоряжение! Не только ездить на них, но поить, кормить и корм заготавливать.

Ох и взвыли мамыши да и некоторые папаши: «Ребятам учиться надо, а не лошадей кормить!», «Ребятам учиться надо, а не корм заготавливать!», «Да где это видано, да где это слыхано?», «Здоровью надрыв!», «Учебе надрыв!»

В райком строчат.

В райисполком строчат.

В районо строчат.

Из райкома пишут: «Данное мероприятие изучить», из рай-

исполкома пишут: «Разберитесь сами», из районо пишут: «Не мешать учебе. Лошадиную возню прекратить».

И опять:

в обком строчат;

в облисполком строчат;

в облоно строчат.

А ребята как получили коней, так и прилипли к ним: поят, кормят, холят, корм заготовливают: на сенокос первыми, с сенокоса последними.

Здоровью впрок.

Учебе впрок.

А какие праздники теперь устраивают ребята на радость колхозникам: летом скачки и верховая езда, зимой катание на саниах! В дни проводов зимы такое устроят, что от конского храпа, скрипа полозьев, звона колокольцев под дугами да песен и смеха ребят и девчат вся округа гудит.

Оторвется какой паренек из «Вешних вод» на чужую сторону — в армию ли, на учебу, на заработки — и дни считает, когда встретится со своим любимцем рыжим, с белой лысиной по храпу, белогривым, с белым волнистым хвостом скакуном.

Глядят следопыты на лошадей, вздыхают, глаз оторвать не могут. Завидно. Когда-то еще они получают лошадей, да и получают ли! Поленился в учебе — правление колхоза лошадь не дает. Поленился в работе — тоже на скакуна не рассчитывай. Поневоле вздыхать будешь: что в учебе, что в работе всякое бывает.

Из конюшни вышел старший конюх Василий Андреевич, в прошлом пограничник, а значит, и лихой кавалерист. В кожаных начищенных сапогах, темно-синих брюках галифе с зеленым кантом, кожаной куртке и зеленой фуражке пограничника с красной звездочкой на темно-синем околыше. Густой, седой, курчавый чуб под лакированным козырьком, седые пышные, закрученные вверх усы, голубые веселые, с хитринкой глаза да статная фигура придавали молодцеватый вид этому пожилому человеку.

Издревле в «Вешних водах» в особом почете ратные люди. Слово «солдат» — слово гордое. Дорожат бывшие воины народной любовью к ним и дорожат формой солдатской. В празд-

ники ли, в дни торжеств нет лучшей одежды для них, как солдатский мундир с регалиями и фуражка с красной звездочкой выше козырька, на околыше. А у Василия Андреевича должность такая, и не мыслит он ногу в стремя вставить не по форме одетым.

— Здравия желаем, Василий Андреевич! — вразнобой приветствовали ребята конюха.

— Отставить!

— Здравия желаем, Василий Андреевич! — отрапортовали дружно, в один голос следопыты.

— Это другое дело,— заметил старший конюх, приложив руку к головному убору,— здравствуйте, товарищи будущие пограничники, будущие джигиты. Чем могу служить? — не сдержался, расплылся в улыбке старый воин перед молодой порослью.

— Нам, Василий Андреевич, поручено пионерской дружиной посмотреть, как живут наши скакуны.

— Это что, вроде проверки, что ли?

— Никак нет,— выпалил Харитоша,— мы ради знакомства.

— Коли ради знакомства — пожалуйста, только приходите в другое время, сейчас у меня начнется урок верховой езды с учениками девятого класса.

— Ваше присутствие при знакомстве с жизнью скакунов было бы крайне желательно,— ответил командир отряда,— но поскольку вы заняты уроком верховой езды, а мы не рассчитываем другим временем, и, кроме того, поручение дружины должно быть выполнено в срок, просим вас разрешить нам осмотреть конюшню и другие помещения самостоятельно или с одним из ваших помощников.

Вежливая, искренняя просьба ребят тронула старого воина.

— Мои помощники рядовые Глеб и Нифонт в данный момент отсутствуют: уехали за фуражом,— крутя седой ус, ответил старший конюх,— но коли вы не располагаете другим временем и есть неотложная необходимость выполнить поручение дружины, вам как будущим джигитам и, конечно, будущим пограничникам разрешаю провести знакомство с нашим заведением самостоятельно. Действуйте! — приложил руку к головному убору старик...

На конюшне негромко озабоченно заржала кобыла Стрелка, ей обрадованно ребячьим голосом отозвался заблудившийся у коновязей рыжий с белой лысиной жеребенок Орлик, три дня тому назад появившийся на свет.

Следопыты удивились чистоте и порядку в этом большом светлом помещении. Ни мусора, ни навоза, ни лишних посторонних предметов, кроме веников, метел и больших совков. Каждый денник выбелен известью. У каждого денника табличка-паспорт, на ней четко и аккуратно написана кличка лошади и год ее рождения.

У Стрелки с Орликом ребята задержались. Каждому хотелось погладить чуть пробившуюся пушистую гривку, ухватить жеребенка за курчавый хвостик-метелочку и поцеловать мягкие, нежные, теплые губы.

— Этот Орлик будет сильным Орлом,— сказал Сила.

— С острым глазом,— добавил Востроглаз.

— И тонким слухом,— закончил Тонкослух.

Подшли к деннику Черта. Конь стоял с высоко поднятой головой, слегка поджав и чуть прикопытив перевязанную бинтом правую заднюю ногу. Черная блестящая грива, заплетенная в косы лаской, спустилась ниже колен, густая челка закрыла морду до самого храпа. Лоснящаяся спина и широкий, с лотком посередине круп, на котором можно вдвоем улечься, делали коня каким-то могучим, красивым ископаемым чудовищем. Кличку Черт конь получил за свою вороную масть, силу и ловкость в работе, эти качества приписывают и «настоящему» черту. Когда Черт был жеребенком, его звали Чертенок, тоже за схожесть с чертенятами по масти и неугомонности. Зачуяв ребят, Черт встряхнул головой, откинул на сторону челку, глянул на них черным добрым глазом и опять погрузился в свои думы.

— Не был Черт в прошлую ночь на Овсяной полянке,— увидя перевязанную ногу коня, сказал командир.

— Не был,— подтвердили следопыты.

Ребята вспомнили, как на прошлой неделе Черт вытащил трактор, застрявший в речке Бильковке, и в горячке засек подковой правую заднюю ногу. С тех пор болеет. Наступать на ногу не может.

В помещении для хранения кормов Тонкослух остановил ребят:

— Тихо! Я слышу в одном из отсеков храп спящего человека, даже двоих.

Следопыты притихли, насторожились, но никакого храпа не услышали.

— А я вижу, как то поднимается, то опускается полова в отсеке, что перед нами,— сказал Востроглаз.

Опять насторожились следопыты, уперлись глазами в отсек с половой, но ничего не заметили.

— Следопыт Сила,— приказал командир,— возьмите лопату и взойте полову.

Следопыт с таким азартом ковырнул полову, что столб пыли взметнулся до крыши сарая, а лопата, зацепившись за что-то твердое, с треском лопнула пополам.

— Дальнейший осмотр без хозяина прекратить,— сказал Харитоша, увидев четыре ноги в резиновых сапогах, торчавшие из половы.

В это время в сарай вошел Василий Андреевич, окончив урок верховой езды.

— Ну как, джигиты, довольны ли нашим заведением?

— Очень довольны, товарищ гвардии старший сержант,— ответил командир отряда,— только вот вызывают недоумение ноги, торчащие из половы.

— Чьи ноги?

— Не можем знать.

— Действительно, ноги! — удивился старик, глянув в отсек, и сам еле удержался на ногах от испуга: может быть, злодеяние какое тут совершено, надо сообщить участковому.

Но в это время зашевелились ноги в синих штанах и дернулась нога в полосатых штанах.

— Разройте полову, это, кажется, мои помощники,— приди в себя, попросил старший сержант.

— На гауптвахту, на гауптвахту! — закричал конюх, увидя в разрытой полове спящих своих помощников.— На гауптвахту! — не унимался старик, обхаживая ременной плеткой Глеба и Нифонта...

На шоссе прогудела машина, за ней другая. В гаражах за-
тарахтели тракторы. Следопыты направились от конюшни к
Овсяной полянке...

— А скажи, Харитон,— спрашивает долго молчавший
Андрюша Силин,— почему наши ребята обязательно погранич-
никами служат?

— Тут, брат, целая история,— подумав, отвечает Харито-
ша.— Пограничная служба — тяжелая служба. Тут и сила
нужна, и сметка, и выносливость, и храбрость. Пограничник
должен быть следопытом? Должен. Снайпером должен быть?
Должен. Смекалистым должен быть? Должен. Выносливым
должен быть? Должен. Храбрым должен быть? Должен. Во
как! А это, как говорит Ковча, у каждого вологодца в са-
мой крови течет. Унаследовано от дедов и прадедов. Кроме
этого, пограничник конем владеть должен? Должен. Маши-
ной управлять должен? Должен. Это тоже под стать воло-
годцам.

Был такой случай,— продолжал Харитоша,— служил на по-
гранзаставе на западной границе наш земляк комсомолец Анд-
рей Коробицын. Храбрый был пограничник. И случилось так,
что ему одному пришлось вести бой с четырьмя воору-
женными диверсантами, которые направлялись в нашу страну, чтобы
какую-то диверсию сделать. Это было как раз накануне десяти-
летия Октябрьской революции. А тут на пути им Андрей Кору-
бицын — наш богатырь:

«Стой!!!»

Завязался бой. Коробицын один, а их четверо. В ногу Кору-
бицына ранили — воют. В другую ногу ранили — воют.
В живот ранили — воют.

Вот какой был наш земляк.

В неравном бою Коробицын погиб, но не пустил врага на
нашу землю.

О храбром пограничнике командование доложило Централь-
ному Комитету нашей партии. А в Центральном Комитете
спросили: «Откуда родом такой богатырь?» — «Вологод-
ский», — ответили...

Давно это было. В 1927 году это было. С тех пор погранза-
става на этой границе носит имя комсомольца-пограничника
Андрея Коробицына, а наших вологодцев в погранвойска при-
зывают.

В Отечественную войну фашисты даже мраморную доску
на заставе с именем отважного пограничника расстреляли.
Даже мертвый комсомолец Коробицын был страшен для них,—
закончил свой рассказ Харитоша.

III

Над полями на невидимых пружинках повисли жаворонки
и, то подымаясь ввысь, то опускаясь до земли, огласили зво-
ном серебряных колокольчиков всю округу. На реке белой ши-
рокой извилистой лентой лежал туман, а над болотом, не до-
ходя реки, тучка дождевая повисла, ухватившись за кусты
ольшаника. Повисла и не знает, что делать: то ли дождем
изойти, то ли плыть дальше. На болоте задорно, весело, с ка-
кой-то птичьей удалью прокричали журавли: «Кур-лы! Кур-
лы!» Тучка вздрогнула, покачнулась и поплыла навстречу вы-
ходящему из-за леса солнышку, искрясь цветами радуги, и
открылось болото.

— Журавли! — таинственно, негромко крикнул Харитоша
ребятам. — Журавли танцуют! Ложись!

На сухом островке, покрытом жухлым, прошлогодним бело-
усом, ребята увидели стаю журавлей. Густой краснотал, раз-
росшийся по краю болота, надежно скрыл следопытов от зор-
ких глаз осторожных птиц. Даже журавль-часовой, расхажива-
ющий поодаль стаи, тревожно озирающийся по сторонам, не
приметил их. Птицы, радуясь окончанию многотысячного пе-
релета, радуясь весне, радуясь родине, кружили в традицион-
ном прощальном танце. Журавли то отходили от центра круга,
высоко подымая длинные тонкие ноги, взмахивая огромными
черными крыльями, с высоко поднятыми головами на длинных
желтоватых шеях, то сходились к центру, вплотную прижав-
шись друг к другу с веселым, гортанным, наперебой криком:

«Кур-лы! Кур-лы! Кур-лы!» Опять расходились. В кругу появилась пара: журавль с журавлихой. Обнявшись крыльями, они важно обходили круг, потом пускались вперегонки, приседали, падали, распростерши крылья. Наконец, прижавшись плотно друг к другу и скрестив шеи, кричали: «Кур-лы! Кур-лы!» И вся стая хлопала крыльями и неистово вторила: «Кур-лы! Кур-лы!! Кур-лы!!!»

Натанцевавшись на земле, птицы взмыли в воздух. Журавль-часовой тоже поднялся за стайей. Над болотом, над рекой, над полем журавли долго водили хоровод под несмолкаемый прощальный крик: «Кур-кур-лы, кур-кур-лы!» — «До осени, до осени!», а потом, разбившись на пары, полетели в разные стороны искать укромные места вить гнезда, нести яйца, выводить журавлят.

— Вот это да! — первым поднялся и нарушил молчание Харитоша.

— Н-настоящий балет,— стуча зубами, подымаясь из лужи, заключил Сила. По команде «ложись» он плюхнулся в воду да так и лежал в воде, пока танцевали журавли.— На границе не такое может быть, может, сутки придется лежать в воде, и потом приказ командира,— ответил Сила на смех и улюлюканье ребят.

— Молодец, Андрей! — сказал серьезно Харитон Четвертый.— От лица службы объявляю благодарность.

— Служу Советскому Союзу! — так же серьезно отрапортовал Андрей.

— За мной, в поиск.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

У скворечни скворцы. Поют.

На березах грачи. Хлопочут.

В небе жаворонки. Заливаются.

На межах, на канавах трава пробивается. На пригорках то-

ченными столбиками с коричневыми суставами полевой хвощ выкинулся. Земля прогрелась. Пахарей ждет.

На деревнелюдно.

У гаражей шумно.

Мужики да бабы приоделись.

Парни да девки понарядились.

Солнышко глянуло — улыбается.

Председатель колхоза, гвардии старшина, в синем комбинезоне, в танкистской фуражке со звездочкой. Орденские планки на груди — радугой. Трактористы тоже в синих комбинезонах, в зеленых набекрень фуражках пограничников с красными звездочками. На груди значки комсомольские — рубином горят. Возле машин — что петухи. Перед девушками куражатся — зубы скалят...

Тракторы в ряд.

Машины в ряд.

— По ма-ши-нам! За-во-ди! — команда председателя.

Что на рысаков, вскочили парни на тракторы.

Тронулись.

Моторы гудят. Гусеницы о камни лязгают...

На переднем тракторе за рулем сам председатель колхоза. За ним — трактористы, ученики председателя, бывшие пограничники, теперь знатные хлеборобы колхоза Ефим Солдатов, Иван Петухов, Павел Хомутов, молодые здоровые парни.

За тракторами — машины, груженные семенами, удобрениями.

Колонна идет на поле Заречное. Землю пахать. Хлеб сеять.

За колонной ребята шагают. С шестого по десятый класс — тоже все в поле. Каждому работа найдется. Так решило правление колхоза. Кто прицепщиком, кто заправщиком, кто в походной мастерской слесарному делу учится.

Посевная не год тянется — неделю.

Учебе впрок.

Здоровью впрок.

Хлеб слаще, коль земле лишний раз поклонился.

Любого десятиклассника в «Вешних водах» на любой трактор посади — борозды не испортит. С любым конем справится — силы да ловкости не занимать.

— Орлы! — сказал Ковча, глядя вслед пахарям. И, подпираясь рябиновым бато́гом, поплелся в деревню, долго стоял с непокрытой головой у обелиска, где среди сотни имен односельчан были и имена его трех сыновей, легших костями под Ленинградом...

II

Ожило, загудело поле Заречное...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

— След,— сказал Востроглаз, глядя на клетчатую вмятину на полосе.

— След,— подтвердил командир отряда,— но это, скорее всего, след от берестяной корзины, но не от ноги человека. Такой большой ноги нет ни у одного даже вологодского богатыря.

— Если бы этот след оставил человек, я бы слышал его шаги у себя в доме, как бы крепко ни спал,— заявил Тонкослух.

— Никакая корзина, наполненная даже не семенами, а камнями, не даст такой вмятины, как бы ни была рыхла земля. Это след человека-великана, обутого в лапти,— заключил Сила,— и я готов с ним помериться силой при первой возможности.

— Если даже это след великана, как утверждают Востроглаз и Сила,— говорит Харитоша,— нам этого еще не достаточно. Надо продолжить обследование полянки, не найдутся ли более достоверные приметы ночного пахаря. Что был плуг — это безусловно, так как земля вспахана; что была борона — это тоже верно, так как посев заборонован. Но кто таскал плуг, кто таскал борону? Ведь ни следа трактора, ни следа лошади нет. Не таскал же на себе этот великан плуг и борону. Как ни

славна наша вологодская земля богатырями, но таких никто не видывал. А кроме того, не кажется ли вам загадочным: на чем были доставлены сюда плуг, борона и семена и отсюда увезены плуг и борона, так как следов колес телеги тоже нет? Не мог же он все принести и унести на своих плечах.

Задумались следопыты.

Рты раскрыли. Уши развесили.

— Продолжать обследование! — приказал командир отряда.

II

— След! След!!! — закричал Востроглаз на другом конце полянки и замахал руками, зовя к себе ребят. — След от полозьев саней или дровней.

Полевую дорогу, что проходит у нижней межи Овсяной полянки, ее непросохшую грязь, действительно пересекал в направлении к лесу след полозьев.

— След, — подтвердили Тонкослух и Сила.

— След, спору нет, — согласился Харитоша, — но нужно решить, какой давности этот след. Может быть, с тех пор прошло дней десять, как здесь кто-то проехал на санях или дровнях...

— Как думает следопыт Сила?

— Во-первых, — начал Сила, — если мне не изменяет память, все сани и дровни, то есть весь полозный зимний транспорт, две недели тому назад во всех бригадах — в этой работе принимали участие и мы — поставили под навес и перешли на колесный транспорт: телеги и двуколки. Во-вторых, за десять или пятнадцать дней дожди, солнце и ветер от этого следа не оставили бы ни следа.

— Логично и остроумно, — заметил командир. — А что скажет Тонкослух?

— Я не сомневаюсь в свежести следа полозьев — след свежий, но нет следа копыт лошади, которая перетаскивала дровни через дорогу. И, как видно по следу полозьев, дровни или сани сильно нагружены, и копыта лошади должны были тоже оста-

вить глубокий след, и в течение суток этот след не мог заплывать. Даже след от огромных копыт Черта за такой короткий срок не мог сгладиться.

— Благодарю за внимательность, твои рассуждения довольно разумны и наводят на мысль: не перевозили ли этот груз, то есть плуг, борону, семена и удобрения, на аэросанях? Да и не вспахана ли поляна этой машиной?

— Этого не может быть,— возразил Тонкослух,— я услышу и различу гул мотора аэросаней среди гула десятков других моторов в любую погоду и любое время суток, даже когда сплю. Но этого не было ни в прошлую, ни в позапрошлую ночь, тем более днем.

— Не смею сомневаться в достоинстве твоего слуха. Однако след полозьев и след лаптей, хотя и непомерно больших, проливают некоторый свет и приближают нас к решению задачи... Вперед, по следам!

III

Там, где заканчивалось поле и начинались покосы, на иле в мочажине, оставленном недавним паводком, ребята опять натолкнулись на след полозьев, а между следов полозьев отчетливо были видны и следы больших лаптей.

Оторопели.

Остановились.

Глазами то друг на друга, то на следы.

— Силен! — удивился Востроглаз.

— На себе дровни с поклажей,— не менее удивленно уточнил Тонкослух.

— Мне бы такую силищу! — позавидовал Сила.

— Как видите, товарищи следопыты, еще решен один важный вопрос,— поясняет командир.— Теперь совершенно ясно, что плуг, и борона, и семена были привезены на Овсяную полянку этим человеком в лаптях. Поклажа нелегка, но в этом ничего удивительного нет. Если бы мы с вами появились на свет лет тридцать тому назад, то знали бы силача, мужика



След шел в болото.

нашей деревни Васю Лося, за что он и получил это прозвище. И, как рассказывает дед Ковча, был такой случай. В нашей местности по рекам и озерам путешествовал один ученый-ихтиолог Гопман или Гипман, в общем, немец. Он разыскивал бесчешуйчатого окуня.

— Бесчешуйчатых окуней не бывает,— заметил Востроглаз, азартный рыболов и неплохой знаток ихтиологии.

— Бесчешуйчатых окуней не бывает, но ученые такие бывают,— продолжал Харитоша.— Обследуя речку Бильковку, этот ученый нырял в воду и лазил руками по рачьим норам в надежде в этих норах найти такого окуня. А Вася Лось в это время переезжал на лошади с возом дров через речку. Заглядевшись на этого Гопмана или Гипмана, свернул с броду, и телега с возом застряла. То ли на камень наехала, то ли за корягу зацепилась. Туда-сюда, а воз лошадь стронуть с места не может. Тогда мужик выпряг лошадь, перехватил оглобли вожжами, накинул петлю вожжей себе на плечи и вытащил воз не только из реки, но даже на берег вывез. Увидя такое, этот самый ученый, наверное, принял Васю Лося за лешего, выскочил из реки, перекрестился и нагишом дал деру в деревню — тут уж не до бесчешуйчатого окуня! Во какие силачи были в нашей деревне!.. И надо полагать, что этот пахарь, конечно, человек силы непомерной, но вспахать на себе за одну ночь Овсяную полянку никакому богатырю не под силу... Вперед! По следу.

Но след за мочажинной исчез в жухлой прошлогодней отаве.

IV

Солнце поднялось высоко и щедро лило весеннее тепло на всепенную землю. Кружа покосами, перелесками и оврагами, ища утерянный след, ребята вышли к большому, что озеро, залптому весенней водой и весенним птичьим криком непроходимому болоту. И тут на отлогом торфяном берегу они увидели отчетливый след полозьев и лаптей. След шел в болото.

Следопыты оторопели и с изумлением смотрели друг на друга.

— Это богатырь богатырям,— первым нарушив молчание, выйдя из минутного оцепенения, сказал командир,— коли решился вброд с таким возом перейти болото. Только одним сохатым под силу такой «тракт», но не человеку! Что вы скажете на это, следопыты?

— Сквозь птичий гомон: утиное криканье, гусиное гоготанье, блеяние бекасов и бормотание тетеревов — я слышу, как там, за болотом, в тайге кто-то ломает, как хворост, вековые ели,— сказал Тонкослух.

— Я думаю, что не сегодня-завтра мне придется помериться силой с этим богатырем, и чувствую, как с каждым часом мое тело наливается все новыми и новыми силами и становится тесным обмундированье,— ответил Сила и сделал вдох, да такой, что с треском отлетели пуговицы от его походной куртки.

— Следопыту Силе надо ускорить темп набирания сил, так как в скором времени ему придется познакомиться не с одним, а с двумя богатырями,— объяснил Востроглаз.

— Почему с двумя? — в один голос спросили следопыты.

— Потому что здесь следы от двух пар лаптей, посмотрите внимательнее.

— Это очень важное обстоятельство,— убедившись в наличии двух пар следов, сказал командир,— которое может упростить или усложнить наш поиск...— Он еще что-то хотел сказать, но в это время с шумом, ревом, завыванием, треском и свистом из тайги на болото хлынула полоса ураганного ветра, ломая и выворачивая из земли с корнями на своем пути деревья и кустарники и вздымая весь этот хлам в облака, что пух одуванчика летний ветерок. Вырвавшись на просторы болота, ураган на какое-то мгновение остановился, будто оглядываясь, и с еще большей силой и свистом кинулся по болоту, всасывая в себя воду с гусями и утками, с кочками и корягами. Столб воды, перемешанный с лесным хламом и живностью, упершись широким раструбом, что гигантской воронкой, в небо, неся круговерть к следопытам.

— Смерч! — крикнул командир отряда.— Ложись! Держись за землю!

Но последние слова командира утонули в шуме налетевшего на ребят смерча. А когда они, поднявшись с земли, от-

крыли глаза, то ахнули от страха и удивления. Следопыт Сила с распростертыми руками и ногами кружил в круговерти смерча вместе с кустарниками, корягами и птицами высоко над землей.

— Наша задача усложнилась, — сказал командир.

Но Востроглаз и Тонкослух не слышали довольно спокойных слов командира, они с раскрытыми ртами следили за попавшим в беду товарищем.

Смерч пронесся над покосами, над полем, вернулся к болоту, взбудоражил опять чуть успокоившуюся воду, ворвался за болотом в тайгу и ослабел. Ребятам было видно, как падали на лес носимые круговертью кусты, трава, прошлогодняя листва, как разлетались в разные стороны пришедшие в себя, освободившиеся из плена птицы и как падал следопыт Сила с бьющими около него крыльями пары гусей.

— Засечь по компасу градус приземления! — приказал командир.

— Есть засечь по компасу, — ответил Востроглаз, — только я отчетливо вижу сосну, на которую опустился Сила.

— А я ясно слышал, как ломались сучья дерева, на которое плюхнулся он.

V

На плоту, который смастерили ребята из трех бревен, связав их ивовыми вицами, следопыты переправились через болото.

— За мной, быстрее! Обстоятельства не терпят промедления... Го-го-го-го! — прокричал командир

Тишина.

— Вперед, бегом!

Через колодины, обросшие мхом, — кувырком.

Через бурелом — где ползком, где поверху.

Вода из-под ног веерами хрустальных брызг — в разные стороны.

Пот глаза заливает.



У костра сидели следопыты и сушили до нитки промокшую одежду.

— О-го-го! — донеслось до ребят: Сила отозвался.
Повеселели.
Обрадовались и пуще вперед.
— Андрей! Андрей!! Андрей!!! — кричали они.

VI

В бору, под сосной в два обхвата, что вершиной в ясную погоду звезды по ночам в небе считает, а в пасмурное утро в тучах умывается, у костра сидели следопыты и сушили до нитки промокшую одежду.

Андрей рассказывал:

— Успел ли я лечь по команде, не упомню. Сжало меня со всех сторон — ни дохнуть, ни голоса подать, и глаз открыть не могу. А потом как поволокло по земле, да головой о землю рраз-рраз — искры из глаз фонтанами, а свету не вижу. Я это, значит, ногами-то дрыг, дрыг, а земли-то и не чувствую, опереться что-то на нее не могу. Кое-как открыл глаза, и тут сразу и в жар и в холод кинуло: земли-то подо мной нет, и лес и болото как-то сбоку от меня, и я мимо лечу. «Эх, думаю, пропал, этак мимо земли да в космос! А долго ли?»

— Ну, уж сразу и в космос... — вздохнул Тонкослух.

— А тут как крутанул этот самый смерч, — продолжал Андрей, — я глянул — земля подо мной и лес подо мной. Еще больше перепугался. Ежели с такой высоты шлепнусь — лепешка из меня на земле, да и все. А в этой самой круговерти около меня и листья, и травы, и кусты, и верхушки елок и сосен, и птицы разные как неживые: крылья распустили, головы туда-сюда болтаются, их оглушило, значит, не иначе. Тут вспомнил я Мюнхаузена и хватить одного гуся за ноги, другой рукой — другого гуся, тоже за ноги, и держу крепко-крепко. Авось, думаю, спасут меня эти гуси. Когда очухаются, полететь захотят, и куда им со мной лететь — силы не хватит, а крыльями-то хлоп, хлоп. Я и спущусь на крыльях-то, что на парашюте. Так и случилось: стихла круговерть — гуси ожили и ну крыльями махать, а я их за ноги держу и все спускаюсь

ниже и ниже и бух на сосну, с сосны на землю. Огляделся — дровни под сосной стоят, а рядом плуг двухлемешный и борона. Вот, думаю, куда след-то нас вел. А людей нет. И следов от лаптей нет. Одни лосиные следы есть, да и только, — закончил свой рассказ Андрей.

— Решение задачи усложнилось, — заключил командир, — но... — взмахнул рукой наотмашь, будто пашкой при рубке лозы:

Чтобы выполнить приказ,
Следопыту нужна сила,
Следопыту нужна сметка,
Тонкий слух и острый глаз...

Дружно подхватили ребята. Эхом отозвался и зазвенел сосновый бор.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Эх и денек!

Солнышко греет. Небо голубое-голубое, без единого облачка. От земли испарина прозрачными волнами подымается.

На поле Заречномлюдно.

В рокоте тракторов тонут людские голоса и конское ржание. Вспаханная полоса все шире и шире. За тракторами подлетывают стаи черных белоклювых грачей да проворно ныряют между пластами вывернутой земли серенькие, в черных передниках трясогузки — вечные спутники пахаря.

Председатель вел первую борозду и не сходил с трактора, пока хозяйки не принесли пахарям завтрак: только что выпеченные, еще горячие караваи ржаного хлеба, парное молоко, вкрутую сваренные яйца, пироги с рыбой, пироги с солеными рыжиками. Еда немудреная, но сытная. Так заведено в «Вешних водах» — хлеб хлебом-солью встречать.

После завтрака Харитон Харитонович направился в деревню по своим председательским делам. Много дел у председателя.

Идет по склону поля к реке председатель. На душе радостно: машины работают, семена отборные, механизаторы один к одному — гвардейцы. Ребята на поле, что муравьи, земле кланяются. Постигают науку пахаря. Наука эта трудная, сложная. Знает председатель, что никакая академия не сделает из человека пахаря, коли с малых лет земле мало кланялся. Радостно на душе у Харитона Харитоновича.

И как-то помимо своей воли — не хотел, еще обида сердце не оставила — глянул в сторону Овсяной полянки. Глянул и остановился. Видит, по пахоте полянки человек на коленках ползает.

«Кто бы это и зачем?» — подумал председатель, повернул и зашагал к полосе.

— А, Митрич,— еще не доходя до полосы, узнал председатель Ковчу,— добрый день!

— Добрый день,— подымаясь с колен, ответил старик.— Как ты сказывал, полянку вспахали ночью, так вот гляжу, все ли тут как надо сделано.

— Ну и как?

— Хороший пахарь был, будь он не ладен: ни одного зернышка поверху нет, да и землю что пух разделал. Овсище, скажу тебе, Харитон Харитонович, в этом году будет — редкость. Примета такая есть.

— Какая примета?

— Примета-то? Да очень простая. Эту примету каждый пахарь должен знать. Береза в эту весну больно много соку дает. А коли много соку — сей овес, без хлеба не будешь. Вот такая примета. А с таким овсом, что здесь вымахнет, смело в Москву на выставку ступай.

— Какая выставка, Митрич, коли мы пахаря даже не знаем?

— Нашел о чем тужить. Пахарь объявится. Ты, Харитон Харитонович, близко это к сердцу не принимай. Пошутили ребята, ну и все. Наш народ до шуток горазд, сам знаешь. На шутку и ты шуткой. Дело-то и наладится.

— Спасибо, Митрич, на добром слове,— загадочно

улыбнулся председатель.— Да шутка-то вроде бы великовата....

— В большом деле малая шутка что иголка в стогу сена,— засмеялся старик.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Вязкое торфяное болото, залитое весенней водой, стало непроходимым для человека, даже для богатыря-великана. В этом убедились следопыты, переправляясь на плоту. Колья, которыми они толкали плот, местами не доставали дна. Ребята решили, что воз переправлен через болото только на плоту, и хотели найти этот плот, и не только плот, а и пахарей, как они думали, беспечно спящих у костра или в шалаше. А ведь богатыри после богатырской работы и спят богатырским сном — беспробудно по двое, по трое суток.

Размечтались.

Каждый по-своему.

Край болота трудный, зарос кустами, деревьями. Идти тяжело. Где в торфяную кашу, где в воду по колени и глубже, а плота никакого в помине нет.

— Тихо! — шепчет Тонкослух.

Остановились. Глазами спрашивают приятеля.

— За поворотом голоса.

Насторожились. Замерли. Прислушались. Тишина.

Опять глазами Тонкослуха спрашивают.

— И визг какой-то, и хрюканье.

След в след на сухое место вышли. По-пластунски меж соsenок на пригорок выползли.

Глянули. Ахнуть бы, да дыхание сперло. Холодок по спинам взад-вперед заходил под ватниками. То в жар, то в холод от страха.

На мысу, что желтым клином в болото врезался, медведица медвежатам баню устроила. Схватит зубами медвежонка за

шиворот и ну полоскать в воде, как бабы белье полощут. А медвежонок визжит, хрюкает, зубы скалит, брыкается. Одного помоем, другого схватит. Потом третьего. Их трое было. Лохматые, серо-грязного цвета, косолапые. Вырвется какой из зубов матери и ну кататься и кувыркаться в желтой прошлогодней траве да лапами скрести себе живот, бока, шею. А потом бегать примется — греется.

А медведица изловчится, хватить его за шиворот и опять полоскать...

Вымыв медвежат, медведица тоже мыться начала. Забрела в воду по брюхо и ну обливаться да полоскаться. Когтищами шею чешет, грудь. Даже с головой окунается. Кряхтит, ворчит от удовольствия. Медвежата друг за дружкой бегают, грызутся, кувыркаются.

Харитон Четвертый рюкзак освободил, поближе к медвежатам пополз. Рискованное дело задумал Харитоша. Чем-то кончится?

— Назад ползите, — передал следопытам, а сам еще ближе к медвежатам.

Спроси, и сам толком не расскажет, как это случилось, но накрыл рюкзаком Харитоша одного медвежонка и рюкзак шнурком затянул. И ползком от сосны к сосне подальше от греха. Ноша не тяжелая, но опасная.

Медведица купается. Кряхтит от удовольствия — беды не чувствует. А спохватится, горе вам, следопыты-несмышлениши.

Медведица бежит быстро. Иноходью и то любого человека настигнет, галопом — и говорить нечего. Силища в ней медвежья, храбрость звериная, особенно когда за дите родное заступиться надо.

II

— Федя, гляди! Коля, слушай! Андрей, след губи! За мной! Не отставать! К переправе, сколько духу есть! — на бегу отдавал приказанья Четвертый Харитон.

Сквозь сосны — бегом.

Через валежники — кувырком,

Через бурелом — где ползком, где поверху — дали деру ребята.

Впереди Харитон, за ним Коля, потом Федя. Сзади всех Андрей — след губит. В правой руке у Андрея бычий рог, наполненный нюхательным табаком, сдобренным мятными каплями. Из рога зеленоватой струей табак сыплется и облачком пыли на следы ложится. Где густо, где пусто...

Нюхательный табак с мятными каплями любой след губит. Какое бы чутье у зверя ни было, стоит ему нюхнуть этого снадобья — и пропало чутье на сутки, а то и дольше. Что бы ни понюхал зверь — все табаком пахнет.

В прошлом году за месяц до открытия охоты Камушкин со своим гончаком Казбеком начал истреблять зайца. Что ни день — то заяц, а то и два. Ни советы, ни запреты на Камушкина не действовали. Ружье на плечо, свистнет Казбека — и в лес...

Досадно стало следопытам. Подманили они к себе собаку и дали нюхнуть табаку из пригоршни. Их Ковча по секрету научил этому. Казбек с полсуток чихал да облизывался. И как Камушкин ни бился, гончак ни одного заячьего следа в лесу причуять не смог. А дня через два еще дали Казбеку нюхнуть.

«Чутье пропало у собаки», — жаловался на деревне Камушкин.

Вот какое это снадобье — нюхательный табак, сдобренный мятными каплями...

III

Вдруг медведица насторожилась. Вроде почуяла что-то недоброе. Перестала скрестить себя лапищами.

Глянула на медвежат:

Мишка тут и Машка тут, а Ваньки нет.

Глазам не поверила. Присподнялась на задних лапах, поздри растопырила, носом повела:

Мишкой пахнет и Машкой пахнет, а Ванькой не пахнет.

Мишка к ней, и Машка к ней.

Мишка за хвост мать схватил, Машка за ухо треплет.
А Ваньки нет.

Мишку шлеп, и Машку шлеп. Ринулась иноходью медведица от куста к кусту, от сосны к сосне по Ванькиному следу.

Тут пробежал.

Тут кувыркнулся.

Тут лежал — чует медведица.

А тут?

Человеком ударило в нос медведице сразу из-под четырех кустов.

Взревела от ярости и галопом бросилась по следу. На пригорок в секунду, что на крыльях, взлетела. С пригорка в лощину не рассчитала — через голову кувыркнулась.

Остановилась. Вроде след потеряла. Человеком не пахнет. Носом туда-сюда. Глазами уставилась: на колодине мох сорван и след. Сунулась носом в след, потянула, и... сперло дыхание, защекотало в носу, в груди — и хозяйка леса так чихнула раз и другой, что фонтаны голубых искр хлынули из ее маленьких глаз.

Гулкий, с хрипотой чох эхом покатился по лесу от сосны к сосне, от ели к ели, с гривы на гриву, с гряды на гряду по всему лесному острову. И для медведицы, кроме запаха нюхательного табака, сдобренного мятными каплями, никакого запаха в лесу уже не было. Еще пуще взревела медведица...

IV

— Медведица медвежонка хватилась! — крикнул Коля Тонкослух. — Голос подает! За нами гонится! Брось, Харитон, медвежонка — пропадем!

Следопыты остановились. Прислушались. Тишина.

— Сначала взревела, потом чихать начала, а сейчас опять ревет, — продолжал Коля.

— Чихнула, говоришь? — переспросил Харитоша. — Значит, след потеряла. Молодец, Андрей, хорошо губил. Теперь передохнем малость, — и снял с плеч рюкзак с медвежонком.

До сих пор молчавший пленник тоже голос подал. То ли надоело качаться в рюкзаке, то ли мать услышал. Завизжал, заскулил, заворчал. Вот-вот рюкзак разорвет — на волю просится.

Харитоша поослабил шнурок, и из рюкзака показался мокрый черный пяточок с двумя дырочками — медвежонок нос высунул. Еще поослабил — и медвежонок всю голову высунул.

Глянул на склонившихся над ним ребят — испугался. Глазенки закрыл, уши поджал и так пронзительно закричал, что у следопытов в ушах зазвенело.

— Плохо дело, — сказал командир, — теперь медведица на голос пойдет. Вперед что есть духу к переправе, — и сунул в рот медвежонку кусок сахара.

Медвежонок замолчал. То ли сосал сахар, то ли не было мочи кричать, опять качаясь и болтаясь из стороны в сторону в рюкзаке за плечами Харитона.

Бегут ребята по лесу. Впереди Харитоша, за ним Коля, потом Федя. Сзади Андрей — след губит.

— Слышь, Харитон, отпусти медвежонка, — опять просит Коля.

— А что? Медведица настигает?

— Да нет. Жалко мне просто.

— Кого жалко?

— И медвежонка жалко, и медведицу жалко. Вот кого. Отпусти.

— Чудак ты, Тонкослух. Мы же не насовсем его взяли. Поправится на наших харчах, подрастет, и опять его в лес отправим. На, мол, мамаша, получай своего сынка, давай на откорм другого, — шутил Харитоша. — Помнишь, каким был Васька, когда из лесу привели, — еле на ногах стоял, а теперь первый лось на весь лес, что слон. А важный какой: Васькой покличешь — ухом не пошевелит. Подойти соизволит, коли назовешь Василием Ивановичем, да не один раз. Вот и из медвежонка, — продолжал Харитоша, и все это на бегу, — вырастим медведица — Михаила Ивановича, грозу лесов...

— Медведица! — крикнул Федя Востроглаз, когда они были в нескольких шагах от еще чуть дымящегося костра, где днем сушили промокшую одежду.



Следопыты сбились в кучу — присели.

— Где? — спокойно спросил командир, оглядывая кругом лес и побледневших следопытов.

— Да вон в сосняке, не видишь, что ли, спину показывает? Бежим!

Быстрый и тоже острый глаз Харитона пробежал по молодому сосняку.

— Товарищи следопыты! Мы вне всякой опасности. С нами Василий Иванович. Ура!..

Из сосняка вышел громадный однорогий лось. Зверь сделал несколько шагов в направлении ребят. Остановился, высоко подняв красивую точеную голову, и глубоко и шумно вздохнул. Потом еще раз вздохнул, фыркнул и тяжело ударил передним копытом о землю.

— Медвежонка учуял.

— Медвежонка боится,— затараторили повеселевшие ребята.

— Василий Иванович,— повелительно сказал Харитоша,— иди сюда!

Лось мотнул головой и опять ударил передней ногой о землю.

— Ну иди же, иди, не бойся,— упрашивал парень и направился к сохатому с куском хлеба в руке.

Но лось круто развернулся, фыркнул и не торопясь, красивым крупным шагом вошел в сосняк и начал объедать пальцы верхних мутовок молодых сосенок.

— До свидания, Василий Иванович! — кричали на прощание в один голос ребята.— До свидания!..

V

Чуть дымят остатки костра — непотухшие головешки. В рюкзаке командира скулит медвежонок.

Следопыты настороженно и с удивлением глядят по сторонам и друг на друга: под сосной ни дровней, ни плуга, ни бороны.

— Мы за пахарем, а пахарь за нами, вот что получается,— первым нарушил молчание командир.— Скидывайте рюкзаки, скидывайте ватники, да прочешем-ка лес, пока солнышко не закатилось.

До седьмого пота следопыты прочесывали лес. Из сил выбивались. Еле ноги переставляют. Но как сквозь землю провалились и дровни, и плуг, и борона. Не нашли их ребята.

— Переправимся через болото — привал сделаем,— говорит Харитон,— да цел ли наш плот, а то, чего доброго, ночевать здесь придется...

На счастье, плот был цел и стоял на том месте, где оставили его днем следопыты.

Солнышко, уставшее ходить по небосводу, не хотело покидать ребят. На прощание сквозь частокол леса оно перекинуло через болото, залитое водой, мост из золотых бревнышек.

Отталкиваясь кольями, следопыты плывут через болото на плоту. Плот ломает золотые бревнышки и гонит их золотыми волнами вперед и в стороны. Покачавшись на волнах, бревнышки сзади плота опять устилают водную гладь золотым мостом из золотых бревнышек.

VI

Причалили. Плот кольями прикололи.

— Так, друзья мои. Первым делом накормим нашего пленника, — снимая с плеч рюкзак, объявил Харитон. — Проголодался, наверное, да и устал не меньше нас. — Харитон осторожно развязывает рюкзак: — Давай, давай высовывай свою голову, медвежище-дружище!

Ребята сгрудились у рюкзака, на коленки встали. Медвежонок даже не шевелится. Только слышно в рюкзаке тутуканье да какое-то шипение...

Первым догадался Харитоша. Он схватил рюкзак и вытряхнул содержимое. К ногам ребят упала увесистая болотная кочка и свернувшийся, ошетилившийся большой еж.

Взрыв хохота и криков взбудоражил тишину.

Федя Остроглаз кувыркался через голову. Коля Тонкослух схватился за живот и гоготал на всю округу. Андрей Сила держал в руках ежа и кричал:

— Теперь есть с кем помериться силой!

В ответ эхом гоготал и смеялся лес и птичьим гомоном смеялось болото.

Харитон, размахивая пустым рюкзаком, тоже смеялся до слез, кричал:

— Нелегко быть следопытом: мы за пахарем, а пахарь за нами. Но...

Чтобы выполнить приказ,
Следопыту нужна сила,
Следопыту нужна сметка,
Тонкий слух и острый глаз...—

забыв про усталость, пели ребята.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Розовые полushалки накинула вечерняя заря на зубчатую опушку ельника. Попритих лопотавший весь день торопливый ручей.

Отдыхают тракторы.

Отдыхают машины.

Отдыхают лошади, звонко хрустя овес в подвешенных па их морды торбах.

Отдыхают пахари, все от мала до велика, вокруг ярко пылающих костров.

Отдыхает река, местами подернувшись прядями седого тумана.

Все реже подают голоса уставшие от песен дрозды в осиннике по берегу ручья.

Но неустомимо, днем над полем, а сейчас над полевым станом, кувyrкается в воздухе пара беспокойных чибисов, оглашая окрестность одним и тем же криком: «Чи вы, чи вы?»

Выражают ли недовольство людям за нарушенный покой и тишину поля, или благодарят трактористов за то, что они бережно обошли — не вспахали тот кусочек земли, где чибисы сразу после таяния снега вырыли неглубокую ямку, устлали ее стебельками сухой травы и отложили в гнездышко четыре темно-бурых яйца с черными крапинками.

«Чи вы? Чи вы?» — кричат в воздухе птицы.

«Да вешневодские мы!» — крикнет кто-нибудь, смеясь, в ответ чибисам. Или еще: «Вологодские мы! Вот чи!..»

II

Рядом с полевым станом механизаторов — палаточный городок. На красном полотнище, натянутом между двух берез, белыми буквами выведено:

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ КОЛХОЗА «ВЕШНИЕ ВОДЫ»

Вот что белыми буквами выведено.

С прошлой весны так повелось. Харитон Четвертый сагитировал ребят на такое дело, как председателем пионерской дружины стал. Во время посевной пионеры свой лагерь поближе к полю раскидывают. Сенокос идет — пионерлагерь на сенокосных угодьях. Жатва начнется — и пионерлагерь тут как тут.

Любо родителям, как ребята науку труда познают.

Учебе впрок.

Здоровью впрок.

III

У костра, где щурится от яркого пламени и смеется в густую бороду Ковча, все пахари собрались и Харитон со своими пионерами тоже.

Старик рассуждает:

— Что полянка вспахана на животине, а не на ком другом — об этом и разговору нет. Что нет следа этой животины на пашне — так следа-то и не должно быть. Какой пахарь оставит на полосе след от трактора ли, от лошади ли и даже свой? На то борона есть — борона любой след сгладит.

— У-гу,— согласились пахари.

— Взять другую сторону этой истории,— продолжал Ковча,— могли ли мужики на себе перетащить дровни с поклажей через поле, покосы и даже на Красную гриву, что за Большим болотом, коли в этом была нужда? Могли. А что тут мудреного? Каких-то четыре версты — невелик волок, раз сила в человеке есть. Хотя бы вот вы,— Ковча указал на трактористов,— разве не богатыри? Богатыри. С такой поклажей не один десяток верст бегом пробежите, не то что до Красной гривы.

Трактористы приосанились, плечи расправили. Переглянулись, покраснели. Зубы скалят.

— А эти,— Ковча подмигнул пионерам,— что ни парень, то и богатырь.

Смеются ребята. Кто грудь, кто живот вперед выставил. Андрей Сила даже на носках приподнялся. Всем хочется на богатырей чем-нибудь смахивать.

— Но самая загвоздка не в этом, — Ковча отмахнулся от угля, с треском выскочившего из костра прямо в его бороду, — самая загвоздка в том: а для чего засеяли полянку овсом? А? — и замолчал, оглядывая всех собравшихся у костра.

— Да кто его знает! — раздался голоса. — Вспахали, да и только, чтоб людей насмешить.

Ребята переглянулись, сопят, вперед взрослых со своими догадками не лезут. Ждут, что дед скажет.

— А по-моему, не для смеху это сделано, — откашлялся старик, — это затея умного пахаря. В этом году, по моим приметам, будет урожай на овес. Где ни посеешь, хоть под кустом, — вырастет. Ну, а на этой полянке, скажу вам, будет такой овсище, что вези в Москву на выставку, да и только. Вот какая думка была у этого человека... Правду я говорю? — глянул старик на агронома Александра Сенина. Сенин тоже из этого колхоза, недавно закончил Тимирязевку.

— Не знаю, дед Митрич, — ответил агроном, — приметам нас в академии не учили, но опыт хлеборобов уважать учили.

— А примета — это и есть опыт, — засмеялся Ковча, — опыт людей. Ну да ладно, пахарь объявится и тогда расскажет нам про свою затею.

— Так он и объявится! — засмеялись у костра.

— Конечно, объявится, — утверждает старик, — свой же человек, не чужой. Объявится...

Дул сиверко. Тучи закрыли зарю, спрятали луну. Ветер на реке разогнал туман и рябил воду. Умолкли дрозды, успокоились, улетев к гнезду, чибицы, только плакучие березы все сильнее и сильнее размахивали длинными голыми ветвями да безудержно в лугах скрипел коростель.

— Самая налимья ночь... — вздохнул дед, глядя на небо и окрест. — А ну, кто со мной на реку донки ставить?

— Все! Все!! Все!!! — закричали пионеры.

Идет к реке старый дед, окруженный говорливыми, веселыми, подпрыгивающими ребятами, будто старый пень, обросший молодой порослью. А у костра зазвенела на все лады, с пере-

ливами синемехая гармонь. И поплыла, будто по волнам, над вспаханным полем светлой майской северной ночью задушевная мелодия...

...Земле я низко кланялся
С зари и до зари...

Растет и растет хоровод. Все шире и шире круг. Все ярче и ярче горит костер, и мечется пламя в кругу девчат и ребят на поле в светлую майскую северную ночь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

I

Посевная не год тянется — неделю. Отзвенела, умолкла монотонная песня тракторных моторов, висевшая над «Вешними водами» от зари до зари. Стройными рядами стоят машины на площадках у гаражей.

Опустел полевой стан.

Нет палаточного городка — пионерского лагеря.

Трактористы с утра до вечера в гаражах стучат молотками, бренчат ключами. К другим работам машины готовят.

Ребята в школу с утра. Тоже пора горячая. Да какая еще! Учебный год кончается. У одних зачеты, у других экзамены. Нелегко.

А душа пахаря большая, беспокойная. Вспахал поле, управил пахоту — сердце радуется. Но пахоту в закрома не кладут. Болит душа: как-то взойдет?

Взойдут посевы — поле зеленеть начнет. Опять радуется сердце. Но и всходы в закрома не кладут. Болит душа; какой-то уродится хлеб?

И нет конца радостям и тревогам пахаря...

Но всходы есть всходы.

— Хорошие всходы — большая радость, и нет выше платы — радость за свой труд. Вот почему вечером после работ тянутся пахари в поле — степенные, важные. И одна дума у всех:

«Как-то взойдет?»

Ребята после школы тоже в поле бегут и тоже на уме:

«Как-то взойдет?»

Вместе пахали.

II

Утихомирилась, вошла в берега река. Посветлела вода, и пенится белыми шапками на порогах, и медленно, задумчиво кружит в омутах и заводях.

Утихомирились и бойкие, шумливые ручьи, но все равно спешат и спешат, прыгают с камня на камень, тычутся в берега и без умолку, по-ребячьи лопочут и лопочут весеннюю песню.

Солнце с каждым днем все больше и больше льет тепла на весеннюю землю.

После теплого дождя в одну ночь треснули березовые почки и выскочили на свободу розеткой собранные липкие пахучие зеленые листочки. А утром зазеленело поле Заречное. Дружные всходы укрыли вспаханную землю.

Всходы в закрома не кладут. Но всходы есть всходы. Радость-то какая великая... Хлеб растет!

III

Ходят по полю пахари во главе с председателем колхоза Харитоном Харитоновичем Харитоновым, и дед Ковча как главный эксперт тоже тут, и ребята след в след за взрослыми — не отступают.

Важную задачу решают пахари: чьи всходы лучше? Лучшие всходы — лучший пахарь. А лучшему пахарю правление колхоза премию назначило, да такую, какой никогда еще не было. Орликом премируется лучший пахарь. Орлик — это тот рыжий, с белой лысинкой жеребенок, что две недели тому назад появился у Стрелки. У него еще торчком стоит кудрявая

гривка и хвостик метелочкой и тоже кудрявый с рыжей полоской посередине.

Вот какую премию назначило правление колхоза.

Кому не хочется завладеть Орликом. Сосет под ложечкой у каждого пахаря. Вздыхают ребята.

Трудная задача, а решить надо.

Ходят по полю пахари — за ними ребята след в след. Красные галстуки на ребятах красным пламенем на ветру колышутся. Одна делянка лучше другой — попробуй разберись! А разобратся надо!

— Вроде бы редковато немного, — прищурясь, заключает Ковча, разглядывая всходы на делянке Ефима Солдатова.

— Что вы, дед Митрич! По всем правилам, — возражает тракторист, — посмотрите, какой хлеб уродится.

— О хлебе будем судить по осени, а сейчас о всходах разговор идет. Не так ли?

— Так, так, — соглашаются в один голос председатель и агроном.

Потеет, краснеет тракторист: неужели дал промах? А как старался...

— Эко сколько земли на луг натаскал! — заворчал старик, когда подошли к пахоте Ивана Петухова.

— Спешил, дед Митрич, ненароком, — оправдывался тракторист.

— Спешил, — еще больше заворчал Ковча и начал сапогом сгребать землю с луговины на полосу, — спешил! А земля спешки не любит. А всходы-то хороши! Да, очень хороши, не хуже, чем у Ефима.

Улыбаются трактористы Ефим и Иван, подмаргивают ребятам, с которыми пахали: мол, Орлик-то будет наш.

Волнуется Павел Хомутов: к его полосе направились пахари.

— Э, Пашка, — опять первым подал голос Ковча, — чего столько глины-то павыворачивал?

— Земля такая, дедушка, никак лучше не вспашешь.

— Ты, парежь, про землю мне не говори, я каждый вершок этой земли знаю. Еще сохой ее двадцать лет на кулака пахал. Земля! Пустил глубоко, вот тебе и глина, а к чему она?

Чешет затылок тракторист Паша: правильно дед говорит. Смеются пахари. Смеются ребята...

Ходят пахари по полю — за ними ребята след в след.

К Овсяной полянке подошли.

— Тоже судить? — спрашивает Ковча председателя.

— Судить, Митрич, судить.

— Так ведь пахаря-то нет!

— Пахарь, как ты говорил дед, объявится.

— Должен объявиться, да вот, поди ж ты, не объявляется.

Разве что завтра на параде?

— Когда бы ни объявился, оценку работе дать надо,— смеется Харитон Харитонович.

Но не смеются трактористы, не смеются ребята. Они даже не слышат разговора председателя с дедом. Как подошли к полянке, так и стоят зачарованные, глядя на мощные зеленые ровные всходы.

— Вот это всходы!

— Работа, скажу тебе, позавидуешь!

— Тут, брат, будет не овес, а овсище!

И как ни судили, как ни рядили, а все согласились на том, что лучшие всходы на Овсяной полянке. А значит, и лучший пахарь тот, кто вспахал эту полянку. А кто? Неизвестно.

Вот как обернулось дело.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

I

На площади центральной усадьбы колхоза «Вешние воды» Стрелка со своим жеребенком Орликом, окруженная толпой народа.

Жеребенок то испуганно жметя к матери, то, храбро подняв голову, важно и доверчиво подбегает к людям на их ласковые голоса. Стрелка тревожно ржет и тщательно обнюхивает сына, как только он приблизится к ней.

И Стрелку и Орлика любовно оглаживает немного грустный

старший конюх Василий Андреевич. Оглаживает и думает: лишь бы не объявился первый пахарь. Лишь бы ему не пришлось расстаться сегодня с любимицей Стрелкой и этим еще дурашливым, нежным и забавным сосунком Орликом.

Но не знает Стрелка решения правления колхоза, не знает этого решения и Орлик.

И не знают ни мать, ни сын, о чем думает сейчас старший конюх Василий Андреевич, держа Стрелку за ременные поводья — обороти.

II

Весенний праздник пахаря в «Вешних водах» начинается парадом пахарей. Шествие открывается шагающим пионерским отрядом, а за ними, за пионерами, трактористы на тракторах. Лучший пахарь впереди, за ним остальные. После торжественного шествия — вручение премий, подарков. А потом кто во что горазд: скачки на лошадях, физкультурные соревнования, песни, хороводы, и так с утра до поздней ночи, а чаще до следующего утра.

Поработали хорошо — отдохнуть не грех.

У школы горн слышится, барабаны бьют.

У гаражей тракторы тарахтят моторами.

У коновязей кони ржут.

На площади смех, гомон людской.

А председатель колхоза Харитон Харитонович тревожится, нервничает: сын Харитоша куда-то пропал. Чуть свет скрипнул калиткой и что в воду канул. Уже несколько раз прибегала из школы жена председателя, мать Харитоши, учительница русского языка Лидия Александровна, спрашивала мужа, людей: «Где Харитоша?» — а Харитоши нет.

А тут бабка Дарья приковыляла и тоже к председателю: «Старик пропал, то ли с вечера, то ли до свету куда-то ушел и досить нет. А как мне без старика?»

Тревога народу передалась. Утих смех, утих гомон.

«Вот так праздник, — думает председатель, — Харитошка куда-то пропал и Ковча тоже — что за оказия?»



*Гремя колесами, вылетает двуколка с двумя седоками,
и в упряжке лось.*

А пионеры к мосту подходят, в горы играют, в барабаны бьют. У моста трактористы за пионерами двинулись. И только бы колонне на площадь вступить, как из переулка, гремя колесами, вылетает двуколка с двумя седоками, и в упряжке лось. И с поворота врывается двуколка, запряженная лосем, в колонну и занимает место первого пахаря.

Правит упряжкой Харитон Четвертый, туго натянув ременные вожжи, а Ковча важно сидит в кузове да поглаживает свою серебряную бороду.

— Ой! — прокатилось по толпе.

— Люди, глядите, что делается.

— Лось Васька в упряжке!

Кубарем скатился председатель с трибуны и бросился к подводе. Трактористы заглушили моторы и тоже во весь дух к упряжке. Со всех сторон окружили Ковчу с Харитоном Четвертым.

— Гляньте на ноги лося! На ноги гляньте! — кричит, схватившись за живот, тракторист Ефим Солдатов.

Взрыв хохота потряс деревню, когда люди увидели на ногах сохатого берестяные лапти.

— Черт старый, до чего додумался! — кричат бабы.

— Силен старик!

— Смекалистый.

Продавщица сельпо свое:

— Вот для чего, оказывается, Харитошка овес у меня покупал, а говорил — для сохатого.

— А ты-то, ты-то как ловко обошел отца, а? — треплет председатель по плечу сына и смеется пуще всех.

— Наша! Наша взяла! — закричали ребята, когда Ковча сказал, что вся эта затея Харитошкина...

Пробралась, растолкав людей острыми локтями, бабка Дарья — баба-яга к своему Ковче — Коцею Бессмертному и, грозя черемуховым батоном, шамкает:

— Ты чего это на старости лет людей-то смешить вздумал?

— Какой тут смех, гляди, мы с Харитошкой жеребенка выиграли, — оправдывался старик.

— В башку-то, спрашиваю, чего такая дурь пришла? — не унималась баба-яга.

— В башку-то, спрашиваешь? Да очень просто. В Москву тебя хочется свозить, а как ехать без надобности? Вот и решили мы с Харитошкой овес вырастить, да такой, чтобы академики позавидовали. И с таким овсом на выставку махнуть. А по моей примете, в этом году овес на Овсяной полянке в оглоблю уродится.

— Что старый, что малый... — вздохнула бабка.

А Ковча не унимался:

— Рассказал Харитошке про свою примету, ну и не стало от парня отбою: засеем овсом полянку, да и только, пока отец картошкой ее не засадил. Озорство, говорю, сынок, получается... Но подумал: а дождусь ли еще такой весны, ведь мои весны считаны. И еще подумал: может быть, пахарь родится в этой затее, а это не шутка! Все равно трактор бы нам председатель не дал, да и землю, пожалуй, ну мы и решили ссамо-вольничать: ночью на Ваське управить полянку. А кабы на тракторе, то такую дали пашню — любуйся, и только.

Трактористы подняли старика на руках и качнули раз и другой. Хотели и бабку Дарью качнуть, да побоялись, что рассыплется или вправду обернется бабой-ягой и улетит на ступе с помелом. Как тогда быть старику без старухи?

III

— Когда вырастет Орлик, — рассуждал Харитон Четвертый, держа в поводу Стрелку, — мы отправим его на погранзаставу имени комсомольца Коробицына для лучшего пограничника заставы.

— На заставу, — соглашаются пионеры.

А будущий пограничник Орлик, устав с непривычки целый день среди людей, сунул мордочку в мягкое теплое вымя матери, сосал сладкое молоко, широко расставив ноги, и помахивал от удовольствия курчавым белесоватым хвостиком-метелочкой с рыжей полоской посередине...

— Слышь, Харитоша, — спрашивают следопыты, когда они остались одни, — почему же мы не догадались, что это была твоя затея?

— Следопытом быть не так просто. Но вы работали отлично.
— А ежа вместо медвежонка ты тоже сам себе в рюкзак сунул?

— Нет. Тут и я тоже дал маху. Медвежонка из рюкзака на волю выпустил дед Ковча. И дровни с плугом и бороной тоже Ковча отвез на Ваське в другое место. Вот и получается, что...

Чтобы выполнить приказ,
Следопыту нужна сила,
Следопыту нужна сметка,
Тонкий слух и острый глаз.

— Ха-ха-ха! — смеются следопыты.

* * *

Не слышно тракторных моторов.
Не слышно топота и храпа лошадей.
Не слышно гиканья наездников.
Умолкли шумные хороводы.

Месяц осветил и без того светлую майскую северную ночь.
Но за околицей на берегу реки тихонечко звенит гармонь и
льется задушевная мелодия песни пахаря:

...Земле я низко кланялся
С зари и до зари...



Лаймонис
Вацземниек

*Ливсальские
мальчишкы*



ВСТУПЛЕНИЕ

Ранним утром я стоял на берегу Аттеки и смотрел через речку на остров Лівсала. Тронутый первым осенним багрянцем, он пламенел среди водного простора, будто костер.

Кончилось третье послевоенное лето. По улицам города ветер все еще гонял серые струйки пепла. Местами виднелись мрачные черные руины. А люди, сменив винтовку и штык на лопату и кирку, трудились на развалинах, стараясь убрать, удалить все, чем был захламлен мир в грозные дни войны. По рельсам, громохоча, опять катились трамваи, в квартирах из кранов снова струилась чистая вода, задымили одна за другой заводские трубы. За несколько лет было сделано многое, но еще больше предстояло сделать. Нужно было не только восстановить

город, но и построить его лучше и краше, чем он был раньше, потому что теперь над ним вновь развевалось красное знамя — знамя трудового народа. Поэтому ни днем, ни ночью не замедлялся напряженный трудовой ритм, кругом все гремело, как во время грозы.

Здесь, на берегу реки, неистово урча, сновал трактор. Экскаватор мощной рукой поднимал целые горы земли, а люди, вооружившись ломами, напрягаясь, сдвигали огромные каменные глыбы.

Я задумчиво смотрел на остров, напоминавший старинную картину, от которой веяло необычным спокойствием и тишиной. Казалось, ничто не могло разбудить дремлющий островок. Так же, как и десять лет назад, вдоль всего берега острова росли ветвистые ивы, кое-где над крышами взмывали желтыми огоньками макушки берез и вперемежку с другими деревьями гордо высились могучие дубы. На берегу теснились двухэтажные деревянные дома с небольшими балконами и флажтоками на крышах.

На вышке дома судовладельца, капитана дальнего плавания Криста́на Та́лрита, вертелся жестяной парусник, показывая направление ветра.

Я хорошо знал, что за металлическим парусником Талрита тянутся ряды одноэтажных домишек, а в глубине острова, спрятавшись за заборами, в тени яблонь, дремлют жилища других островитян.

Самым солидным зданием Ливсалы была новая, построенная незадолго до войны школа, которая возвышалась над остальными домами.

Многочисленные канавы и каналы, заливы и рукава разделяли Ливсалу на небольшие полоски земли, соединенные между собой старыми, покосившимися деревянными мостками или покрытыми мохом досками. Целый день с раннего утра до позднего вечера глубокую тишину нарушали однообразный скрип весел, крик домашних уток и гусей. На узких, занесенных песком, петляющих улочках копались куры и хрюкали поросята...

— Чудесное местечко, а? — сказал, ухмыляясь, тракторист, показывая рукой на Ливсалу. — Тишина и спокойствие...

— Вы так думаете? — спросил я и хотел уже рассказать ему

обо всем, что сам в свое время увидел и услышал. Но тут же меня осенила мысль, что этот рассказ может заинтересовать и других, и потому решил сесть за книгу.

Так вот и возникла повесть «Ливсалские мальчишки».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Новый ученик. — У нас не такая мода. — Мартынь из предместья

Ему было тринадцать лет. Вздернутый нос, голубые внимательные глаза и взлохмаченные светлые волосы. На рукаве клетчатой рубашки болталась полуоторванная пуговица, которую он нервно тербил пальцами. Расстегнутая манжета нахально улыбалась. Оттянутые карманы брюк свидетельствовали о том, что в них нередко бывали солидные тяжести. На груди алел чистый, старательно отутюженный пионерский галстук.

Едва переступив порог, парень стал боком, поминутно оглядываясь на дверь. За столом сидел учитель Зéмитис. Это был высокий мужчина, с густыми волосами, в выцветшей солдатской гимнастерке. Под столом виднелись поношенные, но тщательно начищенные сапоги. Почему-то казалось, что паренька больше всего пугают именно эти блестящие сапоги.

Переминаясь с ноги на ногу, будто не зная, что делать, он вытащил из кармана брюк пачку скомканных бумажек и положил их на стол.

Учитель посмотрел на паренька и полистал бумаги.

— Мáртынь Пúпол? Из той школы, что в предместье? — строго спросил он.

Паренек кивнул утвердительно: мол, о чем тут говорить — там же все написано!

— Чего это ты вдруг надумал перебраться к нам на Ливсалу?

— Этим летом переехали жить сюда, — коротко пробурчал в ответ паренек.

Земитис продолжал рассматривать бумаги. Голубоватый бланк — справка о состоянии здоровья, заявление, написанное старческим, неловким почерком.

«В шестой класс. Значит, ко мне», — подумал он.

— А где твой табель?

— Потерял.

— Потерял? Но ведь без табеля-то нельзя! Придется взять копию в той школе, где ты учился. — И Земитис пристально посмотрел на паренька.

Мартынь тоже взглянул на учителя исподлобья. Потом, решившись, сунул руку за пазуху и вытащил вчетверо сложенную помятую бумагу.

Учитель развернул ее и разгладил ладонью. В самом низу мелким почерком было написано:

«Отметка по поведению снижена за склонность к бродяжничеству и физическое насилие над другими учениками».

— Как же тебе оставили галстук?

— Не успели отнять... Но вы, наверное, это сделаете. — Паренек с угрюмым видом протянул руку за документами. — Не примете?..

— Подожди!

Учитель встал, снял с вешалки свой армейский планшет и открыл его. Взяв иголку с ниткой, он протянул ее Мартыню:

— Ну-ка, Пупол, приступай к работе!

Паренек смущенно вертел в руках оторванную пуговицу.

— Ну действуй же! Все, что надо, у тебя есть, — ободрил его Земитис.

Мартынь нехотя принялся за работу. Неужели этот долговязый учитель задумал посмеяться над ним? Он, Мартынь, не девочка, чтобы возиться с иголкой! Наверное, учитель решил прогнать его, а перед этим пожелал разыграть. Да, табель, конечно, не картинка — учителю он явно не понравился...

Мартынь вдруг громко ойкнул и сунул палец в рот: иголка, словно оса, больно кольнула его.

Земитис подошел к нему, посмотрел на выдернутую из петли нитку и вздохнул:

— Ай-яй-яй, какой же ты белоручка! А на фронте солдаты

сами не только пуговицы пришивали, но даже рубашки стирали и носки штопали...

Мартынь бросил взгляд на учителя, пришил наконец кое-как пуговицу к рукаву и теперь стоял, не зная, что делать дальше.

— А сейчас ступай в класс. Скоро начнется урок.

— Значит, не прогоните?

— Посмотрим...

Шестой класс исподтишка наблюдал за новеньким.

Волосы цвета соломы, голубые глаза... Подумаешь — голубые глаза! У многих такие!..

Да, всем ясно — хорошего ждать нечего: Фрэдис Лмэлаусис скрипит зубами, а Альберт Талрит злобно шипит — ишь ты, появился с красным галстуком!..

Этот мальчишка, видать, чужак изрядный: надо же среди бела дня прийти в школу в таком виде!

Во время перемены к Мартыню подбежал одноклассник Аустрис Бумбиерис и дернул за кончик галстука.

— Пупол, эй, Пупол, ты, брат, не дури! Лучше снимай свою бабочку! У нас это не в моде! По-дружески тебе говорю...

По обе стороны коридора, то открываясь, то закрываясь, хлопали двери классов. Кувыряясь и визжа, в коридор выкатывались живые клубки. Выкатывались и разваливались на десятки частей.

Мартынь стоял посреди коридора, словно в русле полноводной реки.

— Тоже дружок нашелся! — зло пробурчал он. — Какое ему дело — модно или не модно?..

— Послушай, чего это ты молитву читаешь? Юмор и сатира! — рассмеялся над самым ухом Мартыня Андрис Стийпинь. — Пошли вместе!

— Можно...

Мартынь исподтишка взглянул на Андриса. Настоящий пижон! Волосы блестят точно прилизанные. От уголков рта протянулись две глубокие складки, и потому казалось, что Андрис все время усмехается.

— Послушай, Юмор и сатира, а тебе нравится мой галстук?

— Галстук? Хм!.. Юмор и сатира!.. — попытался уйти от

ответа Андريس, которого действительно все в школе называли Юмором.

— Ты не хмыкай, а отвечай! Почему у вас не носят галстуков? Почему это красные галстуки вам не нравятся?

— Нам? Мне? Откуда ты взял?

— «Не дури» шепнул мне об этом.

— «Не дури»?

— Ну да, тот самый, что без конца повторяет «Не дури».

— Ах, тот самый «Не дури»!..

— Ну чего ты все выкручиваешься и не отвечаешь прямо?

Юмор посмотрел в одну сторону, потом в другую, нагнулся к Мартыню и шепнул ему на ухо:

— Ты только не подумай... что я тоже их сторонник. Но у нас на Ливсале не терпят красного цвета.

— Кто не терпит?

— Вендэтта!

— Кто это?

— Поживешь — узнаешь! — таинственно усмехнулся Юмор.— У тебя, как говорят старики, вся жизнь впереди, юмор и сатира!

— А разве на вашем острове пионеров совсем нет?

— И есть, и нет! — неожиданно резко ответил Юмор и, даже не попрощавшись, убежал.

В школьных воротах, ожидая Мартыня, стоял еще один его одноклассник, сын школьной уборщицы Хáрий Вййран, длинный, худощавый парень. «Ну точно дедова трость!» — отметил про себя Мартынь. Кроме того, он был рыжий, с бледным, будто напудренным, лицом.

— Послушай, Пупол! — Харий подошел поближе к Мартыню.— Валюта есть?

— Десять копеек — больше нету...

— Да я не об этом! Можешь положить их коту на хвост. Мне нужны почтовые марки, понимаешь?

— Марок у меня нет.

— Значит, ты ливсалский нищий, и тогда не о чем с тобой разговаривать! — Харий с высокомерным видом повернулся к Мартыню спиной и запагал на школьный двор.

— Сам ты нищий! — прошипел Мартынь ему вслед.

Еще и в наши дни в некоторых местах предместья можно увидеть серые, однообразные дома, похожие на казармы. До войны домовладельцы строили их для рабочих с ближайших заводов. Рабочие нуждались в недорогом жилье.

В одной из таких каменных коробок первые годы своей жизни провел и Мартынь.

Семья плотогона Яниса Пупола жила на самом верху, в одной из квартир шестого этажа. И это было еще счастьем, потому что летом, по утрам, хоть на минутку в окно их комнатухи заглядывало солнце. А те, что жили на нижних этажах, могли увидеть солнце, только выйдя на площадь предместья, потому что их окна загораживали другие, такие же мрачные, серые каменные громады. Первые годы детства Мартынь помнил смутно, будто смотрел через закопченное стекло. Окутанные туманом, проплывали перед ним отец и мать. Как расплывшаяся тень, виделась ему дедушкина кровать, которая тогда стояла на кухне, за печкой, и сидя на которой Мартынь слушал удивительные рассказы о порогах на Гáуе и Дáугаве. Самым странным было то, что на темном экране прошлого Мартынь яснее всего видел сделанную отцом книжную полку, которая и сейчас верно служила ему и деду.

И еще на этом экране появлялись обутые в высокие резиновые сапоги мужчины, которые иногда заходили к отцу и беседовали о чем-то важном. У мужчин были мощные руки, широкие, огрубелые ладони, как у сказочных великанов, и Мартыню казалось, что они своими лапищами могут горы опрокинуть.

Навсегда запомнил Мартынь летний день 1941 года. Тогда ему было восемь лет. Отец вернулся с работы необычно рано, бросил на кухне в угол свои высоченные сапоги, поспешно собрал чемодан и, подняв Мартыня крепкими руками, долго глядел на него. А потом, схватив чемодан, выскочил на улицу. Когда вечером вернулась с работы мать, Мартынь мог ей рассказать лишь о том, что отец ушел бить фашистов.

В ту осень Мартынь пошел в школу. А вскоре пришли фашисты и увезли куда-то его мать.

Мартынь остался с больным дедом, которому было уже не под силу ухаживать за внуком. В городе появилось тогда много таких же ребят. Целыми днями слонялись они по улицам,

прятались в парадных подъездах и во дворах и озорничали вовсю.

Даже далеко за полночь бродили ребята по дворам. В подходящий момент они могли проколоть шины оставленных без надзора немецких автомашин, насыпать в бензобаки песку. Иногда на заборах или серых каменных стенах домов появлялись паписанные мелом или углем слова: «Смерть фашистским захватчикам!» или «Долой Гитлера!» По утрам, нещадно ругаясь, дворники стирали эти надписи. А ребята, спрятавшись во дворах, за дровяными сараями, весело хихикали.

Иногда Мартынь отправлялся и в далекие странствия, колеся по рижским окраинам — Грйзинькалну, Зóлитуде, иногда добирался даже и до Бóлдераи.

Зимой от таких походов приходилось отказываться, так как не было ни подходящей обуви, ни одежды. Но занятий хватало и в предместье. Ребята всегда придумывали что-нибудь интересное. Зимой они собирались в погребях или сараях, делали луки и стрелы, потихоньку играли в Красную Армию. Иной раз ненадолго выбегали на улицу, отправлялись в сосновый бор покататься с горки или затеять драку с мальчишками из Сми́лшциемса.

Возвращаясь вечером домой, Мартынь читал до полуночи при свете самодельного карбидного фонаря. Книжки, купленные отцом, были уже давно прочитаны, и теперь, в поисках интересного чтения, приходилось обращаться к друзьям и знакомым. Самыми увлекательными, конечно, были книги про путешествия. Их можно было не только читать, но и вообразить себя отважным путешественником, побывавшим во многих удивительнейших местах земного шара.

Хотя дед сердился и ворчал, улица все больше затягивала Мартыня.

И вот наступил наконец день освобождения. И тогда Мартынь получил сложенный пополам листок, в котором сообщалось: «Сержант Янис Пупол пал смертью храбрых в боях за Родину».

Мать тоже не вернулась...

И вновь потянулись тяжелые для деда и Мартыня дни. Как раз тогда Мартынь и вступил в пионеры. Правда, сначала его

не хотели принимать, потому что он никак не мог привыкнуть к школьной дисциплине,— разные шалости и проделки притягивали его словно магнит, а все запреты деда казались ему не такими уж важными, чтобы обращать на них внимание. Однажды во время уроков Мартынь уехал на Юглу. В другой раз он долго бродил по дюнам возле Вёцаки, а как-то даже отправился искать питьевую воду на берег озера Белое... Тут-то, как назло, и произошла стычка с ребятами из Смилишциемса...

И за это — «отметка по поведению снижена за склонность к бродяжничеству и физическое насилие над другими учениками». Так было написано в табеле. А куда его денешь? Мартынь, вздохнув, сложил табель и сунул за пазуху. Но табель — это еще полбеды: в следующем году выдадут новый. Лишь бы галстук не отобрали.

Мартыню повезло: через несколько дней он уже был на Ливсале. Какая-то дальняя родственница, которой принадлежал на острове небольшой домик, предложила деду и Мартыню комнату с кухней. Дед этому очень обрадовался: подниматься по крутой лестнице на шестой этаж было ему теперь трудно. К тому же он давно вынашивал тайную мысль заняться выращиванием огурцов, помидоров и лука. Это было бы ощутимым подспорьем для него с внуком.

А сейчас, смущенный всем увиденным и услышанным, Мартынь шагал домой и думал о школе.

И что они чудят с этими галстуками? Удивительное дело: первый день в школе, а на всем острове галстук надел только один он, Мартынь. Как будто все это в Америке происходит. Леший знает, что за проклятый уголок этот остров!

2

„Вы что же — прыгнете?“ — Шестой класс старается. — Спасибо за работу! — Надо знать алфавит. — „Латышская грамматика“ и „Путешествие к центру Земли“

Прошла почти целая неделя, пока Юрис Земитис как следует познакомился со своим классом. Однажды его ребята заперли в раздевалке девочек из седьмого класса, которые переодевались там к уроку физкультуры.



— Коллега Земитис, ваш класс опять отличился! — воскликнула Эмилия Роне, учительница по химии и географии по прозвищу Серная Кислота.

Ничего не ответив ей, Земитис поспешил к ребятам.

В классе, к великому его удивлению, царила необычная тишина. Девочки, склонив головы, усердно листали учебники. Ребята столпились у парты Мартыня полукругом, как индейцы у костра, ничего вокруг не замечая. Только Фредис Лиелаусис и Альберт Талрит стояли в стороне и равнодушно слушали рассказ, прикинувшись невинными овечками.

— ...И там еще был фонтан. Такой огромный... — растягивая слова, рассказывал Мартынь. — Ну знаете, такой большой, как водопад!

А кругом горы. Пять дней и ночей карабкался вверх. А снежные бураны!.. У-у-у!.. Камни срывают с места. А в другой раз, когда я шел по Военно-Грузинской дороге... — Мартынь вдруг замолк и нагнул голову. За спинами ребят он заметил вошедшего в класс Земитиса.

Громяхая партами, ребята уселись на свои места.

Учитель прошелся до окна и вернулся к столу.

— Почему вы заперли девочек?

Тишина. Все молчат, будто окаменевшие. Это было первое серьезное столкновение класса с новым учителем, исход которого мог иметь очень большое значение в будущем. Это было поистине решающее событие! И чем оно кончится? Будет ли Земитис сам наказывать или же отправит к директору?

Откровенно говоря, ребята растерялись: Земитис начал действовать как-то необычно, совсем с другого конца. Он не расспрашивал их, не томил, не искал виновных. Казалось, что его вовсе не интересует, кто совершил этот проступок: то ли Альберт, то

ли Мартынь, то ли Пётрис Дундур или же Фредис. Это взволновало ребят — они привыкли к другому подходу.

И все-таки новый учитель им почему-то нравился. Может быть, потому, что он не кричал, как Серная Кислота, не допрашивал и не пытался, как директор. А может, причиной этому была простая солдатская выцветшая гимнастерка и молодцеватая армейская выправка учителя. Но возможно, симпатии ребят вызывало и то, что Земитис выглядел очень молодо, чуть старше семиклассника Пётрепа...

Ребята еще не решили, как быть и что ответить, но всех их опередил Альберт Талрит:

— Разрешите?.. — Он поднял руку с короткими и пухлыми пальцами, похожими на морковку. — Нас научил семиклассник Петерен!

— Малютки!.. — Земитис нахмурился; на лбу появились две вертикальные складки. И тут он допустил непростительную в педагогической практике ошибку, сказав: — А если я вам предложу: «Прыгайте в окно», вы что же — прыгнете?..

И вдруг Мартынь одним махом вскочил на подоконник и прыгнул вниз, во двор; в воздухе мелькнул только красный галстук. У девочек дыхание перехватило. В тот же миг перескочили через подоконник Аустрис Бумбиерис, Юмор, Харий и даже длинный, неловкий Петерис Дундур.

— Отставить! Прекратить! — опомнившись, закричал Земитис.

Но в классе уже не было ни одного мальчишки. Только девочки широко раскрытыми, испуганными глазами смотрели на учителя и пытались успокоить Мάρуту, которая в восторге хотела было последовать рискованному примеру ребят.



А ребята плотной группой уже стояли на садовой дорожке, посыпанной гравием. К счастью, никто ничего не сломал и не вывихнул. Но зато произошло нечто более досадное: словно из-под земли во дворе появилась Серная Кислота. Земитиса бросило в жар. «Вот неприятность!..»

Эмилия Роне, злорадно усмехаясь, уже собиралась раскрыть рот, чтобы сказать что-нибудь чрезвычайно язвительное и уничтожающее, но не успела.

На подоконнике оказался сам классный руководитель Юрис Земитис. Прижав локти к туловищу, он прыгнул вниз.

— Шестой класс, ста-но-вись!

Ребята, конечно, молниеносно сообразили, что надо делать, и быстро выстроились в одну шеренгу, как на уроке физкультуры.

Подняв голову, Земитис вновь скомандовал:

— Смирно! На-пра-во! Шагом... марш!

С Земитисом впереди шестой класс в полном порядке и твердым шагом промаршировал мимо учительницы Роне, как на параде.

Нет, такого классного руководителя у них еще никогда не было! Ребята хорошо понимали, что, выручая их, Земитис сам навлек на себя серьезные неприятности.

— Мы загрязнили пол,— спокойно сказал учитель.— Мартынь останется после уроков и вымоет класс. А сейчас начнем анализ предложений...

Ребята переглянулись: Мартынь прыгнул первый, потому его и наказали. Это было каждому ясно.

На этом уроке шестой класс был неузнаваем. Стояла такая тишина, что слышно было даже, как пролетела муха. Оказалось, что Юмору не о чем перешептываться с Аустрисом, хотя обычно всяких новостей накапливалось так много, что никак нельзя было дожидаться конца урока. Петерис Дундур не шаркал ногами — сегодня они почему-то не немели.

Шестой класс старался. Ребят просто терзал какой-то свирепый жучок прилежания, которого ничем нельзя было унять. И все единодушно признали, что у Мартыня «есть порох»: не каждый способен выкинуть подобный фокус — это ведь не шутка!

— Вы, наверное, в своем шестом классе занимаетесь подготовкой парашютистов? — с ехидным высокомерием обратилась учительница Роне к Земитису во время перемены.

— В будущем из моих ребят кто-нибудь, возможно, и станет парашютистом, — спокойно ответил Земитис, — а пока мы занимаемся физкультурой.

— Ломанием костей, а не физкультурой!

Эмилия Роне, конечно, не умолчала о случившемся, и директор, удивленный необычными методами Земитиса, сделал ему замечание.

Ребята терпеть не могли Серную Кислоту. Они чувствовали, что она не нравится и их классному руководителю, хотя он это старательно скрывал и одергивал ребят, если они не относились к Роне с подобающим уважением.

Но мелочность Роне, ее нудные правоучения и надменность раздражали всех учеников. Так вот, однажды на одном из уроков химии и родилось ее прозвище — Серная Кислота.

Сержант-артиллерист Юрис Земитис за долгие военные годы привык к товарищеским, дружеским отношениям и больше всего ненавидел мелочность и высокомерие. После демобилизации его направили на работу в ливсальскую школу. Здесь на его плечи свалилась целая гора дел. Ему поручили воспитание шестого класса, считавшегося, не без основания, самым трудным. Земитису пришлось руководить и пионерской организацией, которой его предшественница, какая-то девица-подросток, не уделяла никакого внимания. Спешка и нехватка времени были постоянными спутниками Юриса Земитиса.

Зажав под мышкой стопку тетрадей, Земитис направлялся по коридору в свою комнату.

С потолка сыпались мелкие белые снежинки, оседая на полу, выстланном красными каменными плитками. В пустых классах раздавалось эхо от каких-то глухих ударов. Но это не волновало Земитиса: там, наверху, в актовом зале его ребята играли в баскетбол со своими вечными соперниками — парнями из седьмого класса.

«Положу тетради и схожу посмотрю, — решил Земитис. — Будет еще один болельщик у ребят».

В конце коридора вертелся Мартынь. По всему было видно,

что он еще не решил, куда податься: то ли идти смело навстречу учителю, то ли бежать назад.

— Ты ничего не забыл? — спросил вдруг Земитис.

Было ясно, что Мартынь попался, но он не был бы Мартынем, если бы не попытался вывернуться.

— Простите, но Марута... согласилась... Сейчас она за меня вымоет, а в другой раз я поработаю за нее...

— Нет, никакой замены не будет!

Расторопная Марута в это время ловко орудовала тряпкой у ведра с водой.

— Марута, в этот раз твоя помощь не потребуется, — твердо сказал Земитис.

— Да разве мне трудно? — принялась оправдываться смущенная Марута.

— Может быть, тебе и не трудно, но сегодня пол будет мыть Мартынь, а не ты.

— Но ведь... он пообещал взять меня с собой в путешествие!.. — не сдавалась Марута.

— Куда ж это он собирается ехать?

— В горы...

— Да ну! — с притворным удивлением воскликнул учитель. — Интересно! А теперь, великий путешественник, приступай к работе!

Огорченный неудачей, Мартынь стоял неподвижно.

— В той школе нас не заставляли мыть полы... — все еще упорствовал он.

— А здесь придется мыть. Марута, можешь идти домой.

Земитис уселся за стол и вынул из кармана авторучку. Не спеша, спокойно и тщательно он ставил на полях тетрадей какие-то закорючки и галочки.

Видя, что другого выхода нет, Мартынь решительно бросил свой портфель на парту и схватил тряпку. Сопя и пыхтя, он передвигал парты и усердно тер пол. Может быть, он еще успеет посмотреть второй тайм?

— Готово, все сделано! — облегченно вздохнул Мартынь.

А коридор уже гудел, и слышались громкие, возбужденные голоса.

— Игра закончилась, — вздохнул Земитис.

— А мне так хотелось посмотреть!..— с глубоким сожалением произнес Мартынь.

Громко споря, в класс ворвались баскетболисты.

— Проиграли со счетом двадцать семь — тридцать два, — рассказывали Земитису раздосадованные ребята.

— Эх, вы!..— Мартынь сердито хлопнул тряпкой об пол.

— Все потому, что Петерис Дундур ужасный тюфяк. Он позволял Петерену снимать с кольца все мячи! — шумел Аустрис.

— А остальные? Почему остальные не пытались прикрыть Петерена, если он такой матадор? — не сдавался Дундур.

— Не прикрывали! Юмор и сатира! Кто же его будет прикрывать, если Аустрис все время рвется вперед и не идет в защиту!

— Надо было играть в зоне, — вставил Земитис. — Зонная защита в таких случаях часто помогает.

— Зонная защита?..— заморгали глазами ребята.

— Каждый прикрывает под кольцом часть площадки. Например, Дундур, как самый высокий, стоит прямо у кольца. Скажем, Бумбиерис и Стийпинь охраняют углы, а остальные играют на линии штрафной площадки. Главное — не давать подыгрывать мячи Петерену, не давать ему возможности делать броски, — объяснял Земитис, чертя мелом на доске разные линии, крестики и кружочки.

Первым спохватился Аустрис Бумбиерис.

— Не дури! — воскликнул он, неизвестно к кому обращаясь. — Все правильно! Иначе и быть не может! Значит, вы тоже что-то смыслите в баскете?

Земитис улыбнулся:

— Приходилось. До войны играл в студенческой команде.

— Ну тогда мы еще покажем этим семиклассникам! — вскричал Юмор. — Вы ведь не откажетесь нас потренировать?

— Посмотрим. Все зависит от того, как будет обстоять дело с успеваемостью и поведением. Без этого, друзья, о большом баскетболе даже и думать нечего!

Эти слова несколько охладили ребят. Они молча забирали свои сумки и старались незаметно выскользнуть из класса.

Мартынь все держал в руках тряпку.

— В той школе я тоже играл...— И он так резко схватил

ведро, что вода выплеснулась на пол. Опять пришлось вытирать его.

Юмор тоже переминался у стола с ноги на ногу и теребил углы своего портфеля.

— Знаете, мы... мы совсем не такие... Мы понимаем... Мы будем стараться. Короче говоря, придется подтянуться, юмор и сатира!

«Подлиза!» — разозлился Мартынь.

Оставшись один, он вдруг что-то вспомнил, вытащил из кармана брюк скомканный листок бумаги в клеточку и еще раз внимательно его прочел. Бумажку эту сегодня утром он нашел в своей парте.

«Мартынь, ты настоящий парень! У тебя есть сила воли, и мы охотно приняли бы тебя, хотя ты и не нашенский. С нами не пропадешь. Но тогда ты должен снять галстук. Это не в нашем вкусе. Галстук должен исчезнуть немедленно! Или с нами, или против нас! Это наше последнее предупреждение. Л. В.»

«Л. В.»! — поморщился Мартынь. — Нет, братцы, тут вы переборщили! Так уж я испугался вас! Смешно! Сами-то прячутся в норах, как барсуки, а угрожают! Даже почерк изменили, чтобы нельзя было узнать, кто написал».

В школьном дворе Мартыня ждала Марута.

— Ты же сам видел, что Земитис прогнал меня. Я бы вымыла... — принялась оправдываться она.

Мартынь равнодушно махнул рукой:

— Что было, то было! Сделано — и все.

— А ты... ты и в самом деле поедешь на Кавказ?

— А ты как думаешь! Вот только выпадет первый снег, сразу снимусь с якоря. Разве это жизнь? Дождь, грязь и... половые тряпки!.. А там — солнце, горы, пропасти! Реки мчатся по скалам, косматые, будто колдуньи. Хоть мир увидишь.

— А меня?.. Меня возьмешь с собой?

— Тебя?

— А я в другой раз вместо тебя не только полы вымою — я даже дров наколю, если понадобится! — клялась Марута.

— Зачем мне дрова? Я не собираюсь ничего ни колоть, ни мыть. Через месяц буду уже в горах. А ты знаешь, что такое баскет?

Марута насупилась:

— За кого ты меня принимаешь?

— Эх, когда-то я бросал «чистые»!

— Петерен тоже...

— Петерен? Пустили бы меня на площадку, ни за что не было бы счета двадцать семь — тридцать два! Да разве на Ливсале умеют играть в баскетбол? Маменькины сынки! Вот возьму и уеду! — решительно сказал Мартынь и тут же заговорил о другом. Сегодня его сердце было переполнено до краев, как в запруде. — А ты не знаешь, что это за буквы? — И он показал Маруте таинственную записку.

— Это... это... две буквы — «Л» и «В». Ты что же — алфавит забыл, что ли?

Дед снова лежал на кровати, задрав вверх седую бороденку. Мартынь бросил портфель на табуретку, схватил с подоконника помидор и впился в него белыми крепкими зубами — из помидора так и брызнул сок.

Кухня была слишком мала. В ней стояли кровать деда, шкаф с посудой, этажерка с книгами, стол и две табуретки. Рядом с плитой, словно янтарные бусы, висели связки лука. А помидоры лежали не только на подоконнике, но и на шкафу. В углу за печкой стояли высокие дедовы сапоги.

Мартынь налил из чайника в таз теплую воду, снял галстук и начал его стирать. Потом прополоскал его, выжал, встряхнул и повесил сушиться у печки. Утром снова надо будет надеть его, а то некоторые подумают, что он, Мартынь, и в самом деле испугался. Земитис, когда обо всем этом узнает, наверное, подумает то же самое.

«Земитис? — Мартынь нахмурил лоб. — Ну и пусть, пусть думает каждый, что хочет!»

Взгляд его скользнул по полу: сегодня дед натаскал сюда грязи чуть ли не со всей Ливсалы.

Мартынь взял истрепанную метлу и принялся махать ею с таким усердием, что кругом поднялась пыль столбом. В тазике еще осталось немного мыльной воды. Мартынь вылил ее в ведро и, намочив тряпку, стал тереть пол, ворча под нос:

— Земитис, Земитис...

Дед открыл глаза и приподнялся. С притворным безразличием, будто мытье полов было в их доме привычным делом, он пробурчал:

— Под кроватью тоже вымой...

Мартынь, закончив работу, бросил тряпку, схватил ведро и выбежал на улицу.

— Я просто так, от нечего делать,— вернувшись на кухню, стал оправдываться он, будто натворил что-то, а сам удовлетворенно смотрел на чистенький пол, от которого веяло приятной прохладой. Казалось, в кухне стало просторней, уютней и светлей.

Дед, выпив стакан горячего чая, снова улегся на кровать. Его мучил ревматизм — старая, запущенная болезнь плотогона.

Мартынь вытащил из портфеля «Латышскую грамматику», зажал пальцами уши и начал тихо бубнить. Этим он вторично удивил деда. Остальные учебники остались в портфеле. Но зато как будто нечаянно рука Мартыня сняла с этажерки книгу Жюль Верна «Путешествие к центру Земли». И вдруг все забылось: и Земитис, и записка с угрозами, и «Латышская грамматика».

3

„Наконец-то одного нашел!“ — Каждый живет с таким носом, какой у него есть. — Нападение „волков“

— После занятий в пионерской комнате состоится сбор отряда! — объявил Земитис.

«Пионерская комната? Отряд?» Мартынь удивленным взглядом окинул класс. Где же он, этот отряд? Где здесь пионеры? Кто они? Юмор? Аустрис? Марута? Аэлыта? А может, толстяк Альберт, сидящий на первой парте и похожий на футбольный мяч? И ведь никто не носит галстуков!

Несмотря на вчерашнюю грозную записку, Мартынь и сегодня пришел в школу в галстук, но все время был начеку, постоянно ожидая внезапного нападения. Но день уже близился

к концу, а ничего так и не произошло. Чепуха какая-то, честное слово!

Сегодня в дневнике Мартыня появилась небывалая за последнее время отметка: четверка по латышской грамматике!

— Ну вот, наконец-то кое-что выучил! — обрадовался Земитис, как будто эту оценку заслужил он, а не Мартынь.

«И чему тут радоваться?» — удивился Мартынь и, чтобы Земитис не подумал о нем бог знает что, на уроке химии, который вела Серная Кислота, схлопотал полноценную двойку.

Позже, разыскивая пионерскую комнату, Мартынь нечаянно столкнулся с Юмором. Тот прятался за пальмой, стоявшей в конце коридора, у дверей актового зала, и пугливо озирался, вытаскивая из внутреннего кармана пиджака красный галстук.

— А ты чего тут прихорашиваешься?

— Юмор и сатира! Ну чего уставился! Лучше помоги галстук завязать!

— А почему ты прячешься за пальмой?

— Сквозняка боюсь, — таинственно прошептал Юмор и подмигнул Мартыню.

— Тоже мне подпольщики! Прячутся за пальмой! На дверях пионерской комнаты даже надписи нет. Что тут у вас, в конце концов, происходит?

— Ничего не происходит, юмор и сатира!

Мартынь стоял на пороге пионерской комнаты. Ну вот и собрались все невидимки-призраки — Аустрис, Юмор, Марута, Лигита... Все ребята из его класса, и у всех надеты галстуки. Все здесь наяву и на виду! Только зачем-то в прятки задумали играть детки!

Аустрис спохватился первым, заморгал розоватыми веками и пробурчал:

— Ты смотри не дури!

— Ага, значит, и ты прятался за пальмой? — Мартынь, язвительно улыбаясь, дотронулся пальцем до его галстука.

Дело кончилось бы ссорой, если б не вошел Земитис.

— Где звеньевой? — спросил он.

Согнувшись в три погибели, нехотя поднялся Юмор.

— Почему не построено звено? Почему не отдается рапорт? Это пионерский сбор или детский сад?

- Мы... у нас... у нас так не принято...— пролепетал Юмор.
- Придется привыкать! Сколько пионеров в звене?
- Пять...
- Почему так мало?
- Потому... потому что... больше нет,— сокрушенно развел руками Юмор.
- А я знаю почему! — неожиданно вскочил Мартынь.— Потому что все тут в прятки играют! Потому что прячутся за пальмой, если галстук на шее,— боятся сквозняка...
- Пупол, говори яснее! Кто играет в прятки? О каком сквозняке ты говоришь?
- Все играют! Галстук носят в кармане, изображают из себя невидимок.
- Эй, ты, потише! Брось якорь и не дури, иначе сядешь на мель! — зашипел вдруг Аустрис.
- Земитис постучал пальцами по столу.
- Кто носит галстук в кармане?
- Мы все! — перебивая друг друга, закричали Юмор, Аустрис и Марута.
- Пионерами называются, а сами своего галстука стыдятся! — проворчал Мартынь.
- А ты бы не... не стыдился,— не выдержал Юмор,— если бы тебя проучили «кошкой»? Если б тебя отлупили так же, как в прошлую зиму маленького Чипа из четвертого? Мы тогда посмотрели, какую бы ты песенку запел!
- Думаешь, боюсь я вашу «кошку»?
- Аустрис усмехнулся:
- Когда получишь фонарь под глаз, тогда по-другому запоешь...
- Что это за разговоры? — возмутился Земитис.— Чипа пэбили, говорите? Кто? За что?
- Марута, тряхнув косами, ответила четко и ясно:
- Чипа отлупили за то, что он ходил по Ливсале с пионерским галстуком на шее.
- И вы никому об этом не сообщили?
- Выслушав столь неразумный упрек, Аустрис пожал плечами.
- А кому тут сообщать? Каждый хочет жить с таким но-

сом, какой у него есть: ни за что ни про что портить свою красоту никому неохота,— рассудил он.

— Ага, понятно,— задумчиво сказал Земитис.— Так вот почему вы не носите галстуки...

— Трусишки! — Мартынь никак не мог успокоиться. Он положил на стол записку:— Вот, прочитайте, пожалуйста! Угрожают! Ультиматум прислали!

Земитис прочел записку.

— Кто это написал?

— Мы не знаем...— протянул в ответ Юмор, глядя в окно.

— Не знаете? — вскипела Марута.— Юмор, наверно, живет в Африке! Все знают, а он, видите ли, не знает. Скажите какой забывчивый!

— Ну чего придираешься! Если ты такая всезнайка, то и рассказывай сама!

— Вот и скажу, не бойся! Это все работа «ливсалских волков»... Вендетты, Альбатрбса, Дундура...

— А это еще что за звери? — удивился Земитис.

— Ну, Фредис Лиелаусис, Альберт Талрит и Петерис Дундур. Все они заодно. А Юмор прикидывается, будто ничего не знает! Вдруг забыл все!

«Смотрите-ка! Так вот что это за «волки!»! — подумал Мартынь, услышав, что все трое его одноклассники.

— Начиная с этого дня галстуки носить ежедневно,— твердо сказал Земитис.— Ясно?

— Ясно!

— Впредь, перед началом каждого сбора, звеньевые должны построить звенья и отдать рапорт. На двери вывесим табличку, что здесь находится пионерская комната. Действительно, нечего в прятки играть. А с «волками» мы покончим в два счета!

В тот вечер пионеры шли домой, впервые не сняв свои галстуки. За старой пальмой в коридоре спрятался на минутку только Аустрис Бумбиерис — как говорится, на всякий случай.

Моросил дождь. Вербы на берегу реки были похожи на выгнувших спины котов, которые сердито шипели друг на друга, будто им все не нравилось сегодня — ни пизкие свинцовые ту-

чи, ни холодный, порывистый ветер. Старые, прогнившие мостки стали скользкими, как лед. По заборам, покрытым мохом, стекали струйки мутной воды, а с веток деревьев падали крупные тяжелые капли. В такую погоду люди обычно ходят хмурые и каждый ищет теплое и сухое убежище...

Подняв воротник пиджачка, Мартынь торопливо шагал домой вдоль Большого канала. Дом номер семнадцать в Третьем Ливсалском переулке был самым последним в ряду сероватых домиков. За ним уже начинались луга. А за лугами плескалась Аттека. На этой глухой окраине не было ни одного прохожего...

Под ногами Мартыня хлюпала грязь, со всех сторон его обступал черный, ненастный вечер.

Мартынь досадовал на то, что так задержался на сборе, что проклятый дождь идет и идет, что номер дома семнадцатый, а не третий или, скажем, пятый. Тогда Мартынь давно бы уже был дома и ему не пришлось бы до сих пор месить грязь.

И вдруг раздвинулись кусты на обочине. Словно из-под земли выросли три фигуры. Лица незнакомцев были закрыты белыми платками. Глаза их поблескивали сквозь устрашающие прорези. Один из незнакомцев, длинный, сутулый, чем-то напоминавший паука, преградил Мартыню дорогу. Другой, толстый, круглый, похожий на прикрытый белым платком бочонок, подошел к Мартыню вплотную. Третий держался позади.

— Ну-ка, давай сюда свою бабочку! — грозно пробасил толстяк, и руки его потянулись к пиджаку Мартыня.

— Отойди! — зло крикнул Мартынь.

— Не шебарши, дружок! Галстук — не сердце, не помрешь...

— Бандиты!..

— Спокойно, мальчик, спокойно. От нас ведь так просто не отделаешься...

Мартынь с силой размахнулся. Толстяк, согнувшись в три погибели, свалился под забор.

— «Кошкой», «кошкой» его! — захрипел он.

В тот же момент кто-то больно ужалил Мартыня туда, где был расстегнут ворот куртки.

И уж совсем неожиданно плетка, ужалившая Мартыня, описав в воздухе дугу, упала в грязь.

— Трусы! Трое на одного... да еще исподтишка!..



Слова эти принадлежали еще одному, неизвестно откуда взявшемуся призраку, похожему на первых трех: у него тоже было закрыто лицо. Он огрел кулаком державшего плетку; тот застонал, согнулся, потом поспешно схватил плетку и быстро попятился назад, в темноту. Толстяк покатил за ним, разбрызгивая во все стороны грязь.

— Ну, на этот раз «волкам» пришлось поджечь хвосты, — усмехнулся неожиданный спаситель Мартыня.

— Значит, это и были «ливсалские волки»? — спросил Мартынь, пощупывая ноющее плечо.

— Конечно! «Волки» в овечьих шкурах! Сильно они тебя огрели? У их «кошки» острые коготки.

— У «кошки»?

— Ну да! Так они называют свою кожаную плетку. Раньше па кораблях «кошками» матросов наказывали...

— А сейчас они и сами умчались, как кошки. Раны свои зализовать побежали...— Мартынь протянул руку своему спасителю: — Спасибо!

— Не за что.

— Тебя как зовут?

— Гўстав Первый...

— Ты пе король ли, случаем?

— Какой там король! — усмехнулся незнакомец.— Юлий Клийен я, батрак Гóтфрида Лиелаусиса.

— Снимай свою тряпку-то! Закрылся, как монахиня...

— Это я чтобы «волки» не опознали. Иначе отец с меня три шкуры сдерет.

Он снял платок.

— Ну вот, теперь гляди на меня, хотя, по правде говоря, и смотреть-то не на что. Лицо как лицо!

Лицо Густава Первого и в самом деле было обычным: худощавое, губы упрямо сжаты, подбородок чуть выдается вперед.

Ростом он был на голову выше Мартыня, широкоплеч, как плотогои, и пахло от него смолою.

— Смолил я крышу дома Лиелаусиса,— пачал Юлий, словно прочитав мысли Мартыня,— и тут заметил, что «волки» спрятались за хлевом, кнутом своим размахивают и тряпками белыми. Я сразу догадался: опять они что-то затевают! В прошлом году, когда маленького Чипа избили, они точно так же вели себя. Весь вечер я незаметно наблюдал за ними, а потом следом пошел. Настоящие волки! В стае — хпщники свирепые, но стоит одному отпор дать, как другие сразу в кусты!..

— А все-таки запугали они всю школу,— возразил Мартынь.

— Потому что вы сами виноваты! Каждый своей дорожкой идет, за свою шкуру дрожит. Ну ладно, если тебе помощь попадется, дай знать! Я на них давно зуб пмею.

Юлий распроцался с Мартынем и скрылся в темноте.

Ну-ка, волчок, покажи зубки! — Дедов „мостолом“. — Юный переправщик. — Марута упрямится. — Конкуренты

Альберт катился по улице, точно картофелина, — короткий и толстый. У него были круглые глаза, круглый кончик носа. Даже уши были круглыми, как блюдца. А когда он раскрывал рот, чтобы что-то сказать, слова катились сквозь его губы словно мягкие круглые шарики.

— Вендетта! Послушай-ка, Вендетта, что же дальше будет? — спросил Альберт Фредиса, когда они на следующий день возвращались из школы домой.

— Поживем — увидим, — проворчал Фредис в ответ. — Не было бы Земитиса, мы бы с Мартынем запросто справились. А теперь на Ливсале все кругом красно. Каждый сопляк носит галстук. Хорошо хоть, что Земитису ничего не известно о вчерашнем. Мартынь все-таки не нажаловался — испугался.

— Ясно, испугался! А если не поможет, пугнем разок-другой «кошечкой» — и будет порядок...

— Кажется, теперь надо будет действовать поосторожнее и с умом.

— С умом? — Альберт усмехнулся. — Тогда придется обращаться за помощью к Дундуру...

Размахивая портфелем, Фредис свернул в узкую грязную улочку, вдоль которой тянулся забор; за ним высилась каланча. Альберт, задумавшись, смотрел приятелю вслед. Над его головой на верхушке шпиля, венчавшего крышу дома, неистово скрипел флюгер — старый железный парусник...

Прямо посреди улочки, широко, по-матросски расставив ноги, стоял Мартынь. Руки по локоть засунуты в карманы, под мышкой — выдавший виды брезентовый портфельчик. Вся поза Мартыня свидетельствовала о том, что бой — тяжелый, непримиримый — неизбежен.

Фредис попытался было бочком проскочить мимо, но улочка оказалась слишком узкой для дуэлянтов. Это понял и Альберт, который по-прежнему переминался с ноги на ногу возле ворот своего дома, очевидно с нетерпением ожидая начала первого раунда. «Вот тебе и испугался!..» — подумал он.

— Ну-ка, волчок, покажи зубки!..— вызывающе усмехнулся Мартынь. При этом брезентовый портфель плюхнулся на землю рядом с ним.

— Отстань! — выдавил Фредис.

— И не подумаю. Теперь-то я с тобой рассчитаюсь,— сказал Мартынь, пытаюсь сохранять спокойствие.

Первый раунд начался без гонга. В воздухе мелькнули кулаки, и оба бойца яростно бросились друг на друга.

Альберт пока еще не решил, как ему поступить. Кажется, нечего спешить с принятием окончательного решения: Фредис на целую голову выше Мартыня, и поэтому исход схватки не вызывает особых сомнений. Достойны удивления только смелость и решительность Мартыня.

Из-под ног дерущихся летела во все стороны грязь. Фредис вдруг согнулся — Мартынь нанес ему удар под ложечку. И тут произошло что-то совсем уж невероятное — юный Лиелаусис, будучи поверженным наземь, валялся в грязи, как поросенок.

— У этого чертенка твердая рука! — одобрительно прошептал Альберт.

Первый раунд закончился с явным преимуществом Мартыня. Он спокойно поднял портфель, стряхнул грязь и, не сказав ни слова, зашагал по улочке. Не было ни аплодисментов, ни наград. Лишь Фредис валялся на земле и в бессильной злобе завывал:

— Вот ты сейчас увидишь... увидишь сейчас!..

От этого воя Альберту, должно быть, стало не по себе, потому что он быстро прошмыгнул в ворота. А на улочке, в грязи, все еще скулил поверженный и униженный «вождь», скулил один из знаменитых «ливсальских волков».

Каждую весну и осень жестокие приступы ревматизма сгибали деда чуть ли не в дугу: сторбившись, он с трудом передвигался по комнате, занимаясь только самыми неотложными домашними делами.

Сейчас он снова слег и почти не поднимался с кровати. В прихожей валялись рыбацкие сети, принесенные островитянами деду на починку. На кухне, рядом с ведром, лежали недо-

деланные весла и тщательно отполированная, ручка для багра.

В холодные осенние и зимние вечера дед чинил сети и занимался разными мелкими столярными работами. Островитяне быстро оценили мастерство старого Пупола. На весну и на лето дед получил много заказов: нужно было ремонтировать и смолить лодки, чинить заборы и прогнившие уличные мостки. Поэтому о весне и лете беспокоиться было нечего. Самым тяжелым временем была долгая, нудная осень, когда дед, скрученный жестоким, как он говорил, «костоломом», не мог держать в руках ни долото, ни рубанок.

Мартынь, протягивая деду кружку с горячим чаем, с тревогой прислушивался к его тяжелому дыханию.

— Наверное, опять ноги промочил?

— Не в этом дело, сынок! — отмахнулся дед. — Проклятый костолом мучает каждую осень...

«Не в этом дело!..» Мартынь, конечно, знал, в чем тут дело. Там же, на кухне, возле плиты, лежали высокие резиновые сапоги; несчетное число раз латанные и перелатанные, они все-таки пропускали воду, и дед всегда простуживал ноги.

Три дня назад он пилил у Талритов дрова. Вот там-то, работая под дождем, он, наверное, и прихватил эту хворь.

Деду нужны новые сапоги! И не только сапоги. На пороге зима, Мартыню нужно пальто, плита потребует дров, для еды нужна картошка, для рук — варежки, для учебы — тетради и книги.

В конце концов пальто Мартыню раздобыли, в погреб уложили пару мешков картошки; тетради и книги были уже в сумке Мартыня, руки приходилось греть в карманах, а дрова, по досочке, по щепочке, собирать на берегу Аттеки. Но дед так и остался без новых сапог.

И это обстоятельство наводило Мартыня на весьма грустные размышления.

Он взял выпрошенную у Юмора книгу о путешествиях Стэнли, сел за стол и попытался читать. Но перед его глазами все время маячили высокие, покрытые многочисленными заплатками сапоги, которые терзали Мартыня так же, как болезнь деда. Но что, что придумать?..

«Вилнис» — так назывался небольшой белый катерок, который перевозил островитян через Аттеку. Особым трудолюбием катерок не отличался. Хотя казалось, что до предместья рукой подать, пассажирам, опоздавшим на очередной рейс, приходилось ждать целый час, чтобы добраться до противоположного берега. Слишком уж долго отдыхал «Вилнис» то у городского, то у ливсальского причалов. Нетерпеливым пассажирам капитан вежливо объяснял, что он совершает рейсы по определенному расписанию. Чаше «Вилнис» курсировать не может, потому что надо экономить уголь, который теперь, в послевоенные годы, ценится на вес золота. Хочешь не хочешь, а пассажирам пришлось смириться с этим и отказаться от намерения заставить капитана делать дополнительные рейсы.

Но вот уже третий день, как у «Вилниса» появился помощник. Едва только катерок покидал причал, его место занимала довольно вместительная черная металлическая лодка. За веслами сидел паренек в толстой, неумело заштопанной шерстяной куртке и в потрепанной ушанке.

Сегодня, засунув замерзшие руки в карманы, юный перевозчик в ожидании пассажиров прыгал по причалу, чтобы согреться. Те, кто очень спешил или же не хотел ждать, были согласны просидеть пятнадцать минут в лодке, пока та плыла к предместью через Аттеку, чем целый час дрожать на сквозняке в дырявой будке — «зале ожидания».

На середине реки дул холодный, пронизывающий ветер. Тяжелая студеная вода, ударяясь о нос лодки, дробилась на мелкие сероватые брызги, которые падали на плечи съездивших пассажиров. Ледяные струйки воды стекали по веслам, обжигая руки юного переправщика. Весла, словно промокшие тяжелые бревна, выскользывали из его рук. Ипогда, если среди пассажиров оказывались мужчины или крепкие женщины, они добровольно брались выполнять его обязанности, должно быть жалея перевозчика.

Добравшиеся до берега пассажиры не скупились. Они хорошо понимали, что за «экспресс» надо платить больше, чем за поездку на тихоходном катерке. Поэтому в руке перевозчика, рядом с мелочью, появлялись иной раз и рубли, особенно когда на фанерном заводе выдавали зарплату или когда оказывалось

«растопленным» сердце какой-нибудь жалостливой особы, с состраданием взиравшей на тяжкий труд юного лодочника.

Сунув очередную выручку в карман, паренек подносил красные ладони ко рту и, чтобы согреть окоченевшие пальцы, принимался дуть на них с таким усердием, словно перед ним стояла тарелка с горячей кашей. А через две-три минуты он с новыми пассажирами, энергично взмахивая веслами, перебирался, в который уж раз, обратно на Ливсалу.

За три дня — с момента появления юного перевозчика — некоторые постоянные его пассажиры уже хорошо знали время работы предприимчивого паренька: с девяти утра до двух часов дня. Но, видимо, потому, что перевозчик был незнаком островитянам, никто и не подумал спросить его, почему он наметил часы своей работы именно в то время, когда в школе идут занятия. А люди были довольны тем, что им не нужно подолгу стоять на берегу, мерзнуть и попусту тратить драгоценное время. Но если бы кому-нибудь из них пришла в голову мысль заглянуть под переднее сиденье, то он увидел бы брошенный на дно лодки портфель, стал бы о чем-то догадываться и принялся бы расспрашивать лодочника. А еще больше подозрений вызвало бы то обстоятельство (если б это заметил кто-нибудь), что лодочник особенно осторожен в утренние часы, потому что, едва заведя в потоке пассажиров кого-либо из ливсалских учителей, он мгновенно исчезал.

Да, все это выглядело очень странным.

А между тем — что уж тут поделаешь! — учителям тоже приходилось частенько мерзнуть и терпеливо ожидать катерок, иногда даже опаздывая к началу уроков.

Сегодня утром «Вилнис» очень подвел Маруту: она еще не успела и добежать до водонасосной станции, а катерок уже громко засвистел и, взбивая пену, отчалил. Жди теперь, когда каждая минута так дорога, что хоть плачь.

— Ой, беда у нас с этой переправой! Беги не беги, все равно опоздаешь! — громко возмущалась ливсалская парикмахерша Анна Круминя, мать Лигиты, одноклассницы Маруты. — А тебя кто гонит? Ты почему не в школе? — спросила она девочку.

— Я на вокзал еду бабушку встречать...

Это, конечно, была сущая правда. Уж что-что, а занятия Марута зря не пропускала. Отец и мать на работе. Кому же тогда встретить гостью, если не Маруте? В конце концов, один пропущенный день ничего не значит. Два раза бабушка приезжала к ним. Но отец считал, что сельский человек, да к тому же еще пожилой, попав в городскую сутолоку, может растеряться и поехать не туда, куда нужно, а совсем в другую сторону.

— Теперь я опоздаю к поезду,— забеспокоилась Марута.— Пока мы дождемся катера, да пока я доберусь до трамвая...

— Так чего ж мы тут торчим? — вскричала мать Лигиты.— В конце причала лодка должна быть. Через десять минут будем на том берегу. Идем! — С этими словами она схватила Маруту за руку и потащила за собой.

И в самом деле, в конце причала, прячась за сваями, покачивалась лодка. А в ней, ссутулившись, сидел перевозчик.

— Мартынь!..— ахнула Марута и даже свистнула, словно мальчишка.

А Мартынь лишь взглянул на нее исподлобья, опустил голову и молча взялся за весла.

Весь путь до самого предместья Марута, устроившись на переднем сиденье, не проронила ни слова, но у юного лодочника было такое ощущение, будто ему сверлят спину. Это была самая неприятная поездка за те три дня, что Мартынь занимался перевозкой пассажиров.

Когда лодка добралась до противоположного берега, мать Лигиты протянула Мартыню рубль:

— Здесь за нас обеих — за меня и Маруту.

Но перевозчик вдруг сердито повернулся к ней спиной и пробурчал:

— Не надо...

— Это еще что за фокусы? Вчера нужно было, а сегодня «не надо»? Разбогател уже, что ли? Так, уважаемый, дело не пойдет! — С этими словами парикмахерша сунула Мартыню в карман рубль и поспешила к остановке.

А Марута? За то короткое время, пока лодка плыла через

Аттеку, эта проныра успела уже все пронюхать. Сущий дьявол, а не девчонка!

— А это что? — вскричала она, очень ловко выхватив из-под сиденья портфельчик Мартыня.

— Ну и что — портфель!..

— Так ты все эти три дня на реке проболтался?

— А тебе-то что! И чего пристала?..

— Земитис велел Юмору, чтобы он сегодня вечером зашел к тебе и узнал, не слег ли ты. Вот смеху-то! Так уж и сляжет наш Мартынь!

— Ну ладно, хватит! Убирайся отсюда! — обозлился Мартынь.

— Никуда я не уйду! — заупрямилась Марута. — Ты лучше на свои руки посмотри — сосульки, а не пальцы! На-ка вот мои варежки, надевай! И дай мне погрести, а?

— Исчезни, тебе говорят! Прилипла, как смола!

Но Марута, не обращая никакого внимания на грозный тон Мартыня, вскочила на ноги, сложила ладошки рупором и закричала на всю набережную:

— Э-эй, пассажиры! Поторапливайтесь, пора ехать! Корабль отправляется через две минуты!..

На этот раз пассажиров было маловато: две женщины с большими корзинами в руках и сгорбленный старичок с редкой седой бородкой. Он все время устало смыкал веки, будто собирался подремать.

— Ну, поехали!..

Марута оттолкнула Мартыня и села за весла.

— Чего дурака валяешь! Отдай весла! — потребовал Мартынь.

Но Марута уже собралась грести. Тогда Мартынь стал вырывать у нее весло. А лодка тем временем угрожающе накренилась с борта на борт и вертелась на месте.

— Сумасшедшие! Что вы делаете? — завизжали женщины, судорожно цепляясь за скамью. — Дайте нам сойти! Немедленно дайте сойти!

Заворчал и сонный старичок:

— Ну, в чем там дело? Что случилось-то?..

Мартыню удалось вырвать у Маруты одно весло. Второе



она ни за что не хотела отдавать. Рассерженные и мрачные, они сидели рядом, и каждый невпопад греб своим веслом. Ладони у Мартыня горели и ныли так, будто их исцарапала кошка. Но вот наконец и ливсалский берег. Деньги за проезд у пассажиров взяла Марута.

— Наденешь или нет? — грозно спросила она, поднимая со дна лодки брошенные Мартынем варежки. — Если не наденешь, выкину за борт, честное слово!

Эта девчонка и впрямь сумасшедшая! От такой всего можно ожидать.

Мартынь неохотно натянул варежки на руки, что-то сердито бурча себе под нос. А Марута и не собирав-

лась уходить. Так в ожидании пассажиров они молча сидели на противоположных концах лодки и слушали, как плещется за бортом вода.

— А теперь рассказывай!.. — тоном приказа выпалила вдруг Марута.

— О чем это я должен рассказывать?

— Обо всем! Ну, хотя бы о том, как ты отлупил Фредиса Лиелаусиса.

— Успел пожаловаться тебе? — усмехнулся Мартынь.

— Ну да, станет он жаловаться мне! Кто же еще мог ему синяк под глазом поставить, как не ты! Придержи лодку! — закричала вдруг Марута. — Пассажиры идут!

Следующий разговор между ними произошел уже на берегу предместья.

— Фредис заработал синяк по заслугам, — серьезно сказала Марута, как бы продолжая прерванный разговор. — Но то, что ты опять взялся за старое...

— Какое еще «старое»? — прервал ее Мартынь.

— Какое? А то самое, за что тебе в твоей школе четверку за поведение поставили. Я ведь все знаю...

— А что мне было делать? — снова рассердился Мартынь. — Сложить ручки и ждать, когда из меня бифштекс сделают? Или от галстука отказаться?

— Да у тебя, наверно, и у самого всегда руки чешутся.

— «У самого, у самого!» — передразнил Мартынь и рванул воротник куртки. — Посмотри, что они сделали!

На правом плече его была заметна чуть побледневшая синяя полоска.

— Мартынь! — испуганно вскричала Марута. — Это же след от «кошки»!

Мартынь молча кивнул головой.

— Я... я не знала про это... — прошептала Марута.

А юный лодочник пренебрежительно махнул рукой и взялся за весла. Разговор был вновь продолжен на острове.

— Мартынь... — тихо сказала Марута. Подперев голову рукой, она мечтательно смотрела куда-то вдаль. — Мартынь, а когда мы поедем на юг?

— Кто это «мы»?

— Но ты же обещал взять меня с собой!

— Что-то не помню.

— Да ты же недавно говорил об этом! Неужели забыл? Наверно, потому ты и стал переправщиком, чтобы заработать на дорогу. Меня не проведешь...

— На этот раз ты промахнулась, — нахмурился Мартынь. — Ради путешествия я бы не стал тут мучиться да еще насмешки выслушивать...

— А из-за чего ты стал работать? — с интересом спросила Марута.

— Да так...

Некоторое время слышен был только плеск волны.

— Скажи, Мартынь, друзья мы с тобой или нет? — неожиданно спросила Марута.

— Тоже мне друг нашелся! — пренебрежительно произнес Мартынь.

— Ну и ладно! — обиделась Марута. — Подумаешь, какой... Пойду вот и расскажу твоему деду, что ты вместо школы целые дни по Аттеке болтаешься!

— Ты не сделаешь этого!

— Интересно, почему же?

— Потому... потому что дед болен и его нельзя расстраивать... И потом... не верю я, что ты можешь предать...

Где-то далеко от берега под ногами прохожих скрипели подмости.

— Мартынь, — в голосе Маруты зазвучали сочувственные нотки, — а чем болеет твой дед?

— Ревматизмом. Все плотгоны им болеют. Вот если бы у деда были новые сапоги, которые не пропускали бы воду, и если бы он ног не простуживал, тогда бы он, конечно, не болел так часто. Ему нужны новые сапоги. А на юг можно будет поехать и попозже...

Со стороны показалось бы, что Мартынь разговаривает сам с собой — так был он сейчас сосредоточен и серьезен. А Марута, тоже очень серьезно, рассматривала выдавшую виды куртку Мартыня и потрепанную ушанку — и та, и другая, наверно, совсем не грели их владельца.

Тем временем нос лодки снова ткнулся в берег предместья.

— Я теперь все поняла, Мартынь, — тихо сказала Марута. — Одного только не понимаю — почему ты в школу не ходишь? Мог бы пассажиров своих и по вечерам переправлять. Вечером их всегда много...

— Конечно, много, — согласился Мартынь, но тут же сказал резко: — А ты, может, хочешь, чтобы я Юмора возил, Аустриса, Альберта или Фредиса Лиелаусиса?.. Глядишь, и Земитис не поскупился бы, сунул мне рублевку в руку! Это он умеет.

— А ты что, воруеть эти деньги, что ли? — удивилась Марута. — Работы своей стыдишься? Работать кем угодно не стыдно! Так и сам Земитис говорит.

— Вот заладила: «Земитис, Земитис»!.. Ничего ты не понимаешь!

— Нет, понимаю! — повысила голос упрямая Марута. — И если ты **завтра** не явишься в школу, так и знай, я все расскажу! **Примчится** сюда Земитис и вытащит тебя из лодки, как цыпленка. **Вот тогда** попищишь.

— Ну **чего** ты раскричалась? — прошипел Мартынь. — Не ори!

— А вот и буду кричать! Каждому, кто захочет на тот берег перебраться, скажу, чтобы в твою лодку не садились. Потому что ты и не переправщик вовсе, а прогульщик!

— Вот разошлась!.. — буркнул Мартынь. В этот момент он чувствовал себя ужасно неловко: могут ведь люди услышать! — Перестань орать! Я... я, как только соберусь на юг ехать, сразу тебе скажу. Не веришь? И завтра в школу пойду, честное слово! Только не кричи на всю пристань...

Наступил полдень. Причал выглядел пустынным и безлюдным. Лишь какая-то старушка в накинутом на плечи черном шерстяном платке беспокойно озиралась вокруг, время от времени поглядывая на корзинку, накрытую белой тряпицей.

Постояв еще некоторое время, старушка решительно спустилась вниз по крутому берегу к лодке.

— Скажите, детки, роща на той стороне реки — это и есть Ливсала?..

И тут Марута вскочила вдруг на ноги как ужаленная.

— Бабушка! — радостно завизжала она и бросилась к старушке.

— Марута, внученька!..

Крепко обнявшись, бабушка и внучка стояли на небрежной, забыв обо всем, что их окружало. Первой опомнилась Марута.

— Бабушка, — сказала она, — видишь, мы приехали встречать тебя. Ждали, ждали, совсем продрогли...

— Я-то думала, кто-нибудь встретит меня на вокзале. Да ведь заняты все, работают, а ты, внученька, в школе... Ну вот, взяла да сама и приехала. Дорогу-то я как-никак еще помню.

— Садись в лодку, бабушка! Это мой одноклассник Мартынь. Мы с ним быстренько перевезем тебя...

— О господи, на таком корабле и плыть-то боязно,— покачала головой бабушка и с помощью Маруты и Мартыня усе-лась наконец в лодке.

— Ты, бабуля, не бойся, Мартынь опытный лодочник! — успокаивала старушку Марута.

Весь путь через Аттеку бабушка с беспокойством огля-дывалась по сторонам и все прислушивалась к шуму волн.

Когда лодка причалила к ливсалскому берегу, Мартынь хо-тел было нести корзинку, но Марута сказала:

— Сами управимся. А ты пошел бы да отдохнул...

— Да,— согласился Мартынь,— надо заканчивать.— И, уже вслед Маруте, крикнул: — Смотри не разболтай!

Он оттолкнулся от причала и стал медленно грести, направ-ляя лодку вниз по Аттеке до больших камней. Напротив них стоял дом, в котором жил Юлий. Лодка принадлежала ему. Мартынь выпросил ее у Юлия на несколько дней.

Марута все-таки проболталась! Когда на следующее утро Мартынь пришел в школу, ребятам из шестого уже все было известно. Но они делали вид, будто ничего не знают. А Юмор оказался таким притворщиком, что даже не постеснялся спро-сить у Мартыня:

— Где это ты пропадал?

— Дед заболел,— ответил ему Мартынь.

Точно так же ответил он на подобный вопрос и Земитису. А ребята другого ответа от него и не ждали. Теперь и у них самих появились свои тайны, которые они тщательно скрывали не только от «ливсалских волков», но и от всех остальных, в том числе и от Мартыня.

Вечером после школы, когда Мартынь на лодке Юлия до-брался до ливсалского причала, его ожидал там не очень-то приятный сюрприз: в серой деревянной лодчонке сидел не кто иной, как сам Юмор.

— Подзаработать надо,— нагло вато улыбаясь, подмигнул

он Мартыню.— Липшая копеечка всегда пригодится, юмор и сатира!

Конечно, двоим тут делать было нечего. Хмурый и злой, Мартынь поплыл обратно к камням, привязал лодку и пешком вернулся к причалу, чтобы понаблюдать, как идут дела у Юмора. Что и говорить — дела у Юмора шли превосходно! Лодка его возвращалась со стороны предместья переполненная пассажирами. За день островитяне успевали так соскучиться по дому, что ожидать катерок-тихоход на холодном осеннем ветру никто не хотел.

— Да, так, глядишь, Юмор в два счета разбогатеет!

— Ну как, марки будешь покупать? — не выдержал Мартынь, спросив первое, что пришло на ум, и кивнул головой на зажатую в ладони Юмора мелочь.

— На Кавказ вот поеду,— ехидно усмехнулся Юмор,— обязательно тебя захвачу... если будешь хорошим другом...

Ну разве с таким поговоришь по-человечески? А уж воображает, точно Лиелаусис, у которого денег куры не клюют.

А Юмор, сделав еще несколько поездок, передал весла прибежавшему на причал Аустрису Бумбиерису и, позвякивая в кармане монетами, отправился домой.

— И ты тоже стал падким на денежки? — крикнул удивленный Мартынь.

— А почему нет? — ответил Аустрис.— Что я, хуже других?..

Махнув рукой, Мартынь зашагал вдоль причала к дому, а пионеры из шестого класса, через час сменяя друг друга, трудились на переправе дотемна.

Всю неделю по вечерам ливсальские ребята усердно выполняли обязанности переправщиков, и, казалось, довольны были все: и те, кому срочно нужно было переправиться через Аттеку, и сами лодочники. И никто в этом ничего плохого не усматривал: чем озорничать, пусть лучше мальчишки занимаются полезным делом.

Но в тот день, когда эту новость узнал Земитис, нештатная должность переправщиков была немедленно упразднена.

— Да ведь людям нужно же как-то попасть на другой берег! — попытался протестовать Аустрис.

Но Земитис был непреклонен. Переправой занимается катерок. И если люди знают время его работы, то всегда могут устроить свои дела так, чтобы не опаздывать.

Делать нечего, пришлось Юмору снова поставить весла в сарай, а ключ от лодочного замка вернуть отцу.

А Марута во время большой перемены собрала бывших переправщиков за пальмой в конце коридора, вытащила из портфеля серый чулок и торопливо развязала узел.

— Во, настоящая купчиха! — захохотал Юмор и потряс конец чулка: внутри тотчас же зазвенело что-то. — Вот уж не ожидал, что у девчонки такая натура скупердяйская окажется! Юмор и сатирал..

— Сам ты скупердяй! — бросилась на защиту подруги Лигита. — Вечно тарахтишь без умолку, надоел всем!..

На этот раз Марута не смогла придумать ничего лучшего, как прибегнуть к старому способу хранения денег — спрятать всю недельную выручку переправщиков в чулок.

— Интересно, сколько там набралось? — поинтересовался кто-то.

— Сто сорок три рубля девяносто пять копеек! ¹ — торжественно сообщила кассирша.

Ну и сумма! У Аустриса даже дух захватило от восторга. Вырвав у Маруты чулок, он восхищенно перекидывал его из руки в руку, ни за что не желая расстаться с таким богатством.

— С ума сойти, какие деньги! И все это отдавай теперь ни за что!..

— Как это «ни за что»? Сами ведь так решили!..

— Вы что, не знаете, что ли: Аустрис за каждую копеечку дрожит! Давайте отдадим ему его долю, и пусть катится на все четыре стороны, жадюга!

— Да я... да разве я что говорю? — запинаясь, пробормотал Аустрис. — Как решили, так пусть и будет. — С этими словами он вдруг сердито швырнул чулок Маруте, повернулся и быстро зашагал по коридору.

Да, одно дело — и очень важное — было сделано. А теперь, когда кто-нибудь из пионеров поедет в город, пусть походит по магазинам да узнает, сколько стоят высокие резиновые сапоги.

¹ Деньги даются в старом исчислении (до 1961 года).

Ливсальский пленник.— Кто взял чулок?— Мартынь пропал...

Всю долгую осень Мартынь чувствовал себя словно матрос с потерпевшего крушение корабля. Ощущение у него было такое, будто сердитые волны выбросили его на мрачный необитаемый остров, отделенный от остального мира студеными водами Даугавы и Аттеки. Островитяне (речь идет, конечно, о ливсальцах) деятельно готовились к зиме: пилили и кололи дрова, засыпали опавшими листьями погребов, мариновали и солили капусту в больших добротных кадках. И никому не было никакого дела до мальчишки, который одиноко бродил по острову.

Пионеры из шестого класса в последнее время постоянно о чем-то таинственно перешептывались, что-то скрывали от Мартыня. Это было яснее ясного. Но почему?..

А Марута!.. Это она помешала Мартыню заработать. Да еще послала назло ему ливсальских мальчишек с жалкой пирогой Юмора, которая ползла через Аттеку, точно подбитая утка. Ну и хорошо, что Земитис наложил запрет на этот источник дохода! Словом, после всего случившегося ни о какой дружбе не могло быть и речи.

Внешне на Ливсале наступил период затишья, спокойствия. Утихла нескончаемая война между «туземными племенами», спрятаны были самострелы и луки. Свирепый вождь Вендетта, если б умел, курил бы сейчас, наверно, «трубку мира» и дружески помахивал веткой, отломленной от школьной пальмы. Казалось, что «ливсальские волки» навсегда покинули «тропу войны».

Но шли дни, появились и новые увлечения: в ход были пущены почтовые марки. За них некоторые готовы были отдать чуть ли не все накопленные богатства. Кулачные бои уступили место баскетболу, и этим не постеснялся воспользоваться Земитис, чтобы повысить успеваемость.

Самой выдающейся личностью в школе стал семиклассник Петерен, который забрасывал в баскетбольную сетку «чистые», невероятно точные «крюки».

Мартынь Пупол считал себя настолько обиженным, что уже ни на что не надеялся. Его настойчиво мучило одно-единственное желание — бежать, бежать во что бы то ни стало из этого мрачного, серого, опостылевшего плена. Под холодным, затянутым сплошной пеленой облаков ливсальским небом Мартынь мечтал о жарком южном солнце, о пышных банановых и апельсиновых рощах, грохочущих водопадах, далеких теплых морях и огромных, с белоснежными зданиями городах, — мечтал обо всем том, что было в книгах, которые он брал в библиотеке и читал до поздней ночи.

Снились Мартыню заснеженные вершины Кавказских гор, над которыми величаво и гордо плывут облачные корабли с розовыми от вечернего солнца парусами. Взбивая голубовато-серебристую пену, с грохотом падают в пропасти бурные реки. Вокруг необъятные, неоглядные дали, вечное солнце и... свобода.

Мартынь, конечно, давно бы убежал, если б в той же комнате не лежал бы дед, который все время невыносимо хрипел и кашлял. А в углу на кухне по-прежнему стояли все те же старые, залатанные, но все-таки пропускающие воду сапоги старого плотогона.

Заработанные Мартынем деньги хранились в папиросной коробке под матрацем. Десятки раз Мартынь пересчитывал их и бережно клал обратно. Они будут храниться в коробке до тех пор, пока дед не начнет вставать с постели. Тогда он поедет в город и купит себе новые сапоги. Мартынь решил это твердо, значит, так оно и будет.

Пионеры из шестого обошли чуть ли не все городские магазины и знали теперь цены на различные товары не хуже, чем домохозяйки.

Однажды утром, усевшись за парту, Мартынь вдруг обнаружил в ней серый шерстяной чулок, до половины набитый чем-то.

«И кто это дурака валяет?» — рассердился он и швырнул тяжелый чулок о стену.

— Ну чего, чего ты разбушевался? — крикнула Марута,

подняв чулок.— Лучше посмотри, что внутри...— Распутав узел, она торжествующе сказала: — Во, гляди — целый банк!

Мартынь, терзаемый какими-то неясными подозрениями, помрачнел. Неужели его пытались разыграть?

— Кому... Чей это чулок?

— Ясно чей: того, кто его нашел. Бери и езжай себе на Кавказ, юмор и сатира!

— Бери, бери, Мартынь,— вмешалась и Лигита.

Мартынь растерянно смотрел на ребят. Их улыбающиеся лица излучали такую радость, будто они только что нашли этот таинственный чулок, набитый деньгами.

— Нет, не возьму! Пусть берет тот, кому он принадлежит,— заупрямился Мартынь.

— Вот ненормальный! — снова вскричала Марута.— Бери и купи деду сапоги. Там хватит, даже останется еще...

— А, вот оно что...— протянул Мартынь зловеще.— Я, по-вашему, что — нищий? — Он резко повернулся к ребятам спиной, а чулок, снова описав в воздухе дугу, шмякнулся о подоконник и упал в стоявшую под ним корзину для бумаг.

— Катитесь вы со своим чулком!..— выпалил Мартынь и сел за парту.

Весь этот день никто о чулке с деньгами больше и не заикнулся. Марута спрятала чулок в свою сумку и потом делала вид, будто бы ничего не произошло. Только Альберт временами подозрительно поглядывал на пионеров, которые были сегодня какими-то странными. Почему-то хмурятся все... Что у них там случилось?..

После уроков в классе остались пионеры, все, кроме Мартыня.

— Пупол — парень гордый,— сказала Марута.— Ему так просто деньги эти не вручишь...

— А что же тогда делать? Юмор и сатира!

— Подумаем,— по-взрослому, серьезно ответила Марута.— Неужели же он такой дурачок и не понимает, что мы... что мы от чистого сердца?.. Давайте положим чулок обратно в парту, а? Может, возьмет утром, когда никого в классе не будет?

И в самом деле: когда на другой день после уроков Марута заглянула в парту Мартыня, чулка с деньгами там не было.

— Значит, взял! — радостно шепнула Марута ребятам.

И вдруг все изменилось: пионеры, которые, совсем недавно о чем-то таинственно перешептываясь, таились от Мартыня и избегали его, теперь так и терлись вокруг, хотя сам Мартынь охотно бы держался подальше от них. Он чувствовал себя униженным, более того — опозоренным!

Как-то Марута не вытерпела.

— Ну что дед-то хоть говорит о новых сапогах? — спросила она.

— О каких это новых сапогах? — удивленно переспросил Мартынь.

— А разве ты не купил ему сапоги на деньги, которые были в чулке?

— Оставь ты меня в покое с этим дурацким чулком!

— Ты... ты даже не развязывал его?

— Сама сунула в парту — сама и развязывай свой кошель!

— Как это «сама»? — ужаснулась Марута. — Он же у тебя!

— Ты что! — взорвался Мартынь. — Ты из меня еще и вора хочешь сделать?

— Какого вора? Собственные деньги не воруют... — совсем растерялась Марута. — Никто еще сам у себя не крад...

— А эти деньги не мои! Я их не брал, понятно?

— А кто же, кто же их взял? — закричала Марута. У нее даже слезы выступили на глазах.

Мартынь, ничего не ответив, резко повернулся, схватил портфель и выбежал из класса.

...А может, и правда не Мартынь, а кто-нибудь другой взял чулок с деньгами?

— Наверно, нянечка, которая наш класс убирает, нашла, — высказала предположение Лигита.

— Да бросьте вы! Нянечка и знать не знала об этих деньгах! — крикнул кто-то.

— Может быть, кто-нибудь из «волков» стащил?

— А они как узнали?

— И охота вам гадать! Сам Мартынь и прибрал денежки, только ему стыдно в этом признаться, — вмешался Аустрис Бумбиерис.

— Но Мартынь же говорит, что не брал! — вскричала Марута.

— И вы ему верите? — усмехнулся Аустрис.

— Верим! — хором ответили остальные, и это немного смутило скептика Аустриса.

...В классном журнале против фамилии Пупол Земитис поставил уже третий минус. Три прочерка и ни одной двойки, так же как, впрочем, и ни одной тройки, четверки или пятерки. Мартынь Пупол превратился в сплошные минусы. И каждый такой прочерк для Маруты точно царапина... Эти три дня, что Мартынь не появлялся в школе, Марута места не находила. Ну зачем нужно было приставать к нему с этим проклятым чулком? И зачем они взялись допрашивать Мартыня, будто какого-нибудь воришку?..

В то, что Мартынь заболел, Марута не верила: он не такой, чтобы из-за головной боли валяться в постели. Мартынь парень крепкий: хоть в проруби купай — не заболевает. Нет, тут крылось что-то другое.

— Ну чего уставился, точно бык? — обрушилась Марута на Юмора. — Неужели ты такой толстокожий, что тебя ничего не тревожит?

— Чего орешь-то? Вот волнуется зря! Первый раз Мартынь в «отпуске», что ли? Увидишь — через день-другой явится твой Мартынь как штык!

И до чего же подобное спокойствие может разозлить человека! Честное слово, не Юмор, а сущая беда! И Аустрис такой же. Полюбуйтесь на него — конфетки вытаскивает! Жует и жует, совсем как американец свою жевательную резинку! И откуда у него столько денег? Вечно он о чем-то шушукается с Харием. Наверно, все о тех же почтовых марках.

— Послушай-ка, — дернула Марута за рукав Аустриса, — ты как думаешь: придет завтра Мартынь или нет?

— Чулок свой вытряхнет, — нехорошо усмехнулся Аустрис, — тогда и придет.

— Тебя самого надо бы вытряхнуть! — рассердилась Марута.

— Не дури, на-ка лучше конфетку! — Аустрис вытащил из кармана ириску и протянул Маруте.

— Сам жуй свои конфетки!

Нет, больше терпеть невозможно! Марута твердо решила — вечером она забежит к Мартыню. Надо же в конце концов узнать, что с ним случилось!

...На следующее утро она вихрем ворвалась в кабинет Земитиса и одним духом выпалила:

— Знаете, пропал Мартынь! Уже третий день дома не появляется. Дед лежит на кровати, охает, болен, видно, а Мартыня нет и нет... Это мы, мы погубили и Мартыня и деда! — И Марута расплакалась.

...Наконец-то и Юмор пробудился.

— Собаки мы, собаки! — стучал он себя кулаком в грудь. — Что теперь делать?

Аустрис пальцем отковырнул прилипшую к зубам конфетку, гордо обвел всех взглядом и сказал:

— Не дурите! Видите, я был прав — Мартынь с этим самым чулком рванул на Кавказ...

6

Кривобокий Август. — Упрямый Алис. — Пятнадцатый...

Вот уже пятнадцать лет прошло с того несчастного дня, когда Август Клиен при погрузке бревен на фабрике стал Кривобоким Августом. Тяжелый, намокший дубовый чурбан сорвался со штабеля и упал грузчику прямо на плечо. Несколько месяцев Август провалялся в кровати, проклиная свою судьбу, а когда наконец впервые показался на людях, все увидели, что левое плечо у него значительно выше правого. Бревно, конечно, на таком плече уже не удержишь. Словом, хозяину калека был не нужен. Кривого Августа пристроил дед Фредиса — старый Лиелаусис. Август скирдовал у него сено, пропалывал картофель и выполнял великое множество других работ.

Тяжело переживая свое несчастье, Кривобокий Август был всем сердцем благодарен Лиелаусису, всегда и всюду защищал хозяина как только мог. Теперь, когда пронеслись грозные дни войны, жизнь стала лучше, а Лиелаусисам пришлось основа-

тельно урезать свое хозяйство. Август, если б захотел, нашел бы себе другую работу. Но покинуть Лиелаусисов он не мог. Это было бы, как он рассуждал, «самой черной неблагодарностью». Поэтому Август по-прежнему покорно гнул спину на хозяина.

Зато уж по вечерам, вернувшись с работы домой, Кривой Август обрушивал накопившуюся за день злобу на головы своих домочадцев, словно неожиданный грозовой ливень. Мать и шестеро сыновей, за исключением самого маленького, который еще лежал в колыбели, старались во всем угодить отцу. У каждого были свои обязанности; и выполнялись они с завидным рвением и прилежанием. Кривой Август не терпел никаких вольностей и отлыниваний.

Алис стоял на коленях у кровати отца. Черные локоны падали на смуглый лоб. Развязав отцу облепленные грязью ботинки, Алис подполз поближе к изголовью.

— Отец... — тихонько начал он.

— Ну?

— Отец... я хочу... я хочу вступить в пионеры...

Мать, услышав это, застыла у плиты с чайником в руках. Малыши, словно мыши, шмыгнули под стол, почуяв грозу. А Кривобокий Август подскочил на кровати так, что заскрипели все доски.

— Что?! В пионеры?.. В пионеры, говоришь? — В его руке уже свешивался ремень. — Вот до чего, паршивец, додумался!..

— Отец!.. Отец, разве это плохо? — Алис обхватил колени Кривобокого Августа и прижался к ним головой.

— Ах, ты!.. В пионеры захотел, да?.. — И ремень, сверкнув, как змея в броске, прилип к спине Алиса.

Под столом, один другого громче, завопили малыши.

— В пионеры надумал вступать?! — рычал Август.

— Да... в пионеры...

— Нет, не будешь ты пионером! Не будешь! — при каждом ударе приговаривал как заклятие Кривобокий Август.

Мать ринулась защищать Алиса:

— Сумасшедший! Остановись! Убьешь мальчика!

— Пожалей братика, папочка, пожалей братика! — жалобно вопили малыши.

Алис, втянув голову в плечи, бросился к двери, воспользовавшись короткой заминкой.

— Буду пионером, все равно буду! — упрямо крикнул он и выскочил во двор.

Ремень, просвистев, задел только стойку двери.

— В порошок сотру, негодяй! — крикнул ему вдогонку разбушевавшийся Август.

— Перестань, ну перестань же! — успокаивала его жена. — Точно разбойник какой...

— «Разбойник, разбойник!» — зло процедил Август. — А ну как узнает Лиелаусис? Тогда сразу клади зубы на полку!

— Будто нельзя найти работу в другом месте...

— В другом? А когда новая власть придет, тогда что делать прикажешь? Они же с нас со всех шкуру спустят, из-за этого сопляка коммунистами сочтут!..

— «Новая власть, новая власть!» — передразнила мать. — Как же, жди, придет эта твоя «новая власть!» — И она с досадой махнула рукой.

— А я говорю — придет! — грохнул кулаком по столу Кривобокий Август. — И господин Лиелаусис то же самое говорит. А уж он-то знает. Так это не останется...

— Ну конечно, придет, — ехидно сказала мать, — придет и тебя министром поставит.

— Жена! — грозно прикрикнул Кривобокий Август, потом завалился на кровать и больше не промолвил ни слова за весь вечер.

Когда пришел задержавшийся у Лиелаусисов Юлий, отец уже громко храпел...

А в углу небольшого сарайчика на чурбане свернулся серым комочком Алис.

— Алис! Алис! — открыв дверь сарая, позвал Юлий. Шагнув дальше, он легонько дотронулся до плеча брата. — Отец спит давно. Пошли домой, а то замерзнешь.

Алис даже не поднял головы.

— Послушай, Алис, ты очень хочешь вступить в пионеры?

— Хочу, — всхлипнул Алис. — Они красный галстук носят, салют отдают, они...

— Ну и вступай! Неужели обо всем надо отцу докладывать?

— Да-а, не принимают... Без разрешения родителей не принимают. Записка нужна...

— Записка, говоришь? Ну что ж, будет и записка.

— Как же, будет! Отец мне снова ремнем всыплет, да и тебе тоже достанется.

— А я говорю — будет! — пообещал Юлий. — И ничего не случится, не бойся...

— Ты это серьезно? — вытирая слезы, спросил Алис.

— А разве я когда-нибудь тебя обманывал?

— Нет...

— Ну вот... А теперь вставай, и пойдем.

Крепко обнявшись, братья направились к дому по окутанному вечерними сумерками двору.

— Все равно я буду пионером! — все с тем же упрямством прошептал Алис.

— Будешь, братик, будешь! — похлопал его по плечу Юлий.

Во всей школе их было только четырнадцать... Сегодня рядом с Юмором, Аустрисом, Марутой и Лигитой на торжественной линейке стояли и пионеры из других классов. А еще пятеро застыли у отрядного знамени. Это были те, кого принимали в пионеры.

Алис ростом поменьше четырех других, но сегодня его у знамени видят все. И ничего, что он такой маленький — на него смотрят все пионеры, выстроившиеся на торжественной линейке. Смотрят на него и «волки», забравшиеся в самый дальний угол большого зала. Ну и пусть смотрят! Пусть!..

Так думал Алис. Так думал и каждый из четверых, стоявших рядом с ним.

И, честное слово, напрасно морщил нос Фредис Лиелаусис, напрасно моргал своими глазками и корчил гримасы Альберт Талрит...

Марута толкнула легонько в бок Юмора и улыбнулась. Понимающе улыбнулся и Юмор. Улыбка, подобно солнечному лучу, скользнула по всей линейке: пионеры поняли друг друга

без слов. Потому-то и стоял так гордо и смело у отрядного знамени пятнадцатый по счету пионер — Алис, точнее, Альфред Клиен. Уверенно и твердо произносил он слова торжественного обещания:

— Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей...

Торжественные слова пионерской клятвы громко звучали в большом актовом зале. Фредис морщился, словно его одолевала зубная боль. Учительница Роне, нагнувшись к директору, что-то шептала ему на ухо. А голос Алиса звучал все громче, все уверенней...

Земитис, повязав Алису на шею красный галстук, поздравил его со вступлением в пионеры, а потом сказал:

— Будь готов, юный пионер!

— Всегда готов! — браво ответил Алис и отдал салют.

И вот он уже стоит в одном строю с другими пионерами, стоит как равный среди равных среди своих товарищей.

Да, Алис теперь имел право отдавать пионерский салют! А сколько ночей он мечтал об этом, сколько передумал и пережил, как надеялся, как ждал этого дня! Теперь он уже не просто ученик четвертого класса Альфред Клиен, а солдат, да, солдат, стоящий у своего боевого знамени!

Среди ребят, столпившихся в дверях актового зала, молча стоял Юлий. Он смотрел на брата и улыбался, а глаза его застилал какой-то странный, какой-то непонятный туман.

Запел горн, загремел барабан. Пионеры с отрядным знаменем впереди выходили из зала.

— Трубят, как пожарники! — процедил сквозь зубы Фредис и встал со скамьи. Нет уж, этот праздник не для него! Он будет ждать другого праздника.

Угрюмые, молчаливые «волки» поодиночке шли из школы домой, каждый своей дорогой, будто поссорились, будто сделали друг другу что-то плохое.

Юлий тоже собирался идти домой...

Его неотступно преследовали воспоминания. Прошлой весной он кончил шестой класс, и отец решил, что с него хватит. Из него, Юлия, ученый все равно не выйдет, и нечего зря штаны протирать. Пора уже и на хлеб зарабатывать. Ладно, пусть

так! Лишь бы не издевался отец над Алисом! Вот как в тот раз, когда братишка заикнулся о своем желании вступить в пионеры...

Вспоминая это, Юлий помрачнел. Будто тяжелый камень лежал у него на груди и мешал дышать. Что будет, когда о сегодняшнем событии узнает отец? Что будет?..

7

„Макаронное дерево“. — Юмору и Маруте неожиданно повезло. — Возвращение блудного сына. — Все хорошо, что хорошо кончается...

Петерис Дундур стоял у доски и отвечал урок. Он говорил о растительности Италии.

— В Италии растут разные деревья... — мямлил Петерис, с отчаянием взирая на класс и время от времени подмигивая кому-то. — Италия богата... богата деревьями...

— Продолжай, продолжай, — сказала Роне и закивала головой, проявляя невиданное доселе многотерпение.

— Там растут деревья... такие деревья... какие у нас не растут...

— Какие же деревья там все-таки растут?

— Ну, эти... как их... фруктовые!

— Правильно! Вот ты сказал, что такие деревья, скажем, на Ливсале не растут. Ну, назови некоторые из них.

— В Италии растут... южные деревья, — уныло тянул Петерис. — Например, это... как его?.. А-а, лимонное дерево, вот!

— Хорошо, хорошо. А еще?

— Еще? Еще растут и... другие деревья. Апельсинное дерево, сливовое...

— А еще спички растут в Италии, юмор и сатира! — прозвучал смешок с третьей парты.

— Тихо! — покраснев, вскричала учительница. — Ну, Петерис, припомни еще хоть один пример — и достаточно.

Ох как старался Дундур! Тонкий нос его стал совсем красным от напряжения, зубы прикусили верхнюю губу, а глаза

установились в потолок, будто именно там были начертаны названия произрастающих в Италии деревьев.

— Еще в Италии растет... макаронное дерево...

— Юмор и сатира! — завопил, не выдержав, Андريس Стийпинь.

Взрыв хохота прокатился по классу. И мальчишки и девочки визжали, орали и топали ногами.

— Молчать! — закричала Серная Кислота и с такой силой хлопнула ладонью по столу, что даже сама поморщилась.

Но шум не утихал. Девочки чуть не лопались со смеху, и волна хохота перекачивалась с одной парты на другую.

— Успокойтесь! Сейчас же успокойтесь! — пытаюсь перекрыть хохот, закричала учительница. И когда класс немного притих, продолжала: — Ничего смешного здесь нет! Только глупцы могут хохотать по такому поводу. Петерис просто оговорился. Он хотел сказать, что итальянцы очень любят макароны, хотя это, к сожалению, не относится к вопросу о растительности.

И она поставила Петерису... четверку!

— А как же иначе?! Опять зависила! — возмущенно шепнула Марута своей подружке Лигите. — Серная Кислота меньше четверки «волкам» никогда не ставит.

А Петерис, вполне довольный отметкой, шел к своей парте, вызываяще стуча тяжелыми подкованными сапогами.

— Макарончик! — взвизгнул вдруг кто-то неестественно тонким фальцетом.

Ребята завертели головами, и только Юмор уткнул нос в книгу. А по классу вновь прокатилась волна хохота.

— Кто, кто это крикнул? — вскочила со стула учительница.

Альберт Талрит поднял два пальца, удивительно похожих на две толстые морковки.

— Разрешите? Это Юмор кричал!

— И Марута! — угодливо подхватила Аэлита.

— Я?! — взорвалась Марута. Глаза ее были широко раскрыты от растерянности и негодования. Кричал-то все-таки один Юмор! Как же они смеют и ее вмешивать в это дело?

— Пионеры!... — Роне презрительно скривила губы, открывая журнал. — После урока пойдете к своему классному руководителю...

Возражать ей было бесполезно.

А вот и конец урока. В коридоре Юмор стал подталкивать вперед Маруту, а Марута, в свою очередь, Юмора. И вдруг откуда ни возьмись, появился Земитис.

— Что это вы подпрыгиваете тут?

— Я... мне... мы... — попыталась что-то сказать Марута.

— Нам... — перебил ее Юмор, — нам Роне велела... подойти к вам... — вымолвил он наконец.

— Так... И что же вы должны мне доложить?

Юмор пожал плечами.

— Да она вроде ничего... ничего не велела говорить. То есть мы не должны ничего говорить вам... — совсем запутался Юмор.

— Как же это так — подойти ко мне и ничего не говорить?

— А я совсем и не виновата! — вмешалась Марута. — Аэли-та ни за что на меня свалила все!..

— И тебя тоже зря обвинили? В чем, пока не знаю, — спросил Земитис, пристально глядя на Юмору.

— Конечно, зря! Альберт сказал, что я назвал Дундура ма-кароном. А я и не думал...

— Привезли, привезли!.. — раздался вдруг истошный вопль. К Земитису подбежал, тяжело дыша, взволнованный Алис.

— Что же это такое привезли, если приходится кричать на всю школу? — строго спросил Земитис.

— Да Мартыня, Мартыня привезли! Ох и чудной!.. Остри-жен наголо! И милиционер с ним... — захлебывался от восторга Алис.

...Ребята окружили Мартыня и милиционера плотной стеной, пока те пробирались в учительскую. Все в один голос расспрашивали Мартыня, все хотели знать, что же с ним приключилось. И через минуту даже самый маленький первоклассник важно рассказывал столпившимся возле учительской ребятам, что Мартыня привел милиционер и что бедный Мартынь одет в арестантский полосатый халат, а на ногах у него деревянные колодки. Нашлись и такие, что утверждали, будто слышали звон кандалов...

С трудом пробившись сквозь плотную толпу оживленно гу-дящих ребят, Земитис поспешил в учительскую.

Едва он вошел туда, как Мартынь тут же попятился в угол,

где стоял огромный книжный шкаф. Приткнувшись к нему спиной, он исподлобья, угрюмо смотрел на учителя. В полутемной комнате его коротко стриженная голова казалась неестественно большой. А полосатый арестантский халат, деревянные колодки и кандалы были, конечно, простой выдумкой. Плечи Мартыня прикрывало то же старенькое пальтишко, которое он надел еще осенью, и ботинки были те же, только еще более замызганные и истоптанные. А брезентовый портфель совсем отошел и стал похожим на блин, потому что книг и тетрадей в нем не было, остались только крошки от буханки хлеба, которую Мартынь давно съел.

В учительскую вошел директор. Милиционер, передав Мартыня в руки начальства, козырнув, удалился.

— Ты что ж это, Пупол, бежать надумал? — спросил директор.

Мартынь только поморщился и пожал плечами в ответ.

— Он, должно быть, путешествуя, язык потерял, — вмешалась подросевшая Роне. — Отвечай, когда тебя директор спрашивает! Почему ты надумал бежать?

— Потому... потому что...

— Решил, значит, попутешествовать, а? — перебил Мартыня Земитис, и, честно говоря, очень кстат. — Но для этого, дорогой мой, надо отлично географию знать. А как у тебя с ней?

— Последние две отметки четверки, — еле слышно пролепетал путешественник.

— Ну вот еще, о географии речь завели! Очень уместно! — возмутилась Роне. — Как же, блудный сын вернулся! — ехидно добавила она, резко повернувшись и покинула кабинет.

— Выйди-ка, Пупол, в коридор и подожди там! — приказал директор Мартыню. А когда беглец вышел, повернулся к Земитису: — Давайте решать, как быть с Пуполом. Высказывайте, коллега, свое мнение. Будем исключать Мартыня из школы или все-таки оставим?..

А путешественника, едва только он вышел из учительской, подхватила толпа ребят, словно неотвратимая волна прибоя, и потащила по коридору. Не в силах сопротивляться ей, Мартынь вынужден был подчиниться стихийной силе этого стремительного потока. Вот мимо него, будто смотрел он из

окна поезда, пронеслась ветвистая пальма, вот промелькнула доска объявлений, за ней стенгазета... Марута цепко держала его за рукав куртки и без конца щебетала о чем-то. Но Мартынь не мог понять ни слова из того, что она говорила. Да разве в таком хаосе можно услышать что-нибудь?

Иногда из толпы ребят вырывалось вдруг кем-то пущенное словечко, точно отравленная стрела. Но эти стрелы пролетали мимо ушей Мартыня. Правда, одно из них все же достигло его слуха. Кто-то за его спиной бросил зло:

— Каторжник!..

Бурный поток внес Мартыня в класс и швырнул на парту. Марута ухитрилась остаться рядом с Мартынем. Мимо глаз его мелькнули светлые брови Юмора, веснушки Хария и даже тонкий нос Петериса Дундура. И все теребили его, говорили что-то наперебой... Все это было похоже на какой-то странный, навязчивый сон.

Мартынь глубоко вздохнул и оглянулся. Он, наверно, и не собирался вовсе скрывать подробности своего путешествия. Пусть послушают, пусть узнают, что довелось ему увидеть, что пришлось пережить...

— Понимаете, границ-то, оказывается, никаких и нет! Захотел — и пожалуйста, езжай куда хочешь! А наша страна, ребята, такая огромная, такая огромная... как весь мир! Одна Москва чего стоит — целых десять Риг уместятся! Улицы шириной с Даугаву! А Кремль!.. Кремль до чего ж колоссальный! И красотища такая! Не то что на картинках!.. Ага, «Не дури» тоже галстук носит! — вскричал вдруг Мартынь, заметив Аустриса. — Значит, держитесь еще! А я уж думал, вы тут все ко дну пошли, пузырьрики пускаете... А с баскетом как? Не раздолбали еще семиклассников? Земитис в этой игре толк знает...

— Значит, ты все-таки думал о нас? — насмешливо спросила Марута.

— О вас?.. — Мартынь, опомнившись, по привычке сердито нахмурился. — Чего это мне о вас думать... А Москва, ребята, ох и огромная...

И вдруг он умолк — в класс вошел Земитис.

— Вот что, Мартынь, беги-ка домой, к деду. А завтра утром чтобы был в школе со всеми учебниками и тетрадами...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

*Веселье на берегу Аттеки. — Все началось со снега. — Не-
обычный учебник географии. — В адском котле*

Шел снег. И как шел! Сыпал, словно из дырявого мешка. Шел вот уже седьмой день. Целую неделю! Все шел и шел!..

Деревья стали похожими на белые стога сена. Дома, казалось, вросли в землю — сугробы намело до самых окон. Под тяжестью снега некоторые крыши даже прогнулись. Пораженный небывалым снегопадом, озадаченно вертелся жестяной парусник на крыше дома Талритов: и правда, куда ни глянь — кругом снег да снег... Весь остров напоминал теперь большую лесную поляну, на которой тут и там торчали черные, обгорелые пни — печные трубы.

По глубоким и узким, протоптанным в снегу тропинкам, как по траншеям, изредка брели люди — смешные, закутанные, словно ватные куклы. Только красные носы торчат из-под ушанок. У некоторых от инея поседели брови и ресницы, а морозец разрумянил щеки. Ну вылитые деды-морозы! По одной из таких тропинок, удивительно похожий на гнома, пробирался куда-то маленький Алис.

Первый снег!.. Были слеплены уже первые снежные бабы, состоялась и первая игра в снежки, уже зазвенело печально первое разбитое стекло, и кто-то понес первое наказание за промокшие насквозь штаны...

На берегу Аттеки, у старого причала, царило невиданное веселье. Весь день до позднего вечера не умолкали визг и смех. Это ливсалские мальчишки и девчонки катались на санках или, раскинув руки, неслись по кособору вниз на лыжах, точно большие странные птицы. То тут, то там звучали озорные возгласы и вздымались тучи снега. Живые белые клубки выползали из сугробов и, с лыжами или санками, снова карабкались на кособор. Особенно много было лыжников. Да, прав был Юмор, сказав однажды, что мастерами не рождаются, ими становятся. Для того и существуют зима, снег и крутой берег реки. Вот и обучайся мастерству...

Иногда Фредис Лиелаусис притаскивал настоящие большу-

щие сани. Ребята всей гурьбой втаскивали их наверх. Эх, и здорово было лететь на них с косогора! В сани набивалась целая ватага и со свистом и гиканьем скатывалась с крутого берега вниз. Честное слово, это не сани мчались с горы, а какая-то сказочная птица, да что там птица — самолет!.. Летят ребята в санях, а в лица им бьет снежная пыль, и в ушах свистит ветер.

— Гей!.. Ге-ей!..

Сани мчатся как вихрь! Те, что сидят впереди, смеются, кричат. Тем, кто пристроился сзади, иногда не хватало места. Они на ходу вываливались из саней и, словно горох, рассыпались по сугробам. А оставшиеся неслись дальше.

— Гей, гей, берегись!..

Фредиса будто подменили — он никому не запрещал кататься на его санях. Пожалуйста, катайтесь на здоровье! И ребята приходили и катались. Да еще сколько желающих было! Только и подавай им настоящие сани, экипаж Лиелаусиса!

Лишь Мартынь, Юмор да Марута ни разу не прокатились на больших санях Фредиса. У Мартыня и Юмора были лыжи, а Марута каталась на своих санках. Им было весело и без больших саней Фредиса. Ни к чему им они! Большие сани!.. Подумаешь, эка невидаль!

На берегу Аттеки было весело и шумно. А снег все шел и шел, густой и пушистый. Да, зима наступила...

Со дня возвращения Мартыня из путешествия ребята так привыкли видеть его стриженую голову, будто он всегда ходил без волос. Только изредка по его адресу отпускались насмешки да подковырки. Но Мартынь умело осаживал зубоскалов: кое-кто схлопотал от него тумака в бок. В общем, насмешники немного поприутихли, и лишь Альберт за спиной Мартыня иной раз что-то бормотал о каких-то там каторжниках.

Казалось, все в шестом забыли о случае с чулком и о других не менее странных делах. Никого больше не интересовали и рассказы Мартыня о его путешествии, потому что об этом он уже говорил несчетное множество раз. Зато шестиклассники были удивлены совсем другим: не прошло и недели, как Мартынь вернулся, не успели даже чуть-чуть отрасти у него волосы, а он получил уже две четверки — по химии и по истории, и даже пятерку по грамматике! Чудеса, да и только! Земитис

разрешил Мартыню посещать тренировки баскетбольной команды и пообещал, если у него и дальше так пойдут дела, зачислить в команду шестого класса. Наверно, так оно и было бы, потому что даже Серная Кислота и та вынуждена была признать, что «Пупол проявляет явное стремление к перевоспитанию». Но, к несчастью, как назло, выпал снег, а на берегу Аттеки после уроков и до позднего вечера было так весело!..

Все и началось со снега! Это из-за него Мартынь пришел домой поздно, уставший до чертиков. Поставил лыжи в углу прихожей, поужинал быстренько и завалился спать. Именно из-за снега ему не удалось выучить как следует дееспричастные обороты. В свою очередь, по этой причине Земитис оставил Мартыня в классе после уроков. И надо же было случиться, что как раз в тот самый вечер возле старого причала состоялось первенство Ливсалы по лыжным гонкам. Ну разве можно было в такой день оставаться в классе? В общем, Мартынь Пупол на гонках завоевал почетное второе место, уступив первенство своему другу Юлию, сыну лодочника. Может, Мартынь и победил бы, если б перед самым финишем у него не сломалась лыжа.

Но на следующее утро «серебряного» призера ждала неприятная беседа с Земитисом. Разговор наверняка пойдет о некоторых нарушениях дисциплины, о том, имеет ли право ученик без разрешения уйти из школы, если он оставлен после уроков. Мартынь, конечно, вовсе не рассчитывал услышать поздравления и всякие там восторженные слова о занятом им втором месте и потому заранее укрепил свои позиции невидимым щитом — жалобами на нестерпимую головную боль и горестным рассказом о больном деде, которого совсем замучил ревматизм — «костолом».

Готовый отразить любое, самое решительное нападение, Мартынь предстал перед учителем. Но Земитис совсем неожиданно заговорил почему-то о другом:

— Слушай, Мартынь, ты не выручишь меня? Понимаешь, сегодня вечером я буду занят на тренировке, а мне нужно срочно отнести в предместье письмо. Малышей ведь не пошлешь, они побоятся вечером идти через Аттеку. Да и потом, ты же лучше знаешь предместье! Ну как, согласен?

Мартынь, удивленный столь неожиданным поворотом дела, взглянул на учителя. Почему же не отнести письмо? Подумаешь! Просьба-то сущий пустяк! Если Земитис делает вид, что забыл о вчерашнем проступке своего ученика, почему же он, Мартынь, должен оказаться таким мелочным, таким неблагодарным?

Как говорят, услуга за услугу! Только так рассуждают настоящие мужчины.

После уроков Мартынь зашел в комнату Земитиса и, потоптавшись, сказал:

— Ну вот, я пришел...

— Вижу, вижу, — кивнул головой Земитис, сидевший за столом. — Положи свою сумку и, пока я буду заканчивать письмо, подучи правила о деепричастных оборотах. Время, брат, надо всегда использовать рационально.

«Вот это да!.. — подумал возмущенно Мартынь. — Вот надуд!.. Обманул, как первоклашку! Ну нет уж... Меня так просто не проведешь!»

— Я... я с собой учебник не взял. Сегодня же у нас не было грамматики!

— На, возьми мою книгу.

Мартынь сидел на табуретке в углу комнаты и, раскрыв учебник, делал вид, что углубленно штудировает его, хотя в действительности то и дело поглядывал по сторонам.

— Ох и много же у вас книг! — воскликнул он, улучив момент. — Наверно, про путешествия есть!

— Есть и про путешествия.

— Эти вот я уже читал! — И Мартынь принялся показывать пальцем на прочитанные книги. — «Путешествие к центру Земли» — я ее чуть не наизусть знаю! «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров» — по сто раз читал. А это что? Во, о Колумбе!..

— Если хочешь, можешь взять с собой.

— Спасибо!

Мартынь торопливо схватил драгоценную книгу, быстро полистал ее, снова раскрыл на первой главе и стал читать. Но вдруг, будто вспомнив что-то, решительно захлопнул книгу, положил ее рядом с собой и снова взял грамматику.

Не прошло и четверти часа, как он уже выучил все, что имело отношение к деепричастным оборотам.

— Ну вот, а я как раз и письмо закончил! — сказал Земитис, улыбаясь, и заклеил конверт. — Может, расскажешь мне немножко о своем путешествии? Ну, например, как тебе Москва понравилась...

Мартынь густо покраснел, теребя в руках ни в чем не повинную книгу о Колумбе и глядя в окно.

— Знаете... если честно, я ребятам всякие небылицы рассказывал! Выдумывал все... — признался он вдруг. — Я ведь до Москвы так и не добрался. Только вы об этом никому не рассказывайте, ладно? Пожалуйста!..

— Ладно, ладно, Мартынь, — усмехнулся Земитис. — А Москва от тебя никуда не денется, еще успеешь посмотреть ее. Жаль вот, что не придется тебе в баскетбол поиграть. А ведь я хотел зачислить тебя в команду. Но теперь не могу. Видать, помешали этому деепричастные обороты. Ничего не поделаешь, сам виноват! Придется все начинать сначала...

Мартынь вернулся домой, когда на улице уже заметно стемнело, и швырнул конверт Земитиса на стол.

«Никуда не пойду! И письмо не понесу! — решил он, упрямо сдвинув брови. — Что я, рассылный, что ли? Подумаешь, деепричастные обороты... Хитер, как лиса! Ну, да я тоже не из лопухов!..»

...За окном свистела-мела метель. Оправившийся от болезни дед грел у печки спину, неторопливо штопая носок. На плите домовито шипел чайник, а старые ходики лениво отсчитывали секунды.

Мартынь учил географию. Зажав ладонями уши, он сверлил взглядом учебник, стараясь уяснить и запомнить прочитанное. Тут же на столе лежал голубой конверт Земитиса.

«А все-таки он не такой!.. Не выгнал из школы, даже заступился за меня. А когда я оставил деда одного, Земитис вместе с ребятами... с пионерами позаботился о нем. Но зачем он комедию сегодня разыграл с этими деепричастными оборотами? И в баскет не разрешает играть... А вдруг письмо и правда

очень важное? Ведь у Земитиса из-за этого письма могут быть неприятности. Неприятности!.. У меня сегодня тоже были неприятности».

Мартынь снова схватил письмо и бросил его на этажерку, чтобы оно не маячило перед глазами. Но это не помогло. Мартыню все казалось, что кто-то назойливо, настойчиво шепчет: «А ведь Земитис позаботился о дедѣ и о тебѣ тоже и после уроков говорил с тобой как с человеком, а ты...»

Вот дьявольщина! Сегодня географія — любимый предмет — совсем не лезет в голову!

С силой захлопнув учебник, Мартынь вскочил на ноги, сорвал с вешалки пальто, нахлобучил шапку и бросился к двери.

— Ты куда это собрался на ночь глядя? Смотри, погода-то какая ненастная, — сказал дед, удивленно уставившись на Мартыня.

— Учитель попросил письмо отнести в предместье, — пробурчал Мартынь, пряча конверт в карман.

— А раньше ты не мог это сделать?

— Выходит, не мог. Забыл!..

Жестяной парусник на крыше дома Талритов вертелся волчком под бешеным напором ветра. И не поймешь, с какой стороны он дует — с севера или с юга, с востока или с запада...

Вся Аттека бурлила словно адский котел. Над замерзшей рекой мчались вихри снега, похожие на огромные, сорванные с осей колеса. Небо смешалось с землей в одно бушующее снежное море. Гонимая невиданной силы ветром, снежная лавина неслась сквозь крошечную тьму, пока не достигала противоположного берега, сплошь занесенного сугробами. Из сугробов торчали макушки утонувшего в снегу ивняка. Даже у реки слышно было завыванье печных труб и резкие звуки сорванной ветром кровли. В этот вечер крыши многих ливсальских домов превратились в огромный орган, на котором буря играла свою победную песню.

Выполнив поручение Земитиса, Мартынь возвращался домой. Шел он медленно, потому что приходилось бороться с



сильным встречным ветром. Лицо Мартыня горело, исколотое острыми, как иглы, снежинками. От них не спасали ни поднятый воротник, ни глубоко надвинутая шапка. Надо было все время щурить глаза.

Вьюга распоясалась вовсю. Все вокруг нестерпимо гудело, хрипело, визжало. Шум был куда сильнее, чем в школе во время большой перемены! И вдруг сквозь этот адский гомон пробился чей-то стон. Или это показалось? Да нет, самый настоящий стон! От неожиданности Мартынь застыл как вкопанный. Он опустил воротник, чтобы лучше было слышать. Но стон больше не повторялся. «Нет, это, наверно, ветер стонал», — решил Мартынь и побрел дальше.

Он едва сделал несколько шагов, как перед ним вырос занесенный снегом ивняк — понатыканные в сугроб серебристые хворостинки. Значит, это уже берег, подветренная сторона. Можно будет и передохнуть.

И тут снова, совсем явственно, раздался стон. Мартынь стал

напряженно вглядываться — да, в ивняке темнело что-то чудное, неподвижное! Какое-то время Мартынь стоял ни жив ни мертв, боясь подойти поближе, чтобы разглядеть, что же это лежит там, на снегу. Станный черный клубок вдруг громко всхлипнул.

Это было так неожиданно, что Мартынь поначалу совсем растерялся.

— Эй, вставай! — нерешительно крикнул он и шагнул к плачущему клубку.

Подпирая подбородок руками в варежках, на снегу лежал, подобрав ноги, какой-то мальчишка.

— Ну-ка поднимайся! Замерзнешь ведь!

Мальчишка, всхлипывая, продолжал лежать на снегу.

Мартынь наклонился, положил руку упряма себе на плечи и попытался поднять его.

— Ну, вставай. Вставай же! Я помогу тебе.

— Нет, не хочу... я не хочу домой... — чуть слышно прошептал мальчуган.

— Не хочешь? Понятно! — усмехнулся Мартынь. — На завтра небось родителей в школу вызвали? Наверно, окно выбил или еще чего натворил?.. Боишься, что выплюют здорово? Известное дело...

Мальчишка вместо ответа стал снова судорожно всхлипать.

— Может, ты и в школе не был, а? — допытывался Мартынь. — Или стащил что-нибудь. Отвечай, не бойся! Я не выдам, не из таких!

Паренек молчал. У Мартыня устало плечо. Хоть и мал этот странный мальчишка, а двигаться с ним было трудно. Мартыня так и прижимало к земле.

«Может, он ноги отморозил? Ну что с ним делать? — подумал Мартынь. — Нельзя же оставлять его здесь, на снегу? Будь что будет — может, дотащу до дому. А там дед что-нибудь придумает...»

Шаг за шагом, падая и снова поднимаясь, тащил Мартынь свою нелегкую ношу через сугробы; иногда он чуть ли не до пояса проваливался в них, но упорно продвигался вперед. Преодолев последний сугроб и выбравшись наконец на улицу,

Мартынь прислонил мальчишку к стене дома, вытер со лба пот и глубоко вздохнул. Одно из окон еще светилось. Может, постучаться, позвать на помощь?

Мартынь еще раз тяжело вздохнул и, подхватив мальчугана, медленно побрел вперед. Одной рукой он крепко держал своего найденыша, другой опирался о стены домов. Мартынь задыхался, руки онемели от усталости...

— Ты что, и правда богу душу отдать собираешься? — процедил он сквозь зубы, сердито встряхнув свою ношу. — Хоть бы одной ногой о землю опирался, что ли!

Но мальчишка только тяжело сопел ему в ухо да изредка всхлипывал. И молчал.

Вот и кончилась улица. Последний дом. Из-за угла на Мартыня ринулся резкий, порывистый ветер и заставил остановиться. Перед глазами замелькали красные круги.

— Хоть замерзай, а дальше нести тебя нет сил! — сказал Мартынь и опустил мальчугана на снег.

С минуту постояв, он пошел дальше один.

— У меня у самого еле-еле душа в теле, — бормотал он, будто оправдываясь.

Но, не сделав и несколько шагов, Мартынь вернулся и снова с трудом взвалил свою ношу на спину. Далеко впереди замелькал едва приметный огонек — это дед ждал Мартыня.

Когда Мартынь совсем выбился из сил, он опустил мальчугана на снег и сам растянулся на сугробе. Потом, немного отдохнув, поднялся, ухватил паренька за воротник пальто и поволок. Мартынь задыхался, он почти не чувствовал рук, но упрямо тянул мальчишку, кое-где даже ползком, особенно когда перетаскивал его через сугробы.

Медленно, ох как медленно приближался заветный тусклый огонек! А вокруг бушевала метель, изо всех сил стараясь доконать двух измученных мальчишек...

*Мартынь нашел мальчишку! — Кто написал записку? —
Следы на снегу*

Мартынь выводил на доске: «Поднимая вихри снега подул сильный ветер».

— Посмотри внимательней, Мартынь, правильно ли ты написал? — сказал Земитис.

Ну что ответишь? За один вечер все правила о деепричастных оборотах вылетели из головы Мартыня.

— Подумай хорошенько, нужна в этой фразе запятая или нет? И если нужна, то где она должна стоять?

— Нужна, конечно...

— Ну вот и поставь!

Альберт Талрит, усердно вытягивая шею, зашептал:

— После слова «подул»! После «подул»...

У Мартыня был острый слух. Он мог бы услышать даже звук упавшей иголки. Поэтому он взял мел и решительно поправил: «Поднимая вихри снега подул, сильный ветер».

Альберт захихикал, довольный тем, что сбил с толку Мартыня.

А Мартынь хмуро сказал:

— Не смог я выучить... Хотел подойти к вам до урока, но не успел.

Земитис недоверчиво взглянул на него:

— Почему же ты не выучил правила? Может, ты нездоров?

— Нет, я здоров... Но я... я мальчишку нашел...

— Что?!

— Ну, мальчика нашел...— смущенно пробормотал Мартынь.

В классе поднялся невероятный шум. Такого шума не было еще с того дня, когда шестой класс узнал о существовании макаронного дерева.

— Слыхали — у Мартыня найденыш, юмор и сатира!

— Брось шутить, Мартыць, не дури!

Земитис и сам с трудом сдерживал себя, чтобы не рассмеяться.

— Обычно вашего брата то часы подведут, то зубы заболят

или еще какая-нибудь причина отыщется, а Мартынь вот нашел какого-то мальчишку!

— Честное слово, нашел! — упрямо твердил Мартынь. — Малыш из нашей школы! — воскликнул он, вспомнив это немаловажное обстоятельство. — Он бы замерз, если б я не наткнулся на него... случайно... Он и сейчас у нас на дедушкиной кровати лежит. Бредит все время...

Земитис, с лица которого сбежала улыбка, все еще не знал, верить Мартыню или нет, а Марута уже энергично махала рукой.

— Разрешите! Можно, я скажу? Я все знаю! Мартынь, наверно, нашел Алиса из четвертого класса. Юлий всю ночь бегал по острову, искал братишку. Ведь Алис убежал из дому...

— Да ну? — хором выдохнул класс.

— Да-да! Кривобокий Август узнал, что Алис вступил в пионеры, и избил его!

Это сообщение не на шутку встревожило и удивило Земитиса: ведь Август сам послал в школу записку, в которой разрешал сыну вступить в пионеры!

Урок пришлось прервать. Земитис рассказал о случившемся директору, попросил послать в шестой другого учителя, потом поспешил к Мартыню, а Маруту отправил за родителями Алиса.

Никто из них в школу не явился. С Марутой прибежал только брат Алиса, Юлий, и признался Земитису, что записку написал он...

В этот вечер, едва лишь остров окутала непроглядная тьма, на льду Аттеки показался одинокий путник. На нем были поношенный полубух, лохматая ушанка и валенки. За плечами болтался брезентовый вещмешок.

Метель путнику, казалось, была нипочем. Слегка наклонившись вперед, он шагал навстречу пронизывающему порывистому ветру. Покрасневшее на ветру лицо его с орлиным носом показалось бы знакомым любому островитянину, если бы какая-то причина выгнала того из дому в такую погоду. Встретясь путнику ливсалец, тот бы непременно подумал: «Да ведь это же горбатый нос Готфрида Лиедаусиса!» Но с чего бы это Готфрид

в такой поздний час очутился на Аттеке? Да еще в эдакую метель! И идет он почему-то не к ливсалскому причалу, а огибает Камышовый островок. Зачем ему понадобилось такой крюк делать? Не мог же Готфрид Лиелаусис сбиться с пути!..

Снег быстро заметал следы, оставляемые путником. Оглянувшись, он довольно усмехнулся: едва ли на острове узнают, что сегодня ночью кто-то перебрался через Аттеку...

У ливсалских верб, что растут на берегу реки, путник остановился, высунул голову из воротника, внимательно прислушался и, поправив вещмешок, решительно запатал через заснеженный луг.

В доме Лиелаусисов, видно, ждали позднего гостя. Окно, выходявшее во двор, еще светилось. За ним мелькали какие-то неясные, причудливые тени.

В эту ночь у Лиелаусисов все перепуталось, перемешалось: не поймешь, что случилось с главой семьи Готфридом Лиелаусисом, непонятно зачем покинувшим в непогоду свой дом, и с его верным стражем — огромным лохматым псом Каравсом, который рвался с цепи, бросаясь на своего хозяина, словно это какой-нибудь воришка.

Но вот тихо скрипнула дверь.

— Цыц! Перестань! — прозвучал глухой голос.

Если бы здесь случайно оказался свидетель последовавшей затем сцены, он бы безоговорочно посчитал себя сумасшедшим. Да и было от чего сойти с ума: на пороге дома стояли... двое Готфридов Лиелаусисов! Двое!.. Оба невысокие, с одинаковыми горбатыми носами, похожие как две капли воды. Они обнялись, а потом долго жали друг другу руку. Со стороны могло бы показаться, будто Готфрид Лиелаусис горячо пожимает руку самому себе.

Но вот двери захлопнулись, и все погрузилось в темноту. Двор опустел, и только метель, словно необъезженная белогривая лошадка, продолжала резвиться да ветер снежной метлой заметал следы — предвестников новых волнующих событий.

Кривобокий Август попадает впросак. — Хорошо, что есть такая пальма! — Базарный день на „черной бирже“

В это злосчастное утро Кривобокий Август попал впросак! Наученный Лиелаусисом, он примчался в школу чернее тучи, ворвался в кабинет Земитиса и с ходу обрушился на него:

— Не имеете полного права держать Алиса в пионерах! Я не давал разрешш...

— Хорошо, что вы пришли,— прервав бушевавшего Августа, спокойно сказал Земитис.— Садитесь. Я, между прочим, собирался разыскивать вас.

Но Кривобокий Август спокойно сидеть не мог. Он сгорбил-ся по привычке и забежал по комнате, выкрикивая:

— Не имеете права!.. Вы не имеете права без согласия родителей!..

— Значит, запрещаете Алису вступать в пионеры?

— Да, запрещаю!

— Но почему?

— Почему? — ухмыльнулся вдруг Август.— Да потому, что я так хочу, я, его отец! Не желаю, чтобы из моего ребенка коммуниста сделали!

— Вот оно что!.. А вас это очень пугает?

Август совсем рассвирепел:

— Вы что, за дурака меня принимаете, что ли? Слыхали, знаем... Раздевают, понимаешь, догола, землю отбирают...

— И много у вас отобрали?

— У меня? — смутился было Кривобокий Август.— А при чем тут я? Я-то гол как сокол! У меня отбирать нечего. А вот у господина... у Лиелаусиса половину лугов отобрали. Пришлось ему даже коров продать.

— Вон как вы о господском благополучии печетесь! Какое же, интересно, вознаграждение вы получили от Лиелаусиса? Может, разбогатели, день и ночь работая на него?

— Коммунисты тоже ничем пока не осычастливили меня,— промолвил Август.

— Да вы сами от всего отказываетесь, руками и ногами отпихиваетесь! А если хорошенько подумаете и взвесите, без

помощи вашего... господина Лиелаусиса, то окажется, что кое-что вы все-таки получили. Кто, например, учит Алиса, дает ему бесплатные обеды? Кто снабжает его книгами, тетрадями? Может, господин Лиелаусис? А кто сейчас лечит Алиса, кто дает ему лекарства? Тоже ваш Лиелаусис? Да он и копейки вам на это не дал! Ему нет никакого дела до вашего больного сына!

Кривобокий Август не ожидал, что разговор примет такой оборот. В растерянности он не знал, что ответить учителю. Да, видать, не предусмотрел Лиелаусис такой контратаки! Однако Август не хотел сразу сдаваться.

— Это вы бросьте! Меня агитировать нечего!

— А я и не агитирую вас. Я только хочу, чтобы вы подумали как следует...

— Нечего мне думать! Сына отдайте, вот что! — снова взорвался Август. — Нету такого закона, чтобы ребенка у родителей отбирать!

Земитис побагровел. «С этим типом надо, пожалуй, разговаривать по-другому! Кто-то его науськивает на нас. А, чего там «кто-то»! Ясно ведь кто!»

— Вот что, гражданин Клиен: если уж вы о законе заговорили, то знайте: мы можем отдать вас под суд, поняли?

— Под суд? Меня? — вскричал Август. — За что?

— За бесчеловечное обращение с ребенком! Только из-за вашей дикой жестокости Алис сейчас лежит в больнице. Советский закон не допустит подобного зверства. Никому, в том числе и вам, как отцу, не разрешено так обращаться с малышом! Подумайте об этом.

Явно напуганный словами Земитиса, Кривобокий Август беззвучно шевелил губами. Чего-чего, а такого он не ожидал! И впрямь, кто знает, какие они, эти комиссарские законы! Может, и в самом деле возьмут да и упрячут за решетку? И Лиелаусис тоже хорош: «Ступай в школу, вызволи малыша из красных лап, не то — петлю на шею!» Что Лиелаусису все не нравится — это понятно. Но нигде не сказано, что Август Клиен должен из-за него в тюрьму сесть.

Кривобокий Август, не спуская испуганных глаз с Земитиса, напирал непослушными пальцами лежавшую на столе кепку и попытлся к двери.

— Ну как? Вы все еще настаиваете на своем?

— Да нет... Можно и подождать... Пусть пока останется,— пробормотал Кривобокий Август. Было у него такое ощущение, будто угодил он в волчью пасть. Вот ведь попал: с одной стороны, Лиелаусис, хозяин, с другой — этот учитель, этот комиссар! Как тут быть? Ну и времена! Даже собственного сына не имеешь права проучить как следует...

...Хорошо, в школьном коридоре стоит эта пальма. Под ее огромными листьями можно легко скрыть от нескромных взглядов то, чего нельзя выставлять напоказ. Под пальмой ребята открывали друг другу страшные секреты, разрабатывали планы невероятных затей, а иной раз, в критический момент, просто прятались от учителя или любого другого преследователя. Девчонки, укрывшись под широкими листьями, поверяли одна другой самые сокровенные тайны, а иногда и плакали вволю, чтобы облегчить свои слишком чувствительные сердца. Школьные зубоскалы ехидничали: и как эта старая пальма выдерживает такой обильный поток соленой влаги? Но пальма благополучно зеленела, под ее могучими листьями по-прежнему заключались дружеские союзы и решались горячие споры...

Случилось и Мартыню воспользоваться зеленым убежищем. Виновата в этом была Марута. Почти два часа она терпеливо дожидалась у дверей зала, пока не кончится баскетбольная тренировка.

Мартынь Пупол наконец-то был зачислен в команду шестого класса, которая готовилась к предстоящей встрече со знаменитыми мастерами из седьмого. Мартыня взяли в команду потому, что он получил четверки по географии и истории и пятерку по грамматике. Помогли этому и события на Аттеке в ненастную, вьюжную ночь.

Но вот тренировка закончена. Баскетболисты один за другим выходили из спортзала.

— Мартынь! — крикнула Марута.

— Ну чего тебе? — не очень любезно спросил Мартынь.

Он нехотя подошел к Маруте, засунув руки в карманы.

— Мы... я... — начала нерешительно Марута, — я должна тебе сказать...

— Не могла в классе, что ли?

— Не могла...

Подбрасывая мяч, мимо них вразвалку прошагал Юмор. Чего он уставился? Да еще ухмыляется при этом! Но разве Юмора поймешь? Лицо у него как у клоуна — всегда насмешливое...

Мартынь сердито подтолкнул Маруту к пальме.

— Ну, говори!

— Понимаешь... — Марута принялась смущенно теревать косичку, напоминавшую пучок соломы. — В воскресенье у меня день рождения. Никого не будет, только Лигита...

— Ну и что?

— Может, и ты придешь?

— Я? К девчонкам?! — вырвалось у Мартыня. Но тут же, исправляя оплошность, он сказал: — Я в воскресенье вместе с дедом в город иду.

— Значит, не придешь? Говорил-бы уж прямо, что не хочешь! Вон ты, оказывается, какой! А я ведь тебя не укоряла, когда ты на Кавказ уехал... один, без меня. И я не набивалась — сам обещал сказать, когда поедешь...

В общем, старой пальме пришлось выдержать еще один поток слез.

Мартынь взглянул на Маруту, и ему вдруг стало жаль ее. В конце концов, если уж говорить честно, Марута не заслужила такого пренебрежительного отношения. Разве не она помогала ему однажды грести, разве не она отдала ему тогда свои варежки, чтобы он согрел ооченевшие руки? Именно Марута позаботилась о его больном деде... Все это верно. Только вот с этим дурацким чулком неувязка получилась. Да и там ничего плохого не было. Теперь-то Мартынь знал, что пионеры из шестого, по предложению Маруты, решили заработать сообща деньги на сапоги деду: нельзя же было допускать, чтобы их товарищ мерз на ледяном осеннем ветру и пропускал уроки! Но все равно из-за этого чулка и возникли всякие неожиданные осложнения...

— Ладно, не плачь. Чего разревелась? Может, и приду... — пробурчал Мартынь. Глядя куда-то в сторону, он попытался перевести разговор на другую тему. — Ты вот лучше скажи,

что тогда случилось с этим вашим чулком? Нашли его или нет?

— Нет, не нашли,— судорожно вздохнув, ответила Марута.— Да это и неважно! — Она вытерла слезы и улыбнулась.— А правда удивительно, что есть на самом деле сапоги-самоходы?

— Какие еще самоходы?

— Понимаешь, это такие сапоги, которые сами приходят к тому, кому они больше всего нужны. Поклонятся вежливо и скажут: «Пожалуйста, надевайте нас!»

— И где это ты такие видела? — усмехнулся Мартынь.— Придумают тоже...

— У тебя на кухне видела! В то утро, когда ты на Кавказ удрал. Пришли они, проглотили старые, залатанные и заняли их место у печки.

Мартынь опять помрачнел.

— Чего ты ерунду городишь? — Он пристально посмотрел на Маруту.— Значит, вы все еще думаете, что я взял?.. Ладно! Если хотите знать, сапоги я купил за свои деньги, которые заработал на переправе, ясно? На собственные денежки! Поняла?

Марута взглянула на него недоверчиво.

— А на Кавказ ты полетел, выходит, на крылышках?

— Какие там крылышки! У меня еще оставалось немного денег. И потом... и потом, я ехал зайцем, вот!

— Мартынь! — вскричала Марута.— Неужели и правда чулок взял кто-то другой?

— А ты думаешь, я? — Мартынь резко повернулся, готовый уйти.

— Подожди! — Марута схватила его за рукав.— Я вовсе и не думаю, что ты... что ты взял чулок. Честное слово! Только я никак не могу понять, кто же это мог сделать! О деньгах знали только мы, пионеры...

— Чего тут удивляться, если в пионеры принимают таких, как Петерис Дундур!

— Что? Петерис в пионеры вступает? — вскричала Марута.

— А ты не знала, что ли?

— Конечно, не знала! Такого шута горохового — и в пионеры!..

— Земитис сказал, что нет никаких причин не принимать его. Среди вас, говорит, он станет лучше.

Как раз в это время по коридору прошел, не заметив их, Земитис. Он только что вышел из учительской. Его как раз и не хватало тут!

— Ну ладно,— спохватился Мартынь,— я пойду. Пока!

— Постой, Мартынь! А ко мне-то придешь?

— Там видно будет...

Мартынь быстро пробежал по коридору, ругая себя за то, что столько времени проболтал с девчонкой, да еще где — за пальмой! Что будет, если кто-нибудь заметил их?

То, чего нельзя было скрыть за доброй старой пальмой в конце коридора, весьма успешно скрывали на «черной бирже». Она находилась в темном подвале, за огромными котлами центрального отопления. В узком угольном бункере располагался тайный «рынок» ливсальской школы. После уроков или во время большой перемены там частенько собирались богатые владельцы коллекций почтовых марок и значков, обладатели несметных сокровищ в виде золотых крючков, лесок и хоккейных клюшек. На «бирже» обменивалось, покупалось и продавалось все, что, по мнению ребят, заслуживало внимания.

В тот самый вечер после очередной баскетбольной тренировки на «черной бирже» снова была в разгаре торговля. Отчаянные менялы, раскрасневшись, стояли друг против друга, точно боевые петушки, готовые выклевывать друг дружке глаза.

— Не дури, гони «бразилию», тогда и поговорим! — горячился Аустрис Бумбиерис, наседа на Хария.

— Хм! Нашел дурачка! Да за эту бразильскую марочку я отдал Вендетте свою лучшую клюшку! — усмехнулся Харий.

— Так тебе и надо! Ловко тебя Вендетта обработал!

«Вот скряга!» — подумал Харий и, махнув рукой, отвернулся.

У небольшого окошка-желоба, по которому ссыпали в бункер уголь, стоял Петерис Дундур. Сегодня он явился на «ры-

нок», чтобы посмотреть, какой товар пользуется наибольшим спросом.

Самые лучшие коллекции марок во всей ливсальской школе были у Аустриса и Хария. Трудно даже было сказать, у кого из них коллекция лучше. Поэтому каждая новая марка и для Хария и для Аустриса имела неопенимое значение. Но, как известно, богатство — штука вредная, оно не признает границ. Чем больше имеешь, тем больше хочется иметь.

В последнее время, ко всеобщему удивлению, Аустрису Бумбиерису посчастливилось достать такие марки, что другим и не снились.

— Значит, не дашь бразильскую? — продолжал приставать Аустрис к Хария.

— Не дам!

— Ну и не надо! Лавочник ты, а не коллекционер!

А Дундур, наблюдавший за этой сценкой, только ухмылялся. Ему нет до них никакого дела — пусть себе ссорятся и дерутся! Он, Петерис, немногим уступал этим знатным коллекционерам. У него тоже было около сотни марок. А может, и больше... Но стоит ли из-за этих несчастных марок ссориться?

В самый разгар сделок и раздоров на «черной бирже» появился Альберт Талрит.

— Ну-ка, вы, потише! — одернул он споривших Аустриса и Хария. — Над нами по коридору Земитис прохаживается — накликаете на свою голову беду! Чье это наследство вы тут делите?

— Да вот пристал как банный лист! — презрительно кивнул Харий в сторону Аустриса.

— Сам предложил меняться, а потом стал цену набивать! Вымогатель! — пробурчал оскорбленный Бумбиерис.

— Ладно, ладно, — Альберт поднял руку, — не вопите! Подняли шум из-за какой-то марочки пустяковой...

— Пусть проваливает отсюда! — промолвил зло Харий.

Альберт же принялся вдруг сосредоточенно разглядывать поски своих добротных ботинок.

...После затяжной метели наступила оттепель. В полдень с крыш ливсальских домишек дружно зазвенела капель. В местах, защищенных от ветра, образовались лужи. Словом, погода изменилась неожиданно резко. И не только погода... После той

ненастной ночи кое-что изменилось и в планах «ливсалских волков».

Именно об этом и размышлял сейчас Талрит, склонив голову. «Не подошло ли время начать действовать? — думал он. — Но, может, еще рано? А если попробовать?..»

Альберт бросил оценивающий взгляд на Аустриса, Хария и Петериса. Да, с этими, пожалуй, можно будет договориться...

— Эх, вы, нашли из-за чего ссориться! — снова промолвил он. — Между прочим, могу достать вам такие марочки — закачаестьс!..

— Не дури! — вскричал восхищенно Аустрис. Но потом протянул недоверчиво: — Где ты их возьмешь-то?

Альберт улыбнулся с видом полнейшего превосходства.

— У господ бога, Бумбиерчик! У меня там блат, — сказал он, подняв глаза к потолку.

Но его насмешливая и вместе с тем загадочная ухмылка заставляла почему-то думать, что он не шутит, а затеял что-то серьезное. Но что? И действительно, где он может раздобыть марки?

— Ты не улыбайся, а выкладывай побыстрей! — вмешался в разговор и Петерис Дундур.

— Не суйся в чужие дела, Макарончик! — огрызнулся жадный Аустрис. — Все равно марок не получишь!

— Правильно! Давай-ка потише, «макаронное дерево», — поддержал Аустриса Харий, пытаясь оттеснить Петериса в сторону.

— Да бросьте вы! Всем марок хватит, и Петерису тоже, — остановил их Альберт. — Я такие запасы нашел!.. Неисчерпаемые! — И на круглом лице его расплылась самодовольная улыбка.

Слова эти произвели на страстных филателистов ошеломляющее впечатление. Глаза Аустриса перестали быть просто глазами, а превратились в два алчно горевших огонька. На лице Хария особенно ярко проступили веснушки, похожие на ягоды красной смородины. А тонкий нос Дундура напоминал сейчас сплюснутый стручок — так глубоко вздохнул зачарованный Петерис.

— Ты только не вздумай разыгрывать нас! — грозно пред-

упредил Талрит Харий.— Тут, знаешь, дурачков нет. Понял?..

Альберт спокойно пожал плечами:

— А чего мне вас разыгрывать? Хотите, могу принести и показать... если не верите...

— Ладно, верим,— сказал важно Харий и добавил пренебрежительно: — Только этому «Не дури» не стоило бы марки давать. Он ведь пионерчик!..

Аустрис стиснул кулаки, готовый ринуться на обидчика, но снова вмешался Альберт. Махнув рукой, он сказал равнодушно:

— Что нам за дело до пионеров? Аустрис — свой парень, настоящий, ливсальский. И это главное. Но смотрите: другим о нашем разговоре ни слова! — И Альберт опять, как в начале разговора, погрозил толстым пальцем.

— Что мы, дураки, что ли, сами себя обкрадывать? Я, например, буду молчать как рыба. Держать язык за зубами умею, не беспокойся,— обиделся Аустрис.

— Лишь бы Макарончик не размяк,— тихо сказал Харий, бросив недовольный взгляд на стоявшего чуть поодаль Петериса.— У него ведь только и есть, что длинные ноги...

— Да ладно тебе! — остановил Хария Альберт.— Ты же знаешь, Дундур не из болтливых. Да он если и вымолвит два словечка в месяц — и то хорошо...

В общем, все разошлись очень довольные: это надо же — Альберт нашел неисчерпаемый источник марок! Черпает из него сам и готов поделиться с другими. Удивительно даже: Альберт Талрит вдруг оказался бескорыстным человеком!..

4

Когда человеку тринадцать. — „Лошадиный хвост“. Привидение на „черной бирже“

Тринадцать лет — возраст, конечно, немалый. Человек в тринадцать лет чувствует себя вполне солидным, почти взрослым. Поэтому многое ему уже не нравится: и одежда его, и

прическа, и даже походка. Мальчишки, которые совсем недавно преспокойно несли свои портфельчики в руке, в тринадцать лет носят их под мышкой, а руки при этом засовывают чуть ли не до локтей в карманы брюк. Ходят они посреди улицы, не спеша, вразвалочку, точно бывалые моряки. Так вот и кажется, что под их ногами качается не то что палуба корабля, а сама земля.

Совсем недавно им было все равно, как они пострижены — паголо или же с небольшим чубом на лбу. А тут вдруг прическа становится едва ли не одной из главных забот тринадцатилетнего молодого человека. Волосы, по его мнению, должны быть такой длины, чтобы их можно было вполне прилично зачесать назад — в общем, чтобы они ни в коем случае не торчали в разные стороны, как иголки у ежа. Ну и, разумеется, на такой прическе никак не удержаться новенькой фуражке. Поэтому ее безжалостно мнут и трут до тех пор, пока она не становится похожей на мехи гармошки.

Ширина брюк тоже должна быть значительно увеличена, поскольку этого требует неумолимая мода. Если не удастся уговорить мать расклепшить брюки, приходится потрудиться самому, чтобы каким угодно способом расширить их хоть на несколько сантиметров.

А у девочек, переступивших порог тринадцатилетия, важнейшей проблемой становится обувь. Купленные только прошлой осенью, совсем еще новые ботинки оказываются вдруг невыносимо узкими и тяжелыми. Они так немилосердно жмут и трут ноги — ну прямо хоть плачь!

И ведь ни отец, ни мать не понимают, что человек-то растет! Растут, естественно, и его ноги. Вот для них-то, для ног, и нужны приличные легкие туфельки, а не тяжелые, неуклюжие ботинки. А если появятся наконец туфельки, то их, конечно же, нельзя надевать на толстые, грубые шерстяные чулки, связанные бабушкой, потому что они ужасно кусают и царапают кожу.

Но самые большие неприятности причиняют коротенькие, словно мышинные хвостики, косички, торчащие в разные стороны. А как от них избавиться? Не так-то это просто. О том, чтобы расстаться с косичками, и заикнуться нельзя. Неужели

и впрямь никто не хочет понять, что человеку уже тринадцать лет?!
И совсем напрасно взрослые начинают доказывать, что одна только внешность еще ничего не меняет в жизни и что не это, мол, главное. Но как же тогда окружающие поймут, что наконец-то достигнут столь солидный возраст? Не подойдешь ведь к первому встречному со словами: «А знаете, мне уже тринадцать лет!»

В понедельник утром, едва только Марута вошла в класс, все сразу же обратили внимание на то, как сильно она изменилась за прошедшее воскресенье. Но самое невероятное — это, конечно, желтые короткие косички, превратившиеся под рукой умелого мастера в небольшой, но модный «лошадиный хвост», перехваченный на затылке розовой ленточкой.

— Держите, держите! Это же Мáксис убежал из конюшни Лиелаусиса! — в восторге завопил Юмор.

А Бумбиерис, ухватившись за «хвост», вскричал:

— Тпр-ру, Максис!

— Нахалы! — с холодным презрением бросила Марута и гордо простествовала к своей парте.

Класс застыл от изумления. Слово «нахалы» прозвучало как гром среди ясного неба и поразило ребят больше, чем новая прическа Маруты. Вот интересно! Все ожидали, что она, как обычно, набросится на Юмора или надает тумачков Аустрису. А Марута нá тебе — «нахалы»! Может, это и не Марута вовсе? Ну может ли человек так измениться за один день? Нет, это просто невероятно!..

Свое тринадцатилетие Марута отметила в обстановке полнейшей тайны. Знали об этом только Лигита и Мартынь. О Мартыне лучше не говорить!

Ох, до чего Марута зла на него! Вчера напрасно прождала его целый вечер! Подумаешь, задавака! Таким стал гордым, так нос задрал, что и не подходи к нему. Великий путешественник!.. Одна Лигита, одна она, верная подружка, пришла к Маруте.

— У тебя, случайно, не день рождения был вчера? -- со

сладкой улыбкой спросила Аэлита. — Был, был, по лицу вижу, что был! Ну, в таком случае, поздравляю тебя.

— Спасибо, — неохотно поблагодарила Марута.

— Загляни-ка в свою парту, — сказала вдруг Аэлита и снова улыбнулась, на сей раз интригуяюще. — Может быть, добрая фея приготовила тебе какой-нибудь подарок?..

Марута послушно заглянула в парту. К ее удивлению, там действительно лежал сверток! Совсем небольшой сверток. Марута, сгорая от нетерпения и любопытства, развернула его. Шкатулка!.. Да еще какая — из красного дерева! На крышке выжжен силуэт лодки. А в самой шкатулке записка: «Поздравляю с днем рождения. М.».

Любопытная Аэлита перегнулась через парту и ткнула пухлым пальчиком в записку, как раз туда, где красовалась загадочная буква «М».

— Марута, а что это означает? «М» — это кто?

— Не знаю, — ответила Марута и тут же покраснела: она-то уж сразу догадалась, кто этот таинственный «М».

Значит, он вовсе и не забыл о дне рождения, помнил об этом. И даже подарок приготовил! Вездесущая Аэлита, конечно, успела все пронюхать.

— Ах, вот как, не знаешь? — многозначительно усмехнулась она.

— Да вот, не знаю! — отрезала Марута: эта вредная Аэлита кого хочешь выведет из себя.

— А я знаю! Хочешь, скажу? Твой «М» — это Мартынь! Что, не так, что ли?..

Мартынь сидел за своей партой и, конечно, слышал весь этот разговор и был поэтому мрачен и зол. Правда, он старался не подавать и виду, что слышит, о чем говорят Марута с Аэлитой. Он не имеет к этому никакого отношения, и все!

Но Мартынь в самом деле постарался. Два вечера подряд колдовал он за дедушкиным верстаком, пока наконец не смастерил отличную шкатулку для рукоделия. И вот что получилось! Надо же было Аэлите сунуть свой нос в парту!

Возвращаясь из школы домой, Марута увидела шагавшего впереди Мартыня. Она догнала его и некоторое время шла рядом, потом сказала тихо:

— Спасибо тебе за подарок.

Но Мартынь, даже не повернув головы, махнул рукой и пробурчал угрюмо:

— Вечно из-за тебя одни неприятности!..

...Некоторые считают, что в местах темных, тихих и таинственных всегда водятся привидения. Говорят, например, что есть привидения в старинных замках и дворцах, что появляются они и на кладбищах и что люди нередко встречают на море даже призраки потерпевших крушение кораблей. Однако вряд ли кто-нибудь слышал о том, что привидение завелось и в ливсальской школе, на «черной бирже». Если в темном угольном бункере иной раз и слышались какие-то странные звуки, все знали, что это ветер пробивается сквозь щели рассохшегося, почерневшего окошка. А когда в котельной иногда начинал вдруг шуршать шлак, ребята догадывались, что в нем возятся мыши, и ничего больше.

...Альберт Талрит сидел на опрокинутой тачке и к чему-то внимательно прислушивался. Да, выходит, что и тишина может подчас таить в себе какие-то непонятные, таинственные звуки.

Ага!.. Вот, вот, зашуршало что-то! Может, за чуть приоткрытой дверью ходит кто-нибудь? И верно, кто-то идет! Сделает шаг, другой — и остановится. Вот, пожалуйста, опять шаги...

«Это, наверно, Петерис Дундур,— решил Альберт.— Наконец-то припелся. Вон сколько ждать пришлось этого господина! И чудак же этот Дундур — крадется, будто на охоте уток выслеживает! Ну чего он там топчется?»

Альберт разозлился не на шутку. Вендетта велел передать Дундuru срочный, совершенно секретный приказ, а этот копуша еле шевелится. Ну куда, куда он полез? Вот недотепа! Возится чего-то в котельной, а в бункер не заходит!

Альберт, потеряв терпение, вскочил с тачки, сунул голову в приоткрытую дверь и тут же отпрянул назад: тот, кто крался сейчас в котельной, был вовсе не Дундур!.. Альберт снова осторожно заглянул в котельную.

«Ого! Да это же Аустрис Бумбиерис! Интересно, что это он тут делает? Уж не кочегаром ли думает заделаться?»

А в это время Аустрис, не подозревая, что за ним следят, сунул руку за водопроводную трубу, что-то нашарил там, потом, все так же крадучись, подошел к закоптелому окошку. Альберт едва удержался, чтобы не крикнуть. Аустрис стоял боком к окну, и видно было, что держит он что-то похожее на змею!..

«Нам в школе только укротителя змей и не хватало! — усмехнулся Альберт. Напрягая зрение, он пытался получше разглядеть, что же это такое держит Альберт. — Нет, это, конечно, не змея. Скорее всего, чулок, чем-то набитый...» — решил Талрит.

В тишине котельной вдруг отчетливо звякнул металл. Аустрис опустился на колени и, отчаянно пыля, стал за чем-то копать в куче шлака. Потом он энергично встряхнул чулок, сделал движение, будто собирался выбросить его, но, передумав, сунул в карман.

Когда Аустрис наконец ушел, Альберт, пожав недоуменно плечами, снова уселся на опрокинутую тачку, размышляя о странном появлении Аустриса в котельной.

«Вот бы узнать, что он прячет за водопроводными трубами? И что это за таинственный чулочек? А чулок ли это? В темноте не очень-то разберешь».

— Хм, чулочек, чулочек... — пробормотал Альберт, пытаясь вспомнить, где и когда он слышал уже о какой-то истории с чулком.

Его размышления прервал Петерис Дундур, который только сейчас отделался от Земитиса и, запыхавшись, примчался в угольный бункер.

— Понимаешь, пришлось зубрить торжественное обещание, Земитис заставил, — принялся оправдываться он.

— «Обещание, обещание»!.. — передразнил его Альберт. — А я торчу тут в темнотище один, как сыч, и жду... Ну ладно, перед Земитисом ты отчитался. Теперь будешь передо мной отчитываться. Ты сейчас дашь мне не какое-то там торжественное обещание, а самую настоящую тайную клятву!..

Незаметные перемены. — Аустрис тонет. — Тени и призраки. — Потерянные надежды. — В ненастную ночь

Наступил новый год, но жизнь на острове, казалось, текла по-старому, ничем и никем не тревожимая. Большую часть каникул ребята провели на берегу Аттеки, у занесенного снегом причала. Они катались на лыжах, коньках или санках, играли в снежки, а по вечерам собирались в школьном зале на баскетбольные тренировки. Собирались регулярно и тренировались старательно: неотвратимо приближалось время, когда должен был наконец состояться матч с грозным противником — ребятами из седьмого класса.

Два раза в неделю кто-нибудь из пионеров ездил в город, в больницу, навещать Алиса. Он выздоравливал, и врачи говорили, что его скоро выпишут.

Взрослые были заняты своими делами: кто расчищал двор от снега, который в эту зиму собрался, видно, завалить весь остров; кто в ожидании весны коротал время, занявшись ремонтом разной домашней утвари. Те, кто работал в предместье, каждое утро и каждый вечер перебирались через Аттеку, пряча лица от пронзительного январского ветра. Кривой Август по-прежнему гнул спину на Лиелаусиса, а сам хозяин старательно копил деньги, чтобы достроить теплицы. В общем, жизнь текла своим чередом.

И все-таки, если присмотреться повнимательней, можно было бы заметить некоторые на первый взгляд и незначительные, но по существу довольно важные перемены. Петерис Дундур, например, носил теперь красный галстук, хотя все и удивлялись этому. А «волки» вели себя так, будто и не замечали вовсе, что Петерис Дундур — пионер! Дни каникул они проводили в доме Лиелаусисов и лишь изредка появлялись на берегу Аттеки.

Да и то, уж скорее всего, неспроста...

Мартынь, как всегда, допоздна читал книги о путешествиях и, к великому удивлению деда, частенько заглядывал в учебники математики, русского языка, географии или грамматики. А иногда, заткнув пальцами уши, бубнил что-то весь вечер.

И это в дни каникул! Да, такое прилежание казалось совершенно невероятным.

Ну разве это не перемены? Пусть хоть и совсем небольшие, незаметные, а все-таки перемены. Значит, новый год и впрямь принес что-то новое.

«Черная биржа» была единственным на всем острове местом, где красный галстук был не в почете. Обычно его снимали уже на лестнице, ведущей в котельную, торопливо прятали в карман и лишь после этого заходили в угольный бункер.

В темном подвале галстук считали вещь ненужной. Там уместней были поднятые воротники плащей или курток, таинственный шепот или многозначительно тихий разговор. Да и не зря подвал называли «черной биржей»: здесь нередко творились неприглядные, черные делишки. Какой уж тут может быть галстук!..

Из подвала несло запахом угля, к которому примешивался запах плесени. С тяжелым чувством, будто приговоренный к смертной казни, спускался в подвал по узкой металлической лестнице Петерис Дундур. Лестница ввинчивалась в темноту подвала словно огромный штопор. Казалось, чья-то невидимая, но твердая рука неумолимо тянет Петериса в котельную. Он изо всех сил противится этому, он хочет вернуться, но подвальный мрак засасывает его...

Ох уж эти почтовые марки!..

Альберт Талрит чудом каким-то нашел ну просто золотую жилу! Сам из нее черпает и других не забывает: ни Аустриса, ни Хария, ни его, Петериса. Но даром ничего не дается! Теперь-то уж Петерис знал, что за марки Талрита придется расплачиваться дорогой ценой, очень дорогой...

А впрочем, будь что будет! Теперь ничего не изменишь: проданся за марочки Петерис Дундур, так же как и Харий и Аустрис. Все продались Альберту Талриту за эти красивые картиночки с зубцами.

На подоконнике в угольном бункере коптила свеча. Угрюмый, нахохлившийся Харий стоял, прислонившись к сырой стене. Аустрис нсском ботинка ковырял плак. Оба будто и не заметили вошедшего в бункер Петериса.

Но вот наконец появился и Альберт Талрит. Весело улыбаясь, он воскликнул:

— Хэлло, старики! Вроде бы все собрались?

Вместо ответа Аустрис бросил нетерпеливо:

— Принес?

— Почему же нет? Пожалуйста — каждому по альбомчику!

С этими словами Альберт вытащил из портфеля три довольно пухлых альбома, почти одинаковых по толщине. И в каждом из них под шуршащей прокладкой из папиросной бумаги таилось невероятное, неслыханное богатство! На каждом листе альбома были аккуратно наклеены марки Франции, Германии, Дании, Швеции, Люксембурга — словом, марки всех стран мира, и какие марки! Были даже американские, японские, австрийские, индийские, даже африканские — марки, которые ребята почтительно называли «колонии»!..

Перед глазами ошеломленного Петериса мелькали синие, зеленые, красные, желтые марки, они сливались в сплошную радугу. В висках у счастливого обладателя альбома стучало, горло пересохло от волнения. Это же богатство, это целое состояние, это мечта!

Ребята долго еще жадно листали альбомы. Но вот Харий захлопнул свой и сказал тоном, не терпящим возражений:

— Этот я себе возьму!

— Не дури! — вскричал Аустрис. — Почему именно этот? Дай-ка и я его погляжу, тогда и решим.

— Убери руки, ты, «Не дури»!

— Ну вот, опять ссоритесь! — вмешался Альберт. — Давайте лучше бросим жребий. А там уж кому какой достанется! Да любому такому альбомчику цены нет!

Он свернул в трубочку три листочка, предварительно написав на каждом цифры «1», «2» и «3», и бросил их в шапку. Те же цифры он поставил и в альбомах (карандашом, конечно, и на самой первой странице). Повезло Харию — он получил тот самый альбом, который так ему понравился. Но теперь уже никто не ворчал. Обладатели альбомов торопливо сунули свои сокровища под пальто и подняли воротники, собираясь, видимо, покинуть котельную.

— Куда это вы заторопились, голубчики? — ехидно усмехнулся Альберт. — А как же с дельцем?

— Чего-чего? — переспросил Аустрис. — Ах, с дельцем?.. Да-да, правильно...

Трое коллекционеров выглядели сейчас так, будто кто-то стащил их с небес на землю. Но что поделаешь? Сегодня надо было дать Альберту окончательный ответ.

Вот когда угольный бункер стал вдруг напоминать могильный склеп. Темный, холодный, мрачный, с затхлым воздухом.

Все трое нехотя вытащили из-под пальто драгоценные альбомы и медленно протянули их Талриту.

— Не дури! — пробормотал Аустрис. — Я этого делать не буду...

— Я тоже! Проси, чего хочешь, только не это, — недовольно поморщился Харий.

А Петерис Дундур, не промолвив ни слова, положил альбом на перевернутую тачку.

Альберт Талрит теперь уж не улыбался.

— Отказываетесь? — зло спросил он.

— Да, отказываемся, — отрезал Харий. — Очень опасно это, понятно?

— «Опасно»... — передразнил презрительно Альберт. — Струсили! Эх, вы... Пустяковое дельце провернуть испугались.

— Храбрый какой! «Пустяковое»!.. Нашел тоже пустячок! — промолвил Аустрис, с сожалением поглядев на альбом.

— Да говорю же вам — детская это игра! Честное слово! И ведь все уже продумано до самой последней мелочи. Харий ключи достанет, а дальше все будет шито-крыто! И потом, должны вы мне или нет, а? Марочки брали? Брали! Платили за них? Нет! Тогда, может, сейчас денежки выложите?

Нажим Альберта возымел свое действие. А возможно, и с роскошными альбомами трудно было расстаться. Первым, как ни странно, сдался резкий и несговорчивый Харий.

— Ладно, давай сюда альбомчик... — сказал он, тяжело вздохнув, и добавил: — Рискнем! Дело и правда не такое уж трудное...

— Молодец, Харий! — обрадовался Альберт. — Вот парень так парень! Не какая-нибудь там девчонка! — При этом Талрит



бросил взгляд на понуро молчавшего Петериса.— Теперь вижу, что у Хария коленки не задрожат.

— А я... я, ей-богу, не могу,— пролепетал Аустрис.

— Не можешь — и не надо! Мы и без тебя обойдемся! Только марочки верни. А то набрал целую кучу... Чтобы завтра были все до единой!

— У меня... я... в общем... некоторые я уже обменял...

— Тогда монету гони! Деньги на бочку, понятно?

— Я могу только... вот... два рубля у меня. Больше нету... — тихонько произнес растерявшийся Аустрис.

— Нету? Как же это так? — язвительно усмехнулся Альберт. — Гляди какой бедненький стал! То каждый день конфетки жевал, марки покупал в городе, а теперь вдруг только два рубля осталось! Неужели чулочек опустел?

Разорвись сейчас у ног Аустриса граната, он и то не был бы так ошеломлен, так напуган, как ехидными вопросами Альберта. Аустрис побледнел точно полотно. Пол котельной качнулся под ним, а гора угля каруселью завертелась перед глазами. В полнейшем отчаянии Аустрис беззвучно шевелил губами, не зная, что ответить Альберту. Он посмотрел на Хария и Петериса: неужели они слышали все, что сказал Альберт, и поняли смысл его вопросов?

— Я... я н-ничего не знаю... — сказал он наконец, потупив взгляд. — Никакого чу-чулочка я не видел...

— Память у тебя короткая, — жестко произнес Альберт. — Забыл вдруг о своем кладе, а? Ну, если не помнишь ничего, спроси тогда у Юмора или у Маруты. По-моему, у них что-то исчезло, чулок, что ли, какой-то...

Аустрис побледнел: «Ну все, пропало! Только вот непонятно, как этот чертов Альберт узнал о такой страшной тайне? И уж если узнал, то молчать, конечно, не будет. И надо же было мне тогда на этот несчастный чулок позариться! А теперь он пуст... Что же будет, что будет?..»

Аустрис чувствовал себя утопающим. Он тонет, он неотвратно опускается на дно, все глубже и глубже. Теперь одно спасение — Альберт! Никуда от него не денешься. И хотя никто не мог бы поручиться, что Аустрису удастся удержаться с помощью этого «спасательного круга», Аустрис немедленно ухватился за него, пока Харий и Петерис, занятые, к счастью, своими невеселыми мыслями, еще не пронюхали обо всем.

— Я согласен... — прошептал Аустрис и так же тихо добавил: — Альбомчик тоже возьму...

— Правильно! — сказал вдруг Харий. Он, оказывается, все-все слышал! — Все равно ты слишком много знаешь. От нас, брат, теперь не увильнешь. А что это за чулок, о котором вы тут толковали?

— Да так, подарок двоюродной бабушки, — усмехнулся Альберт и подмигнул Бумбиерису.

Аустрис даже содрогнулся: да-а, теперь он полностью во власти этого хитрого Талрита!

— А ты как решил? — спросил Альберт, повернувшись к Петерису.

Помедлив немного, Петерис, глядя куда-то в сторону, сказал глухо:

— Я... я боюсь...

— Вот маменькин сыночек! — снова вмешался Харий. — Дерево макаронное! Я ведь говорил, что от него толку не будет. К тому же он теперь пионер!

— Ну и что? Подумаешь, пионер... Хвастать тут нечем, — пренебрежительно бросил Альберт.

Петерис понял, как и Аустрис, что от Альберта ему не отделаться. Попробуй-ка откажись теперь от задуманного Талритом и его дружками дельца!

— Ну и слюняй, — не унимался Харий. — Таких «героев» я еще не видел. Ладно, мы с Аустрисом главное сделаем, а Макарончик пусть хоть на стреме постоит.

— Это можно. Постою, — тихо сказал Петерис.

— Ну вот, сразу бы так, а то «боюсь»! — облегченно вздохнул Альберт. — Тебе даже пальцем шевельнуть не придется. Постоишь несколько минут — и все. Ты вроде бы и в деле-то не участвуешь. Уразумел?..

Коллекционеры снова схватили свои альбомы и направились к выходу из котельной. Бесценные альбомы казались теперь почему-то непомерно тяжелыми, точно камни. Но что поделаешь?..

Напоследок Альберт сказал:

— Когда надо будет, вам сообщат. Пока!

Беднягу Аустриса в последнее время замучили кошмарные сны. Поэтому он изо всех сил боролся с одолевавшей его дремотой, лениво листал книгу, изредка прислушиваясь к бушевавшей за окном метели.

Вот уже четвертый день остров окутывает непроглядная снежная пелена. Она распростерлась над Ливсалою словно гигантский платок. Островитяне с ожесточением орудовали большими деревянными лопатами, проклиная снег, непогоду, а

с ними заодно и все на свете. А снег все сыпал и сыпал... Ветер, будто в насмешку, наметал самые большие сугробы у ворот. И не успеет островитянин разгрести один сугроб, как на его месте вскоре появляется другой. Только к полуночи утихла метель, и ливсалцы смогли немного отдохнуть.

Однако непогода Аустриса мало трогала. У него была теперь своя беда. Давила она будто тяжелый сугроб у ворот, мешала Аустрису спокойно спать, мучила страшными снами...

В трубе выл ветер. Аустрису казалось, что это воет сирена на ливсальной пожарной каланче. В окна уставилась снаружи непроглядная тьма, и ветер непрерывно стучал по стеклам. Да нет же, при чем тут ветер! Это и в самом деле кто-то настойчиво стучит в окно!

Аустрис протер слипавшиеся глаза, поднялся со стула и подошел к окну. Да разве разглядишь кого-нибудь в такой сумятице!

— Кто там? — крикнул Аустрис.

— Через полчаса... на «черной бирже»!.. — услышал он чей-то голос. Похоже, это Альберт!

Аустрис зябко пожегся. Вот оно, началось! А через несколько секунд его охватила такая дрожь, что даже зубы, как он их ни стискивал, выбивали дробь. Но делать нечего, надо идти.

Тихо, на цыпочках, чтобы не услышала мать, он вышел в переднюю, в темноте натянул сапоги, нащупал пальто и шапку...

На улице вновь свирепо ревела вьюга. Полуночная тьма окутала дрожащего Аустриса свежным покрывалом. В грудь ударил дьявольский ветер, не давая двинуться с места. Сухие, острые крупинки снега кололи лицо. Аустрис поднял воротник, сунул руки в карманы и, наклонив голову, тяжело зашагал по сугробам.

У обочины дороги показались руины старой школы, удивительно похожие на гигантский гроб, занесенный снегом. В окопный проем свешивался кусок полуоторванного голя, словно бесстыдно высунутый черный язык. А в школьном саду стояли закутанные в белые платки старушки-яблони. Они о чем-то шептались, горестно покачиваясь...

В эту ночь Аустрису всюду мерещились призраки.

...В угольном бункере на черном подоконнике снова коптила свеча. Таинственным и мрачным выглядел бункер в ее тусклом, призрачном свете.

Харий уже был там.

— Достал? — спросил Аустрис, едва переступив порог бункера.

— А чего тут особенного! — усмехнулся Харий. — Мать заснула, а ключи всегда висят в кухне на гвозде...

Аустрис тяжело вздохнул: надежда на то, что Харий не сможет достать ключи, рухнула. Да-а, не везет...

А вот пришел и Петерис. Не промолвив ни слова, он приклонился к подоконнику, злой, мрачный и невыспавшийся.

Аустрис чувствовал, как все сильнее и сильнее охватывает его волнение. К горлу подступила тошнота — наверно, от противного приторно-затхлого запаха угля.

— Послушай, Харий, — с трудом ворочая непослушными губами, вымолвил он, — а что, если кто-нибудь нас заметит? Что тогда будет, а?

— Да брось ты! — отмахнулся Харий. — В такую погоду сам черт носа на улицу не высунет. Ночка что надо!

И снова стало тихо в бункере. Аустрис поднял рукав пальто и взглянул на часы.

— Без пяти двенадцать. Что-то Альберт задерживается.

— Сдрейфил, наверно, — ухмыльнулся Харий.

Аустрис мгновенно повеселел: вот она, еще одна надежда!

— Тогда придется отложить это дело... — сказал он.

— Держи карман шире! — прошипел Харий. — Думаешь, я ключ всегда в кармане ношу? Или могу взять его в любое время? Нет уж, раз начали, надо до конца довести. Подождем еще минут пять. А если этот трус не придет, поднимемся вверх. В два часа мать заявится школу проверять. Значит, до ее ухода я должен быть в постели, понятно?

Альберт так и не пришел. Харий, скрипнув зубами и пробормотав что-то о трусливом зайчишке, решил действовать.

— Идите-ка поближе, орлы, — по обычаю, насмешливо сказал он, поманив пальцем Аустриса и Петериса. — В углу, за пальмой, спрятано одеяло. Сани — во дворе, за сараем. Пете-

рис, ты впереди пойдешь, а потом у дверей постоишь. А мы с Аустрисом — в канцелярию. Ну, все! Пошли!

В школе было непривычно пустынно и тихо. Малейший звук казался заговорщикам громом. Петерис прижался к двери на лестничной клетке и затаил дыхание. А мимо него проскользнули две крадущиеся тени и растворились в темноте коридора.

Тоскливо гудели телефонные провода, глухо шумели деревья. Раскачивались на столбах похожие на желтые груши тусклые фонари. Где-то в темноте громко скрипела полуотрванная от забора доска.

Настороженно прислушиваясь, Аустрис брел через сугробы. Позади него Харий и Петерис, проклиная непогоду, тащили санки, на которых лежало что-то завернутое в серое одеяло.

В воротах одного из дворов невозмутимо сидел черный пушистый кот. Он проводил ленивым взглядом странных путников. Зеленые глаза его сверкали в темноте точно сигнальные огоньки на корабле.

На берегу выюга бушевала еще сильнее. Аустрис то и дело смахивал снег с пальто. А тут еще ноги стали тяжелыми, будто их свинцом залили. Шутка ли, столько по сугробам протоптать! Не просто шагать, как Аустрис, а и санки за собой тащить.

Но вот за вербами показались дома. У Лиелаусисов одно окошко, выходящее во двор, еще светилося. Значит, и сам хозяин, Лиелаусис, бодрствовал.

Аустрис осторожно пробирался вдоль забора, опоясавшего яблоневый сад: а вдруг Каравс залает, что тогда делать? Но опасения его были напрасны: Готфрид Лиелаусис, как и всякий хороший хозяин, в такую непогоду собаку во дворе не оставлял.

За теплицей начинались луга. Здесь заговорщикам совсем плохо пришлось. Иногда они проваливались в снег чуть не по пояс, но упорно пробирались вперед. Шаг за шагом тащились они по белому бушующему простору. А по пятам за ними двигался страх.



Впереди выплыла вдруг груда засыпанных снегом камней — развалины старого маяка.

Аустрис и Харий подтащили санки, подняли, пыхтя, завернутый в одеяло тяжелый сверток и понесли его в подвал маяка. В темноте они развязали узлы, бережно поставили ношу в дальний угол и обложили это место кирпичом.

— Кому надо будет, тот найдет, — сплюнув, сказал Харий, свернул одеяло и сунул его под пальто.

Выйдя из подвала, он подошел к Петерису.

— Вы с Аустрисом идите вдоль канала, а я прямо пойду, мимо Лиелаусисов...

Когда уборщица, придя к двум часам в школу, принялась обходить помещения, все было как обычно, в полном порядке: двери кабинетов заперты, окна закрыты. Да и дома ключи ви-

сели, как всегда, на гвозде в кухне, а сыночек Харий так громко сопел на своей кушетке, что и в передней было слышно.

На улице по-прежнему бушевала метель и усердно замс-тала всякие следы...

6

Легкое ли это дело — открыть дверь учительской? — Кому придется извиняться? — Слухи. — Как жить дальше? — Мартынь снова становится мрачным. — От того, что случилось, никуда не убежишь! — Может, кто-то плакал здесь?..

Когда могло случиться это неслыханное происшествие? Да когда угодно, хотя бы и вчера. Во время каникул школа пустовала. Директор, гостивший у родственников, вернулся только сегодня утром. Земитис и уборщица Вийране лишь недоуменно пожимали плечами — они ничего подозрительного не заметили, ничего не знают.

— Ключи все время в кухне на гвозде висели! — повторяла взволнованная не на шутку Вийране. — Окна везде целы, двери тоже, ни одна не взломана. Как это случилось, ума не приложу...

— И все-таки, может, это ребята сотворили? — высказывали предположение некоторые учителя.

— Но подумайте сами: для чего нужна им пишущая машинка? — пожимал плечами директор.

— Чего они только не придумают! Такой уж это народ. Особенно если вдруг возникает у них какое-то тайное общество, — сказал Земитис, посмотрев при этом на Роне.

Серная Кислота тут же выпалила:

— Но ведь не через печную трубу проникли похитители в канцелярию! Значит, двери были открыты ключом, именно ключом!

— Вот-вот! — подхватил Земитис. — Может, потому и стоит с Харием поговорить?.. — Сказав это, он повернулся к директору.

— Нет, нет! — закричала Вийране. — Не виноват Харий!

Знаю я сыночка своего, не способен он на такое... — Она громко заплакала. — Что же это делается, люди добрые?..

— Зачем вы обижаете бедную женщину? — вскипятилась Роне. — Вийране работает в нашей школе вот уже десятый год, и за все это время ничего у нас не пропадало, никаких краж не было. Вы тут, товарищ Земитис, без году неделя, а позволяете себе обвинять честных людей!..

— А разве я обвиняю кого-нибудь? Я только предложил поговорить с Харием и...

— Ваши предложения, уважаемый коллега, очень уж однобоки! — перебила Земитиса Роне. — Если допустить, что в краже замешаны ребята, то, по-моему, надо искать... с другого конца, искать там, где для этого есть больше оснований. Есть у нас, знаете, такие ученики, у которых имеется определенный... э-э... опыт, которые пропускают уроки, бродяжничают, плохо учатся, избивают своих товарищей... Для такого, с позволения сказать, ученика ничего не стоит подобрать где-нибудь ключ и открыть двери учительской...

— Уж не Пупола ли вы имеете в виду? — спокойно спросил Земитис, хотя чувствовалось, что спокойствие это далось ему нелегко.

— А что в этом удивительного? — высокомерно сказала Роне. — От подростка, который уже имел дело с милицией, можно ожидать чего угодно. Вы вот мне скажите: почему это раньше, когда Пупол еще не учился у нас, в школе ничего не исчезало?

— Да-да, это, пожалуй, резонно, — заметил директор. — Но пока ничего не выяснено, о происшествии сообщать никуда не будем. Попробуем, товарищи, разобраться сами.

Земитис, угрюмый и злой, сидел за длинным столом и нервно вертел в руках карандаш...

Сегодня Мартынь пришел в школу в приподнятом настроении, жизнерадостный и бодрый. Еще бы! В каникулы он здорово походил на лыжах. В нем так и бурлила энергия — впору горы свернуть! И еще за время каникул он прочитал солидную стопку книг из библиотечки Земитиса.

— Мартынь! — воскликнул ворвавшийся в класс Аустрис. — Беги в учительскую — Серная Кислота вызывает!

«Серная Кислота? — удивился Мартынь. — Вот интересно! Чего ей надо? С учебой вроде бы все в порядке... Да и четверть только начинается...»

— Подожди в коридоре! — зло приказала Роне, когда он приоткрыл двери учительской.

Ждать пришлось довольно долго.

Из своей комнаты вышел Земитис. Подойдя к учительской, он как-то странно взглянул на Мартыня, но ничего не сказал. Наконец вышла и Роне.

Мартынь недоуменно пожал плечами. «Наверно, ей со мной пройтись захотелось», — усмехнулся он, но все же послушно последовал за Роне по коридору к кабинету химии.

Серная Кислота, сев за учительский стол, велела Мартыню стать напротив.

— Признавайся сейчас же: куда ты упрятал пишущую машинку?! — закричала она.

— Что? Пишущую машинку? — опешил Мартынь. — Какую еще машинку?

— Ту, которую ты выкрал из канцелярии!

— Я? Из канцелярии?! Машинку?!

— Не притворяйся! — снова завизжала Роне. — Мы все знаем!

Возможно, Серная Кислота и в самом деле что-то такое знала, но Мартынь, подавленный всем услышанным, понял только, что кто-то украл школьную пишущую машинку и что Серная Кислота подозревает его. От обиды и злости у Мартыня даже перехватило дыхание.

— Мы знаем...

— А я не знаю! Не знаю ничего, понятно вам! — перебил учительницу Мартынь. Сейчас он был похож на затравленного зверька.

— Не ври! — кричала Роне. — Никто не мог взять ее, кроме тебя! Вор! Воришка с красным галстуком!

— Сами вы врете! — взорвался Мартынь. — А галстук не смейте задевать!

Оскорбленный до глубины души, Мартынь выскочил в ко-

ридор. Слезы обиды застилали его глаза. Бежать, бежать из этой треклятой школы, бежать от этой страшной Серной Кислоты, от Земитиса, от ребят, от всех!.. Мартынь вытер глаза и помчался по коридору к выходу. Но у самой двери чья-то сильная рука ухватила его за шиворот.

— Куда?

Мартынь обернулся: ну конечно, это он, вездесущий Зе-митис!

Мартынь пытался вырваться изо всех сил.

— Опомнись, Мартынь! Что с тобой? Что случилось?

Но Мартынь лишь бессвязно выкрикивал:

— Я вор! Я вор!..

Ни о чем не спрашивая, Земитис схватил его в охапку и толкнул в свою комнату.

— Ты, видно, решил со мной силами помериться? Вот что, Мартынь: успокойся и расскажи, что случилось. Слышишь?

Мартынь низко опустил голову. Он судорожно всхлипывал, и от этого вздрагивали его худые плечи. И вдруг он вскочил со стула и бросился к двери.

— Я вор! Я, я украл пишущую машинку!..

Земитис успел схватить его за руку:

— Чего ты глупости болтаешь? Говори толком: что тебе известно о пишущей машинке?

— Спро... спросите лучше у Серной Кислоты!

— У Роне, что ли? Значит, она узнала все-таки...

— Узнала? Ничего она не знает! Она говорит, будто я украл пишущую машинку!

— Вот оно что! — процедил сквозь зубы Земитис и выбежал в коридор. Мартынь услышал, как щелкнул ключ...

Директор школы пригласил в свой кабинет Роне и Зе-митиса.

— Такие действия недопустимы! — возмущался Зе-митис. — Пока мы ничего не знаем, пока ничего абсолютно не выяснено, какое мы имеем право взваливать на плечи ученика, пионера такое тяжкое обвинение? Безобразие!

— Как же! — язвительно усмехнулась Роне. — Я, видите

ли, не имею права подозревать Пупола в краже! Зато этот отъявленный хулиган, этот ваш Мартынь, имеет право кричать на меня, оскорблять, называть лгуньей... Нет, я этого так не оставлю, я...

— Подождите! — досадливо махнул рукой директор. — Вы, Роне, поступили непродуманно, опрометчиво, вы вели себя невыдержанно, если не сказать более... Ваше тяжкое обвинение не имеет пока должного основания. У вас нет ни одного факта, который говорил бы против Пупола, ни единой улики! Нам придется поговорить обо всем этом на педсовете, и крепко поговорить!

Роне покраснела.

— Я готова ответить за свои слова, — резко сказала она и вышла из кабинета, хлопнув дверью.

Вся школа уже знала о случившемся. За несколько минут новая волнующая весть разнеслась по всем коридорам и этажам, будто неожиданный порыв ветра. По углам ребята шептались о случившемся. И только Мартынь был охвачен холодным равнодушием ко всему, странным и непонятным. Все, все утратило для него интерес, даже путешествия. Голову его сверлила одна неотвязная мысль: его считают вором! Он вор! Вор! Вся школа смотрит на него с подозрением, враждебно. Как, как доказать, что он не виноват, что он не имеет к этой машинке никакого отношения?

А Марута развила бурную деятельность. То она шептала что-то на ухо Юмору, то горячо доказывала что-то Аустрису, схватив его за рукав, то о чем-то долго говорила с Лигитой...

К полудню по школе поползли слухи, что машинку похитил совсем не Мартынь, как думает вредная Серная Кислота, а «ливсалские волки». Взволнованным шепотом ребята рассказывали друг другу о том, что Фредис Лиелаусис рассылает пионерам полные угроз письма. И все они отпечатаны на машинке! Откуда она у него, интересно?..

А Марута, прислушиваясь к этим разговорам, довольно усмехалась. Не зря она постаралась — хоть на время с плеч Мартыня было снято тяжкое обвинение.

Возвращаясь домой, она увидела Мартыня. Марута догнала его.

— Слыхал? — спросила она, улыбнувшись доверительно и радостно. — Теперь все говорят, что это вовсе и не ты... Во всем виноваты «волки».

— Ну чего привязалась со своими «волками»! — грубо крикнул Мартынь и побежал вперед, а растерянная, обиженная Марута долго смотрела ему вслед.

Кто-то громко, нарушив вечернюю тишину, зашаркал ногами в передней.

«Наверно, дед пришел», — решил Мартынь, вскочил с койки и включил свет.

Кого-кого, но Земитиса он никак не ожидал увидеть!

Учитель вошел в комнату и без приглашения уселся на табуретке. Некоторое время он пристально смотрел на смущенного Мартыня.

— Может, ты снова решил... уехать? — спросил наконец Земитис. — Конечно, убежать куда глаза глядят легче легкого, тут большого ума не требуется, — продолжал он. И вдруг сказал: — А сегодня вечером опять тренировка была. И знаешь что? На правом краю нечем было тебя заменить.

— Ерунда, — махнул рукой Мартынь, — кого-нибудь натренируете!

— Это ты прав, незаменимых людей нет. По-моему, ты, Мартынь, здорово обиделся... на всех. В общем-то, возвели на тебя, конечно, напраслину. Но и ты должен понять: пропало-то не что-нибудь, а школьная пишущая машинка. И знай: пионеры в тебе не сомневаются, они в тебя верят. Смотри, Мартынь, не горячись! Со временем все выяснится. А насчет того, чтобы бежать, выбрось из головы!

— Да я никуда и не собираюсь бежать, — невесело усмехнулся Мартынь. — Завтра в школу явлюсь, как всегда. И не такой уж я обидчивый...

Дедушка вернулся поздно. Был он оживленным и веселым, как никогда. Побывав в гостях у бывших соседей по дому в предместье, дед словно помолодел лет на десять.

«До чего же здорово, когда есть у человека настоящие друзья!» — подумал Мартынь, натянул на голову одеяло, вернулся к стене и быстро уснул.

На следующее утро Мартынь с упрямо сжатыми губами вошел в класс и сел за свою парту. За весь день он ни разу не взглянул ни направо, ни налево. И на переменах не выходил из класса, а только усердно листал учебники.

Он, конечно, не знал, что утром состоялось заседание педсовета. Рассматривался вопрос о неприятном случае, о столкновении, которое произошло между учительницей Эмилией Роне и учеником шестого класса Мартынем Пуполом. Некоторые учителя высказали на педсовете предположение, что Роне умышленно обвинила Пупола в воровстве. Не хотела ли она этим очернить пионерскую организацию? Ее слова «Воришка с красным галстуком!» были далеко не случайными.

В общем, Роне ничего не оставалось, как признать свою «ошибку». Она уже не требовала, чтобы «ученик Пупол» извинился.

И все же по школе и по всему острову вновь пополз упорный слух, что пишущую машинку похитили все-таки пионеры.

С каждым днем Мартынь становился все мрачнее и мрачнее.

На переменах пионеры из шестого раздумывали о том, как бы это развеселить Мартыня, отвлечь его, заставить забыть нелепое, необоснованное обвинение, которое взвалила на него Серная Кислота. Ребята хотели доказать Мартыню, что верят ему, что по-прежнему считают его своим другом. Но, как это часто бывает, именно сейчас, когда надо было придумать что-то очень важное, очень серьезное, подходящие идеи не шли на ум.

...На углу «экватора» Мартынь неожиданно встретил Алиса.

— Здорово, Мартынь! — обрадовался Алис. — Видал — я снова на ногах!

— Молодец! А когда тебя из больницы выписали?

— Вчера вечером...

Алис шел рядом с Мартынем и мучительно пытался вспомнить те хорошие слова, которые он собирался сказать Мартыню, а теперь вдруг забыл.

— Мартынь, ты не горюй,— сказал он наконец.— Я ведь теперь дома! Я помогу... помогу тебе все выяснить...

— Ты? — Мартынь невесело усмехнулся.— Ты можешь?

— А что? Думаешь, если я маленький, то ничего не смогу? Я знаешь какой увертливый — как угорь! Я все места, все уголки на острове обойду и обшарю, пока не найду эту проклятую машинку! Честное слово!..

— Эх, Алис... — тихонько сказал Мартынь и резко отвернулся: к горлу его подступил комок, глаза вдруг подозрительно заблестели.— Ну ладно, спасибо, друг, а теперь беги домой.

— Мартынь!

— Ну что?

— Спасибо... спасибо тебе!

— За что?

— Ну, за то... за все! Знаешь, лежал в больнице и все придумывал... придумывал для тебя самые хорошие слова. А тут,— и Алис смущенно развел руками,— все позабыл, кроме «спасибо», ничего сказать не мог. Я... я даже стишок сочинил для тебя. Как-нибудь после прочту, ладно?

Видно, Алис хотел высказать все, что накопилось в его душе за долгие дни болезни. А Мартынь, повернувшись к Алису спиной, прижался головой к стволу старой вербы. Так он и стоял, слушая Алиса, и плечи его при этом странно вздрагивали, будто он смеялся.

Алис так, наверно, и подумал.

— А ты почему смеешься? — обиженно спросил он.

Мартынь не отвечал. Он склонил голову еще ниже, словно стыдился чего-то. И вдруг бросился бежать. Он бежал вдоль канала, к дому. Алис оторопело смотрел то на убежавшего Мартыня, то на вербу: по стволу медленно катилась капля. Наверно, льдинка растаяла от дыхания Мартыня. А может, это и не льдинка, может, Мартынь вовсе не смеялся?..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Половодье. — Исторический морской бой. — Тревожная ночь

Тому, кто не был в эту зиму на Ливсале, могло бы показаться, будто ее и не было совсем.

А ведь недавно еще бушевали над островом метели и ливсалцы, чертыхаясь, разгребали сугробы. Теперь же весь день весело сияет солнце, и с крыш скатываются большие, сверкающие жемчужины-капли.

Ранняя, дружная весна превратила остров в жидкую кашу: улицы и улочки Ливсалы размякли и разбухли — ну чисто ржаное тесто! Снег почти всюду растаял, и по всему берегу Большого канала тоже. Лишь кое-где сохранились почерневшие сугробы, похожие на холмики, нарытые кротами. Под уже тонким льдом Аттеки бурлили беспокойные вешние воды, ветер был насыщен горьковато-терпким запахом хвои — дул он со стороны предместья, за которым раскинулись сосновые леса.

Непонятное стало твориться с дедом Мартыня. Старик без всякой надобности то и дело брал свои новые резиновые сапоги, смотрел на них подолгу и снова ставил на место. Он часами возился в передней, громыхал крышкой старенького моряцкого сундучка и напевал при этом потихоньку что-то о порогах на Даугаве. В углу кухни лежали в беспорядке проржавевшие крюки и наконечники багров.

«Во где барахолка-то!» — подумал Мартынь, удивленный странными хлопотами деда.

Чудным стал старик. В тот день, когда на Аттеке тропулс лед, он пришел домой задумчиво-грустный, долго сидел у окна, глядя на взъерошенную вербу. А на другое утро дед засуетился: без конца перебирал инструменты, тяжело вздыхал и ворчал что-то себе под нос. Со стороны могло показаться, что дед собирается в далекий путь. Словом, здорово взволновал старого плотогона весенний паводок. Вот так же, наверно, бывают взволнованы и перелетные птицы перед дальним и трудным путем.

Скоро, очень скоро спадет половодье и на реках появятся первые плоты, крепко пахнувшие смолой. Подобно взмыленным коням, запрыгают на порогах реки и речушки, будут громко и весело переключаться плотогонь, и все вокруг зашумит по-весеннему.

Задумчиво и немножко грустно наблюдал дед за ледоходом на Аттеке. С утра неподвижно стоял он у края причала, похожий на высеченный из грубого серого камня памятник. Их воздвигают обычно в честь погибших мореплавателей.

Но к чему вести речь о погибших? Старый Пупол еще жив! Он только накрепко пришвартован теперь к берегу, как старенький, отслуживший свой век буксир.

Аттека бурлила, точно огромный котел кипящей воды, с которого только что сняли столь же огромную голубоватую ледяную крышку. По реке плыли большущие льдины, с грохотом сталкиваясь друг с другом. Неслись перемолотые жерновом весеннего паводка исковерканные лодки, разбитые ящики, поломанные бочки, скользкие бревна, напоминавшие стволы пушек. А на одной из льдин величаво покачивался снесенный бурным паводком сарайчик.

Весеннее половодье отрезало Ливсалу от города. Вода поднялась высоко, до самого берега, но, ко всеобщему удивлению, каким-то чудом удерживалась в русле. Если несколько минут не отрывать глаз от текущей воды, начинало казаться, будто весь остров вместе с рекой неудержимо мчится к морю.

С утра до вечера бегали озабоченные островитяне вдоль причала. И взрослые и мальчишки длинными баграми вылавливали пловыпшие мимо бревна, доски, какие-то полуобгорелые поленья, намокшие, тяжелые. Ливсальские жители энергично запасались дровами на всю следующую зиму.

После обеда из школы прибежали ребята, и сразу же берег Аттеки наполнился звонкими голосами. Мальчишки сновали по набережной, тащили скользкие доски, жерди, поленья. Юлий успел натаскать целый штабель дров. А Петерис Дундур безуспешно возился с одним бревном, намокшим и потому тяжелым. Едва только несчастный Петерис успевал втащить кончик бревна на берег, как оно тут же соскальзывало назад, в воду.

Ливсалцы спешили подобрать дары дружного весеннего паводка.

...Океанские воды густы, коричневаты и холодны, как остывший кофе, вспененный невиданной силой. Плывут и исчезают в голубой дали белые глыбы айсбергов — скал из голубого льда.

На ленивой океанской волне покачивается ледяной плот. Широко расставив ноги, обутые в добротные резиновые сапоги, стоит на льдине одинокий отважный мореход. Тянется к небу длинный багор, точно корабельная мачта, которую безуспешно пытается свалить упругий, напористый ветер.

В неоглядном океанском просторе ни единой живой души, ни одного суденышка, только смельчак на своем сверкающем ледяном плоту. Один в океане! Давно скрылся в сероватой дымке родной берег, и теперь вокруг безбрежная водяная пустыня да свинцовое апрельское небо над ней. Ледяной плот неуклонно, настойчиво движется к северу.

И где-то далеко, за многие сотни миль, тонущих в тумане, на маленьком обитаемом острове люди раскрывают утренние газеты с сенсационным сообщением. Через всю первую полосу огромными буквами напечатано: «На плоту к Северному полюсу!» А ниже текст:

«Вечером 13 апреля 1948 года, никем не замеченный, от ливсалского причала отправился в океанские просторы ледяной плот, на котором отважный мореплаватель, тринадцатилетний ученик шестого класса Мартынь Пупол, намерен в одиночку пересечь два океана и сквозь поля дрейфующего льда пробиться к Северному полюсу. Этот небывалый, невиданный доселе героический рейс отважный путешественник посвящает своей родной ливсалской школе».

В коридорах, в классах ребята вырывают друг у друга из рук газету, в их глазах сияет восторг, гордость за своего отважного товарища и друга.

Ну, а что если все это — и газета с кричащим заголовком, и школьные товарищи, — что, если все это и впрямь исчезнет в туманной дали? Исчезнет и никогда больше не вернется? Ну и пусть! Пускай себе исчезает! Отважному мореплавателю совсем не жаль расстаться с берегом! Чего уж там жалеть о каком-то ничтожном островке, где похищают пишущие машинки,

а на честного человека взваливают напраслину, выставляют преступником!

А там, в чудесной, таинственной голубой дали, не будет ни противного острова, ни этой окаянной пишущей машинки, ни дневника с неприятной записью... Перед путешественником откроется прекрасное, солнечное будущее: настанет день и в родной порт вернется овеянный славой отважный мореплаватель. Он, конечно, зайдет и в школу. В учительской он этак небрежно бросит на стол пушистую шкуру белого медведя или... нет, лучше он поставит на тот же стол сверкающий ледяной кристалл, привезенный с Северного полюса...



— Эй ты, каторжник! — прогремело вдруг в пустынных океанских просторах.

И сразу все исчезло: нет ни вспененной океанской дали, ни грозных айсбергов, ни свинцово-серого неба... Совсем недалеко от ледяного пласта с отважным мореходом теснятся на берегу Аттеки домишки Ливсалы, а по набережной деловито снуют заготовители дров.

Ливсалские мальчишки, облюбовав льдины, попрыгали на них. Навигация открылась! Один за другим ледовые корабли отправлялись в поход и медленно вдоль берега плыли вниз по реке до больших камней, которые, столпившись здесь, сопротивлялись паводку.

— Слышишь, ты, пират! — снова прозвучал грубый окрик. — Убирайся со своим корытом подальше!

Это кричал Фредис Лиелаусис. Он стоял рядом с Альбертом Талритом на большой льдине и грозил багром Мартыню.



— Сматывайся побыстрее, не то на дно пустим! — добавил и Альберт, придав своей круглой физиономии грозное выражение.

Корабль их неуклонно приближался к плоту Мартыня.

Мартынь пошире расставил ноги на гладкой льдине и весь напряжился, готовый принять бой.

Столкновение было неизбежным. В противниках бушевала воинственная злость. Да и кроме того, этот бой разворачивался на глазах чуть ли не всех ливсалцев.

Пути к отступлению отрезаны как для Мартыня, так и для его врагов. В общем, деваться некуда, надо драться.

— Во психи-то! Эй, вы, утонете!.. — кричали с берега.

Но было уже поздно. Огромный корабль Лиелаусиса с силой врезался в плот Мартыня. В воздухе мелькнули багры Мартыня и Фредиса, точно пики. Третий, багор Талрита, грохнул по льдине Мартыня и расколол ее пополам. Мартынь, как был, с багром в руках, плюхнулся в студеную воду. От сильного толчка Фредис потерял равновесие и растянулся на льдине, а на него грузно навалился Альберт. Льдина завертелась на месте и вдруг стремительно поплыла вниз по течению. А там, где Мартынь свалился в воду, плавал сейчас только его багор.

На берегу свидетели сражения не сразу сообразили, что предпринять. К счастью, здесь оказался Юлий. Он быстро сбросил пальто и шапку, вырвал из рук Петериса Дундура багор, вскочил на проплывавшую мимо льдину и направил ее к тому месту, где упал Мартынь.

Юлий осторожно поддел его багром и потянул к себе. По

поднять Мартыня на льдину он опасался — она бы не выдержала такой тяжести.

Только у больших камней, куда перебралось несколько мужчин, общими усилиями удалось вытащить Мартыня.

А перепуганные насмерть «волки», которые с трудом подплыли к набережной, исподтишка наблюдали за всем происходящим. Они хоть и перетрусили, но были довольны — исторический морской бой они все-таки выиграли!

— Каторжник-то теперь крещеный! Может, поумнеет немного, — пробормотал Альберт.

...На ливсальской пожарной каланче выла сирена, будто кто-то гигантским ножом вспарывал темноту ночи. Островитяне вскакивали в тревоге с постелей, метались по комнатам, вторых упаковывали вещи, лихорадочно вязали узлы с одеждой. Некоторые втаскивали на второй этаж или на чердаки мебель, матрасы. Повсюду в эту тревожную ночь слышались торопливые шаги и взволнованные возгласы. А на улицах поминутно нарастал странный шум, всплески, бульканье, будто из огромной бутылки выливали шипучку. Сирена умолкла, и вместо нее протяжно завывала собака.

Разбуженные сиреной ливсальцы знали, что произошло: Аттека вышла из берегов!..

Жуткая, непроглядная тьма окутала улицы. Ни единой живой души, будто повымерло все. Неясные серые тени, подобно призракам, скользили по Ливсале. Остров был залит весенним паводком, сметавшим на своем пути все непрочное, временное.

На углу «экватора» под напором воды рухнул забор. Лдины твердыми лбами бодали стены домов, таранили ограды и заборы...

Медленно, словно нехотя, занимался рассвет. Над островом стелился туман, тяжелый, как намокший брезент. В садах, до половины покрытые водой, стояли беспомощные яблони. Ветви их напоминали поднятые с мольбой руки. По берегу Большого канала плыла собачья будка. Пробирались вдоль заборов и стен домов лодки с островитянами. У многих в руках были багры. Жители в это утро вылезли на крыши, облепив их словно воробы.

Сверху вся Ливсала была теперь, наверно, похожа на большое озеро, на котором островками торчали крыши домов.

По меньшей мере на неделю ливсалцы стали пленниками весеннего половодья. Те, что остались по другую сторону Аттеки, не могли попасть домой, а островитяне, которым надо было ехать в предместье, вынуждены были отсиживаться на Ливсале.

— Эх, как бы сейчас пригодился мост! — прошептал Юрис Земитис, наблюдая из окна своей комнаты за буйством паводка.

2

Аустрис в тупике. — Происшествие на Большом канале. — В подвале старого маяка. — Земитис начинает действовать

Мутно-коричневый поток залил двор старой полуразрушенной школы. Вода снесла трухлявый забор и, обогнув серую стену вырытого в земле погреба, устремилась к соседнему дому. Льдины толпились вокруг здания, колотили в запертую дверь, стучали в закрытые ставни, словно непрошенные гости, которые настойчиво требуют, чтобы их впустили. У порога дома дергалась под напором воды лодка. Она очень напоминала рвущуюся на цепи собаку.

Сумерки постепенно окутывали остров, и небо над ним все более суровело, становилось все более грозным. От шумевшего в школьном дворе озерца так и веяло холодом.

Всю ночь Аустрис Бумбиерис простоял у окна, наблюдая, как бурлят воды разлившейся Аттеки. Тишина заползла во все уголки и закоулки чердака, заваленного поломанными стульями, запыленными сундуками, бочками, ящиками, клубками веревок. От потрескавшейся черной дымовой трубы несло противным запахом сажки и копотки. Сбоку маячило маленькое, затянутое паутиной окошко.

Аустрис был дома один. Мать уехала в предместье — она работала в ночной смене, — и теперь пройдет не меньше недели, пока не спадет вода и мать сможет вернуться домой.

Половодье Аустриса не пугало, он уже привык — такое слу-

чалось на острове почти каждую весну. Его беспокоило, угнетало совсем другое, из-за чего он всю ночь не сомкнул глаз и что было в сто, в тысячу раз страшнее наводнения. Здесь, на чердаке, под закопченной балкой, он спрятал пачку листовок. А от них надо было во что бы то ни стало избавиться именно в эту ночь! Да что там в ночь — немедленно, сейчас же! Но близилося утро, а белые листочки, отпечатанные на пишущей машинке, так и оставались лежать под балкой, куда их спрятал вчера дрожавший от страха Аустрис. Харий с Петерисом, должно быть, уже сделали свое дело, выполнили задание «волков». Альберт приказал воспользоваться подходящим моментом, когда вышедшие из берегов воды Аттеки заставили людей отсиживаться дома. Улицы сейчас пустынные и тихи — лучшего момента и не придумаешь. Утром, когда ливсалцы покинут свои жилища, чтобы воочию убедиться в том, насколько свирепо расправилась с островом разбушевавшаяся Аттека, дельце будет завершено. В щелях дверей, в почтовых ящиках и просто на порогах домов ливсалцы обнаружат листовки.

Аустрис сделал отчаянную попытку отказаться от опасного поручения, но Альберт, как и тогда, снова напомнил о чулке, не забыв добавить и о пишущей машинке. И тогда Аустрис понял, что деваться ему некуда. С каждым днем он все больше и больше запутывался в сетях этого страшного Талрита. Никаких путей к спасению он не видел. А ведь все началось с этого проклятого чулка. Надо же было польститься на этакую дрянь! Только из-за чулка Аустрис вынужден был участвовать в похищении пишущей машинки. А теперь его заставляют подкидывать листовки! Чем дальше, тем все хуже и хуже. Аустрис даже застонал от безысходности и бессилия. Когда же, когда будет конец?

Аустрис провел мучительную ночь, раздумывая над тем, как найти выход из тупика. Одно было ясно: листовки распространять он не станет! Пусть «волки» делают с ним что хотят...

Ну, а что же дальше? Ведь Харий и Петерис все равно раскидают листовки по острову и без него, Аустриса. А если их поймут, тогда конец и Аустрису. От «волков» так просто не отделаешься. Если Альберт узнает, что Аустрис обманул его, он тут же сообщит кому надо и о чулке, и о машинке. Ну и

пусть! Пусть сообщает! Все равно Аустрис теперь знает, что ему надо делать: он увезет листовки подальше от Ливсалы и выбросит их в воду. Они намокнут и пойдут ко дну на веки вечные! Пусть потом рыбы кормятся этими злобными, грязными словами о Советском государстве, о какой-то «разрушающей силе красной бури...».

Альберту он скажет, что сделал все, как тот наказывал. Интересно, как смогут «волки» доказать, что Аустрис не выполнил приказа? Попробуй-ка теперь установи, какие листовки разбрасывал Харий, какие Петерис, а какие он, Аустрис!

Да, так и надо сделать! И как можно быстрее! Медлить нельзя ни минуты: за чердачным окошком становится все светлее. Скоро на улицах острова, превращенного паводком в Венецию, появятся лодки. Ливсалцы отправятся на охоту за бревнами, досками, ящиками.

Аустрис выхватил из-под балки пачку листовок и бросился вниз по крутой чердачной лестнице.

А через минуту он уже сидел в лодке и, яростно орудуя веслами, гнал ее через двор старой школы к «экватору».

...По-прежнему не утихала, бурлила Аттека. Вокруг огромных серых камней, которые лежали в устье Большого канала, пенилась вода. Казалось, будто тонущие великаны высунули из-под воды свои седые головы. Мимо камней величаво проплывали льдины.

В Большом канале, который огибал Камышовый островок, а потом снова соединялся с Аттекой, течение было более спокойным. Редкие льдины отдыхали здесь после далекого пути, медленно покачивались близ зарослей камыша, удивляясь необычной тишине, царившей здесь. Плыли по каналу бревна, поленья, сломанные весла и остатки разбитых лодок скользили неторопливо по течению и скапливались на резком изгибе канала за Камышовым островком.

Это богатейшее место показал Мартыню Юлий. Он и лодку свою дал, правда, маленькую и изрядно потрепанную. Большая металлическая лодка нужна была самому Юлию.

Добравшись до излучины канала, Мартынь без промедления приступил к работе. Дедовым багром он вылавливал поленья, доски, жерди и укладывал их в лодочку. Но много ли уло-

жишь в этот спичечный коробок? Скоро лодчонка была наполнена до краев. Мартынь вытер со лба пот и присел отдохнуть.

Над предместьем и над Ливсалою занимался новый день. Предрассветные сумерки скрылись в камышовых зарослях. Со стороны острова четко прозвучал в утренней тишине скрип весел. Где-то неподалеку хлопнула дверь и послышалось ауканье. «Совсем как плотогоны кричат», — подумал Мартынь. Видно, ливсалцы опять отправлялись за дровами.

Мартынь следил, как льдины лениво движутся по течению. И тут что-то непонятное, что-то похожее на клочья пены показалось на воде. Да нет, никакая это не пена! Мартынь вскочил на ноги — по каналу плыли небольшие белые листочки. Один листок ему удалось выловить. И тут Мартынь все понял. Он с омерзением швырнул бумажку в воду, а потом долго тер ладони о брюки. Да, точно такую же листовку сегодня утром дед обнаружил в двери. «Дорогие ливсалцы! Берегите свои жилища от красной бури, которая несется над островом, разрушая созданный нашими дедами и отцами порядок жизни, отнимает политую нашим потом землю...» — вот что было напечатано в листовке. Дед не стал читать дальше, а, плюнув, сказал: «Ишь ты — «нашим потом»! Говорили бы уж прямо — политые потом Кривобокого Августа и Юлия поля Лиелаусиса. Он, наверно, сам и напечатал эту гадость».

...Листовки плыли по каналу. Откуда же они взялись здесь? Они даже не успели намочнуть? А может, кто-то за излучиной бросает их в воду?

Мартынь быстро взялся за весла и осторожно направил лодку к Камышовому островку, за излучину. На островке никого не оказалось. И листовок не было. Мартынь в недоумении вертел головой во все стороны, точно флюгер на крыше дома Талритов, и теперь только заметил лодку, скрытую в прошлогоднем тростнике. В лодке вроде бы никого не было. Лишь с левого борта свисало весло. Подгоняемый любопытством, Мартынь подъехал поближе и, не удержавшись, ахнул: в лодке, уткнувшись лицом в днище, лежал паренек, рядом с ним валялось несколько листовок. Мартынь подогнал лодку почти вплотную и наклонился, чтобы разглядеть незнакомца. Но тут же выпрямился, пораженный.

— Аустрис! — закричал он. — Так это ты, гад, листовки по острову разбрасываешь?!

С этими словами он прыгнул в лодку Бумбиериса и схватил его двумя руками за воротник куртки.

Передуганный до смерти, белый как мел, Аустрис ошалело смотрел на Мартыня.

— Значит, ты сунул эту дрянь в мою дверь? — Мартынь показал на листовки. — И еще смеешь носить красный галстук, фашист проклятый!

Мартынь собрал листовки и положил в карман.

— Ты, гадина, за все заплатишь!..

Аустрис плюхнулся на скамейку и разрыдался. Рыдал он с таким отчаянием, что злость, охватившая Мартыня, стала, к его удивлению, затихать.

— Ну, чего воешь? — сказал он презрительно. — Что заслужил, то и получишь. Это от тебя не уйдет. И нечего выть...

— Я... меня... — судорожно всхлипывая, промолвил наконец Аустрис, — м-меня заставили...

— Брось врать-то! Не выкрутишься! Как это можно заставить такую подлость сделать? Да ты знаешь, что это такое? Это... это... преступление, вот что!..

— Они... они... угрожали мне...

— Кто это «они»?

— «Волки».

— Ага, понятно! Значит, вот с кем ты путаешься!..

— Я не мог... я не мог иначе... Альберт пригрозил, что все расскажет...

— Что он расскажет? Ну, говори!

Аустрис, не отвечая, испуганно уставился на Мартыня. От страха и еще от стыда у него словно отнялся язык.

— Ну, будешь ты говорить или нет? — грозно спросил Мартынь. — Что там собирался Альберт рассказать?

— Что... что я помогал выкрасть пишущую машинку...

— И это ты сделал? Ох и дрянь же ты, Аустрис! Подлый ты человек! А еще пионер!

— Но я... но я не один... Я... вместе с Харием и Дунду-ром... — Аустрис, видно, решил, что запираться нет смысла. И потом, он вдруг почувствовал робкую, правда, надежду, что



Мартынь как-то поможет ему.— Нас Альберт купил. Достал где-то альбомы с марками, и каждому — по альбому...

— Эх ты, шкура продажная!

— Но листовки я не разносил! Правда, не разносил! Я их в канал выбросил, утопить хотел...

— Тебя самого надо было бы утопить! — перебил его Мартынь.— А кто по острову листовки разбрасывал?

— Харий и Пе... Петерис...

— А ты почему не сообщил никому об этом?

Аустрис вновь разревелис:

— Что же мне теперь делать, Мартынь?..

— Раньше надо было думать! — отрезал Мартынь. Больше всего на свете он терпеть не мог слез, хотя однажды, не так давно, и сам не удержался. — Ладно, кончай хныкать! Вот что ты сделаешь: возьмешь листовки, отнесешь их Земитису и все ему расскажешь...

— Земитису?! — Аустрис подскочил на скамейке как ужаленный.

— Другого выхода у тебя нет, — сказал Мартынь. Но тут ему в голову пришла еще одна удачная мысль, и поэтому он поспешно добавил: — А еще лучше, если ты и пишущую машинку принесешь. Где вы ее спрятали?

— В подвале старого маяка.

— Сегодня же вечером туда пойдем. А завтра потащишь ее в школу, Земитису. Больше нельзя ни одного дня тянуть. Надо прижать «волкам» хвосты. Гляди-ка, Петерис Дундур и Аустрис Бумбиерис!.. Оба пионеры, а какую кашу заварили! Врагам на руку!..

— «Волки» уговорили Дундура нарочно вступить в пионеры, для отвода глаз... Чтобы на пионеров подозрение пало... Я знаю...

— «Я знаю, я знаю»! — со злостью передразнил Мартынь. — Ни черта ты не знаешь! Ладно, вечером приходи ко мне. Пойдем к маяку. И попробуй только обмануть, не прийти — доказательства вот они, у меня в кармане!

— Я не обману, Мартынь, что ты! Честное пионерское... то есть честное слово, не обману! Ты только помоги мне, ладно?

— Эх ты, слизняк! До утра чтобы язык за зубами держал, понятно?

— Понятно, Мартынь, — промолвил Аустрис и, прерывисто вздохнув, взялся за весла.

Лодка Мартыня шла впереди, Аустрис держался поблизости. Оба суденышка двигались назад, к острову, упорно преодолевая течение. Гудел неугомонный паводок, шумел угрюмо и зло. Но может, это вовсе и не паводок злится, а Мартынь? Он прав, конечно, есть за что: одни подлые листовки чего стоят! Эти мысли сверлили голову Аустриса, а руки послушно орудовали веслами, которые стали вдруг тяжелыми, словно намокшие бревна...

Аустрис сдержал слово. Как только затопленные улочки острова погрузились во тьму, он подогнал лодку к домику Мартыня. Через несколько минут они поплыли к полуразрушенному, старому маяку.

— Эх, удалось бы нам только в подвал пробраться! — сказал Мартынь. — Уж больно высоко вода поднялась...

— Маяк-то ведь на бугре стоит, — робко произнес Аустрис. — Не может быть, чтобы подвал залило. Только надо плыть медленней. Как бы нас в водоворот не затянуло — тогда пропали... Мартынь, а вдруг сейчас кто-нибудь из них... из «волков», сидит в подвале и печатает? — спросил он неожиданно.

— Ну и что! Будем действовать поосторожнее, вот и все!

Вокруг царила непроглядная тьма. Мартыню казалось, что они с Аустрисом плывут в огромной, наполненной водой яме, если бы не огоньки в окнах.

Ливсальские домишки остались позади. Лодка тихо скользила по затопленному лугу Лиелаусиса. Впереди что-то клокотало глухо, точно водопад.

— Даугава шумит, — еле слышно проговорил Аустрис. — Теперь надо правее держать, иначе течение подхватит — не выберешься.

С каждой минутой шум усиливался. Уже был слышен плеск бушующей воды и треск льдин, которые Даугава перемалывала своими водяными жерновами.

Тьма стала вдруг совсем непроглядной. Аустрис вытянул шею.

— Это развалины маяка, — прошептал он. — Мартынь, еще правее держи, к этой стороне холма. И поосторожней...

Зашуршало под днищем, и лодка ткнулась в груды битого кирпича и известки. Мартынь и Аустрис затаив дыхание направились к подвалу. Шли они осторожно, словно опытные разведчики. Бугор, на котором стоял маяк, напоминал сейчас крохотный островок. Вокруг него кипела и клокотала река. Аустрис зябко поежился. Им с Мартынем повезло: ошибись они чуть-чуть, и их лодку подхватило бы неудержимое течение. А там ее размолотили бы ледовые жернова.

Пробираясь через руины маяка, который напоминал ливсальцам о пронесшейся и здесь военной грозе, Мартынь и Ауст-

рис подошли наконец к входу в подвал. Он казался им темной, таинственной пещерой, в любом уголке которой может таиться неведомая, страшная опасность. Мартынь сунул голову внутрь и прислушался. В подвале было тихо.

И все-таки очень уж страшно спускаться в подвал, откуда веет холодом и сыростью и где так темно. А что, если там кто-то есть? Притаился и только и ждет, когда кто-нибудь спустится туда? А потом набросится неожиданно и...

Нет, осторожность, что ни говорите, вещь хорошая! Она никогда не помешает. Мартынь схватил на всякий случай болтающийся камень, поманил Аустриса, и они снова сели в лодку. В случае внезапной опасности они сумеют быстро отчалить... Хм, выходит, надо будет возвращаться ни с чем? Какой же толк отсиживаться? Мартынь решительно выбрался из лодки, подошел к входу в подвал, размахнулся и бросил туда камень. С минуту он ждал, затаившись у входа. Ждал и Аустрис, с веслом в руках. Однако ничего не случилось — в подвале по-прежнему было тихо.

Тогда Мартынь подозвал Аустриса, вытащил из кармана свечу, зажег ее, и они осторожно спустились по разбитым ступенькам в подвал. В помещении с низким потолком царил хаос. Пол был завален битым кирпичом, щебнем, цементными плитами.

— Мы ее там спрятали, — показал Аустрис дрожащей рукой на две цементные плиты, прислоненные к углу подвала.

Оба ринулись туда, отбросили плиты и принялись расшвыривать груды кирпичей. Мартынь даже пошарил в углу руками, но пищащей машинки не было.

— Ну, где машинка? — спросил он Аустриса. — Ведь это не иголка! Куда она девалась?

— Все понятно, — сказал Аустрис, опустив голову. — Фредис, наверно, ее к себе унес. Теперь все — машинку нам не вернуть...

— Ну тогда одно остается: завтра утром пойдешь к Земитису, листовки ему отдашь и все расскажешь. Ясно?

Аустрис кивнул головой и тяжело вздохнул. Да, придется идти к Земитису, другого выхода нет. Скрывать все и дальше теперь невозможно, Мартынь молчать не будет, и уговорить его

не удастся. Значит, завтра решится его, Аустриса, судьба... Он снова вздохнул — будь что будет, должен ведь когда-нибудь наступить конец...

Весь обратный путь Мартынь молчал, огорченный неудачей. Он-то надеялся, что ему с Аустрисом удастся вернуть школе пишущую машинку.

Ряд пустых парт напоминал вырубленную в лесу просеку. Отсутствовала почти треть класса. Половодье на Ливсале считалось вполне уважительной причиной, чтобы не явиться в школу, конечно, главным образом для тех, кто хотел оправдать этим свою лень. У одного не было лодки, другому родители не разрешили плыть к школе — не дай бог, еще беда случится, — а третий просто решил, что половодье только для того и придумано, чтобы можно было хоть несколько деньков посвятить более важным делам: заготовке дров, упорядочению коллекции марок или чтению книг про шпионов.

Когда Мартынь утром вошел в класс, он удивился тому, как мало сегодня ребят. Вон у парты Петерис Дундур стоит, Лигита копается в своей сумке, Аустрис сидит за партой, уставившись в одну точку...

Мартынь поднял крышку парты и подскочил точно ужаленный: он увидел целую пачку листовок, точно таких же, какие были у Аустриса! Мартынь сначала даже на Лигиту посмотрел с подозрением: не она ли подложила? Но тут же подумал: «Да разве Лигита на такое пойдет? Опять «волки»! Хотят втянуть и меня в эту грязную историю!»

Мартынь схватил листовки и помчался к Земитису. Без стука ворвался в комнату и выложил на стол перед учителем всю пачку.

— Вот они! Почитайте!..

Земитис поглядел удивленно на Мартыня, пожал плечами, взял одну листовку и тоже рывком поднялся со стула.

— Где ты их взял?

— Напечатал, — ухмыльнулся Мартынь.

— Ты?

— А кто же еще? Ведь машинка-то пишущая у меня! Я ее украл...

— Не паясничай! — рассердился Земитис. — Пора бы уже прекратить в оскорбленного играть. Дело серьезное, очень серьезное. Еще раз тебя спрашиваю: где ты их взял?

— Я сейчас пришлю к вам одного ученика. Он все знает и все расскажет!.. — И Мартынь выскочил из комнаты.

Аустрис только что заверил Альберта, что сделал все, как надо, комар носу не подточит. В общем, сверхсекретное задание выполнено. Но тут Мартынь незаметно подал ему знак, и Аустрис вышел в коридор.

— Ну как, принес листовки? — спросил Мартынь.

— Принес, — ответил Аустрис и похлопал по карману.

— Тогда шагай побыстрей к Земитису и все ему расскажи. Только не вздумай скрыть что-нибудь!

В глазах Аустриса вновь мелькнул испуг. Он умоляюще посмотрел на Мартыня.

— Я... я, Мартынь, не могу... Честное слово, не могу!..

— Ну это ты брось! Творить грязные делишки мог, а признаться смелости не хватает! Ну-ка пошли!

С этими словами Мартынь схватил Аустриса за рукав и чуть ли не силой потащил к Земитису. Толкнув дверь, он впихнул Бумбиериса в комнату.

— Не дури! — в отчаянии прошептал Аустрис.

Весь урок, на котором Серная Кислота рассказывала о Великобритании и Северной Ирландии, Аустрис провел в комнате Земитиса. А когда прозвенел звонок, учитель вызвал к себе и Мартыня.

...Вечером, едва только школа опустела, Земитис отпер дверь учительской, взял телефонную трубку и позвонил в город...

3

Блопмор. — Мартынь размышляет об Аустрисе

В старой ливсальской школе в годы войны размещалась фашистская воинская часть. Поспешно отступая под ударами Красной Армии, гитлеровцы бросали технику, склады, боеприпасы. В старой школе они оставили какие-то фанерные ящики.

Аустрис Бумбиерис тогда же из любопытства вскрыл один. В нем аккуратными рядками лежали белые пакетики с надписью по-немецки. Аустрис, поминутно оглядываясь, рассовал по карманам десятка два таинственных пакетиков и теперь, вспомнив вдруг о них, притащил несколько штук в школу.

— Ребята,— зашептал он на большой перемене, собрав почти всех мальчишек из своего класса.— Во чего я раздобыл! — И он показал белый пакетик с немецкой надписью.— Фашисты оставили!.. Наверно, динамит!

— Новое оружие — «Фау-3»! — рассмеялся Петерис Дундур.— Ну теперь держись, Ливсала! Аустрис непременно весь остров взорвет!

— Не дури! Разорался на всю школу!..

Ребята принялись изучать пакетик и рассматривать надпись на нем. Но никто не смог перевести ее.

— Дай-ка сюда! — неожиданно сказал тоном, не допускающим возражений, Фредис Лиелаусис, протиснувшись к Аустрису. В годы оккупации он приносил газеты немецким солдатам и немного знал язык.

Прочитав надпись на пакетике, Фредис ухмыльнулся.

— «Клопомор» — вот что здесь написано,— сказал он.— Тоже мне динамит!..

Лицо Аустриса вытянулось как банан: вот тебе и удивил товарищей!

— Ребята! — воскликнул Мартынь.— А вдруг этот клоп... этот порошок разноцветным огнем гореть будет? У кого спички есть?

Харий вытащил из кармана коробок. Мартынь, не колеблясь, поджег пакетик и бросил его в печку, сиротливо стоявшую в углу класса, после того как в школе провели центральное отопление.

— Сумасшедший!..— вскричала Марута. От испуга у нее перехватило дыхание. Потом она спросила взволнованно: — А что, если это и правда динамит?

— Тогда мы все взлетим к ангелам, Земитис даже костей наших не соберет,— мрачно сострил Юмор.

Прозвенел звонок. Все уселись за парты, но вряд ли кто думал об уроке. Глаза ребят были прикованы к печке: взорвет-

ся или нет? К великой радости Маруты, никакого взрыва пока не было.

Альберт Талрит — он сидел в первом ряду, ближе всех к печке — начал вдруг вертеться и громко шмыгать носом.

— Черт возьми, чем это воняет? — не выдержал он. — Хоть из класса беги!

Его сосед по парте, Харий, зажал пальцами нос и стал как-то чудно мычать. А вскоре и все, кто был в классе, принялись усердно шмыгать носами и морщиться.

Ужасающе противный, сладковатый угар полз по партам.

— Ой! — завопила Аэлита. — Меня... меня тошнит!

В класс вошла Серная Кислота. А ребята фыркали, сопели, отплеывались и стонали; преувеличенно громко чихали девочки.

— Чем это пахнет? — гневно спросила Роне.

— Аммиаком воняет, не иначе, юмор и сатира! — поднялся с парты Петерис Дундур.

Учительница быстро подошла к шкафу с наглядными пособиями, рывком распахнула дверцы, заглянула внутрь, потом подбежала к корзинке для бумаг, наклонилась, разглядывая содержимое, и опрометью выбежала из класса. А невыносимый запах горящего клопомора покинул между тем пределы шестого класса и с непостижимой быстротой стал заполнять всю школу, проник на верхние этажи, в коридоры, кабинеты и даже в учительскую. Ребята зажимали пальцами носы, с диким визгом и воплями выскакивали из-за парт, бросались к окнам, выбегали из классов. Школа стала похожа на растревоженный пчелиный улей.

Директор, придерживая у носа платок, вошел в учительскую. Поминутно морщась, он распорядился отпустить учащихся домой. Задержан был лишь шестой класс. Роне, не без оснований, предположила, что именно они, «подопечные» Земитиса, — виновники сегодняшнего переполоха.

Вывравшись на свежий воздух, ливсальские мальчишки и девочки возликовали: совсем неожиданно они обрели свободный денек. А шестой класс, вконец измученный клопо-

мором, был выстроен в коридоре и ожидал основательной взбучки.

— Кто это сделал? Кто, я вас спрашиваю? — негодовала Роне. Урок ее был сорван.— До тех пор, пока вы не назовете виновника этого... этого безобразия, вы домой не уйдете!..

— Ребята,— вмешался Земитис,— если один из вас сотворил подобную гадость, надо иметь мужество признаться...

— Это я, я виноват,— выступил вперед Аустрис.— Я бросил в печку пакетик с клопомором, а он... а он вдруг развожжился...

Кто-то хихикнул, другие заулыбались, и все облегченно вздохнули — конец мучениям, сейчас всех отпустят на свежий воздух! И еще ребята были довольны, что держались стойко и никого не выдали. Аустрис сам признался.

— Аустрис не виноват! — крикнул вдруг Мартынь.— Это я поджег пакетик!

— Так кто же все-таки виноват? — Земитис смотрел то на одного, то на другого.

— Это я натворил,— настаивал Мартынь.

— Хорошо, все могут идти домой, а Мартынь останется и проветрит помещения. И чтобы запаха не было ни в одном классе...

Паводок быстро шел на убыль, вернулась в свои берега Аттека. Апрельский вечер был непривычно тих. Горьковатое дыхание ранней весны дурманило, словно хмель. На Ливсалу опускались голубоватые вечерние сумерки. Под ногами звонко хрустели редкие льдинки, а шероховатый песок напоминал поджаристую хлебную корку. Завтра днем, согретая солнечными лучами, она начнет слегка дымиться, будто извлеченная из печи буханка. К ливсалским причалам накрепко пришвартовалась весна.

С портфелем под мышкой Мартынь возвращался домой из школы по безлюдной улочке. Он шел и думал об Аустрисе, который так благородно пытался взвалить на себя вину за несчастный клопомор. Интересно, почему он так поступил? Может быть, потому, что, кроме Земитиса, Мартынь никому ни слова не сказал о тяжких проступках Бумбиериса?..

По правде говоря, Мартыню было немного жаль Аустриса. Они никогда не дружили, но все-таки были одноклассниками — это ведь тоже что-нибудь да значит! К тому же оба носили красные галстуки, хотя, конечно, Аустрис заслуживает того, чтобы галстук у него отобрали. Наверно, так оно и будет, когда все выяснится до конца. Одного только не мог понять и простить Мартынь: какую нужно иметь совесть, чтобы продаться за несчастные почтовые марки! И если бы Мартынь случайно не наткнулся на Аустриса у Камышового островка, неизвестно, что бы он еще натворил! Да, Аустрис, конечно, трус! А вот сегодня не испугался, не струсил, как мог, выручал Мартыня. Помочь, правда, он ничем не мог. Что сделано, то сделано... Земитис снова запретил Мартыню посещать тренировки по баскетболу. Очень обидно, что матч, к которому ребята из шестого готовились весь год, совсем близок. И надо же было подвернуться этому проклятому клопомору!

4

На жестяном паруснике — красный флаг! — Праздничная демонстрация. — Сегодня — день чудес!

Давненько не видели жители острова такой ранней, такой дружной, такой солнечной весны! Вовсю гомонили скворцы; ветер притаился где-то за Даугавой, боясь потревожить торжественную тишину яркого, солнечного утра. Земля и небо сияли словно вымытые. У заборов кое-где уже зеленели островки молоденькой, нежной травы.

С самого раннего утра по другую сторону Аттеки гремела музыка, звучали песни — в город вошел праздник...

Вместе с перелетными птицами вернулся к родному причалу и «Вилнис» — трудолюбивый белый катерок. Он тоже с утра начал перевозить через Аттеку тех, кто хотел принять участие в большой праздничной демонстрации.

Над ливсальскими домишками развевались красные флаги. Лиелаусис вывесил флаг в ночь перед праздником, чтобы никто не посмел упрекнуть его в нелояльности. Он, как и все, выполняет свой гражданский долг...

Над входом в школу висел лозунг: «Да здравствует Первое мая!» Остров тоже готовился к празднику.

Ранние прохожие, которые в это утро спешили к причалу, чтобы попасть в город на демонстрацию, обратили внимание на картину, необычную для Ливсалы. Вдоль берега Аттеки и по «экватору» расхаживали пионеры в белоснежных рубашках с красными галстуками. Ребята заглядывали во дворы, в подъезды домов, будто искали что-то. Это действовали пионерские патрули. Они в этот день наблюдали за порядком на острове.

Неизвестно, как это получилось — умышленно или нет, — но Земитис подключил к Мартыню Маруту. И вот теперь они важно шагали по «экватору». Оба были предельно внимательны, но особенно Марута. Она-то первой и заметила небольшое нарушение общественного порядка.

— Погляди-ка, Мартынь, Талриты флага не вывесили!

И в самом деле: один из лучших домов на Ливсале забыл подготовиться к празднику.

— Эх, был бы у меня сейчас флаг!.. Я бы уж знал, что делать! — сказал Мартынь и безнадежно махнул рукой.

— Флаг? — переспросила Марута. — Мартынь, я достану флаг, честное слово! У нас дома есть, правда старенький, но это ничего. Отец недавно новый купил. Я принесу, ладно?

— Во молодец! — обрадовался Мартынь. — Давай беги! Устроим Альберту праздничек! — У Мартыня от удовольствия даже глаза заблестели.

Не прошло и десяти минут, как Марута, задыхаясь, примчалась с флагом.

— Ты подожди у ворот, — сказал Мартынь, — а я сейчас все быстренько сделаю...

— Почему это «подожди»? — возразила Марута. — Я с тобой пойду!

Отделаться от Маруты было невозможно. Просто времени на это не было. Вместе они юркнули во двор — Каравса, к счастью, там не оказалось — и осторожно открыли дверь на лестничную площадку.

— Кажется, по этой лестнице на чердак можно выбраться, — шепнул Мартынь. — Я прошлой осенью был тут, на «капитанский мостик» поднимался. А Талриты, видать, еще спят.

На верхней площадке узкая металлическая лестница упиралась в чердачный люк. Мартынь и Марута забрались по ней на чердак, а с чердака — на крышу.

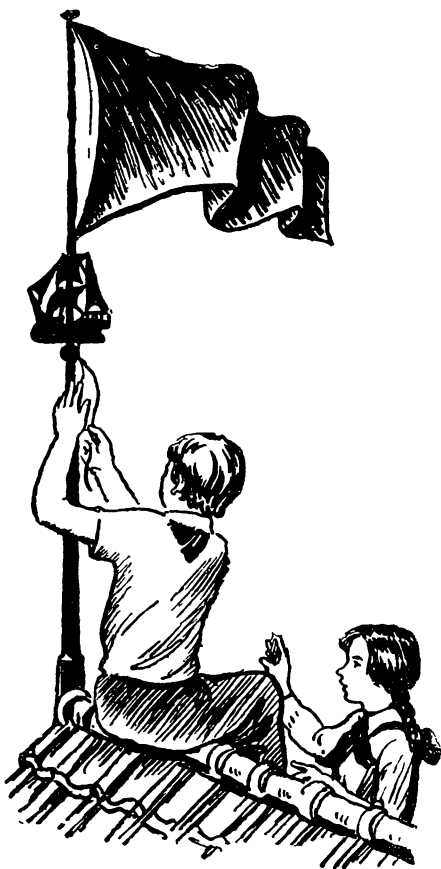
Дом Талритов стоял на самом высоком месте острова. Поэтому с крыши открывался широчайший простор. Отсюда были видны все дома Ливсалы, школа, голубое кольцо воды. А на горизонте вырисовывались городские здания, соборы, заводские трубы, порталы — серые гиганты. Со стороны моря медленно двигался к порту огромный, сверкающий белизной теплоход. На противоположной стороне Аттеки, за крышами домов предместья, вздымались к небу стройные сосны. Через реку медленно перебирался трудяга «Вилнис». По улицам острова спешили куда-то вечно озабоченные ливсалцы.

— Интересно смотреть отсюда, правда, Мартынь? — восторженно прошептала Марута.

И только тут Мартынь вспомнил о флаге. К флагштоку добраться было не так-то просто. Надо подняться по стенке балкона к остроконечной башенке. Для Мартыня это не составило особого труда, но Марута не смогла влезть на башенку.

— Давай флаг! — скомандовал Мартынь, усевшись на коньке башенки. Он привязал полотнище к шнуру флагштока, потом с минуту разглядывал знаменитый жестяной парусник-флюгер.

Медленно, сантиметр за сантиметром, поднимался красный



флаг над парусником. Порыв ветра подхватил полотнище, и красное знамя запыхало, как костер.

— Ур-ра! — закричала Марута, забыв про осторожность.

Вниз они спустились быстро и без помех. Уже на улице, отбежав немного от дома, остановились и посмотрели вверх.

— Гляди, гляди, поплыл «Альбатрос» Альберта! — воскликнул Мартынь.

И действительно, казалось, будто жестяной парусник с красным флагом на мачте гордо плывет по голубому океану.

Альберта Талрита душили злоба и страх. По «экватору» прогуливались празднично одетые ливсалцы, а он мчался сломя голову.

Пока он спал, кто-то нахально забрался на крышу и привязал красный флаг! Вон он развевается!..

Альберт бежал к Лиелаусисам, чтобы рассказать об этом. Иначе, что подумают Фредис и его родители о нем, Альберте, сыне капитана дальнего плавания и судовладельца! Что подумают Петерис Дундур, Аустрис?..

Возле дома Лиелаусисов Альберт остановился как вкопанный: нет, глаза его не обманывают — и над крышей Лиелаусисов развевается красный флаг! Ну, тогда все в порядке! И к Фредису идти не надо...

Альберт заметил в саду самого Готфрида Лиелаусиса. В грязной, поношенной одежде он окапывал кусты красной смородины. А неподалеку от Лиелаусисов сапожник Дундур, с ног до головы заляпанный известью, усердно обмазывал комли яблонь.

Альберт успокоился и повернул к дому. Еще издали он увидел мать. Она с великим усердием красила забор, а сама все поглядывала на крышу дома, где реял на ветру чудом появившийся там красный флаг.

Возле школы неожиданно запел звонкий пионерский горн. Прохожие с любопытством глядели в ту сторону, откуда неслись звуки горна. А горн звучал все громче, все ближе. Вот рассыпалась барабанная дробь, и на «экватор» вышел пионерский отряд — зрелище, доселе не виданное на острове. Пионеры,

в колонне по два, гордо шагали за своим знаменосцем. Из-за газетного киоска за ними наблюдал Фредис Лиелаусис.

Веселые звуки горна, видно, резали слух соседки Талритов, злобной и ворчливой старухи Скалиене. Швырнув метлу, она бросилась во двор и оттуда наблюдала за пионерами.

— Ох, господи, что ж это делается? — ворчала она. — Андрис-то Стийпинь на чертовой трубе дудит! На весь остров гремит, дьявол! Ну прямо конец света... А тут еще Бумбиерисов сынок, Аустрис, на этом... на барабане громыкает. Схватить бы чертенят да ремешком по мягкому месту! И девчонка Марута с ними. Идут как солдаты, в рубашки белые вырядились, галстуки красные понацепили... Спаси и помилуй, господи! И сапожников сынок Петерис там же! Погоди он у меня! Скажу вот отцу, он ему покажет! Тьфу, нечистая сила! Ведет-то их этот учитель сумасшедший!..

Тем временем отряд прошагал по «экватору» до конца Большого канала и вошел в просторный парк. Здесь в честь Первого мая проводился сегодня праздник детворы.

Так уж случилось, что Мартынь весь этот веселый и шумный день провел с Марутой. Вместе они патрулировали утром, вместе водрузили флаг на доме Талритов, шагали рядом в праздничной пионерской колонне, и в парке все время были вместе, и в тире, и на качелях. И — странное дело! — ни разу у Мартыня не возникла мысль о том, что скажут Юмор, Аустрис и другие ребята. Мартынь и не думал об этом, он только украдкой поглядывал на Маруту, будто впервые видел ее.

Марута давно рассталась со своей модной прической. За зиму отросли ее косы, и сегодня они прилично вели себя: не торчали в разные стороны, а спокойно лежали на спине, словно золотистые колосья пшеницы. А голубые глаза Маруты были точно такими же, как майское небо над Ливсалою. Щеки ее горели сегодня ярче обычного — Марута раскраснелась от веселой беготни по парку. Красный галстук на белой блузке сполз куда-то вбок, но это даже шло Маруте. Никак нельзя было представить ее спокойной и чинной, как Лигита...

И вот что удивительно: оказывается, с Марутой можно было говорить обо всем, ну как с Юмором, скажем, или с тем же Аустрисом. Она знала наперечет все лучшие места рыбалки на

Аттеке, она могла легко отличить хоккейную клюшку от палки, знала толк в баскетболе, она умела плавать и даже лазать по деревьям! Да чего уж греха таить — Мартыню нравилась Марута. Очень нравилась!

День пролетел незаметно. Вечер безбилетником проник в парк. Кроны деревьев окутались синеватыми тенями, а от земли сильнее повеяло пьянящим ароматом весны. Опустел тир, замерли качели, ребята один за другим покидали парк и исчезали в темных ливсальских улочках. Лишь украшенные разноцветными флажками аттракционы напоминали о закончившемся веселом празднике пионеров Ливсалы. А по другую сторону ограды уже нетерпеливо прохаживались парни и девушки с острова и из предместья. Они ждали начала первого весеннего бала.

Мартыню стало грустно. Жаль было расставаться с таким чудесным, веселым днем!

5

Штурман без диплома. — Это случилось в теплице. — Не спится Кривобокому Августу. — Два Готфрида Лиелаусиса!

В классном журнале против фамилии Мартыня появилось два прочерка. Размышляя о том, почему Пупол пропустил два дня, Земитис прохаживался по причалу. Он ждал «Вилниса», чтобы перебраться через Аттеку.

А буксирчик, густо дымя, уже направлялся к берегу. Земитис разглядел двух моряков, стоявших у штурвала.

— Стоп! Назад! — громко прозвучал в штурманской рубке высокий голос.

Вспенивая воду, «Вилнис» слегка подался назад и мягко прижался к краю причала. Тотчас же открылась дверь рубки, оттуда выскочил низкорослый штурвальный и ловко прыгнул на набережную. Следом за ним на берег степенно сошел капитан буксира.

— Я смотрю, вы нашли отличного штурвального, — сказал Земитис капитану. Учитель был спокоен и ничем не выказал

своего удивления.— А как у него с дипломом? Насколько мне известно, школу он бросил...

— Да что вы? — в свою очередь, удивился капитан.— Вот жучок! А меня уверял, что учебный год уже закончен.

— Я только два дня пропустил! — пролепетал Мартынь (штурвальным оказался именно он).— Я... догоню ребят. И табель будет хорошим, честное пионерское!

— Нет, штурман без диплома, так дело не пойдет,— сказал капитан, похлопав Мартыня по плечу.— Даже для того, чтобы пересечь Аттеку, нужны знания. Давай с тобой так договоримся: я предоставляю тебе учебный отпуск. А закончатся занятия, ты покажешь мне свой табель... то есть диплом. А без этого я не смогу тебе доверить штурвал. Ну как, договорились?

Мартыню ничего другого не оставалось, как кивнуть головой в знак согласия.

На пути к дому он встретил Алиса.

— Мартынь, ты не унывай! — шепнул тот заговорщически.— Я все время ищу. Вот увидишь, скоро найду машинку!

Алис тут же умчался с видом чрезвычайно занятого человека.

Он не обманывал Мартыня — облазил вдоль и поперек всю Ливсалу, заглядывал во все, по его мнению, укромные и подозрительные места, но ничего не нашел. Он много раз бывал и в подвале разрушенного маяка, проверил здание старой школы, обследовал каждый закуток на конюшне Лиелаусиса и в сарае. И чем больше не везло ему, тем упорнее, тем настойчивее продолжал он поиски пишущей машинки. Алис был уверен, что она спрятана здесь, на острове, только здесь! Его уверенность возросла, когда он узнал о листовках, отпечатанных на машинке и разбросанных по всему острову. Алис после этого стал твердить себе, что машинка должна быть у Лиелаусисов, только у них, и нигде больше. В этом он был почему-то уверен. Конюшню и сарай он уже излазил, остаются теплица и дом, где живет семья Лиелаусиса.

Вот поэтому Алис и уверил Мартыня, что скоро найдет машинку. Проникнуть в дом к Лиелаусису будет, конечно, не легко, даже очень трудно, но Алис придумает что-нибудь. А сегодня на очереди теплица...

Вот она вырисовывается в темноте — приземистая, длинная. Чернеют кресты рам, блестят стекла, отполированные лунным светом... Во дворе тишина. Только лохматый пес Каравс позвякивает цепью где-то у конюшни, давая знать, что он не спит, что он ревностно стережет имущество своего хозяина. А может, Каравс до сих пор виляет хвостом, узнав Алиса, когда тот прошмыгнул мимо и бросился в кусты красной смородины? Они тянулись до самой теплицы. С Каравсом Алис был знаком хорошо. Он не раз приходил к Лиелаусисам с отцом и частенько играл с собакой, подкармливал ее. Поэтому Каравс и не стал лаять, узнав своего друга.

К великой радости Алиса, дверь теплицы оказалась незапертой. Мальчик тихонько вошел внутрь. Сильно пахло сырой землей и перегноем. Алис зажег заранее припасенную свечу. Здесь, в довольно длинном коридоре, окон не было, а стекла теплицы далеко. Значит, свет со двора никто не увидит, бояться нечего.

При тусклом свете Алис разглядел печку, рядом с ней — кучку дров, разбросанные возле топки ящики, а в углу напротив — целую гору чернозема, от которого несло теплом.

На одном из ящиков Алис укрепил свечу, потом тщательно осмотрел все помещение. Дольше всего пришлось ему провозиться в том углу, где валялись осколки битых горшков. Не под ними ли упрятана машинка?..

И вдруг дверь теплицы резко распахнулась. Алис не успел даже испугаться по-настоящему, как кто-то грубо схватил его за шиворот.

— Ага, попался, ворюга! Попался, грабитель!

Свеча погасла, когда раскрылась дверь. Но Алис все же успел заметить горбатый нос Лиелаусиса и его спутанные черные волосы.

— Я не вор... я... не крал ничего... — с трудом промолвил Алис.

Лиелаусис перестал трясти его, но по-прежнему крепко держал за шиворот.

— А зачем ты забрался в теплицу? Что ты искал тут? Отвечай!

— Я думал... мне показалось... Ой, не трясите! Я скажу!.. Я все расскажу! Я искал... я искал пишущую машинку!

Эти слова привели в бешенство и без того злобного Лиелаусиса.

— Какую пишущую машинку! — заорал он. — Что ты знаешь о пишущей машинке?

— Ничего не знаю!

— Говори, мерзавец.

Кривые, узловатые пальцы Лиелаусиса сжимали горло Алиса.

— Я думал... — прохрипел он, — я... решил, что машинка... в теплице...

Лиелаусис наотмашь ударил Алиса в лицо, потом с силой швырнул о стенку.

Алис громко застонал. Он провел рукой по лицу — рука была в крови. Кровь сочилась из носа, из разбитых губ. Озверевший Лиелаусис принялся дубасить мальчика, приговаривая:

— Вот тебе машинка, гаденыш! Вот тебе теплица!

— Не бейте... — уже не кричал, а шептал Алис. — Не бейте!

Странная теплота, непонятная истома вдруг охватила его. Он уже не чувствовал боли...

Задрав лохматую голову, во дворе неистово лаял Каравс.

— Я не вор! Я не вор!.. Не бейте меня! Не бейте! Отпустите!.. Не унывай, не унывай, Мартынь! Видишь, вот они, следы... Ой, жарко! Пить... пить хочу!..

— Сыночек, мальчик мой!

— Хозяин!.. Хозяин!..

— Что он с тобой сделал, сынок! На ребенка руку поднял, зверюга!

— Я найду, я найду ее!.. Теперь я знаю где... Пить...

Лампа скудно освещала облупившиеся стены кухни. За открытой дверью, в другой комнате, громко тикали старые часы. Присев на край кровати, Кривобокий Август гладил голову сына.

— Сынок, сыночек...

Щеки Алиса лихорадочно пылали. Лицо, в синяках и кровоподтеках, распухло, белая рубашка была вся в пятнах крови.

Мать положила на лоб сыну мокрое полотенце. Прислонившись к дверному косяку, смотрел на братишку Юлий, угрюмый, бледный, со стиснутыми зубами. И только малыши спокойно спали в своих кроватках.

Было около часу ночи, когда Алиса привел домой незнакомый мужчина. Он нашел мальчика у ивняка на берегу реки, страшно избитого, окровавленного, уже терявшего сознание. С трудом незнакомец дознался, где живет мальчуган, и привел, точнее, принес его домой.

Растерянные и перепуганные Август и его жена, конечно, забыли расспросить незнакомого человека, кто он и откуда.

От Алиса ничего не могли добиться. Он бессвязно шептал что-то о теплице Лиелаусиса, о пишущей машинке и о Мартыне, который не виноват.

Плачущая мать осторожно раздела Алиса, обмыла его и уложила в постель. Мальчуган начал метаться и бредить. Можно было понять только, что его жестоко избил Лиелаусис.

Мать и отец не отходили от постели сына. Через час он немного успокоился, но дышал учащенно, с хрипом. Кривобокий Август прилег отдохнуть. Лежа на спине с открытыми глазами, он прислушивался к дыханию Алиса, а мысли одна тяжелее другой сверлили его голову.

Да, этот учитель, как его... Земитис, кажется, во всем был прав. Что для Лиелаусиса батрацкий мальчонка? Так, собака, которую можно пнуть ногой или отдубасить до полусмерти. А он сам, Август, был послушнее пса Каравса. С раннего утра и до позднего вечера гнул спину на хозяина. Луга, картофельное поле, сарай... Тащил в гору хозяйство Лиелаусиса верный его слуга Кривобокий Август. А что получал за свои труды? Рядом мечется в бреду его Алис, его сынок... Вот она, хозяйская благодарность! А сам-то он, Август, тоже хорош... Как распоследний дурак верил каждому слову хозяина, послушно исполнял все его распоряжения. Только из-за него, из-за Лиелаусиса, он, Август, прошлой зимой избил Алиса. Испугался, старый дурень, что хозяин рассердится и выгонит своего батрака, своего раба, если узнает, что Алис стал пионером...

Кривобокий Август резко повернулся в кровати, продолжая размышлять о том, что бередило теперь его сердце.

Да, избил он зимой мальчонку. Но это ведь не от злости. Изуродованное плечо мучает... Так мучает, будто на него взвалили тяжелое бревно. Впору заорать в полный голос. От уродства не избавишься, его не скроешь. Вот и тащи его Август по белу свету, как нищий свою торбу! И терпи, когда на тебя смотрят с сочувствием, с состраданием...

Может, он сам все это напридумал, может, оно все и не так?.. Но когда Август видел крепких, здоровых мужчин, тащивших бревна, коловших дрова или гнавших плоты по Аттеке, ему становилось невыносимо тяжело, так тяжело, что хоть беги и топись. Потому, видать, и звереет человек. Такие страдания переполняют чашу терпения и выливаются неудержимой, слепой злобой. Сам тогда не соображаешь, что делаешь... А после каждого такого приступа ярости самому хочется наложить на себя руки.

Когда прошлой зимой Алиса увезли в больницу, никто не видел и не знал, сколько раз Кривобокий Август, сдерживая слезы, топтался у дверей палаты, не решаясь войти к сыну. Разве знал кто, что творилось в душе Августа? А сейчас? Сейчас кривое плечо ни при чем! Сейчас Августа тоже душила ярость, но ярость другого сорта. Так и хотелось вскочить с постели, ворваться к треклятому Готфриду Лиелаусису и вцепиться зубами в его глотку!

Этот бандит, убийца, видно, не зря злобствует. Ходит чернее тучи, беснуется из-за каждого пустяка. Хозяйка целыми днями из комнаты не выходит, сидит у окна, будто болезнью прикованная. На кухне — гора немытой посуды, у Готфрида рукав пиджака по шву распоролся, двор замусорен... Каравса хозяева на цепи все время держат, а его, Августа, домой отпускают еще до сумерек.

И не случайно Алис про теплицу твердил в бреду. Август тоже заметил, что по утрам сырой песок возле двери в теплицу утопан так, будто ночью тут черти танцевали. А как-то утром Август на поленище, возле теплицы, увидел мятую серую кепку. Такой кепки не было ни у хозяина, ни у его сына.

Неладное творится в доме Готфрида. А батрак его глух и

нем как могила: оберегает, видишь ли, хозяйские тайны. Ну нет, шалишь — Кривобокий Август может и заговорить! Он хоть и кривой, но язык у него, слава богу, есть! Пойдет куда надо и расскажет все как есть. Пусть пощупают как следует Готфрида Лиелаусиса, поднявшего руку на ребенка...

— Пить!.. Пить!.. Не душите, не душите меня! — вновь захрипел, заметался Алис в своей постели.

Прибежала мать. А Кривобокий Август вдруг рывком вскочил с кровати, торопливо оделся и шагнул к порогу. Он теперь был пострашнее, чем тогда, когда Алис вступил в пионеры.

— Ты куда собрался, Август? — тихо спросила жена.

— К Лиелаусису!

Август никак не думал, что встретит хозяина во дворе в такой поздний час. И хотя луна скрылась в облаках, было достаточно светло, чтобы разглядеть человека, шагавшего к теплице.

Август догнал Лиелаусиса. Тот резко повернулся на звук шагов.

— Пстой-ка, хозяин, — глухо сказал батрак. — Поговорить надо.

Кривобокий Август не мог не заметить, как вздрогнул Лиелаусис, увидев своего работника. Он даже голову втянул в поднятый воротник пиджака.

— Ну, чего тебе в эту пору понадобилось? — спросил Лиелаусис.

— Чего понадобилось? Рассчитаться пришел! За все рассчитаться!

И Август схватил Лиелаусиса за отвороты пиджака.

— Пусти, дурак! — злобно прошипел Лиелаусис. — Нечего мне рассчитываться с тобой! Я тебе ничего не должен. Пусти же, подонок!

Хозяин попытался вырваться из цепких рук, державших его.

— Не должен, говоришь? Нет, ты заплатишь, за все заплатишь! — выдохнул в лицо Лиелаусису Кривобокий Август. — За мальчонку избитого, за пот мой, за мозоли мои, за жизнь исковерканную...

— Убирайся прочь, ублюдок! — завопил Лиелаусис.

— Уберусь, хозяин, уберусь, вот только пристукну тебя — и уберусь. На это у меня сил хватит. А потом пойду и расскажу о серой кепке, о следах возле теплицы, о норе змеиной!..

— Вот ты как заговорил, кривая скотина! Ну погоди же...

Август почувствовал, как что-то твердое уперлось ему в живот. Он отпустил Лиелаусиса и неловко отскочил в сторону. На него смотрело черное дуло пистолета.

«Оружие носит, бандюга!» — подумал Кривобокий Август. Пистолет его не пугал. Он яростно рванул на себе одежду и закричал:

— Стреляй, стреляй, бандит! Но не думай, что тебе долго придется...

И вдруг пистолет выпал из рук Лиелаусиса — рядом, словно из-под земли, появились двое незнакомых мужчин.

— Руки вверх! — крикнул один из них.

Во дворе бесновался на цепи Каравс. А через сад к месту происшествия спешили еще двое.

— Идите к дому и прикажите открыть! — прозвучала команда.

— Слушаюсь, товарищ капитан!

Капитан был чем-то явно недоволен. Да и как быть довольным, если он и его люди трое суток томились за садом в ивняке на берегу, ожидая «гостей», которые должны были посетить Лиелаусиса. Не могло же быть, чтобы Лиелаусис один «работал» в теплице, без какой бы то ни было помощи извне. Капитан и его помощники видели и Алиса, который поздним вечером забрался в теплицу, и Кривобокого Августа, неожиданно сорвавшего тщательно продуманную операцию. Но ничего не поделаешь — какой бы важной ни была эта операция, нельзя было допустить убийства. А оно едва не свершилось в эту ночь.

Чекисты заинтересовались теплицей после того, как Аустрис, прижатый Мартынем, рассказал Земитису о «волках», о похищении пишущей машинки и о листовках. Вот тогда-то и был разработан план операции и установлена слежка за домом Лиелаусиса. Но помешал всему Кривобокий Август, который теперь с недоумением наблюдал за происходящим.

Двое незнакомцев громко стучали в двери дома. Уже светало, но было видно освещенное окно кухни, за которым мельк-



нули чьи-то тени. Наконец двери распахнулись и двое стучавших бросились внутрь.

Заморосил дождь. Тихо шуршали недавно распустившиеся листья. По стеклам теплицы текли струйки воды, смывая пыль.

Тот, кого называли капитаном, поднял голову, посмотрел на серые облака и махнул рукой:

— Ведите в дом!

Пока Кривой Август раздумывал над тем, пойти ли ему вместе со всеми или отправиться домой, выбежал один из тех, что вошли к Лиелаусисам. Он был чем-то возбужден...

— Товарищ капитан! Непонятная история — еще один Готфрид Лиелаусис!

И, как бы в подтверждение его слов, на крыльце дома появился сопровождаемый вторым мужчиной... Готфрид Лиелаусис!

Что это?.. Призрак, что ли? Кривой Август даже протер глаза и снова уставился на хозяина. Да, это Готфрид Лиелаусис, без всякого сомнения! И нос горбатый его, и черные, спутанные волосы, и узкие, прищуренные глаза... Но и тот, кото-

рого вели к дому, тоже был Лиелаусис! Оба похожи друг на друга как две капли воды! Двойники, точно двойники! Но кто же из них Готфрид Лиелаусис все-таки? Тот, с которым схватился Август, или тот, что стоит сейчас на крыльце? Такого и во сне не увидишь!

— Ничего, разберемся! — усмехнулся капитан. — Два Лиелаусиса даже лучше, чем один... — И тут же добавил серьезно: — А теперь — в теплицу! Осмотрим звериное логово!

В теплице на длинных полках стояли ящики с огуречной рассадой, цветочные горшки с нежно-зелеными всходами, а в самом конце, под одной из полок, видна была крышка люка. Когда ее подняли, обнаружилась узкая лесенка. Она вела в глубокий подвал. Помещение напоминало сколоченный из неоструганных досок ящик. В одном углу стояла широкая скамья, застеленная старым одеялом, в другом — небольшой столик. На нем пишущая машинка и ворох бумаг да закопченная керосиновая лампа.

— Заберите машинку. Это та самая, что из школы выкрали, — сказал капитан, осмотрев тайник. — И листовки тоже прихватите...

Уставший от всего пережитого, крайне удивленный всем увиденным, возвращался домой Август Клиен. По-прежнему накрапывал дождик. Прохожие в этот ранний час торопливо шлепали по скользким деревянным мосткам, чтобы попасть на «Вилнис», который нетерпеливо гудел в конце «экватора». Люди торопились на работу. Начинался обычный трудовой день. Заспешил домой и Август: как-то там Алис? Наверно, до сих пор бредит, бедняжка. Ну ничего, все обойдется. Проснется мальчуган здоровым и увидит, как все изменилось вокруг. И школьная пишущая машинка, которую он так упорно искал, нашлась, и логово больших «волков» ликвидировано. А самое главное — Алис теперь почувствует, увидит, что у него есть отец, заботливый, любящий отец, который наконец-то избавился от Лиелаусиса, сбросил с себя ярмо. Настанет новый день, начнется и новая жизнь! Во всяком случае, Август Клиен решил это твердо.

Серная Кислота обманывает класс. — О чем говорили ливсалцы. — „У них все изменилось“

По окнам класса непрерывно барабанил дождь. Он начался на рассвете, мелкий и нудный, а потом полил все сильнее и сильнее. Промокшие, в заляпанных грязью ботинках, влетали в школу ребята, оставляя на полу мутно-серые следы.

Должно быть, только из-за проливного дождя и не знали ливсалцы о том, что произошло ночью во дворе Лиелаусисов. Дождь всех разогнал по домам, не позволив никому и словечком обмолвиться с соседом или со знакомым.

Поэтому в школе сегодня главной темой всех разговоров был баскетбол. О нем судили и спорили, конечно, и в шестом классе. Да и как можно было не говорить об этом, если вчера состоялся наконец долгожданный матч с непобедимым седьмым! А как закончилась эта встреча? Сенсация! Шестой класс победил со счетом 41:40! Победа была добыта в упорной борьбе.

— Если бы Аустрис не забросил последний мяч, нашим плохо пришлось бы, — ворчал Мартынь, завистливо поглядывая на героя матча.

Земитис все-таки выдержал характер, и Мартыню пришлось быть только зрителем на этой исторической встрече. А ведь говорил, что на правом краю Мартыня заменить некем!

— Хм, Аустрис... — возразил Юмор. — Да если бы мы с Харием не прикрыли наглухо Петерена, один мяч Аустриса ничего бы не решил! Защита, дорогой товарищ, все решила!..

— Ой, ой, вот расхвастался! — не удержалась, чтобы не съязвить Аэлита. — Петерис, между прочим, не один, а несколько мячей забросил в эту, как ее... в сетку!

— Не в сетку, а в корзину, юмор и сатира! Мяч от картошки отличить не может, а в разговор лезет, знаток!

— Зря вы спорите, — вмешалась Марута. — Если бы Земитис не тренировал вас, вы бы ни за что не выиграли у седьмого.

И тут самые яростные спорщики замолчали. Марута права, ничего не скажешь! Да теперь и времени для споров не осталось — вон уже и Земитис идет. Сегодня грамматика.

Раскрыв классный журнал, Земитис покачал головой: пятых не было сегодня в классе — Аустриса, Хария, Петериса Дундура, Альберта и Фредиса. Странно, конечно, что Земитис не спросил дежурного, почему их нет сегодня. Вместо этого он раскрыл учебник, задал всем письменное упражнение и поднялся из-за стола.

— Работайте тихо, я сейчас вернусь.

Он вышел из класса и помчался вверх по лестнице к уборщице Вийране.

Едва только Земитис прикрыл дверь, Мартынь выхватил из портфеля книгу Джека Лондона «Путешествие на «Ослепительном» и углубился в чтение. Юмор побежал к доске и стал рисовать каких-то смешных человечков. Марута что-то деловито шептала на ухо Лигите, Аэлита шуршала бумагой — наверно, доставала съестное.

Земитис вернулся необычно серьезный, озабоченный. До конца урока он молча просидел за столом, занятый своими мыслями. Учитель не замечал ни Джека Лондона, ни великолепных карикатур Юмора на доске.

Вообще сегодня шестому классу везло: урок грамматики как-то чудно прошел. А на географии Серная Кислота даже не успела развесить карты — в класс постучали, и вошел Земитис.

— Простите, пожалуйста, — извинился он. — Вас срочно вызывает директор.

Серная Кислота удивленно пожала плечами. Открыв дверь, она обернулась и сказала:

— Смотрите, чтобы в классе была тишина! Я скоро вернусь.

Однако она обманула ребят. Серная Кислота не вернулась в класс. Она не вернулась и на другой день, и на следующий. В школе ее больше не было.

Потрясающая новость о происшествии во дворе Лиелаусисов и о бандитском логове быстро распространилась по Ливсале. Знакомый — знакомому, сосед — соседу, и так ниточка за ниточкой сплелись наконец в достоверный рассказ о всем случившемся.

Прежде всего оказалось, что Готфрид Лиелаусис и его призрак, его двойник, действительно братья-близнецы. Роберту Лиелаусису до восстановления Советской власти принадлежала

большая усадьба где-то в Лифляндии. В 1940 году его владения передали тем, кто раньше гнул на него спину. Преисполненный бешеной злобой и ненавистью, Роберт Лиелаусис жестоко отомстил им в годы оккупации. Он сам составил список крестьян, которые получили землю, его землю! Многие из них были брошены в концлагеря, отправлены в Германию. Лиелаусис участвовал и в расстрелах ни в чем не повинных людей. Когда на землю Латвии вернулась Советская власть, Роберт Лиелаусис скрывался в лесах. Кулацкая банда пряталась в глухомани, таилась в землянках, время от времени совершая налеты на близлежащие хутора. А когда банду ликвидировали, Роберту Лиелаусису удалось бежать. Раздобыв подложные документы, он работал на лесозаготовках, строил дорогу где-то на взморье и наконец перебрался в Ригу. Здесь он стал строителем. Совсем недавно его разыскал один из главарей банды Рихард Икманис. Он-то и посоветовал Роберту Лиелаусису укрыться у брата на тихой Ливсале. И еще должен был Роберт выполнить одно поручение Икманиса. За это бандитский главарь пообещал переправить Роберта в одну из западных стран. Обещание было заманчивым, и Лиелаусис дал согласие сделать все, что от него потребуется. Так и оказался Роберт Лиелаусис на острове у брата. Он мог даже разгуливать по улицам Ливсалы, потому что сходство братьев было поразительным. Даже Кривобокий Август, много лет проработавший у Готфрида Лиелаусиса, принял Роберта за своего хозяина.

Много слухов ходило и о бывшей учительнице Эмилии Роне. Стало известно, что до войны она была в рядах айзсаргов¹ и руководила националистической молодежной организацией в одной из рижских школ. Икманис, знавший Роне, пользовался ее услугами для связи с Ливсалою. Все указания главара бандитов она через Фредиса передавала Готфриду Лиелаусису, а тот — Роберту.

Именно Роне передала Лиелаусису альбомы с марками, которыми удалось подкупить Хария, Петериса и Аустриса. Те похитили из школы пишущую машинку, а потом разбросали

¹ Айзсарги — националистическая военизированная организация в буржуазной Латвии.

по острову листовки. Правда, Аустрис в деле с листовками не участвовал. После ареста Эмилии Роне стало известно, что схвачен и главарь банды Рихард Икманис. Так было ликвидировано осиное гнездо врагов Советской власти, так прекратили свое существование «ливсальские волки».

Обо всем этом и судачили жители острова на причале в ожидании «Вилниса» или просто при встречах, особенно на углу «экватора», у большой водопроводной колонки.

Но жизнь шла своим чередом. И постепенно новые события заслонили собой Лиелаусисов, Роне и все связанное с ними.

— Теперь-то уж никто и не думает, что ты... В общем, наплась пишущая машинка!

— Наплась,— в который раз вздохнул облегченно Мартынь.— Вот я и пришел к тебе, чтобы спасибо сказать...

— За что? Это ведь не я ее нашел! Я, Мартынь, только на след напал.

— На след...— усмехнулся Мартынь.— Не каждый бы на это решился! И где ты только смелости набрался к самому Лиелаусису в пасть залезть! Он же мог... совсем убить тебя! Эх, Алис, не надо было так поступать!

— А ты сам?.. А тебе надо было меня в пургу, через сугробы тащить?..

В общем, это очень уж отвлеченные слова — «надо было», «не надо было»... Главное, все теперь позади. Алис почти здоров и собирается пойти в школу за табелем.

Мартынь был искренне рад, что Алис снова на ногах, по-прежнему живой и веселый. Окинув взглядом комнату, Мартынь увидел стопку книг на столе, подошел и стал перебирать их. Ну и дела: «Основы холодной обработки металла», «Первые навыки молодого рабочего», «Алгебра» для седьмого класса! Неужели этим Алис интересуется? А «Алгебра»? Он что же, решил сразу из пятого в седьмой перескочить? Чудеса! Мартынь хотел было расспросить Алиса, но тут увидел такое, что у него от удивления глаза на лоб полезли: на столе, аккуратно сложенный, лежал красный галстук! Красный галстук на столе в доме Кривобокого Августа!..

Алис, видно, заметил недоумение на лице Мартыня, потому что улыбнулся и сказал:

— Мать выстирала и погладила. Я ведь завтра в школу должен зайти...

— А... а как же отец? Он-то что скажет, если увидит на тебе...

Алис рассмеялся, а потом негромко сказал:

— Об этом теперь беспокоиться нечего! — И, понизив голос до шепота, добавил: — В нашем доме теперь чудеса творятся!.. Отец каждый день в город ездит, работу ищет. А по вечерам мы с ним вместе газеты читаем, вот!

— Здорово! — вскричал Мартынь радостно. — Значит, у тебя все в порядке!

— Конечно! — солидно согласился Алис. — А Юлий, — и он показал на стопку книг, так удививших Мартыня, — зубрит по ночам: осенью собирается в ремесленное училище поступить. Решил на слесаря выучиться.

«Вот интересно! — подумал Мартынь. — Как у них все изменилось! Хорошо!..»

Когда Мартынь собрался уходить, Алис, проводив его до двери, сказал напоследок:

— Понимаешь, после того случая отец совсем другой стал, добрый... Я и не знал, что он такой... ну, хороший. В общем, все у нас, Мартынь, наладилось!

7

Деду не спится. — Неожиданное признание. — „Счастливого пути, Мартынь!“

Мать Альберта Талрита потеряла покой и сон. Эти ужасные события у Лиелаусисов, да еще сын, которого вызвали в город!.. Бедный Альберт!.. Он до сих пор не вернулся домой! Не удивительно, что по ночам госпожу Талрит мучили какие-то странно однообразные кошмары. Ей снился жестяной парусник-флюгер. Он начинал расти и становился таким огромным, что казалось, вот-вот проломит крышу, и лучший на Ливсале дом рухнет, как

штабель бросовых досок. А еще более страшным было то, что на мачте парусника развевался красный флаг, а учитель Земигис, в адмиральской форме, стегал «кошкой» ее сыночка, ее Альберта. После такого кошмарного сна госпожа капитанша не могла сомкнуть глаз до утра.

Но едва только всходило солнце и измученная госпожа Талрит пыталась задремать, как за окном уже начинал стучать этот несносный старик — Пупол, кажется...

Да, старому Пуполу этой весной тоже не спалось. Он поднимался до зари и начинал возиться на кухне и в передней, перебирал доски, точил топор. Разбуженный Мартынь сердито тер глаза, поглядывая искоса на деда. А нарушитель спокойствия, не замечая того, что разбудил внука, изо всех сил старался не шуметь и даже ходил на цыпочках, но, видимо, именно поэтому и шумел громче обычного.

Когда начинало светать, старик брал топор и пилу, взваливал на плечо доски и уходил. Ранние прохожие — те, кто работали в городе и спешили к первому рейсу «Вилниса», — дружелюбно кивали старому Пуполу, который орудовал топором у прогнивших подмостков, как раз напротив дома Талритов. В утренней тишине громко раздавался веселый стук топора, а не совсем обычные ливсальские тротуары запестрели свежеструганными заплатами. Все-таки нашел дед работу, и теперь им с Мартынем нечего было беспокоиться о том, как прожить лето.

Старый Пупол вот уже третье лето подряд среди шедших к причалу ливсальцев замечал и Кривобокого Августа. В черном берете и коричневой спецовке, он деловито шагал по набережной. До удивления изменился Август Кlien. Прежде молчаливый, мрачный, он стал теперь разговорчивым, приветливо здоровался со знакомыми, охотно вступал в беседу на палубе «Вилниса». Так вот и стало известно, что Кривобокий Август работает кочегаром на заводе в предместье.

Однажды утром к самым ранним прохожим присоединился и Мартынь. Едва только ушел дед, Мартынь быстро оделся, выскочил из дому и помчался к Аттеке. Здесь он забрался в серую лодчонку Юлия и пригнал ее к большим камням. Там его нетерпеливо дожидалась Марута.

Учебный год закончился, завтра выдадут табеля, и тогда все лето принадлежит им, ребятам.

Накануне Марута похвасталась, что знает такие места, где рыба клюет одна за другой, только вытаскивай. Сегодня Марута пообещала показать эти места Мартыню. Лодчонка Юлия скользила по тихим заливам Камышового островка, заплывала в тенистые омуты, где и в самом деле могла водиться рыбешка.

В тусклой утренней дымке неожиданно резко прозвучал гудок «Вилниса», заставивший встрепенутся Мартыня. Из камышовых зарослей взлетела стайка чибисов. Птицы с громкими криками промчались над каналом — должно быть, полетели искать места поспокойнее на заливных лугах Ливсалы. Перед самым носом лодки шумно плеснуло, и по неподвижной водной глади пошли круги.

— Ты заметил, Мартынь? — вскричала Марута. — Вот где рыбы-то! Бери сачок да черпай!..

— Это мы еще посмотрим, — ответил несговорчивый Мартынь. — Вот начнем ловить, тогда видно будет...

Его скептицизм был крепко посрамлен. Марута за несколько минут вытащила двух крупных окуней, которые неистово грепыхались на леске. Ну и девчонка! Прямо первоклассный удильщик! А вот у Мартыня рыба, как назло, не клевала. Но все равно, у него на душе было так хорошо, так радостно — хоть пой. Эх, жаль, нельзя — рыбу распугаешь! Прекрасное, тихое утро, горьковатый запах водорослей, последний день занятий — до чего же здорово!

Марута сидела на носу лодки, свесив босые ноги в воду, и ловко орудовала удочкой. Ни разу еще Мартыню не приходилось видеть девчонку-удильщицу! И вид-то у нее, как у заправского рыболова: рукава платья засучены до локтей, подбородок вымазан чем-то, руки сплошь в ссадинах... Вот она пошептала что-то, поплевала трижды на червя-насадку и закинула удочку. Поплавок покачивался возле камышовых зарослей. А Мартынь смотрел на Маруту и думал восхищенно: «Во чертенок! Такая и крокодила выудить может!»

...«Аустрис, Аустрис вернулся!» Эта весть с быстротой молнии облетела школу. Празднично одетые ребята шумели в коридорах и классах: сегодня последний день учебного года, сегодня выдадут табель — и прощай, школа, до сентября!

В конце коридора у входа в физкультурный зал стоял Аустрис. Был он необычно тих и бледен. И еще не было на нем красного галстука.

Заметив Мартыня, Аустрис подошел к нему.

— Доброе утро, Мартынь!

— Здорово! А где же Харий и Петерис?

— Все еще там... — Аустрис неопределенно махнул рукой и медленно направился к знаменитой пальме.

Мартынь последовал за ним.

— А меня отпустили. Я ведь сам пришел к Земитису и все ему рассказал. Хорошо, что ты, Мартынь, уговорил... заставил меня... — Аустрис замялся и с минуту пристально разглядывал носки своих ботинок. — Спасибо, Мартынь, за все. Только... только я тебе еще должен кое-что рассказать. Обязательно! Надо уж мне от всего освободиться...

— Ну, что еще? — насторожился Мартынь.

— Понимаешь... ведь это я взял тот самый чулок из твоей парты. С него все и началось. Я на те деньги конфеты покупал, марки... А про это Талрит узнал. Ну, потом было... все остальное.

Мартынь смерил Аустриса презрительным взглядом.

— Своих товарищей обокрал! Это же их деньги были — у них и проси прощения!

Этот неприятный разговор был прерван звонком. Ребята расходились по классам — последний раз в этом учебном году.

Мартынь смотрел на свой табель и глазам не верил: по поведению — пять, по географии — пять, по латышскому — четыре, по арифметике — четыре, по русскому — четыре!.. Ну и троек несколько. А внизу написано четко: «Переведен в седьмой класс».

Такой табель не станешь прятать за пазуху. Его смело мож-

но показать каждому. Надо положить его аккуратно под обложку учебника.

Мартынь испытывал не изведенное до сих пор блаженное состояние полной удовлетворенности. А что — хороший табель, вполне приличный! Конечно, с Лигитой, например, пока еще трудно равняться — у нее только по химии четверка, а остальные пятерки. И все-таки, несмотря на разные там события, он, Мартынь, в этом году потрудился неплохо. Теперь можно ходить с высоко поднятой головой, можно подойти, например, к Юмору и небрежно так, между прочим, спросить:

«У тебя что по географии? А-а, тройка... Н-да... А у меня в этот раз пятерка».

«Еще бы! Ты же путешественник, юмор и сатира!»

Да, двери на волю-волюшку теперь широко распахнуты. До свидания, школа! До будущей осени! Лето все впереди. Оно наверняка принесет немало нового, интересного. Да и осенью все будет иначе. Уйдет знаменитый баскетболист, семиклассник Петерен, и вообще не станет больше грозных соперников на баскетбольной площадке. Хотя кто знает?.. Может, будущие шестиклассники станут конкурентами нового седьмого класса? А за партой Петерена, возможно, усядется Юмор, который унаследует славу лучшего баскетболиста. А может, им будет он, Мартынь?

Парами и стайками, весело болтая, расходились ребята по узким улочкам Ливсалы. Мартынь, крепко зажав под мышкой учебник, поспешил на Аттеку. Там у старого причала его ждал капитан «Вилниса». Он должен был посмотреть «диплом» юного штурвального.

И Мартыню было что показать! Конечно, его табель вовсе не блестящий, но для Мартыня он означал многое. Этот скромный табель означал, что путь через Аттеку будет для Мартыня открыт на все лето. Можно считать, что штурвал «Вилниса» в его руках!

— Счастливого пути, Мартынь! — крикнул вдруг кто-то. А-а, да это же Марута! Она будто угадала мысли Мартыня. Засмеявшись весело, она вихрем промчалась мимо и исчезла за вербами у Большого канала.

Вольные дни. — „Всегда готов!“ — Он будет настоящим моряком...

Какое чудесное утро! Таксе утро бывает только в те дни, когда преотличное настроение превращает все самое будничное и серое в сверкающую сказку, в праздник.

А Ливсала и в самом деле сверкала в это утро: и удивительно ясное, светло-голубое небо, и свежая листва садов, и крыши ливсалских домишек, и глаза людей. Березки, выстроившиеся вдоль канала, напоминали сегодня зеленые флаги, а серебристые вербы, что росли на берегу Аттеки, были похожи на седоволосых старцев, погруженных в раздумье. В ветвях деревьев громко и весело щебетали птицы, хмелея от собственных песен. На траве драгоценными камнями поблескивали капли росы.

Где-то за садами однообразно скрипели весла, а за Камышовым островком стучал топор. Вдоль Аттеки уже слонялись рыболовы. Важно скользил через реку «Вилнис» с первыми пассажирами на борту. Вот капитан потянул металлическое кольцо, и над рекой прозвучал знакомый всем гудок, извещавший, что новый день начался. Над окутанными утренней дымкой лесами предместья медленно поднимался огненно-красный диск солнца.

Благоухала земля, благоухали деревья... Мартынь, выйдя на улицу, жадно вдыхал свежий утренний воздух, удивляясь тому, как все вокруг преобразилось. И не только природа стала иной до неузнаваемости. И в самом Мартыне что-то стало иным, новым. Он испытывал ощущение небывалой легкости, хотелось мчаться куда-то, резвиться на зеленой траве, хотелось смеяться...

«Совсем одурел!» — усмехнулся Мартынь.

Утро предвещало жаркий денек. Когда палящие лучи солнца обрушатся на остров, спастись можно будет только в сероватых волнах Аттеки. А Мартынь даже не знал, открыли ливсалские мальчишки купальный сезон или нет. Всю весну прожил он будто с завязанными глазами. Но зато сегодня они раскрыты широко. Сегодня он видел все. И слышал все: даже едва уловимый треск кузнечика, шорох травы, шелест листьев...

Мартынь направился к речному причалу. На другой стороне реки, у самого берега, ухал паровой молот, загоняя железобетонные сваи будущего моста. Молот, опоясанный стальными кольцами, мерно опускался, точно огромный кулак.

— Гляди-ка, штурвальный,— сказал капитан «Вилниса», кивнув на другой берег Аттеки,— вот конкурент растет! Скоро нам на Аттеке нечего будет делать! С ним, браток, тягаться не под силу. Твоему «диплому» теперь грош цена. Придется другой диплом добывать, настоящий, чтобы можно было по морям плавать.

Мартынь изумленно уставился на капитана.

— Как это нечего будет делать?

— А вот как... Мост строят, вот в чем дело, браток. Ну, станешь у штурвала?

— Нет,— смутился Мартынь,— вы пока без меня отправляйтесь, ладно? Я хочу... как следует на молот поглядеть. Хоть издали. Мощное зрелище!

Конечно, известие о том, что строится долгожданный мост через Аттеку, обрадовало Мартыня. И на молот ему хотелось посмотреть хотя бы издали. Но, говоря честно, причиной того, что он не пошел в этот рейс на «Вилнисе», было что-то другое.

Настоящая «причина» уже давно слонялась у причала. Она собирала камешки, бросала их в воду, а сама подходила все ближе и ближе. Мартынь, перегнувшись через перила причала, сосредоточенно разглядывал рыбешек, сновавших между сваями.

— Мартынь!.. Слышишь, Мартынь! Ты что, оглох? — прозвучало за его спиной.— Уставился куда-то и не слышишь ничего! Ты лучше посмотри, что я тебе принесла! Разогнуться не можешь, что ли?

Мартынь наконец повернулся и посмотрел на Маруту. Она стояла рядом, прижав к груди какую-то книгу.

— А-а, это ты, Марута! Ну, здравствуй!

— А кто же еще? Конечно, я,— ответила, улыбаясь, Марута.— Ты эту книгу читал?

— А что это? «Черная Индия»... Нет, не читал,— признался Мартынь и принялся жадно листать книгу.— Я Жюль Верна почти всего перечитал, а эту не знаю...

— Я ее у дяди взяла. У него в городе полный шкаф всяких книг про путешествия. Эту прочтешь — я тебе другую принесу.

— Молодец, Марута! Спасибо! Во, погляди,— показал он Маруте иллюстрацию в книге.— Это река Ганг. Ее в Индии священной считают. Индусы в ней моются, когда выздороветь хотят. А разве выздоровеешь в такой грязной воде? И еще в Ганге священные коровы купаются.

— Священные коровы?

— Ну да! Разляжется такая корова поперек улицы, ее никто и потревожить не смеет. Все ждут, когда она подняться соизволит. Вот когда я был на Кавказе...

— В следующий раз поедешь — меня с собой возьми,— перебила его Марута, хитро улыбаясь.

— А чего не взять? Это можно,— охотно согласился Мартынь.

— Правда, Мартынь, давай накопим денег и поедем путешествовать, как все делают. Чтобы с милицией дела не иметь. Вдруг еще обстригут! Мне все-таки не хочется со своими волосами расставаться...

И будущие путешественники рассмеялись.

По мосткам причала, громохкая, мчался Юмор.

— Вот здорово, что я вас встретил! — закричал он еще издали обрадованно.— Земитис велел всем сообщить, что завтра сбор отряда. Насчет какой-то экскурсии будет разговор и еще что-то. Ну и погода — пекло настоящее, юмор и сатира!

К полудню воды Аттеки неподалеку от причала кипели сильнее, чем в паводок. Брызги так и летели во все стороны, обдавая даже прохожих, спешивших на «Вилнис». Это купались ливсалские мальчишки. Юмор демонстрировал восхищенным зрителям высший класс ныряния. Нырнуть за большим лодочным сараем, а вынырнуть где-то на другой стороне причала было для него сущим пустяком. Гвоздем «программы» было ныряние под лениво ползущий «Вилнис». Юмора не пугали ни неистовая брань капитана, ни взволнованные крики пассажиров. А мальчишки затаив дыхание, очень довольные, наблюдали за «сверхмастерством» Юмора.

Шумно было на реке в этот жаркий погожий день! Оказывается, ребята «открыли купальный сезон» с неделю назад, и

только Мартынь не знал об этом. Но зато уж теперь он решил накупаться за троих. Он заплывал на середину Аттеки, а потом, отдыхая, нежился на спине, кувыркался в воде и прыгал с самой высокой сваи. Что, что может сравниться с этим наслаждением?!

Летом школа напоминает опустевший улей. Пустуют классы, нет никого за партами, в коридорах и на лестнице не гудит вечно беспокойный рой учеников. Странная, необычная тишина царит в школе. Изредка лишь прозвучат гулкие шаги случайно появившегося здесь посетителя. Одинокая, ждет осени старая пальма. Ей остается лишь вспоминать теперь всякие жгучие тайны и обиды, из-за которых было пролито так много горьких слез под ее широкой листвой.

Мартынь, прислушиваясь к эху своих шагов, медленно поднимался по лестнице. Сейчас, когда вокруг не бушевало, как обычно, море ребячьих голосов и было пустынно и тихо, Мартыня охватило какое-то странное, трепетное чувство, будто очутился он в святилище.

Это ощущение не покидало его и в пионерской комнате, где собрались пионеры шестого, точнее, седьмого класса ливсальской школы. Они сидели за длинным, покрытым красной материей столом. Лица их были торжественны и строги. Ребята шепотом обменивались мнениями о предстоящем походе по местам сражений, в которых участвовали красные латышские стрелки. Марута, как часовой, стояла у развернутого отрядного знамени. А над знаменем висел на стене портрет Ленина. Ильич смотрел на ребят с лукавой и доброй улыбкой.

Андрис Стийпинь был теперь уже вовсе не Юмор, а председатель совета пионерской дружины ливсальской школы. Он построил отряд, и Мартынь тоже занял свое место в строю.

В пионерскую комнату вошел Земятис и с ним незнакомый мужчина в сером летнем костюме. Пока учитель принимал рапорт Андриса, Мартынь разглядывал незнакомца, пытаясь угадать, кто он такой.

И вдруг Земятис объявил:

— Сейчас, ребята, несколько слов вам скажет лейтенант Крузитис!

«Вот оно что! Лейтенант!» — подумал Мартынь и тут же густо покраснел, потому что лейтенант совершенно неожиданно для всех ребят поблагодарил Мартыня Пупола «за инициативу и содействие в разоблачении опасных преступников, врагов Советской власти».

Мартыню было и радостно и неловко: еще бы — весь отряд на него уставился! А тут и Земитис принялся хвалить его: мол, весной Мартынь закончил учебу с приличным табелем...

В общем, день этот стал его праздником. Мартынь стоял перед строем смущенный, но глаза его блестели от счастья.

А Земитис под конец сказал:

— Ты, Мартынь, сын фронтовика, сын советского солдата. Будь же всегда и во всем верным своей Отчизне, как твой отец, который отдал за нее жизнь!

И Мартынь ответил торжественно:

— Всегда готов!

Ранним воскресным утром на скамье у причала сидели старый Пупол и Кривобокий Август. Они пришли сюда, чтобы проводить Мартыня и Алиса, которые вместе с другими пионерами отправлялись на свою первую экскурсию.

С тех пор как дед стал ремонтировать деревянные тротуары Ливсалы, а значит, и зарабатывать деньги, он вновь пристрастился к заброшенной было трубке. Вот и сейчас он усердно попыхивал ею.

— И как у тебя только легкие выдерживают? — морщась, проворчал Август.

— Грудь плотогона, — сказал дед гордо, — что кузнечные мехи: ей ни огонь, ни дым не страшны!

Говоря это, старый Пупол не сводил взгляда с белого буксирчика, который не спеша плыл к берегу предместья.

В рубке «Вилниса» у окованного латунными обручами штурвала стоял Мартынь. Изредка он поглядывал туда, где толпились ребята. Ох и завидовали они Мартыню! Это ничего, что сзади, прислонившись спиной к стене рубки, стоял капитан «Вилниса». Мартынь управлялся со штурвалом один, без его

помощи. А рядом со штурвальным вертелась неугомонная Марута, точно адъютант возле своего адмирала.

«Вилнис» проплыл мимо свай строящегося моста. Гора желтого песка островком торчала из воды. Поворачивая нос «Вилниса» к причалу предместья, Мартынь так энергично завертел штурвал, что Юмор не выдержал и закричал восхищенно:

— Вот, черт, орудует! Ну прямо настоящий матрос, юмор и сатира!

Протиснувшись через толпу ребят, в рубку вошел Земитис.

— Я смотрю, Мартынь, неплохую профессию ты выбрал, прямо скажем — отличную! И знаешь, будет здорово, если мы все увидим тебя через несколько лет на капитанском мостике большущего парохода. Все от тебя самого будет зависеть. А сейчас, штурвальный, так держать!

— Есть так держать! — весело ответил Мартынь, бросил через плечо взгляд на капитана, нагнулся к латунному рупору и озорно подал команду: — Полный вперед!

Марута вдруг схватила сигнальное кольцо и так резко дернула его, что зазвенел даже натянутый трос. Из закопченной трубы «Вилниса» вырвался громкий веселый гудок.

А на берегу Ливсалы седой плотогон, показывая мундштуком трубки на «Вилнис», сказал Кривобокому Августу:

— Наша кровь! Сразу видать — Пупол! Настоящим моряком будет...

Флюгер на крыше дома Талритов показывал на восток, откуда утром восходит солнце, начиная новый, светлый, прекрасный день.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошло много лет... И вот я снова на Ливсале. В погожий летний день я стоял на берегу Аттеки, с жадным любопытством разглядывая все вокруг.

Здесь, на берегу, почти все осталось прежним. Как и раньше, склонялись над водой пушистые вербы, в садах красовались яблони. Покоился, правда, стоявший в конце причала большой

лодочный сарай. Но он, видать, упорно сопротивлялся резким ливсалским ветрам, изрядно потрепавшим его крышу. По старому причалу сновали воробьи и ребятишки, соревнуясь друг с другом в ловкости. Могло показаться, что все осталось по-старому, что ничего не изменилось на острове.

Нет, это было не так. Время принесло на берег Аттеки много нового. Не сновал уже по реке белый трудолюбивый катерок, который когда-то без устали возил ливсалцев в город и обратно, на остров. Теперь над Аттекой огромной железобетонной радугой взметнулся красавец мост, по которому непрерывным потоком двигались автомашины и пешеходы...

Я шагал по «экватору» в глубь острова. Та же самая старая, знакомая издавна Ливсала, те же узкие улочки, скрипящие под ногами подмостки, те же тихие воды канала. Но плеск вёсел заглушает теперь веселое урчание моторных лодок. Как и раньше, видна была отсюда возвышающаяся над другими домами школа. Но и здесь произошли немалые изменения. Снесли высокий, неуклюжий забор вокруг парка. По его густым, тенистым аллеям прогуливались матери с детьми, на скамейках сидели почтенные старички.

У «экватора» теперь появились серьезные конкуренты: в разные стороны расходились отсюда широкие асфальтированные тротуары.

Выбравшись из гущи домов и садов, я вдруг застыл от неожиданности. На месте прежних лугов появились новенькие трех- и четырехэтажные дома. Сложенные из белого кирпича, они стояли так, будто гордились друг перед другом своей красотой, светлыми широкими окнами, балконами, сверкающими на солнце крышами, над которыми, словно корабельные мачты, поднимались телевизионные антенны. На площадках между домами пестрели цветочные клумбы и кудрявилась сирень.

А там, где когда-то было картофельное поле Лиелаусиса, сейчас рычали бульдозеры, рокотали тракторы и ухали механические молоты. На реке работала мощная землечерпалка, а дальше, над руинами старого маяка, вспыхивали огни электро-сварки.

— Это новый порт строят! — гордо пояснили мне мальчишки, увидев, что я разглядываю с интересом картину стройки.

Значит, и Ливсала переживает теперь прекрасные дни, исполненные радостью созидания! Скоро, очень скоро к месту, где были некогда руины маяка, причалят огромные океанские корабли, полной жизнью забурлит порт.

Да, с новой Ливсалой я познакомился. Но надо и повидаться с ее жителями, поговорить с ними. А найду ли я через столько лет кого-нибудь из тех, кто был мне хорошо знаком?

Вернувшись на берег Аттеки, я долго стоял в раздумье и вдруг увидел сутуловатого седого мужчину, который сидел на скамье у старого причала и смотрел через реку на предместье. Что-то неуловимо знакомое было в его лице... Присев рядом, я сказал:

— Красивый мост построили!.. И как это важно для острова!

— Да что уж там говорить — красавец мост! — охотно ответил старик, искоса взглянув на меня.

Но когда я принялся расспрашивать его о моих старых знакомых, он сразу же оживился и, пристально разглядывая меня, пытался, видимо, вспомнить, кто я такой.

— Ну, коли вы многих знали, то и меня должны знать, — сказал он, улыбаясь. — Я Август Клиен...

Вот неожиданная встреча! Я радостно пожал руку старику и принялся с еще большим нетерпением расспрашивать его.

Молодец Август Клиен! Он знал все о моих старых друзьях. Старший его сын, Юлий, стал слесарем, потом учился заочно и теперь начальник цеха на дизельном заводе. Алис окончил военное училище и стал офицером. Сыновьями старый Август доволен, очень доволен. А остальные как? Мартынь Пупол? Ну, это парень что надо! Он теперь капитан базового судна рыбо-ловческой экспедиции. Может, скоро причалит к новому ливсальскому порту, чтобы погостить у старых друзей. А дед Мартыня вот уже лет десять покоится на кладбище... Вы про Андриса Стийпиня спрашиваете? Кажется, его Юмором называли? Он, знаете, теперь в театре играет. Замечательным актером стал! По крайней мере, так говорят те, кто видел его на сцене. Аустрис Бумбиерис? Этот на автоподъемнике работает, здесь же, в порту. Петерис Дундур сапожничает — профессию отца унаследовал. Марута стала учительницей. Преподает в той школе, где училась сама и где теперь директором Земитис.

Альберт Талрит за прилавком орудует в каком-то овощном магазине. Нет, не на острове, а в городе. Ну вот, вроде бы и всех перебрали... Как видите, жизнь идет...

Еще немного побеседовав со стариком, я дружески распростился с ним и направился к остановке. Подошел новенький автобус. Впереди белел щиток с надписью: «Предместье — Ливсала». Я опустился на мягкое сиденье и прильнул к стеклу. А когда автобус въехал на новый мост, все время смотрел назад, на исчезающий, дорогой моему сердцу остров.

В лучах летнего солнца переливались зеленью ливсальские березы, а согнувшиеся в прощальном поклоне вербы на берегу Аттеки медленно кивали мохнатыми макушками...



ПИОНЕР — ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ

Тридцатые годы...

Для наших ребят это далекое прошлое, и кажется подчас, что и тогда все было так, как сегодня. Пионеры надевают красные галстуки — а как же иначе? Зажигают веселые пионерские костры. Уходят в далекие увлекательные походы. Проводят радостные часы в пионерских Дворцах. Собираются со всего Союза в Артеке, на прекрасном берегу самого синего Черного моря. А в новогодние праздники идут в Кремлевский Дворец, где их ждет необычайная елка, такая высокая, каких и в лесу не увидишь, такая нарядная и сверкающая, что и во сне присниться не может...

Наши ребята-пионеры работают, помогают взрослым. Сажают леса и сады, засевают поля, выращивают скот и птицу. И труд их ценится в полную меру и в полную меру уважается. Высоко поднято пионерское знамя. Высокая честь — пионерский галстук.

А как же иначе?

Но в те далекие от нас годы пионерская жизнь была иной. Идущим впереди приходится прокладывать дорогу, а это никогда не бывает легко. Приходилось вступать в тяжелую борьбу, когда человеку была нужна вся его сила, вся его выдержка и беззаветная преданность делу, за которое он борется и за которое готов заплатить даже жизнью.

Об этих временах, трудных, но полных высокой и прекрасной веры в победу, об этой борьбе за лучшую жизнь, за свободу, за утверждение Советской власти и пойдет речь в произведениях, составивших этот том «Библиотеки пионера».

Писатели, чьи повести вошли в эту книгу, хорошо знают, как пролагались пути пионерской жизни к сегодняшним дням.

Разные люди из разных мест — Михаил Никандрович Фарутин из Вологодской области, Анатолий Пантелеевич Соболев — из Алтайского края, Лаймонис Мартынович Вацземниек из Латвии — каждый из них повествует об этих временах, и повести их увлекательны и волнуют.

В книге А. Соболева «Грозовая степь» перед нами встает жизнь и быт деревенской бедноты. Советская власть уже утверждена, но еще живы и еще сильны враги. Они яростно бьются за старый уклад жизни, они не останавливаются ни перед чем — поджоги, избиения, убийства...

Грудью стоят за Советскую власть коммунисты, и в эту борьбу вслед за отцами вступают дети. С трепетом в сердце принимают ребята пионерские галстуки, за которые потом избивают их до полусмерти. И самому автору этой книги приходилось выдерживать жестокие бои за свой пионерский галстук, и били его, и топили в реке. Но пионеры не трусили, не сдавались. «За пионерский галстук дрался — значит, за Советскую власть дрался!» И берегли честь своего пионерского знамени, своего красного галстука. Потому что партийные люди учили их: «Кто не сбережет в детстве красный галстук, тот не сбережет взрослым партийный билет».

Шла борьба и с церковниками, защищавшими старую жизнь. Служители церкви осыпали комсомольцев, пионеров бранью и угрозами. А молодежь, поколения юных, изгоняя суеверия и безграмотность, устраивали ликбезы. Теперь даже и слово это забыто — ликбез, что значит ликвидация безграмотности. Тогда же и старые, и молодые собирались в школах, и грамотные обучали неграмотных читать и писать. Школьники-пионеры тоже участвовали в этой работе, помогали своей учительнице учить неграмотных — «не разорваться же ей одной на всех!».

Много было у героев повести А. Соболева побед и торжества. Но много и горя. Такого горя, что даже дедушка Леньки Берестова, старый человек, всю жизнь молившийся богу, вынужден был сказать: «Не милосерден ты, господь. Отрекаюсь».

Таким же нелегким было и детство героев книги М. Фарутина «Ледоход». «Самое красивое место на земле», по словам автора, было там, где стояла деревня Барановская. И реки,

и леса, и покосы... Все прекрасно у них в вологодских землях, автор влюбленными глазами глядит на родную природу. «...Солнце прорвалось через гущу соснового леса, река стала нежно-розовой. Поведешь глазами левее — она золотая, а глянешь правее — она перламутровая, а подойдешь ближе — она голубая».

Красивые места. Но среди этой красоты — нищая и неприглядная жизнь старой деревни. Люди сплошь неграмотные, даже письма, присланного кому-нибудь, не знали, как прочесть. Самый грамотный человек был урядник, но и он, повертев письмо, только и мог сказать: «Кабы по-печатному писано было, разобрал бы».

Бедность, нищета такая, что жителей этих мест прозвали «водохлебами». По вечерам в избе светилась лучина — денег на керосин не было. А об электричестве тогда и слухом не слышали.

И земли крестьянам не хватало, землю тоже не возьмешь даром. Однако, случалось, что и тот клочок земли, какой был у мужика, оставался незасеянным — нет семян для посева и купить не на что. А не засеял пашню — весь год без хлеба. Так и получалось, что брали займы у богатых, да и попадали к ним в кабалу.

О трудной работе, о мужицкой беде рассказывает М. Фуртин в своей книге. Все своими руками, все своим горбом. Нынче в наших полях в посевную пору день и ночь гудят трактора — пахут землю. Сеялки засевают пашню. Косилки косят луга. А тогда об этом и не слышали. Какие там машины! Хорошо, если лошадь есть.

Читаешь эту правдивую книгу и отчетливо видишь, как необходима была революция. И отчетливо понимаешь, что не могла она не произойти.

Революция победила! Но и победив, не так просто было удержать Советскую власть. Еще не окрепшую Страну Советов со всех сторон окружали враги — интервенты. С севера наступали англичане, французы, американцы. На Украину, в Белоруссию, в Крым вошли кайзеровские войска. На Дальнем Востоке — японцы. В Сибири — Колчак. На Дону — генерал Краснов. На Кубани — Деникин.

«Тяжело вспоминать,— говорит автор,— но радостно знать, что все это кануло в вечность. Навсегда».

О многих славных и отважных комсомольских делах в борьбе за родную Советскую власть взволнованно и задушевно рассказывает М. Фарутин. Вот ребята-комсомольцы поднимают облоги — непаханую землю, «ворвались бригадой на тракторах и вспороли спину двадцатилетней залежи. Как вздохнула обрадованная земля».

А потом приходили на свое поле, «ждали первых всходов. И дождались, и радости было у нас столько, что и рассказать нельзя».

Светлое чувство остается на душе, когда читаешь повесть М. Фарутина, потому что рассказывается в ней о хороших, добрых и мужественных людях.

О таких же, «идущих впереди», написал Л. Вацземник свою повесть «Ливсалские мальчишки». На острове Ливсала «не в моде» было носить красные пионерские галстуки. Немало драк, побоев и обид пришлось вынести отважному герою этой книги Мартыню Пуполу за свой красный галстук. Мартынь — сирота. Ему приходится на свой страх и риск утверждать, а порой и защищать собственную судьбу, собственную жизнь. Мы видим, как закаляется его воля, которая дает ему возможность устоять в опасной борьбе. Это была не игра: затаившиеся на острове враги Советской власти грозили смертью.

Эта повесть, полная событий и страшных, и грустных, и радостных, захватывает читателя. Ее не отложишь, пока не узнаешь, как сложилась судьба героев.

Закрыв последнюю страницу, заглянув в прошлое, возвращаемся в сегодняшний день — к своим пионерским делам, к своим заботам, к своим занятиям в школе, к своим будням и праздникам, делающим нашу жизнь счастливой.

Писатели, чьи произведения опубликованы в этом томе, рассказали нам о том, что помнят, что видели, что пережили сами. Сделали они это для того, чтобы мы знали, как это было, какой была пионерская жизнь в прошлом. Для того, чтобы мы ценили то, что дает нам сегодня наша Советская страна.

Л. ВОРОНКОВА

СОДЕРЖАНИЕ

Апатолий Соболев	
Грозовая степь. Рисунки Г. Епишина	5
Михаил Фарутин	
Ледоход. Рисунки Г. Никольского	115
Медвяные росы. Рисунки К. Безбородова	176
Четвертый Харитон. Рисунки К. Безбородова	274
Лаймонис Вацземниек	
Ливсалские мальчишки. Перевод с латышского А. Калнин. Рисунки А. Шадзевского	339
Л. Воронкова. Пионер — значит первый	492

Оформление Е. Савина

Для младшего и среднего возраста

БИБЛИОТЕКА ПИОНЕРА

Том 10

Анатолий Пантелеевич Соболев

ГРОВОЯЯ СТЕПЬ

Михаил Никандрович Фарутин

ЛЕДОХОД, МЕДВЯНЫЕ РОСЫ, ЧЕТВЕРТЫЙ ХАРИТОН

Лаймонис Мартынович Вацземниек

ЛИВСАЛСКИЕ МАЛЬЧИШКИ

Ответственные редакторы В. М. Писаревская, М. Ф. Мусценко и Л. И. Гульбинская. Художественный редактор Н. З. Левинская. Технический редактор О. В. Кудрявцева. Корректоры Л. М. Агафонова и З. С. Ульянова. Сдано в набор 17/X 1974 г. Подписано к печати 24/III 1975 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр № 1. Усл. печ. л. 31. Уч.-изд. л. 26,06. Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. А03750. Заказ № 3545 Цена 1 р 11 к Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжнoй торговли. Москва, Суцeвский вал, 49.





